

ВАЛЕРИЙ  
БРЮСОВ

*Отменный ангел*



Валерий Яковлевич Брюсов

## Огненный ангел (сборник)

Один из самых загадочных русских романов XX века, «Огненный ангел» Валерия Брюсова – одновременно является автобиографическим, мистическим и историческим. «Житие» грешников – оккультистов, жаждущих запредельных знаний, приводит их либо к мученической смерти, либо к духовной опустошенности, это трагический путь Фауста, но в какой-то мере это и путь нашей цивилизации.

В книгу также включены статьи В.Ходасевича и А.Белого, которые помогут современному читателю лучше понять биографический, исторический и литературный контекст романа.

### **Содержание сборника:**

Огненный ангел

Предисловие русского издателя Предисловие

В. Брюсов Оклеветанный ученик

В. Брюсов Легенда о Агриппе

А.Белый Огненный ангел

Последние страницы из дневника женщины

Обручение Даши

# Содержание

Предисловие к русскому изданию . . . . .	0008
Огненный ангел, или Правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, астрологией, гоетейей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттестейма и доктором Фаустом, написанная очевидцем . . . . .	0015
Amico Lectori, предисловие автора, где рассказывается его жизнь до возвращения в немецкие земли . . . . .	0017
Глава первая Как я в первый раз встретился с Ренатой и как она рассказала мне всю свою жизнь . . . . .	0036
Глава вторая Что предсказала нам деревенская ворожея и как провели мы ночь в Дюссельдорфе . . . . .	0066
Глава третья Как мы поселились в городе Кельне и как были обмануты таинственными стуками . . . . .	0092

Глава четвертая Как мы жили в городе Кельне, что потребовала от меня Рената и что я видел на шабаше . . . . .	0128
Глава пятая Как мы изучали магию и чем кончился наш магический опыт . . . . .	0173
Глава шестая О моей поездке в Бонн к Агриппе Неттестеймскому и о том, что он сказал мне . . .	0222
Глава седьмая Как я встретился с графом Генрихом и почему я вызвал его на поединок . .	0277
Глава восьмая Как я разыскал Матвея Виссмана и о моем поединке с графом Генрихом . . . . .	0309
Глава девятая Как мы прожили декабрь и праздник Рождества Христова . . . . .	0335
Глава десятая Как явился Ренате вновь Мадизель и как она меня покинула . . . . .	0361
Глава одиннадцатая Как я жил без Ренаты и как я встретился с доктором Фаустом . . . .	0402
Глава двенадцатая Как путешествовал я с доктором Фаустом и как провел первых два дня в замке графа фон Веллен . . . . .	0442
Глава тринадцатая Как поступил я на службу к графу фон Веллен, как прибыл в наш замок архиепископ Трирский и как мы отправились с ним в монастырь Святого Ульфа . . . . .	0482
Глава четырнадцатая Как архиепископ	

эксзорцизмами боролся с демонами в монастыре Святого Ульфа . . . . .	0516
Глава пятнадцатая Как Ренату судили инквизиционным судом под председательством архиепископа . . . . .	0555
Глава шестнадцатая и последняя Как умерла Рената и обо всем, что случилось со мною после ее смерти . . . . .	0603
Программа . . . . .	0643
Набросок плана, в котором действие расписано по дням: 1534 . . . . .	0644
Предисловие русского издателя . . . . .	0646
В. Брюсов Оклеветанный ученый . . . . .	0650
В. Брюсов Легенда о агриппе . . . . .	0660
Андрей Белый «Огненный ангел» . . . . .	0691
#1 . . . . .	0691
Валерий Брюсов Последние страницы из дневника женщины . . . . .	0698
I . . . . .	0698
II . . . . .	0704
III . . . . .	0708
IV . . . . .	0711
V . . . . .	0716
VI . . . . .	0723
VII . . . . .	0729
VIII . . . . .	0737
IX . . . . .	0742
X . . . . .	0745

XI	.0750
XII	.0753
XIII	.0758
XIV	.0761
XV	.0767
XVI	.0772
XVII	.0782
XVIII	.0794
XIX	.0798
Валерий Брюсов Обручение Даши Повесть из жизни 60-х годов	.0806
I	.0806
II	.0813
III	.0824
IV	.0831
V	.0841
VI	.0853
VII	.0863
VIII	.0871
IX	.0883
X	.0894
XI	.0908
XII	.0917

# **Валерий Брюсов**

## **Огненный ангел**

# Предисловие к русскому изданию

Автор «Повести» в своем Предисловии сам рассказывает свою жизнь. Он родился в начале 1505 г. (по его счету в конце 1504 г.[1]) в Трирском архиепископстве, учился в Кельнском университете, но курса не кончил, пополнил свое образование беспорядочным чтением, преимущественно сочинений гуманистов, потом поступил на военную службу, участвовал в походе в Италию в 1527 г., побывал в Испании, наконец, перебрался в Америку, где и провел последние пять лет, предшествовавшие событиям, рассказанным в «Повести». Самое действие «Повести» обнимает время с августа 1534 по осень 1535 года.

Автор говорит (гл. XVI), что он писал свою повесть непосредственно после пережитых событий. Действительно, хотя уже с самых первых страниц он делает намеки на происшествие всего следующего года, из «Повести» не видно, чтобы автор был знаком с событиями более поздними. Он, например, ничего



еще не знает об исходе Мюнстерского восстания (Мюнстер взят приступом в июне 1535 г.), о котором поминает дважды (гл. III и XIII), и говорит об Ульрихе Цазии (гл. XII) как о человеке живом († 1535 г.). Сообразно с этим тон рассказа, хотя в общем и спокоен, так как автор передает события, уже отошедшие от него в прошлое, местами все же одушевлен страстью, так как прошлое это еще слишком близко от него.

Неоднократно автор заявляет, что он намерен писать одну правду (Предисловие, гл. IV, гл. V и др.). Что автор действительно стремился к этому, доказывается тем, что мы не находим в «Повести» анахронизмов, и тем, что его изображение личностей исторических соответствует историческим данным. Так, переданные нам автором «Повести» речи Агриппы и Иоганна Вейера (гл. VI) соответствуют идеям, выраженным этими писателями в их сочинениях, а изображенный им образ Фауста (гл. XI—XIII) довольно близко напоминает того Фауста, какого рисует нам его старейшее жизнеописание (написанное И. Шписсом и изданное в 1587 г.). Но, конечно, при всем доб-

ром желаний автора, его изложение все же остается субъективным, как и все мемуары. Мы должны помнить, что он рассказывает события так, как они ему представлялись, что, по всем вероятностям, отличалось от того, как они происходили в действительности. Не мог избежать автор и мелких противоречий в своем длинном рассказе, вызванных естественной забывчивостью.

Автор говорит с гордостью (Предисловие), что, по образованию, не почитает себя ничем ниже «гордящихся двойным и тройным доктором»[2]. Действительно, на протяжении «Повести» разбросано множество свидетельств разносторонних знаний автора, который, согласно с духом XVI в., стремился ознакомиться с самыми разнообразными сферами науки и деятельности. Автор говорит, тоном знатока, о математике и архитектуре, о военном деле и живописи, о естествознании и философии и т. д., не считая его подробных рассуждений о разных отраслях оккультных знаний. Вместе с тем в «Повести» встречается множество цитат из авторов, древних и новых, и просто упоминаний имен знаменитых

писателей и ученых. Надо, впрочем, заметить, что не все эти ссылки вполне идут к делу и что автор, по-видимому, щеголяет своей ученостью. То же надо сказать о фразах на языках латинском, испанском, французском и итальянском, которые автор вставляет в свой рассказ. Сколько можно судить, из иностранных языков он действительно был знаком лишь с латинским, который в ту эпоху был общим языком образованных людей. Испанский язык он знал, вероятно, лишь практически, а знания его в языках итальянском и французском более чем сомнительны.

Автор называет себя последователем гуманизма (Предисловие, гл. X и др.). Мы можем принять это утверждение только с оговорками. Правда, он часто ссылается на различные положения, ставшие как бы аксиомами гуманистического мирозерцания (гл. I, IV, X и др.), с негодованием говорит о схоластике и приверженцах мирозерцания средневекового, но все же в нем самом еще очень много старинных предрассудков. Идеи, воспринятые при беспорядочном чтении, смешались у него с традициями, внушенными с детства, и

создали мировоззрение крайне противоречивое. Говоря с презрением о всяких суевериях, автор порою сам обнаруживает легковерие крайнее; насмехаясь над школами, «где люди занимаются приискиванием новых слов», и всячески восхваляя наблюдение и опыт, он, по временам, способен путаться в схоластических софизмах и т. д.

Что касается до веры автора во все сверхъестественное, то в этом отношении он только шел за веком. Как это ни кажется нам странным, но именно в эпоху Возрождения началось усиленное развитие магических учений, длившееся весь XVI и XVII вв. Неопределенные колдования и гадания Средних веков были в XVI в. переработаны в стройную дисциплину наук, которых ученые насчитывали свыше двадцати (см., например, сочинение Агриппы: «De speciebus magiaе» [3]). Дух века, стремившийся все рационализировать, сумел и магию сделать определенной рациональной доктриной, внес осмысленность и логику в гадания, научно обосновал полеты на шабаш и т. д. Веря в реальность магических явлений, автор «Повести» только следовал луч-

шим умам своего времени. Так, Жан Бодэн, знаменитый автор трактата «De republica» [4], которого Бокль признавал одним из замечательнейших историков, в то же время автор книги «La Demonomanie des sorciers» [5], подробно исследующей договоры с Дьяволом и полеты на шабаш; Амбруаз Парэ, преобразователь хирургии, описал природу демонов и виды одержания; Кеплер защищал свою мать от обвинения в ведовстве, не возражая против самого обвинения; племянник знаменитого Пико, Джованни-Франческо делла Мирандола, написал диалог «Ведьма», с целью убедить образованных, неверующих людей в существовании ведьм; по его словам, скорее можно сомневаться в существовании Америки, и т. д. Папы издавали специальные буллы против ведьм, и во главе известного «Malleus maleficarum» [6] стоит текст: «Haeresis est maxima opera maleficarum non credere», т. е.: «Не верить в деяния ведьм – высшая ересь». Число этих неверящих было очень невелико, и среди них на видное место должно поставить упоминаемого в «Повести» Иоганна Вейра (или, по другой транскрипции его имени,

Жана Вира), который первый признал в ведовстве особую болезнь.

*Валерий Брюсов*

**Огненный ангел, или  
Правдивая повесть, в  
которой рассказывается о  
дьяволе, не раз являвшемся  
в образе светлого духа  
одной девушке и  
соблазнившем ее на разные  
греховные поступки, о  
богопротивных занятиях  
магией, астрологией,  
гоетейей и некромантией, о  
суде над одной девушкой под  
председательством его  
преподобия архиепископа  
Трирского, а также о  
встречах и беседах с  
рыцарем и трижды доктором  
Агриппою из Неттесгейма  
и доктором Фаустом,**

# написанная очевидцем

*Non illustrium cuiquam virorum artium  
laude doctrinaeve fama clarorum at tibi  
domina lucida demens infelix quae multum  
dilexeras et amore perieras narrationem  
haud mendacem servus devotus amator  
fidelis sempiternae memoriae causa  
dedicavi scriptor.*

*Не кому-либо из знаменитых людей,  
прославленных в искусствах или нау-  
ках, но тебе, женщина светлая, безум-  
ная, несчастная, которая возлюбила  
много и от любви погибла, правдивое  
это повествование, как покорный слу-  
житель и верный любовник, в знак веч-  
ной памяти посвящает автор.*

*(Пер. Брюсова)*



## **Amico Lectori[7],**

### ***предисловие автора, где рассказывается его жизнь до возвращения в немецкие земли***

**М**не думается, что каждый, кому довелось быть свидетелем событий необычных и малопонятных, должен оставлять их описание, сделанное искренно и беспристрастно. Но не одно только желание содействовать такому сложному делу, как изучение загадочной власти Дьявола и области ему доступной, побуждает меня предпринять это, лишенное прикрас, повествование о всем удивительном, что пережил я за последние двенадцать месяцев. Меня привлекает также возможность – открыть, на этих страницах, свое сердце, словно в немой исповеди, пред неведомым мне слухом, так как больше не к кому мне обратиться свои печальные признания и трудно молчать человеку, испытавшему слишком много. Для того же, чтобы было видно тебе, благосклонный читатель, насколько можешь ты доверять бесхитростному расска-

зу и насколько способен я был разумно оценивать все, что наблюдал, хочу я в коротких словах передать и всю мою судьбу.

Прежде всего скажу, что я не был юношей, неопытным и склонным к преувеличениям, когда повстречался с темным и с тайным в природе, так как переступил уже через грань, разделяющую нашу жизнь на две части. Родился я в Трирском курфюршестве в конце 1504 года от Воплощения Слова, февраля 5, в день Святой Агаты, что было в среду, – в небольшом селении, в долине Гохвальда, в Лозгейме. Дед мой был там цирульником и хирургом, а отец, получив на то привилегию от нашего курфюрста, практиковал как медик. Местные жители всегда высоко ценили его искусство и, вероятно, по сей день прибегают к его внимательной помощи, заболев. В семье нас было четверо детей: два сына, считая со мной, и две дочери. Старший из нас, брат Арним, успешно изучив ремесло отца дома и в школах, был принят в корпорацию Трирскими медиками, а обе сестры удачно вышли замуж и поселились – Мария в Мерциге, а Луиза в Базеле. Я, получивший при свя-

том крещении имя Рупрехта, был в семье самым младшим и оставался еще ребенком, когда брат и сестры стали уже самостоятельными.

Образование мое никак не может быть названо блистательным, хотя ныне, имев в жизни много случаев приобрести познания самые разнообразные, не почитаю я себя ничем ниже некоторых, гордящихся двойным и тройным докторатом. Отец мой мечтал, что я буду его преемником и что мне передаст он, как богатое наследство, и свое дело и свой почет. Едва обучив меня грамоте, счету на абаке и начаткам латыни, он стал посвящать меня в тайны медикаментов, в афоризмы Гиппократа и в книгу Иоанникия Сирийского. Но мне с самого детства были ненавистны занятия усидчивые, требующие одного внимания и терпения. Только настойчивость отца, который со старческим упрямством не отступал от своего намерения, и постоянные увещания матери, женщины доброй и робкой, принудили меня сделать некоторые успехи в изучаемом предмете.

Для продолжения моего образования отец,

когда мне было четырнадцать лет, послал меня в город Кельн, на Рейне, к своему старому другу Отфриду Герарду, думая, что мое прилежание возрастет от соревнования с товарищами. Однако университет этого города, откуда доминиканцы только что вели свою постыдную борьбу с Иоганном Рейхлином, не мог оживить во мне особое рвение к науке. В то время там хотя и начинались некоторые преобразования, но среди магистров почти вовсе не было последователей новых идей нашего времени и факультет теологии все еще высился среди других, как башня над кровлями. Мне предлагали учить наизусть гекзаметры из «Doctrinale» [8] Александра и вникать в «Сорпулата» [9] Петра Испанского. И если за годы моего пребывания в университете я научился чему-либо, то, конечно, не из школьных лекций, а только на уроках оборванных, странствующих преподавателей, которые появлялись порой и на улицах Кельна.

Не должен я (то было бы несправедливо) назвать себя лишенным способностей, и впоследствии, обладая хорошей памятью и быстрой сообразительностью, я без труда входил в

рассуждения наиболее глубоких мыслителей древних и наших дней. То, что мне случилось узнать о работах нюрнбергского математика Бернгарда Вальтера, об открытиях и соображениях доктора Теофраста Парацельса, а тем более об увлекательных воззрениях живущего во Фрауенбурге астронома Николая Коперника, позволяет думать, что благодетельное оживление, переродившее в наш счастливый век и свободные искусства и философию, перейдет в будущем и на науки. Но пока не могут они не быть чужды каждому, сознающему себя, по своему духу, современником великого Эразма, путником долины человечности, *vallis humanitatis*[10]. Я, по крайней мере, и в годы отрочества – бессознательно, и взрослым человеком – после размышлений, всегда не высоко ценил знание, почерпнутое новыми поколениями из старых книг и не проверенное исследованием действительности. Вместе с пламенным Джованни Пико Мирандолю, автором блистательной «Речи о достоинстве человека», готов я послать проклятие «школам, где люди занимаются приискиванием новых слов».

Чуждаясь в Кельне университетских лекций, я, однако, с тем большей страстностью предался вольной жизни студентов. После строгости отчего дома мне очень по вкусу пришлись и удалое пьянство, и часы с покладистыми подругами, и картежная игра, захватывающая дух сменами случайностей. Я быстро освоился с разгульным времяпрепровождением, как и вообще с шумной городской жизнью, преисполненной вечной суетни и торопливости, которая составляет отличительную особенность наших дней и на которую с недоумением и негодованием смотрят старики, вспоминая тихое время доброго императора Фридриха[11]. Целые дни проводил я с товарищами в проказах, не всегда невинных, переходя из питейных домов в веселые, распевая студенческие песни, вызывая на драку ремесленников и не гнушаясь пить чистую водку, что тогда, пятнадцать лет назад, далеко не было так распространено, как теперь. Даже влажная темнота ночи и звон замыкаемых уличных цепей не всегда заставляли нас идти на покой.

В такую жизнь был я погружен почти три

зимы, пока не кончились для меня эти забавы несчастливы. Неискушенное мое сердце разгорелось страстью к нашей соседке, жене хлебопекаря, бойкой и красивой, – со щеками, как снег, посыпанный лепестками роз, с губами, как сицилийские кораллы, и зубами, как цейлонские перлы, если говорить языком стихотворцев. Она не была неблагосклонна к юноше, статному и острому на слово, но желала от меня тех маленьких подарков, на которые, как отметил еще Овидий Назон, падки все женщины. Денег, посылаемых мне отцом, недоставало, чтобы выполнять ее прихотливые причуды, и вот, с одним из самых отчаянных своих сверстников, вовлекся я в очень нехорошее дело, которое не осталось скрытым, так что мне грозило заключение в городскую тюрьму. Только благодаря усиленным хлопотам Отфрида Герарда, пользовавшегося расположением влиятельного и очень замечательного по уму каноника, графа Германа фон Нейенара[12], был я освобожден от суда и отправлен к родителям для домашнего наказания.

Казалось бы, что этим должны были кон-

читаться для меня школьные годы, но на деле тут только и началось для меня то учение, которому обязан я своим правом называться человеком просвещенным. Мне было семнадцать лет. Не получив в университете даже степени бакалавра, поселился я дома в жалком положении тунеядца и запятнавшего свою честь человека, от которого все отступились. Отец пытался приискать мне какое-либо дело и заставлял помогать ему в составлении лекарств, но я с упрямством уклонялся от нелюбезной мне профессии, предпочитая терпеть упреки в дармоедстве. Однако в уединенном нашем Лозгейме нашел я верного друга, полюбившего меня кротко и выведшего меня на новую дорогу. То был сын нашего аптекаря, Фридрих, юноша, немного меня старше, болезненный и странный. Отец его любил собирать и переплетать книги, особенно новые, печатные, и тратил на них весь излишек своих доходов, хотя сам читал редко. Фридрих же с самых ранних лет предавался чтению, как упоительной страсти, и не знал высшей радости, как повторять вслух любимые страницы. За это почитали Фридриха в



нашем городе не то юношей полоумным, не то человеком опасным, и был он столь же одинок, как я, так что нисколько не удивительно, что мы с ним сдружились, словно две птицы в одной клетке. Когда я не бродил с самострелом по кручам и склонам окрестных гор, шел я в маленькую каморку своего друга, на самом верху дома, под черепицами, и мы часы за часами проводили среди толстых томов древности и тоненьких книжек современных писателей.

Так, помогая друг другу, то вместе восхищаясь, то упорно споря, читали мы, и в зимние прохладные дни, и в летние звездные ночи, все, что могли достать в нашем захолустье, обращая чердак аптеки в Академию. Несмотря на то что оба мы не очень-то были сильны в грамматике Цинтена, прочли мы немало латинских авторов, причем и таких, о которых не было речи в Университете ни на ординариях, ни на диспутах. У Катулла, Марциала, Кальпурния нашли мы, навсегда непревосходимые, образцы красоты и вкуса, до сих пор ярко живущие в моей памяти, а в творениях богоподобного Платона заглянули

в самые глухие глубины человеческой мудрости, не все понимая, но всем потрясенные. В сочинениях нашего века, менее совершенных, но более нам близких, научились мы сознавать то, что уже раньше, не имея слов, жило и роилось в нашей душе. Мы увидели свои собственные, до тех пор еще туманные, взгляды, – в неистоцимо-забавной «Похвале Глупости», в остроумных и благородных, что бы там ни говорили, «Разговорах», в мощном и неумолимом «Торжестве Венеры» и в тех «Письмах темных людей», которые мы не раз перечли от начала до конца и которым сама древность может противопоставить разве одного Лукиана[13].

Между тем то были те самые времена, о которых теперь говорят: кто в 23 году не умер, в 24 не утонул, а в 25 не был убит, – должен благодарить бога за чудо. Но нас, занятых беседами с благороднейшими умами, почти не увлекали черные бури современности. Мы несколько не сочувствовали нападению на Трир рыцаря Франца фон Зикингена[14], которого некоторые прославляли как друга лучших людей, но который на деле был человек

старого закала, из числа разбойников, ставящих дешевой ставкой свою голову, чтобы ограбить проезжего. Наш архиепископ дал отпор насильнику, показав, что времена Флоризеля Никейского[15] стали дедовскими преданиями. Точно так же, когда два следующих года по всем немецким землям, словно в сатанинской пляске, проносились народные мятежи и буйства и в нашем городе только и разговоров было, что об исходе восстаний, мы наших занятий не нарушали. Мечтателю Фридриху сначала казалось, что эта огненная и кровавая буря поможет установить в нашей стране больше порядка и справедливости, но скоро и он уверился, что ждать нечего от немецких крестьян, слишком еще диких и невежественных. Все свершившееся оправдало горькие слова одного из писателей: *rustica gens optima flens pessima gaudens*[16].

Некоторые раздоры вызывали между нами первые слухи о Мартине Лютере, этом «непобедимом еретике» [17], имевшем уже тогда немало сторонников среди владетельных князей. Уверяли, будто девять десятых Германии восклицало в те дни «Да здравствует Лю-

тер», а позднее, в Испании, говорили, что у нас религия меняется, как погода, и майский жук летает между тремя церквями. Меня лично нисколько не занимал спор о благодати и пресуществлении, и я никогда не понимал, как Дезидерий Эразм, этот единственный гений, мог интересоваться монашескими проповедями. Сознывая вместе с лучшими людьми современности, что вера заключается в глубине сердца, а не во внешних проявлениях, я по тому самому, ни в юности, ни в возрасте зрелом, никогда не чувствовал затруднения ни в обществе добрых католиков, ни среди исступленных лютеранцев. Напротив, Фридрих, которого в религии на каждом шагу пугали мрачные пропасти, находил какое-то непонятное мне откровение в книжках Лютера, правда, цветистых и не лишенных силы слога, – и наши споры переходили порой в обидные ссоры.

В начале 26 года, тотчас после святой Пасхи, приехали к нам в дом сестра Луиза с мужем. Жизнь при них стала для меня совсем нестерпима, так как они без усталости осыпали меня упреками за то, что в двадцать лет оста-

юсь я ярмом на плечах отца и жерновом на очах матери. Около того же времени рыцарь Георг фон Фрундсберг, славный победитель французов[18], по поручению императора, вербовал в наших краях рекрутов. Тогда пришло мне на ум стать вольным ландскнехтом, так как не видел я другого способа изменить свою жизнь, которая готова была застояться, как воды пруда. Фридрих, мечтавший было, что я сделаюсь видным писателем, – ибо оба мы с ним делали опыты подражать нашим любимым авторам, – очень опечалился, но не нашел доводов разубедить меня. Я объявил отцу, решительно и настойчиво, что выбираю военное ремесло, ибо мне более пристал меч, чем ланцет. Отец, как я и ожидал, пришел в гнев и запретил мне и думать о военном деле, сказав: «Всю жизнь я поправлял человеческие тела и не хочу, чтобы мой сын уродовал их». Своих денег, чтобы купить вооружение и одежду, не было ни у меня, ни у моего друга, и потому я решил покинуть родной кров тайно. Ночью, помнится, на 5 июня, незаметно вышел я из дому, взяв с собой 25 рейнских гульденов. Мне очень запомнилось, как Фридрих,

проводив меня до выхода в поле, обнял меня, – увы, последний раз в жизни! – плача, у серой ветлы, бледный, в лунном озарении, как мертвец.

Я в тот день не чувствовал на сердце тяготы разлуки, так как сияла передо мной, как глубь майского утра, новая жизнь. Был я молод и силен, вербовщики приняли меня без спора, и я вступил в итальянское войско Фрундсберга. Все легко поймут, что потянувшиеся затем дни были не легки для меня, если только вспомнят, что такое наши ландскнехты: люди – буйные, грубые, неученые, щеголяющие пестротой одежды да затейливостью речи, ищущие только, как бы напиться пьянее да поживиться получше добычей. Почти страшно было после утонченных, как игла, шуток Марциала или возвышенных, как полет коршуна, соображений Марсилио Фичино[19] участвовать мне в безудержных забавах новых сотоварищей, и иногда казалась мне тогда моя жизнь сплошным удушливым сном. Но начальники мои не могли не заметить, что я отличаюсь от товарищей и знаниями и обхождением, а так как я притом

хорошо владел аркебузой и не гнушался никаким делом, – то меня всегда отличали и поручали мне должности, более мне подходящие.

Ландскнехтом совершил я весь трудный поход в Италию, когда приходилось в зимнюю стужу переходить через снежные горы, идти вброд через реки по горло в воде и по целым неделям стоять лагерем в топкой грязи. Тогда же я участвовал во взятии приступом, соединенными испанскими и немецкими войсками, Вечного города, 6 мая 27 года. Мне довелось своими глазами видеть, как озверевшие солдаты грабили церкви Рима, совершали насилия в женских монастырях, ездили по улицам, надев митры, на папских мулах, бросали в Тибр Святые Дары и мощи святых, устроили конклав и провозгласили папой Мартина Лютера. После того я около года провел в разных городах Италии, ближе узнав жизнь страны, истинно просвещенной, остающейся блистающим образцом для других. Это дало мне возможность ознакомиться с пленительными созданиями современных итальянских художников, столь опередив-

ших наших, кроме разве единственного Альбрехта Дюрера, – в том числе и с произведениями вечно оплакиваемого Рафаэля д’Урбино, достойного его соперника Себастиано дель Пиомбо, молодого, но всеобъемлющего гения Бенвенуто Челлини, с которым нам пришлось столкнуться и как с врагом, и несколько пренебрегающего красотой форм, но все же сильного и своеобычного Микель-Анджело Буонаротти[20].

Весною следующего года лейтенант испанского отряда, дон Мигуэль де Гамес, приблизил меня к себе, как медика, ибо я уже несколько освоился с испанским языком. Вместе с доном Мигуэлем пришлось мне отправиться в Испанию, куда он был послан с тайными письмами к нашему императору, и эта поездка определила всю мою судьбу. Найдя двор в городе Толедо, мы повстречали там и величайшего из наших современников, героя, равного Аннибалам, Сципионам и другим мужам древности, – Фердинанда Кортеса, маркиза дель Валье-Оахаки[21]. Прием, устроенный гордому завоевателю царств, а также рассказы людей, прибывших из страны, увле-



кательно описанной Америго Веспуччи, убедили меня искать счастья в этой обетованной для всех неудачников земле[22]. Я присоединился к одной дружеской экспедиции, которую затеяли немцы, поселившиеся в Севилье, и поплыл с легким сердцем через океан.

В Вест-Индии первоначально поступил я на службу к Королевской Аудиенсии[23], но вскоре, убедившись, сколь недобросовестно и неискусно ведет она дела и как несправедливо относится к дарованиям и заслугам, предпочел исполнять поручения тех немецких торговых домов, которые имеют свои отделения в Новом Свете, преимущественно Вельзеров, владеющих на Сан-Доминго медными рудниками, но также и Фуггеров, Эллингеров, Кромбергеров, Тецелей[24]. Я совершил четыре похода на запад, на юг и на север, в поисках за новыми жилами руды, за россыпями драгоценных камней, – аметистов и изумрудов, – и за месторождением дорогих деревьев: дважды под начальством других лиц, а дважды лично руководя отрядом. Таким образом исходил я все страны от Чикоры до гавани Тумбес[25], проводя долгие месяцы среди тем-

нокожих язычников, видел в туземных бревенчатых столицах такие богатства, пред которыми все сокровища нашей Европы ничто, и несколько раз избежав нависавшей гибели почти что чудом. Пришлось мне изведать и жестокие душевные потрясения в любви к одной индейской женщине, под темной кожей скрывавшей сердце привязчивое и страстное, но было бы здесь неуместно рассказывать о том подробнее. Скажу кратко: как тихие дни, проведенные за книгами с милым Фридрихом, воспитали мою мысль, так тревожные годы странствий закалили на огне испытаний мою волю и дали мне самое драгоценное качество мужчины: веру в себя.

Конечно, ошибочно воображают у нас, что за океаном золото надо просто, нагибаясь, подбирать на земле, но все же, проведя пять лет в Америке и Западной Индии, я, благодаря неуклонному труду, и не без поддержки счастья, собрал достаточные сбережения. Тогда-то овладела мною мысль поехать вновь в немецкие земли, не с тем, чтобы мирно поселиться в нашем, словно дремотном, городке, но не без суетного намерения похвалиться

своими успехами перед отцом, который не мог не считать меня бездельником, его обокравшим. Не скрою, впрочем, что я испытывал и язвительную тоску, которой никогда не ожидал, по родным горам, где я, бывало, озлобленный, бродил с самострелом, и что страстно желал я увидеть как свою добрую мать, так и своего покинутого друга, ибо еще надеялся застать его живым. Однако у меня уже тогда было твердое решение, посетив родное селение и восстановив связи с семьей, вернуться в Новую Испанию, которую почитаю своим вторым отечеством.

Ранней весной 34 года отплыл я на корабле Вельзеров из гавани Вилла Рика де ла Вера-Крус и после бурного и трудного плавания прибыл в богатый Антверпен. Несколько недель ушло у меня на выполнение разных принятых на себя поручений, и только в августе месяце мог я, наконец, пуститься в путь в Прирейнскую область. С этого времени, собственно, и начинается мой рассказ.

## Глава первая

### **Как я в первый раз встретился с Ренатой и как она рассказала мне всю свою жизнь**

**И**з Нидерланд решил я отправиться сухим путем и выбрал дорогу через Кельн, так как мне хотелось увидеть еще раз этот город, где я знавал немало привлекательных часов. За тридцать испанских эскудо[26] купил я себе добрую лошадь, которая без труда могла везти меня и мои вещи, но, опасаясь разбойников, постарался принять облик небогатого моряка. Пестрое и сравнительно роскошное платье, которым щеголял в пышном Брабанте, я сменил на простую матросскую одежду темно-коричневого цвета и перевязал шаровары у колен. Не расстался я только со своей надежной длинной шпагой, потому что полагался на нее не менее, чем на святую Гертруду, покровительницу всех путешественников по суше. На дорожные издержки я оставил себе малую сумму денег в серебряных иоахимсталерах, а сбережения зашил внутри широ-

кого пояса, в золотых пистолях.

Через пять дней приятного пути, со случайными попутчиками, ибо ехал я без лишней торопливости, переправился я через Мас в Венло. Не скрою, что овладело мною несколько недостойное мужчины волнение, когда достиг я местностей, где замелькали передо мною немецкие одежды и слуха моего, так привычно, коснулась бойкая родная речь! Выехав из Венло рано, рассчитывал я к вечеру добраться до Нейсса, почему попрощался в Фирзене со своими спутниками, желавшими заехать в Гладбах, и свернул, уже один, на Дюссельдорфскую дорогу. Так как надо было спешить, то стал я понукать лошадь, но она, споткнувшись, зашибла о камень бабку — и это ничтожное происшествие повело за собой, как прямая причина, длинный ряд поразительных событий, какие мне пришлось пережить после того дня. Но я уже давно заметил, что только ничтожные случаи бывают первыми звеньями в цепи тяжелых испытаний, которую незримо и беззвучно кует порою для нас жизнь.

На хромавшей лошади я мог подвигаться

вперед лишь медленно и был еще задалеко от города, когда стало уже плохо видно в сером сумраке, а с травы поднялся едкий туман. Я проезжал в это время густым, буковым лесом и не без опаски помышлял о ночлеге в местности, мне совершенно незнакомой, как вдруг с поворота увидел, у самого края дороги, на небольшой просеке, весь скривившийся деревянный домик, одинокий, словно заблудившийся там. Ворота его были плотно заперты, и нижние окна походили скорее на большие бойницы, но под крышей болталась на веревке полуразбитая бутылка, указывавшая, что это – гостиница, и, подъехав, я начал колотить в ставню рукоятью шпаги. На мой решительный стук и на ожесточенный лай собаки выглянула хозяйка дома, но долго отказывалась впустить меня, расспрашивая, кто я и зачем еду. Я, совсем не подозревая, какого будущего сам добиваюсь для себя, настаивал с угрозами и бранью, так что наконец мне отперли дверь, а лошадь мою отвели в стойло.

По шаткой лестнице, в темноте, меня проводили в маленькую каморку второго этажа,

узкую и неравномерную в ширину, как футляр для виолы. В то время как в Италии, даже в самых дешевых гостиницах, можно найти и мягко постланную постель, и вкусный ужин с бутылкою вина, у нас проезжающим – кроме богачей, везущих за собой на мулах десятки набитых тюков, – все еще приходится довольствоваться черным хлебом, плохим пивом и ночлегом на старой соломе. Душным и тесным показался мне первый мой приют на родине, особенно после чистых, точно полированных спален в домиках тех нидерландских купцов, к которым доступ открывали мне рекомендательные письма. Но я знал и худшие ночи во время трудных странствий по Анагуаку[27], так что, покрывшись своим кожаным плащом, постарался поскорее с головою уйти в сон, не слушая, как в нижней зале пьяный голос напевал новую песенку, слова которой, однако, запомнились мне:

*Ob dir ein Dirn gefelt,  
So schweig, hastu kein Gelt[28].*

Как бы я тогда был изумлен, засыпая, если

бы некий пророческий голос сказал мне, что то был последний вечер одной моей жизни, за которым должна была начаться для меня жизнь другая! Моя судьба, перенеся меня через океан, задержала в пути ровно нужное число дней и подвела, словно к назначенной заранее мете, к далекому от города и деревень дому, где ждало меня роковое свидание. Какой-нибудь ученый монах-доминиканец увидел бы в этом явный промысл божий; ярый реалист нашел бы повод скорбеть о сложной связи причин и следствий, не укладывающихся в вертящихся кругах Раймунда Луллия[29]; а я, когда думаю о тысячах и тысячах случайностей, которые были необходимы, чтобы в тот вечер оказался я на пути в Нейсе, в бедной придорожной гостинице, – теряю всякое различие между вещами обычными и сверхъестественными, между *miracula* и *natura*. Полагаю только, что первая моя встреча с Ренатою по меньшей мере столь же чудесна, как все необыкновенное и потрясающее, что впоследствии пережили мы с нею вместе.

Полночь, наверное, уже давно миновала,



когда я внезапно проснулся, разбуженный чем-то для меня неожиданным. В моей комнате было достаточно светло от синевато-серебряного света луны, и кругом стояла такая тишина, словно вся земля и самые небеса умерли. Но затем, в этом безмолвии, различил я в соседней комнате, за дощатой перегородкой, женский шепот и слабые вскрики. Хотя дельная пословица и говорит, что путешественнику довольно заботы о своей спине и нечего жалеть о чужих плечах, и хотя никогда не отличался я чрезмерной чувствительностью, но с детства свойственная мне любовь к приключениям не могла не увлечь меня на защиту обиженной женщины, на что, как человек, прошедший в боях целые годы, имел я рыцарское право[30]. Встав с постели и наполовину высвободив из ножен шпагу, вышел я из своей комнаты и в темном проходе, в котором оказался, легко разыскал дверь, за которой слышался голос. Громко я спросил, не нуждается ли кто в покровительстве, и, когда повторил эти слова во второй раз и никто не отозвался, ударил в дверь и, сломав слабую задвижку, вошел.

Тогда-то я увидел в первый раз Ренату.

В такой же неприветливой комнате, как моя, и тоже озаренной достаточно ясно месячным сиянием, стояла, в потрясающем страхе, распластанная у стены, женщина, полураздетая, с распущенными волосами. Никакого другого человека здесь не было, потому что все углы были освещены отчетливо и тени, лежащие на полу, резки и ясны; но она, словно кто наступал на нее, простирала вперед руки, закрывая себя. И в этом движении было что-то до крайности устрашающее, ибо нельзя было не понять, что ей угрожает невидимый призрак. Заметив меня, женщина вдруг, с новым вскриком, кинулась мне навстречу, опустилась на колени передо мною, словно я был посланцем с неба, охватила меня судорожно и сказала мне, задыхаясь:

– Наконец, это ты, Рупрехт! У меня нет более сил!

Никогда до того дня не встречались мы с Ренатой, и она видела меня столь же в первый раз, как я ее, и, однако, она назвала меня по имени так просто, как если бы мы были друзьями с детских лет. Впоследствии сообра-

зил я, что она могла услышать мое имя, когда я называл себя хозяйке гостиницы, но тогда был я поражен крайне. Однако, постаравшись, по примеру стойков, не выказать нисколько удивления, спросил я эту неизвестную женщину, коснувшись осторожно ее плеча, правда ли, что ее преследует видение. Но она не в силах была отвечать мне, то рыдая, то смеясь, и только указывала дрожащею рукою туда, где для моих глаз не было ничего, кроме лунного луча. Я не должен отказываться здесь, что необычность всей обстановки и сознание близости нечеловеческих сил – охватили все мое существо темным ужасом, которого я не испытывал с раннего отрочества. Больше, чтобы успокоить безумную даму, чем потому, чтобы я сам верил в это средство, я обнажил совершенно шпагу и, взяв ее за лезвие, устремил перед собою крестообразным эфесом, так как слышал, что таким движением можно оборонить себя от приступов злой силы. Женщина же, затрепетав, словно в предсмертном борении, вдруг упала ниц.

Я не почел приличным для своей чести бежать оттуда, хотя и понял скоро, что злой де-

мон овладел этой несчастной и начал страшно пытаться ее изнутри. Никогда до того дня не видел я таких содроганий и не подозревал, что человеческое тело может изгибаться так невероятно[31]! На моих глазах женщина то вытягивалась мучительно и против всех законов природы, так что шея ее и грудь оставались твердыми, как дерево, и прямыми, как трость; то вдруг так сгибалась вперед, что голова и подбородок сближались с пальцами ног, и жилы на шее чудовищно напрягались; то, напротив, она удивительно откидывалась назад, и затылок ее был выворочен внутрь плеч, к спине, а бедра высоко подняты. Позднее я несколько раз бывал свидетелем таких мучений Ренаты, каким подвергали ее нападавшие на нее демоны, но в тот день зрелище ужаснуло меня своей новизной. Я смотрел на страдания и корчи незнакомой мне женщины, словно обращенный, вместе с женою Лота, в некий столп, не двигаясь с места, ибо не знал совершенно, чем мог бы тут оказать помощь или облегчение.

Понемногу женщина перестала биться о жесткие доски пола, и искаженные черты ее

лица понемногу стали осмысленнее; но она все еще сгибалась в судорогах, опять прикрывая себя руками, как от врага. Тогда, предположив, что Дьявол вышел из нее и находится вне ее тела, я, привлекая женщину к себе, стал говорить слова святой молитвы, «*Libera me, Domine, de morte aeterna*» [32], единственной, которая тогда мне пришла на память. Тем временем месяц уже закатывался за вершины леса, и по мере того как утренний сумрак завладевал комнатой, передвигая тень от стены к окну, женщина, лежавшая в моих руках, приходила в себя. Но темнота веяла на нее, словно холодная трамонтана Пиренейских гор, и она вся дрожала, как от зимней стужи.

Я спросил, удалился ли призрак.

Открыв глаза и обведя ими комнату, как после обморока, дама отвечала мне:

– Да, он рассеялся, видя, что мы хорошо вооружены против него. Он не может посягнуть на твердую волю.

Это были вторые слова, которые услышал я от Ренаты. Сказав их, она начала плакать, дрожа в лихорадке, и плакала так, что слезы

безудержно лились у нее по щекам и мои пальцы стали совсем влажными. Видя, что дама не согреется на полу, я, несколько успокоенный, поднял ее без труда на руки, ибо она была маленького роста и исхудалая, и перенес на постель, стоявшую подле. Там я укрыл ее, чем мог найти в комнате, и уговаривал спокойными словами.

Но она, все продолжая плакать, перешла вдруг к новому волнению и, схватив меня за руку, сказала:

– Теперь, Рупрехт, я должна рассказать тебе всю мою жизнь, потому что ты спас меня и должен знать обо мне все.

Я попытался возразить, что теперь не время для такого повествования, но Рената, как казалось, даже не расслышала моих слов и, крепко сжимая мои пальцы, однако смотря в сторону от меня, начала говорить быстро-быстро. Первое время я почти не понимал ее речи, с такой стремительностью сменялись у нее мысли и так неожиданно переходила она от одного предмета к другому. Но постепенно научился я различать основное течение в неудержимом потоке ее слов и понял,

что она действительно рассказывает мне о себе.

Никогда после, даже в дни самой доверчивой нашей близости, не передавала мне Рената с такой последовательностью истории своей жизни. Правда, и в ту ночь она не только умолчала о своих родителях и о месте, где прошло ее детство, но даже, как мне пришлось потом с несомненностью убедиться, многие позднейшие события частью утаила, частью изложила неверно, — не знаю, намеренно ли, или по болезненному своему состоянию. Однако все же я долгое время знал о Ренате только то немногое, что сообщила она мне в этом горячечном рассказе, почему и должен передать его здесь подробно. Только я не сумею точно воспроизвести ее беспорядочную речь, торопливую и несвязную, которую должен буду заменить своим более последовательным повествованием.

Назвав свое имя, то единственное, под которым я ее знаю, и упомянув о первых годах своей жизни так бегло и неясно, что слова ее не удержались в моей памяти, Рената тотчас перешла к тому происшествию, которое сама

считала для себя роковым.

Было Ренате лет восемь, когда впервые явился ей в комнате, в солнечном луче, ангел, весь как бы огненный, в белоснежной одежде. Лицо его блистало, глаза были голубые, как небо, а волосы словно из тонких золотых ниток. Ангел назвал себя – Мадизэль. Рената нисколько не испугалась, и они играли в тот день с ангелом в куклы. После того ангел стал приходить к ней часто, почти каждый день, всегда был весел и добр, так что девочка полюбила его больше всех своих родных и сверстниц. С неистощимой изобретательностью забавлял Мадизэль Ренату шутками или рассказами, а когда она бывала огорчена, утешал нежно. Иногда с Мадизэлем появлялись его товарищи, тоже ангелы, но не огненные, одетые в плащи пурпурного и лилового цвета; но они были менее ласковы. Строго запрещал Мадизэль рассказывать о своих тайных посещениях, да если Рената и нарушала его требование, ей все равно не верили, думая, что она выдумывает или притворяется.

Не всегда Мадизэль показывался в облике ангела, но часто и в других образах, особенно



если Ренате мало приходилось оставаться одной. Так, летом Мадизель не раз прилетал большой огненной бабочкой с белыми крыльями и золотыми усиками, и Рената прятала его в своих длинных волосах. Зимой иногда принимал ангел форму прялки, чтобы девочка могла неразлучно носить его всюду с собой. Еще узнавала Рената своего небесного друга то в сорванном цветке, то в уголке, выпавшем из очага, то в разгрызенном орешке. Порой вечером ложился Мадизель в постель с Ренатою и проводил с ней, прижимаясь, как кошка, время до утра. В такие ночи случалось, что ангел уносил Ренату на своих крыльях далеко от дому, показывал ей другие города, славные соборы или даже неземные, лучезарные селения, – на рассвете же она, сама не зная как, всегда оказывалась на своей кровати.

Когда Рената несколько подросла, Мадизель возвестил ей, что она будет святой, как Лотарингская Амалия[33], и что именно затем он и послан к ней. Он много говорил ей о жертве Иисуса Христа, о блаженной покорности Девы Марии, о сокровенных путях к запечат-

ленным вратам земного рая, о святой Агнессе, неразлучной с кротким агнцем, о святой Веронике, вечно предстоящей пред образом Спасителя, и о многих других лицах и вещах, которые могли навести только на благочестивые размышления. По словам Ренаты, если и были у нее прежде сомнения, правда ли, что ее таинственный гость – посланник неба, они не могли не рассеяться дымом после этих речей, так как слуга Сатаны, конечно, не мог бы произносить такого количества святых имен без крайнего для себя мучения. Мадизэль же однажды сам явился Ренате во образе Христа Распятого, и из его огненных, пронзенных рук струилась багрово-огненная кровь.

Ангел усердно заклинал Ренату вести строгую жизнь подвижницы, искать чистоты сердца и просветления ума, и она начала соблюдать все постные дни, установленные святой церковью, посещать каждый день мессу и много молиться наедине, в своей комнате, перед изображением распятия. Нередко Мадизэль заставлял Ренату подвергать себя жестоким испытаниям: выходить обнаженной на холод, голодать и воздерживаться от питья по

нескольку суток подряд, бичевать себя узловатыми веревками по бедрам или терзать себе груди остриями. Рената проводила по целым ночам на коленях, а Мадизэль, оставаясь подле, укреплял изнемогающую, как ангел Спасителя в саду Гефсиманском. По усиленной просьбе Ренаты коснулся Мадизэль ее рук, и у нее на ладонях означились язвы, как бы знаки Христовых крестных мук, но она эти раны скрывала ото всех людей тщательно. В те дни, благодаря божественной помощи, открылся у Ренаты дар чудотворения, и она исцеляла многих, словно благочестивейший король французский[34], одним прикосновением руки, так что во всей округе слыла девушкой, весьма угодной господу.

Придя в возраст и видя, что девушки ее лет имеют женихов или возлюбленных, Рената приступила к своему ангелу с настойчивой просьбой, чтобы он сочетался с нею и телесно, так как, по его собственным словам, выше всего любовь, а что может быть грешного, если любящие будут связаны сколь можно теснее? Мадизэль живо опечалился, когда Рената высказала ему свои страстные пожелания:

его лицо – так она рассказывала – стало при ее словах пепельно-огненным, словно солнце, на которое смотришь сквозь закопченную слюду. Он твердо воспретил Ренате даже думать о плотском, напоминая ей о безмерном блаженстве праведных душ в раю, куда не может вступить никто, предававшийся плотским соблазнам. Рената, не посмеив настаивать открыто, порешила достичь своей цели хитростью. Как в дни детства, упростила она Мадиеля провести с нею ночь в постели, и там, обняв его и не выпуская из рук, всеми путями принуждала соединиться с собой. Но ангел, исполняясь великим гневом, развился в огненный столп и исчез, опалив Ренате плечи и волосы.

После того ангел много дней не являлся во все, и Рената пришла в крайнее уныние, потому что любила Мадиеля больше всех людей, больше всех бесплотных существ и самого Господа Бога. Дни и ночи проводила она в слезах, всех окружающих изумляя своим неутешным отчаяньем, лежала долгими часами как мертвая, билась головой о стены и даже искала добровольной смерти, думая хотя

на единый миг в другой жизни увидеть своего возлюбленного. Неотступно обращала она к Мадизэлю мольбы, заклиная его вернуться к ней, обещая торжественно во всем подчиняться его благим решениям, только бы снова ощущать его близость. Наконец, когда силы уже покидали Ренату, показался ей Мадизэль в сновидении и сказал: «Так как ты хочешь быть со мною в телесном союзе, то я явлюсь тебе в образе человека; жди меня семь недель и семь дней».

Приблизительно через два месяца после этого видения узнала Рената приехавшего в их местность молодого графа из Австрии. Одевался он в белые одежды; глаза у него были голубые, а волосы словно из тонких золотых ниток, так что Рената тотчас признала, что это – Мадизэль. Но приехавший не хотел показать, что они знают друг друга, и называл себя графом Генрихом фон Оттергейм. Рената всеми способами стремилась привлечь на себя его внимание, не отказываясь даже от пособий ворожеи и приворотных зелий. Неизвестно, эти ли средства помогли, или граф сам искал Ренату, только он открылся ей в

сердечной любви и потребовал, чтобы она покинула с ним тайно родительский кров. Рената не могла колебаться ни одной минуты, и граф ночью увез ее и поселился с нею, по ее словам, в своем родном замке, на реке Дунае.

В замке графа Рената провела два года, и за это время они были так счастливы, как никто в мире после грехопадения нашего праотца в раю. Жизнь их всегда была близка к миру ангелов и демонов, и были они заняты великим делом, которое должно было принести счастье всем людям на земле. Печалило Ренату только одно: Генрих ни за что не хотел сознаться, что он – Мадизель и ангел, упорно выдавая себя за верного подданного герцога Фердинанда[35]. Однако к концу второго года их жизни душой Генриха внезапно овладели темные мысли; он стал сумрачным, унылым, печальным и однажды ночью, совершенно неожиданно, не предупреждая никого, покинул свой замок, уехав неизвестно куда. Рената ждала его несколько недель; но без своего руководителя не умела она защищаться от нападения злых духов, и они стали мучить ее беспощадно. Не желая оставаться в замке, где

она не была хозяйкой, Рената порешила уйти и вернуться к родителям. Враждебные силы не оставляли ее и на пути, преследовали в поле и на ночлегах, но в то же время добрые духи-покровители всячески обороняли ее и предупреждали, что скоро она повстречает рыцаря Рупрехта, который будет истинным защитником ее жизни.[36]

Так рассказывала Рената, и я думаю, что речь ее заняла много больше часа, хотя я и передал теперь все гораздо короче. Говорила Рената не глядя на меня, не ожидая от меня ни возражений, ни согласия, словно даже обращаясь не ко мне, а исповедуясь пред незримым духовником. Передавая о таких событиях, какие, без сомнения, потрясли ее жестоко, или сообщая о вещах, которые многим показались бы постыдными и которые большинство женщин предпочло бы утаить, не выказывала она ни волнения, ни стыда. Я должен заметить, что первая половина рассказа Ренаты, хотя сначала она говорила непоследовательнее и сбивчивее, запомнилась мне отчетливо. Напротив, все, что случилось с нею после ее бегства из родительского дома, оста-

лось для меня тогда очень неясным. Впоследствии узнал я, что именно в этом месте своей повести она особенно многое утаила и особенно многое передала несогласно с действительностью.

Едва проговорив последние слова, Рената вдруг вся ослабла, точно сил у нее было ровно столько, чтобы произнести все до конца. Она перевела на меня удивленный взгляд, потом глубоко вздохнула, поникла лицом на подушку и закрыла глаза. Я хотел встать с ее ложа, но она, ласково охватив меня руками, нежным насилием заставила лечь с нею рядом. Я уже не удивлялся ничему более в ту необычайную ночь и, повинувшись, опустился на постель около этой тогда совсем незнакомой мне женщины, не зная, как мне к ней относиться. Она любовно обвила мою шею и, прижавшись ко мне своим почти обнаженным телом, тотчас заснула, глубоко и безмятежно. Было уже светло от голубых лучей рассвета, и, после испытанного, я почти смеялся, видя, как лежим мы двое, чужие, в незнакомой гостинице, в лесной глуши, обнявшись, в одной постели, словно в родном доме сестра и брат.



Когда я убедился, что Рената спит покойно, я осторожно высвободился из ее объятий, так как чувствовал необходимость освежить голову и остаться наедине. Внимательно посмотрел я в лицо спящей, и оно мне явилось нежным и невинным, как детские лики на картинах брата Беато Анжелико во Фьезоле, и почти невероятным мне показалось, что этой женщиной еще так недавно владел Дьявол. Тихо вышел я из комнаты, надел свою высокую шляпу и спустился вниз, а так как в доме все еще спали, сам отодвинул засов у двери и оказался прямо в лесу. Там пошел я уединенной тропинкой среди тяжелых буковых стволов, которые были мне милее, чем стройные пальмы или бакауты Америки, слушая раннее щебетание наших птиц, звучавшее мне как понятный язык.

Я никогда не принадлежал к числу людей, которые, следуя философам перипатетической школы, утверждают, что в природе нет бесплотных духов, отрицая существование демонов и даже святых ангелов. Я всегда находил, хотя до встречи с Ренатою и не был очевидцем ничего чудесного в жизни, что са-

мое наблюдение и опыт, эти первые основания всякого разумного знания, доказывают неопровержимо присутствие в нашем мире, рядом с человеком, других духовных сил, которые христианами признаются за бесплотное воинство Христово и за служителей Сатаны. Помнил я также слова Лактанция Фирмиана[37], уверяющего, что иногда ангелы-хранители соблазняются прелестью тех девушек, души которых они должны бы оберегать от греха. Однако многие подробности в странном рассказе Ренаты с самого начала представились мне маловероятными и не допускающими признания. Видя, что встреченная мною женщина действительно находится во власти дьявольской, не знал я, где кончались обманы злого духа и где начиналась ложь ее слов.

Так, мучаясь догадками и недоразумениями, бродил я довольно долго по тропам незнакомого леса, и солнце поднялось уже высоко, когда я вернулся к придорожной гостинице, где провел ночь. У ворот стояла хозяйка дома, женщина дородная, с красным лицом, сурового вида, похожая больше на

предводительницу разбойников, которая, однако, признав меня, приветствовала учтиво, называя господином рыцарем. Я решил воспользоваться услужливым случаем, чтобы разведать о непонятной даме, и, подойдя ближе, спросил, голосом беспечным, словно бы мне хотелось лишь поболтать от нечего делать, – кто та женщина, комната которой была рядом с моей.

Вот, приблизительно слово в слово, то неожиданное, что ответила мне хозяйка гостиницы:

– Ах, господин рыцарь, лучше не спрашивайте про нее, потому что это мое доброе сердце заставило меня, может быть, совершить смертный грех, давая приют еретичке и подписавшей договор с Дьяволом! Она хотя нездешняя, но я знаю ее историю, потому что мне все рассказал один хороший мой приятель, странствующий купец из их мест. Женщина эта, которая прикидывается скромницей, на деле просто потаскушка и разными происками проникла в доверие графа Оттергейма, человека из самой благородной семьи, чей замок пониже Шпейера, на Рейне. Так

она околдовала молодого графа, еще в раннем детстве лишившегося родителей, людей достойных и чтимых, что он, вместо того чтобы взять себе добрую жену и служить господину своему, курфюрсту Пфальцскому, занялся алхимией, магией и другими черными делами. Поверите ли, что с того дня, как поселилась у него в замке эта девка, они каждую ночь перекидывались – он в волка, а она в волчиху – и бегали по окрестностям; сколько за это время загрызли детей, жеребят и овец – сказать трудно[38]! Потом они наводили порчу на людей, лишали коров молока, вызывали грозу, губили урожай у своих врагов и совершали чародейской силой сотни других злодейств. Только вдруг графу в видении явилась святая Кресценция Дидрихская[39] и обличила все его грешное поведение. Тогда граф принял на себя крест и ушел босым ко святому Гробу Господню, а свою сожительницу приказал слугам прогнать из замка, и она пошла, скитаясь из селения в селение. Если я дала ей убежище, господин рыцарь, то только потому, что ничего тогда из этого не знала, но, видя теперь, как она тоскует и стонет днем и но-

чью, так как грешная ее душа не может успокоиться, не буду я ее держать у себя более ни одних суток, потому что не желаю быть пособницей Врага человеческого!

Эта речь домовой хозяйки, сказавшей еще много другого, поразила меня крайне, ибо не мог я не увидеть тотчас, как во многом обманывала меня моя ночная собеседница. Так, например, рассказывая мне ночью свою жизнь, уверяла она меня, будто замок ее друга стоял в Австрийском эрцгерцогстве, тогда как из слов хозяйки выходило, что этот замок был поблизости, на нашем Рейне. Мне представилось тогда, что моя соседка по комнате, заметив во мне человека приезжего и простого моряка, пожелала надо мной посмеяться, и эта мысль так отуманила мне голову негодованием, что я позабыл даже явные знаки одержания несчастной Дьяволом, чему был сам недавним свидетелем.

Но пока стоял я перед хозяйкой, продолжавшей свои жалобы, и не знал, что предпринять, вдруг раскрылась дверь дома, и появилась на пороге сама Рената. Она одета была в длинный плащ из шелка, синего цвета, с ка-

пюшоном, который покрывал ей лицо, и в розовую кофту с белыми и темно-синими украшениями – как одеваются благородные дамы в Кельне. Держала она себя гордо и свободно, как герцогиня, так что я едва узнал в ней мою ночную бесноватую. Найдя меня глазами, Рената прямо направилась ко мне, своей легкой походкой, напоминавшей полет, и, когда я снял перед дамой шляпу, она сказала мне торопливо, но повелительно:

– Рупрехт! нам надо ехать отсюда сейчас же, немедленно. Я более не могу оставаться здесь ни одного часа.

При звуке голоса Ренаты сразу исчезли из моей головы все рассуждения, только что роившиеся там, а из души то чувство негодования, которым я был полн за минуту пред тем. Слова этой женщины, еще вчера мне совершенно незнакомой, представились мне внезапно приказом, которого послушаться невозможно. И когда хозяйка гостиницы, вдруг переменяя свой вежливый голос на очень грубый, стала требовать с Ренаты должных ей за комнату денег, я без малейшего колебания тотчас сказал, что все будет по справедливо-

сти уплачено. Потом я спросил Ренату, есть ли у нее лошадь, чтобы продолжать путь, так как в этой глуши, конечно, не легко разыскать хорошую.

– У меня нет лошади, – сказала мне Рената, – но отсюда недалеко до города. Ты можешь посадить меня на свое седло и вести коня на поводу. В городе же нетрудно будет купить другую лошадь.

Эти распоряжения Рената отдала с такой уверенностью, как если бы между нами уже было условлено, что я должен служить ей. И всего замечательнее, что я, в ответ на эти слова, только поклонился и пошел в свою комнату – сделать последние приготовления к отъезду.

Только очутившись наедине, я вдруг опомнился и с изумлением спросил себя, почему я так покорно принял роль, предложенную мне моей новой знакомой. Одно время подумал я, что она повлияла на меня каким-либо тайным магическим средством. Потом, посмеявшись в душе над своей легковерностью, я, чтобы оправдаться перед самим собою, сказал себе так:

«Что за беда, если я истрачу несколько денег и несколько лишних дней в пути! Эта девушка привлекательна и стоит такой жертвы; а я после трудностей путешествия могу позволить себе обычное развлечение. К тому же она вчера забавлялась мною, и надо показать ей, что я не такой неуч и невежда, каким она меня почитает. Теперь я позабавлюсь с нею в пути, пока она мне не наскучит, а после брошу ее. А до того, что ее преследует Дьявол, мне нет особого дела, и я не побоюсь никакого демона в сношениях с красивой женщиной, если не боялся краснокожих с их отравленными стрелами».

Постаравшись убедить себя, что моя встреча с Ренатой только забавное приключение, одно из тех, о которых мужчины, посмеиваясь, рассказывают приятелям в пивных домах, я нарочно с важностью пощупал свой тугой и тяжелый пояс и напомнил себе песенку, которую слышал вечером:

*Ob dir ein Dirn gefelt,  
So schweig, hastu kein Gelt.*

Вскоре затем, подкрепив свои силы в го-



стинице молоком и хлебом, мы собрались в путь. Я помог Ренате сесть на свою лошадь, совершенно оправившуюся за ночь. К свертку с моими вещами прибавилась еще поклажа моей новой спутницы, впрочем, весьма не тяжелая. Рената была тем утром весела, как горлинка, много смеялась, шутила и дружелюбно прощалась с хозяйкой. Когда наконец мы двинулись в дорогу, Рената – на лошади, я – идя рядом с ней, то держа лошадь за узду, то опираясь на лук седла, все обитатели гостиницы столпились у ворот, провожая нас и прощаясь с нами не без насмешки. Помню, что мне стыдно было, повернув голову, взглянуть на них.

## Глава вторая

### *Что предсказала нам деревенская ворожея и как провели мы ночь в Дюссельдорфе*

От гостиницы дорога еще некоторое время шла лесом. Было прохладно и тенисто, и мы с Ренатою, тихо подвигаясь вперед, разговаривали, не уставая. Несмотря на жизнь воина, я не был чужд общества, ибо случилось мне в итальянских городах посещать и карнавальные маскарады, и театральные исполнения, а позднее, в Новой Испании, бывал я на вечеровых собраниях в местных богатых домах, где царит вовсе не варварство дикой страны, как думается многим, а, напротив, где изящные дамы играют на лютнях, цитрах и флейтах и танцуют с кавалерами альгарду, пассионезу, мавританский и другие новейшие танцы. Стараясь показать Ренате, что под моей грубой матросской курткой скрывается человек, не чуждый просвещению, был я счастливо удивлен, найдя в своей собеседнице остроту ума и много знаний, не совсем

обычных у женщины, – так что невольно насторожились все способности моей души, как у опытного фехтовальщика, неожиданно встретившего у своего противника ловкий клинок. О ночных видениях оба мы не произнесли ни слова, и можно было представить, видя, как мы болтаем весело, что я мирно провожаю даму с торжественного турнира.

На вопрос мой, куда следует нам направиться, Рената ответила, не задумываясь, что в Кельн, так как там есть у нее родственники, у которых она хочет остаться некоторое время, – и я был рад, что мне не приходилось менять избранного пути. Мысль, что странное наше знакомство не затянется слишком долго, и уязвила меня больно, и вместе не совсем была мне неприятна; только подумал я втайне, что не должно мне терять времени, если хочу я вознаградить себя за все упущенное накануне. Вот почему разговору постарался я придать легкость и свободу, словно диалогу в итальянской комедии, и, ободряемый благосклонными улыбками спутницы, хотя и сохранявшей некоторую отчужденность существа высшего, я порой отваживался целовать

ее руку и делать ей намеки очень лукавые, которые Рената, как мне казалось, принимала с откровенной благосклонностью.

Так как я предложил провести ночь, минуя маленький Нейсс, в Дюссельдорфе, где можно было найти лучшие гостиницы и откуда в Кельн – удобный путь по Рейну, на что Рената согласилась с беспечностью принцессы, то мы свернули из лесу на большую проезжую дорогу, где уже часто стали нам попадаться и отдельные путешественники, и обозы, сопровождаемые стражей. Но переезд через открытое поле, под прямыми лучами дня, был достаточно утомителен как для Ренаты, ехавшей на седле, не приспособленном для дамской посадки, так и для меня, которому надо было поспевать за широким шагом лошади. Чтоб переждать знойные часы, пришлось нам искать приюта в людной деревушке Гердт, лежавшей на нашем пути. Там-то рок и устроил нам вторую засаду, уже замышляя коварно весь ужас следующих дней.

Нам сразу показалось необычным, что в деревне все было приспособлено для отдыха путешественников и что многие из ехавших

в одном направлении с нами – тоже остановились в Геердте. Я осведомился о причине этого у крестьянки, в доме которой мы отдыхали и завтракали, и, с гордостью и похвалой, та объяснила нам, что их селение славится на всю округу ворожеей, гадающей с мастерством удивительным. Не только из ближних мест, по словам говорившей, собираются ежедневно десятки людей, но приходят узнать свою судьбу многие из дальних сел и городов, даже из Падерборна и Вестфалии, так как слава о Геердтской ворожее разошлась по всем немецким землям.

Слова эти были для Ренаты как свист заклинателя для змеи, потому что сразу она, забыв все наши шутки и предположения, пришла в величайшее волнение и захотела сейчас же бежать к колдунье. Напрасно уговаривал я Ренату отдохнуть, она не хотела даже закончить нашей полдневной меренды [40], торопя меня и повторяя:

– Идем, Рупрехт, идем сейчас, а то она устанет и не будет так ясно видеть в будущем.

Нас проводили к домику на краю деревни. У входа, стоя и разместившись на лежащих

бревнах, ждала целая толпа народа, словно на церковной паперти в рождественскую ночь. Были здесь люди самые различные, которым редко случается сходиться вместе: знатные, в шелку и бархате, дамы, прибывшие в закрытых повозках, горожане в темном платье, охотники в зеленых кафтанах, крестьяне в загнутых шапках, даже нищие, воры и всякая голь. Слышался говор на всех прирейнских наречиях, и голландский язык, и, порой, ротвельш[41]. Было похоже, как если бы в маленьком местечке остановился владетельный князь, и это перед его покоями толпились просители и свита.

Надо было ждать своей очереди и поневоле выслушивать шедшие кругом беседы, которые весьма занимали Ренату, но мне казались надоедливыми. Однако здесь в первый раз увидел я, как беспредельно море предрассуждений и как много к справедливому страху пред силой магиков и ухищрениями волшебниц присоединяется детского и пустого предубеждения. Говорили, как то и подобало при таких обстоятельствах, о разных гаданиях и приметах, талисманах и ладанках, тай-

ных средствах и заговорных словах, и все, как богато одетые дамы, так и бродяги без плаща, изумляли меня своими познаниями в этих делах. Мне, как и каждому, случилось в детстве видеть, что женщины кружат кур около печного горшка, чтобы они не убежали из дому, или утром, когда причесываются, плюют на волосы, оставшиеся в гребне, чтобы избавиться от дурного глаза, или слышать, как словами «sista, pista, rista, xista», повторенными десять раз, пытаются излечиться от боли в пояснице, а восклицанием «och, och» от укуса блох, – но тут передо мной разверзлась плотина и затопил меня целый потоп поверий. Наперерыв говорили и о том, как защищаться серой от чародеев, и как приворожить девушку, подкинув ей жабу, и как отводить узелками глаза ревнивому мужу, и как добиться заговором, чтобы урожай винограда был больше, и какие чулки помогают женщине в родах, и из чего отлита пуля, которая всегда попадает в цель, – и приходилось, слушая, думать, что на каждом шагу нас подстерегает примета.

Помню, был там какой-то безбородый, рас-

слабленный старик, одетый, словно лекарь, во все черное; он непрестанно расхваливал ворожею и говорил при этом так:

– Уж мне вы поверьте! Я ли не знаю гадальщиков и ворожей? Больше пятидесяти лет по ним хожу; все искал верных. Был в Далмации и, дальше того, ездил через море в Фец к мухацциминам. Испытал гадание и на костях, и на воске, и на картах, и на бобах[42]; хиромантию, кристалломантию, катоптромантию и геомантию; прибегал к гоетейе и некромантии, а гороскопов сколько мне составляли, – и не упомяну! Только всё мне говорили неправду, и десятая доля из предсказаний не сбывалась. Здесь же старуха читает в прошлом, как в печатной книге, а про будущее говорит, словно бывает в совете с Господом Богом каждодневно. Мне рассказала из моей жизни такое, что я сам позабыл, а про то, что ждет меня, прямо по пальцам сосчитала.

Слушая этого дряхлого краснобая, думал я, что, пожалуй, перестал бы верить в гадания, если бы и меня они обманывали добрые столетия, а также и то, стоит ли заглядывать



в будущее, когда уж по пояс стоишь в могиле. Но никому я не хотел ничего возразить и, пока Рената, все не меняя своего гордого вида, расспрашивала про амулеты и любовные зелья, покорно ждал нашей очереди войти в дом.

Наконец рыжий парень, которого звали сыном ворожеи, поманил нас рукой и, взяв с нас установленную плату, по восемнадцать крейцеров, пропустил в двери.

Внутри дома стоял полумрак, потому что окна были завешаны темно-красными тканями, и душно пахло сушеными травами. Хотя было на дворе очень жарко, в очаге горел огонь. При его свете разглядел я на полу кота – животное, любезное при всех волшебствах; под потолком висела клетка, кажется, с белым дроздом. Сама ворожея, старуха, с морщинистым лицом, сидела за столом у задней стены. Она была одета в особую рубаху, как обычно колдуньи, с изображением крестов и рогов, а голова ее была покрыта красным платком с монистами. Перед ворожеей стояли жбаны с водой, лежали сверточки с кореньями, разные другие вещи – и она, бормоча

что-то быстро, перебирала все это руками.

Подняв на нас глаза, впалые и пронзительные, старуха зашамкала приветливо:

– Вы, красавцы, чего пришли искать у бабушки? Тепленькой постельки здесь нет, а доски голые. Но ничего, ничего, потерпите, всему свой черед придет. Было время землянике, а будет и яблокам. Так вам погадать, голубчики?

Я не без разочарования выслушал эти грубые прибаутки, и даже остатки любопытства покинули меня, Рената же отнеслась с самого начала к болтовне ворожеи с непонятным для меня доверием. А старуха, все шепча, как пьяная, пошарила кругом руками, нашла яйцо и выпустила белок в воду, которая замутилась. Глядя в облачные формы, развивавшиеся в воде, ворожея стала нам предсказывать, и мне казалось, что ее слова – плохой обман.

– Вот вам, детки мои, дорога, только не дальняя. Куда едете, туда и поезжайте: ждет вас там исполнение желаний. Один строгий человек угрожает вас разлучить, но вы одним ремешком опоясаны. Будет, будет вам тепленькая постелька, красавцы мои!

Старуха и еще что-то попричитала, а потом поманила нас к себе, говоря:

– Подойдите, птенчики милые, я вам дам травки одной, хорошей травки: раз в году она цветет, равнехонько один, в ночь под самый Иванов день.

Мы, не ожидая дурного, приблизились к ворожее. Но вдруг на сморщенном лице ее рот перекосялся, а глаза стали круглые, как у щуки, и черные, как два угля. Она сразу потянулась вперед и, цепкими пальцами, словно железным крючком, захватив мою куртку, уже не забормотала, а, как змея, зашипела:

– Молодчик, это что, это что у тебя? На куртке-то у тебя, и у тебя, красавица, на кофе? Кровь-то это откуда? Столько крови откуда? Вся куртка в крови, и вся кофта в крови. И течет кровь и пахнет!

При этом ноздри горбатого носа старухи раздувались, вдыхая запах, и она тряслась всем телом или от радости, или от страха. Но мне от этого шипа и от этих слов стало не по себе, а Рената так зашаталась около меня, что могла сейчас же упасть. Тогда я рванулся из крепких тисков обезьяны, опрокинул стол,

так что стекла разбились и вода потекла, и, подхватив Ренату одной рукой, другой взялся за шпагу, закричав:

– Прочь, ведьма! не то я проколю твое проклятое тело, как рыбу!

Старуха же, в неистовстве, все хваталась за нас, вопя: «Кровь! кровь!»

На шум вбежал к нам сын ворожеи, ударом кулака сшиб свою мать с ног, а нас начал осыпать непристойной бранью. Мне представилось, что такие происшествия были для него не новостью и что он знал, как в этом случае взяться. Я же поспешно повлек Ренату на воздух, и мы, насильственно протиснувшись сквозь толпу, нас окружившую и засыпавшую, как горохом, расспросами о том, что произошло, поспешили к тому дому, где осталась наша поклажа.

Тотчас же я сказал оседлать нашу лошадь, чтобы ехать далее по прерванному пути. Но уже всю веселость и всю говорливость Ренаты точно кто-то срезал серпом, и она не хотела произнести ни слова и почти не подымала глаз. Когда я помогал Ренате подняться на седло, она клонилась, как надломленный сте-

бель, и поводья выпадали из ее рук. Движениями и действиями она, должно быть, в совершенстве напоминала чудесный автомат Альберта Великого[43]. Так печально выехали мы из Геердта и потянулись по дороге к Рейну.

Чтобы разуверить Ренату в гадании ворожей, попытался я тогда изобразить ей все, что случилось, в смешном зеркале и начал вспоминать всевозможные случаи, о каких только слышал, как предсказания не сбылись или были обращаемы против авгуров: например, о гадалке, который предрек миланскому герцогу Жангалеаццо Висконти[44] скорую смерть, а себе долгую жизнь, но был немедленно умерщвлен герцогом; о человеке, которому провидец объяснил, что он умрет от белой лошади, и который, хотя избегал с тех пор всяких лошадей, даже гнедых, пегих и вороных, погиб оттого, что на него упала на улице трактирная вывеска с изображением белой лошади; о юноше, которому цыганка точно назначила день и час смерти и который нарочно прокутил к этому времени все свое пышное состояние, и потом, видя, что он разорен, а смерть не приходит, покончил

жизнь ударом меча, – и другие подобные истории, которыми тешатся горожане в зимние вечера, греясь около разложенного в печи огня.

Но Рената ничем не выражала, что понимает или хотя бы слушает мои речи, и в конце концов не мог не замолчать и я, и остальную часть пути мы совершили в полном безмолвии. Идя около седла, где сидела, в мертвом унынии, Рената, я иногда всматривался внимательно в черты ее лица, с которыми позднее так свыкся мой взор, и разбирал его, как ценитель разбирает мраморные статуи. Я тогда же подметил, что ноздри у Ренаты были слишком тонкими, а от подбородка к ушам щеки уходили как-то наискось, причем самые уши, в которых поблескивали золотые сережки, были посажены неверно и слишком высоко; что глаза были прорезаны не совсем прямо, и их ресницы чересчур длинны, и что вообще все в лице ее было неправильно. Судя по лицу, скорей почел бы я Ренату итальянкой, но на нашем языке говорила она, как на родном, со всеми особенностями мейссенского говора[45]. При всем том была в Ренате

некоторая особая прелесть, какое-то Клеопатрово очарование, так что уже в тот день, еще не зная ее вовсе, было мне почти радостно только смотреть на нее, – теперь же, вспоминая об ней, не могу я даже вообразить женского облика, который показался бы мне прекраснее и желаннее.

Наконец после тягостного переезда и после переправы через Рейн достигли мы Дюссельдорфа, столицы Берга[46], города, который так быстро возрастает за последние годы, благодаря заботам своего герцога, и который уже теперь может равняться с красивейшими немецкими городами.

В городе я разыскал хорошую гостиницу под вывеской «Im Lewen» [47] и за щедрую плату получил две самых лучших в доме комнаты, так как хотел, чтобы Рената имела и подходящую ей роскошь обстановки, и все мыслимые в путешествии удобства. Но Рената, казалось мне, не замечала моих стараний, и можно было подумать, что среди полированной мебели, среди изразцовых каминов и зеркал – она чувствовала себя не иначе, чем на скудных, нетесаных скамьях деревенской

гостиницы.

Трактирщик, приняв нас за людей богатых, пригласил нас обедать за свой стол, или, как говорят французы, за table d'hote[48], и угощал очень усердно, выхваляя свой добрый Бахарахский рейнвейн. Но Рената, телом присутствуя за нашим столом, была думами далеко, почти не прикасалась к блюдам и не вникала в разговор, хотя я и делал всяческие попытки, чтобы вдохнуть в нее дыхание жизни. Я рассказывал о дивах Нового Света, которые мне довелось видеть, о лестницах в храмах майев с изваянными гигантскими масками, о непомерных кактусах, в стволе которых может отдыхать всадник, об опасных охотах на серого медведя и пятнистого унце и об отдельных своих приключениях, не забывая украсить речь или мнениями современного писателя, или стихами древнего поэта. Трактирщик и его жена слушали разинув рты, но Рената внезапно, на половине моего слова, поднялась из-за стола и сказала:

– Неужели тебе самому не скучно болтать такие пустяки, Рупрехт! Прощайте.

И, не прибавив ни слова, она встала и вы-



шла из комнаты, к большому удивлению всех присутствующих. Тогда мне и в голову не могло прийти рассердиться на ее суровые слова и странный поступок, но испугался я только, как бы не захотела она меня покинуть вовсе. Потому, также вскочив и торопливо произнеся несколько извинений перед сидевшими за столом, я поспешил за нею.

В своей комнате Рената молча села в углу, на стул, и осталась неподвижной и безмолвной, а я, уже не смея заговорить, робко опустился подле нее на пол. Так и остались мы сидеть в уединенной комнате, не начиная беседы, и, вероятно, со стороны показались бы недвижимым созданием, искусной рукой вырезанным из окрашенного дерева. Слева от нас в два больших открытых окна виднелись черепитчатые кровли извилистых улиц Дюссельдорфа и торжествующая над домовыми крышами колокольня церкви св. Ламберта. Синева вечера разливалась над этими треугольниками и квадратами, разрушая четкость их линий и соединяя их в бесформенные громады. Та же синева вечера втекала в комнату и обволакивала нас широкими по-

лотницами темного савана, но в темноте только ярче светились полукруглые серьги Ренаты и более отчетливо вырисовывались ее тонкие, белые руки. Помню, что я смотрел на нее молча, как если бы не мог произнести ни слова, и что мы долго просидели так в безмолвии и бездействии, пока все кругом не стихло по-ночному.

Наконец, сделав такое усилие воли, как если бы мне надо было принять решение величайшей важности или совершить опаснейший поступок, оторвал я свои глаза от Ренаты и произнес какие-то простые слова, кажется эти:

– Быть может, вы устали, благородная дама, и хотите отдохнуть: я уйду...

Мой голос, прозвучавший после долгого молчания, показался мне неестественным и неуместным, но звуки его все же сломали тот волшебный круг, в котором мы были заключены. Рената неспешно обратила ко мне свое тихое лицо, потом губы ее отклеились одна от другой, и она проговорила несколько слов, почти беззвучных, – так, как выговорил бы свой ответ, под влиянием магического чуда,

мертвец:

– Нет, Рупрехт, ты не должен уходить, я не могу остаться одна: мне страшно.

Потом, после нескольких минут молчания, словно бы мысли ее катились медленно, Рената прибавила еще:

– Но она сказала, чтобы мы ехали, куда едем, так как там нас ждет исполнение желаний. Значит, мы в Кельне встретим Генриха. Я и раньше знала это, а старуха только прочла в моих мыслях.

Во мне, как огонек из-под пепла, вспыхнула в ту минуту смелость, и я возразил:

– Зачем быть вашему графу Генриху в Кельне, если его земли на Дунае?

Но Рената не заметила жала, скрытого в моем вопросе, и, уловив только одно выражение, схватилась за него лихорадочно.

Она переспросила меня:

– *Мой* граф Генрих? Как *мой*? Разве все мое в то же время не твое, Рупрехт? Разве есть между нами грань, черта, отделяющая мое существо от твоего? Разве мы – не одно и моя боль не пронзает твоего сердца?

Я был такой речью ошеломлен, как пали-

цей, ибо хотя уже тогда был весь под чарами Ренаты, но еще ни о чем, подобном ее словам, не думал. Не нашел я даже, что возразить ей, она же, наклонив ко мне бледное свое лицо и положив мне на плечи легкие свои руки, тихо спросила меня:

– Разве ты *его* не любишь, Рупрехт? Разве можно *его* не любить? Ведь он – небесный, ведь он – единственный!

Я опять не мог найти ответа, но Рената тут же опустилась на колени и повлекла меня, чтобы и я стал рядом. Потом, обернувшись к открытому окну, к небу и звездам, стала она говорить голосом кротким, низким, но ясным, род литании, настаивая, чтобы на каждое прошение ее я отвечал, как церковный хор.

Рената говорила:

– Дай мне вновь увидеть его глаза, голубые, как самое небо, с ресницами острыми, как иглы!

Я должен был повторять:

– Дай увидеть!

Рената говорила:

– Дай мне услышать его голос, нежный,

словно колокола маленького подводного храма!

Я должен был повторять:

– Дай услышать!

Рената говорила:

– Дай мне целовать его руки белые, как из горного снега, и его уста не яркие, словно рубины под прозрачной фатой!

Я должен был повторять:

– Дай целовать!

Рената говорила:

– Дай мне прижать свою обнаженную грудь к его груди, чтобы чувствовать, как его сердце замрет и будет биться быстро, быстро, быстро!

Я должен был повторять:

– Дай прижать!

Рената была неутомима в изобретении все новых и новых прошений своей литании, изумляя затейливостью своих сравнений, как мастерзингер на состязании певцов. У меня не было власти противиться чародейству ее призывов, и я покорно лепетал ответные слова, которые кололи, как шипы, мою гордость.

А потом Рената, приникнув ко мне, глядя

мне в самые глаза, спрашивала меня, чтобы мучить себя своими вопросами:

– И теперь скажи, Рупрехт, ведь он всех прекрасней? ведь он – ангел? ведь я увижу его опять? я буду его ласкать? и он меня? хоть один раз? только один раз?

И я отвечал в безнадежности:

– Он – ангел. Увидишь. Будешь ласкать.

В это время на небо взошла вчерашняя луна и навела столб своего света на Ренату, и под месячным лучом темнота нашей комнаты задвигалась. Голубоватый этот свет сразу воскресил в моей памяти прошлую ночь, и все то, что я узнал о Ренате, и все те обещания, какие раньше я давал сам себе. Ровным, мерным шагом, как строй хорошо обученного войска, прошли в моей голове такие мысли: «А что, если эта женщина еще раз насмеется над тобой? Вчера издевалась она, изображая козни Дьявола, а сегодня, прикидываясь безумной от печали. А через несколько дней, когда останешься ты дураком, она будет с другим шутить над тобой и вольничать, как утром».

Я от этих мыслей стал будто пьяный и,

неожиданно схватив Ренату за плечи, сказал ей, улыбаясь:

– Не довольно ли предаваться тоске, прекрасная дама, не вернуться ли нам к времяпрепровождению веселому и приятному?

Рената испуганно отстранилась от меня, но я, ободряя себя мыслью, что иначе могу показаться смешным, привлек ее к себе и наклонился, намереваясь поцеловать.

Рената высвободилась из моих рук, с силой и ловкостью лесной кошки, и крикнула мне:

– Рупрехт! В тебя вселился демон!

Я же отвечал ей:

– Нет во мне никакого демона, но напрасно вы хотите играть мною, потому что я не такой простяк, как вы думаете!

Снова я охватил ее, и мы начали бороться, очень безобразно, причем я так сжимал ее пальцы, что они хрустели, а она била и царапала меня ожесточенно. Одно время я повалил ее на пол, не испытывая в тот миг к ней ничего, кроме ненависти, но она впилась вдруг зубами в мою руку и выскользнула изворотом ящерицы. Потом, ощутив, что я силь-

нее, она вся согнулась надвое, голова ее упала на колени, и с ней сделался тот же припадок слез, что накануне. Сидя на полу, – так как я смущенно ее выпустил, – Рената рыдала в отчаянье, причем волосы упали ей на лицо и плечи ее дрожали жалостно.

В этот миг один образ встал в моих воспоминаниях: картина флорентийского художника Сандро Филиппеппи, которую видел я в Риме случайно, у одного вельможи. На полотне изображена каменная стена, из простых, крепко пригнанных друг к другу глыб; сводчатый вход плотно заперт железными воротами; и перед входом, на выступе, сидит покинутая женщина, опустив голову на руки, в безутешности горя; лица ее не видно, но видны распущенные темные волосы; тут же поблизости разбросаны одежды, и кругом нет никого более[49].

Та картина произвела на меня впечатление сильнейшее, не знаю, потому ли, что живописец сумел в ней передать чувства с особой остротой, или потому, что я смотрел на нее в день, когда сам переживал большую скорбь, – но я ни разу не мог вспомнить об



этом произведении без того, чтобы мое сердце не сжалось болезненно и горечь не подступила к горлу. И когда я увидел, как Рената сидит в том же самом положении, уронив голову, и рыдает с той же безутешностью, – оба образа, и явленный мне жизнью, и тот, который создал художник, налегли для меня один на другой, слились и ныне живут в моей душе неразрывно. Тогда же, едва только я представил себе Ренату опять одинокой, покинутой, пред неумолимо запертыми воротами, в мое сердце хлынула жалость неисчерпаемая, и, снова став на колени, я осторожно отвел руки Ренаты от ее лица и сказал ей, задыхаясь сам, но торжественно:

– Простите меня, благородная дама. Действительно, овладел мною демон и ослепил мои чувства. Клянусь вам спасением моей души, что ничто подобное не повторится более! Примите меня вновь как своего верного и покорного служителя или как своего старшего, но усердного брата.

Рената подняла голову и посмотрела на меня сначала как затравленный зверок на охотника, выпускающего его на волю, потом

доверчиво и детски, потом охватила ласково мое лицо своими ладонями и ответила:

– Рупрехт, милый Рупрехт! Ты не должен на меня сердиться и требовать от меня того, чего я дать не могу. Я все отдала своему небесному другу, и для людей у меня не осталось больше ни поцелуев, ни страстных слов. Я – опустошенная корзина, из которой другой взял все цветы и плоды, но и пустую ты должен ее нести, потому что нас связала судьба и братство наше давно записано в книге Знающих.

Я еще раз поклялся ей, что никогда более не посягну против ее запрета, и лицо Ренаты стало тотчас радостным и ясным, и то было достаточной наградой мне за мое добровольное отречение. Встав затем с колен, я сказал, что прощаюсь, и хотел уйти в другую нашу комнату, чтобы Рената одна могла отдохнуть свободно. Но она остановила меня, сказав:

– Рупрехт, мне без тебя будет страшно: они опять нападут на меня и будут мучить всю ночь. Ты должен остаться со мной.

Не стыдясь, как не стыдятся дети, Рената быстро сняла платье, скинула обувь и, почти

обнаженная, легла в постель, под голубой балдахин, призывая меня к себе, и я не знал, как отказать ей. Эту вторую ночь нашего знакомства мы вновь провели под одним одеялом, но остались столь же далеки друг другу, как если бы нас разделяли железные брусья. Когда же случилось, что понятное волнение побеждало во мне мою волю и я, забыв свои клятвы, опять домогался нежности, Рената успокаивала меня словами печальными и такими бесстрастными и через то жестокими, что вся кровь во мне застывала, и в бессилии я падал ниц, как труп.

## Глава третья

### *Как мы поселились в городе Кельне и как были обмануты таинственными стуками*

#### I

**Я** всегда, когда только можно было, придерживался мудрой поговорки французов: «Lever a six, diner a dix, souper a six, coucher a dix, fait vivre l'homme dix fois dix» [50].

Поэтому на другой день я проснулся много раньше Ренаты, опять осторожно ускользнул из ее сонных объятий и прошел в другую комнату. Там, перед окном, в котором сверкал на утреннем солнце молодой и красивый Дюсельдорф, я обсудил свое положение. Уже чувствовал я, что покинуть Ренату нет у меня сил и что я или приворожен к ней магической силой, или естественно увлечен в тонкие сети матерью любви, Кипридой.

Мужественно взглянув на свое положение, как воин, попавший в опасность, я на этот раз так сказал себе: «Что ж, отдайся этому безумию, если уже ты не можешь преодолеть его,

но будь осмотрителен, чтобы не погубить в этой бездне всей своей жизни, а может быть, и чести. Назначь себе заранее сроки и пределы и остерегись переступать их, когда душа будет в огне и ум не в состоянии будет говорить».

Я вынул из пояса зашитые в нем деньги и разделил свои сбережения на три равные части: одну часть я порешил истратить с Ренатою, другую хотел отдать отцу и третью оставил себе, чтобы, вернувшись в Новую Испанию, начать там самостоятельную жизнь. Вместе с тем определил я, что не останусь близ Ренаты больше трех месяцев, какой бы ни подул на нашу жизнь ветер, ибо после ночных происшествий не вполне доверял я ее словам о родственниках, которые ждут ее и в Кельне: и близкое будущее показало мне скоро, как был я в этом прав.

Так все обдумав, и разумно и трезво, я пошел к хозяину гостиницы и за сходную цену продал ему свою лошадь. Потом направился на речную пристань и сторговался с одной баркой, подымавшейся вверх по Рейну с нидерландскими товарами, чтобы она довезла

нас до Кельна. Затем приобрел несколько нужных в путешествии с дамой вещей, как-то: две подушки, мягкие одеяла, съестных припасов и вина – и наконец вернулся в гостиницу.

Рената, увидя меня, проявила настоящую радость, и мне показалось, что она уже думала, будто я тайно бежал, бросив ее. Мы завтракали вдвоем беспечно, опять не поминая о ночных мучениях, как если бы днем мы были совсем другими людьми. Тотчас после завтрака перешли мы на барку, так как была она совсем готова к отплытию. Барка была сравнительно большая, крутобокая, двухмачтовая, и нам была предоставлена на ней обширная каюта, устроенная в носовой части судна, высоко поднятой и кончавшейся острой крышей. Я устал пол одеялами, и в таком помещении без утомления мог бы путешествовать посол Великого Могола.

От Дюссельдорфской пристани отчалили мы вскоре после полудня и ехали до самого Кельна без больших приключений в течение двух дней и ночи, проведя часы темноты на якорю. За весь этот переезд, днем и ночью, Ре-

ната оставалась очень спокойной и рассудительной, и не было в ней ни обманчивой веселости, как в день, когда мы направлялись в Геердт, ни темного отчаянья, как в ночь, проведенную под вывеской «Im Lewen». Она часто со мной вместе прельщалась красотами мест, мимо которых мы проезжали, и вступала со мной в разговор о разных предметах общежития или искусств.

Одни из слов, сказанных мне тогда Ренатою, нахожу я нужным записать здесь, ибо объясняют они многие из ее позднейших поступков.

Было это, когда владелец барки, суровый моряк Мориц Крок, вмешался в нашу беседу и разговор упал на события, свершавшиеся как раз около того времени в Мюнстере. Мориц с первого взгляда не казался неистовым реформатором, был одет в обычную матросскую одежду, как я сам, продолжал свое торговое дело, – но с таким жаром заговорил он о новом лейденском пророке, которого называл «Иоанном Праведным, воссевшим на трон Давидов», что я усомнился, – не из перекрещенцев ли он сам. Рассказав нам о том, как в го-

роде Мюнстере граждане истребили иконы, органы и всякое церковное имущество, а все свое соединили в одно, чтобы пользоваться сообща, как учредили двенадцать старейшин, по числу колен израилевых, и во главе поставили Иоанна Бейкельсзона[51], и о том, как успешно отбиваются мюнстерцы, подкрепляемые воинством небесным, от епископских ландскнехтов, – Мориц продолжал, будто говоря проповедь:

– Долго мы, люди, голодали и жаждали, и сбывалось на нас пророчество Иеремии: «Дети просили хлеба, и никто не дал им его». Мрак египетский обнимал своды храма, но ныне они оглашены победным гимном. Новый Гедеон нанят богом в поденщики по грошу в сутки и наточил серп свой, чтобы пожать зажелтевшие нивы. Выкованы пики на наковальне Немврода, и рухнет башня его. Восстал Илия в Иерусалиме Новом, и вышли пророки истинной апостольской церкви во все страны – проповедать бога не немого, но живого и глаголющего!

Я возразил осторожно на заносчивую речь, что столь же опасно, если высокие мысли,



найденные людьми учеными, становятся достоянием народа, как если бы детям для игры раздавать кинжалы. Что, может быть, не все в установлениях церкви, а также в монашестве, часто утопающем в богатствах, действительно соответствует духу учения Иисуса Христа, но что нельзя помочь в этом деле мятежом и насилием. Что, наконец, обновление жизни должно произойти не от опровержения догматов и не от разграбления князей, но путем просвещения умов.

Тут неожиданно и вступила в беседу Рената, хотя мне казалось, что она совсем не слушала слов Морица, занятая просто рассматриванием водных струй, – и сказала:

– Обо всем таком могут говорить только люди, которые никогда и не понимали, что значит верить. Кто хотя один раз лично испытал, с каким счастьем погружается душа в бога, – не подумает никогда, что надо ковать пики или точить серпы. Все эти Давиды, идущие на Велиаров, Лютеры, Цвингли и Иоанны – слуги Дьявола и его помощники. Сколько говорим мы о преступлениях других, а что, если бы обратили мы взор на себя, как в зеркало,

и увидели бы свои грехи и свой позор? Ведь всем нам, каждому, надо было бы ужаснуться и, как оленю от охотника, бежать в монастырскую келью. Не церковь нам нужно реформировать, а душу свою, которая не способна больше молиться Всемогущему и верить в его слово, а все хочет рассуждать и доказывать. И если ты, Рупрехт, мыслишь, как этот человек, я не могу оставаться с тобой ни одной минуты более и предпочту броситься головой вперед в эту реку, нежели разделять каюту с еретиком.

Слова эти, показавшиеся в то время мне очень неожиданными, Рената произнесла со страстностью и, порывисто встав, быстро отошла от нас. А Мориц, не без подозрительности взглянув на меня, тоже пошел прочь и начал покрикивать на своих сподручников.

Больше к такому разговору мы не возвращались, а Мориц чуждался нас, и мы были на барке в полной обособленности, что мне было всего желаннее. После гневных слов Ренаты старался я выражать ей еще больше внимательности и уступчивости, чтобы явно показать, как дорого ценю ее расположение. Меж-

ду прочим, всю ночь, которую Рената провела в каюте почти без сна, до самого рассвета, оставался я около нее и, по ее просьбе, тихо гладил ее по волосам, пока рука моя не онемела совсем. Рената, видимо, была признательна мне и обращалась со мной, как в те часы, так и наутро, с приветливостью исключительной. Эта наша дружеская примиренность длилась до самого приезда в Кельн, когда оборвалась внезапно, как снасть под взрывом бури.

На склоне второго дня нашего путешествия выступили вдалеке вышки кельнских церквей, и с сердечным волнением узнавал я и называл Ренате и пик Св. Мартина, и тупую крышу Св. Гереона, и башенку братьев Миноритов, и громадную тяжесть Сенаторского дома, и, наконец, разорванного надвое гиганта, недовершенное величие собора Трех Царей [52]. Когда приблизились мы еще и я стал различать улицы, знакомые дома и старые деревья, внимание мое было возбуждено в высшей степени и готов был я плакать в умилении, на минуту позабыв о Ренате. Это обстоятельство, по всему судя, не укрылось от ее ко-

шачьей наблюдательности, и тотчас она переменяла свое ласковое отношение ко мне, стала сурова и непреклонна, словно на стуже отвердевший стебель.

Наша барка причалила у Нидерландской набережной, среди других судов, парусных и гребных, в час наибольшей суматохи на пристани. Попрощавшись с Морицем и выбравшись на берег, попали мы из нашего отчуждения на палубе словно в первый круг Ада Алигиери[53]. Везде лежали разгруженные товары, бочонки и ящики; везде толпились люди, матросы, судорабочие, приказчики торговых домов, носильщики и просто любопытные; тут же подъезжали тележки для перевозки тяжестей; колеса скрипели, лошади храпели, собаки лаяли, люди шумели, кричали и ругались, а нас окружили и торговцы, и евреи, и носильщики, все предлагая свои услуги. Но только что выбрал я среди толпы одного малого и велел ему нести наши вещи, как, безо всякого предуготовления, Рената обратилась ко мне и совсем другим голосом сказала так:

– Теперь я хочу поблагодарить вас, господин рыцарь. Вы оказали мне большую услугу,

проводив меня сюда. Поезжайте же далее своим путем, а я найду себе приют в этом городе. Прощайте, да хранит вас бог.

Я подумал, что Рената говорит это из преувеличенной учтивости, и начал учтиво возражать ей, но она ответила уже решительно:

– Зачем вы вмешиваетесь в мою жизнь? Я вас благодарю за хлопоты и помощь, но более в них не нуждаюсь.

Потерявшись, ибо тогда я еще мало знал душу Ренаты, всю сотканную из противоречий и неожиданностей, как ткань из разноцветной пряжи, я напомнил клятвы, какими мы обменялись, но Рената в третий раз обратилась ко мне, с негодованием и не без грубости:

– Вы – не мой отец, и не брат, и не муж: вы не имеете никакого права удерживать меня близ себя. Если вы думаете, что, истратив несколько гульденов, вы купили мое тело, вы заблуждаетесь, так как я – не женщина из веселого дома. Я иду, куда хочу, и угрозами вы не принудите меня быть рядом с вами, когда мне ваше соседство неприятно.

В отчаянье стал я говорить многое, что уже

не сумею сейчас повторить, сначала упрекая Ренату, потом униженно ее умоляя и хватая ее за руки, чтобы удержать, но она, с пренебрежением, а может быть, и с брезгливостью, отстранялась от меня, отвечая коротко, но упорно, что хочет остаться одна. К нашему спору стали прислушиваться лица посторонние, и, когда я с особой настойчивостью побуждал Ренату следовать за мною, она пригрозила, что будет искать защиты от моих посягательств у городских рейтаров[54] или просто у добрых людей.

Тогда, решившись на лицемерие, я сказал так:

– Благородная дама! Рыцарский долг не позволяет мне оставить даму одну вечером, среди чужой для нее толпы. Улицы в сумерки небезопасны, ибо встречаются и грабители, и бесчинствующие гуляки. Пред стражей я не боюсь предстать, потому что не знаю за собой никакого преступления, но сейчас удалиться от вас прочь не соглашусь ни за что. Наконец, всем, что есть святого, я клянусь, что, если завтра утром вы того пожелаете, я предоставлю вам окончательную свободу, не буду надо-

едать своим присутствием и не помыслию следовать, куда вы направитесь.

Поняв, должно быть, что я не уступлю, Рената покорилась мне с тем безразличием, с каким слушаются тяжелобольные, которым все равно, и, запахнув свой плащ, чтобы скрыть лицо, последовала за мной через городские ворота. Я приказал нести вещи к одной знакомой мне вдове, Марте Рутман, которая по смерти мужа тем промышляла, что отдавала комнаты приезжим. Жила она неподалеку от церкви Св. Цецилии, в старом, невысоком двухэтажном домике, сама ютясь внизу, а второй этаж предоставляя за деньги. Идти к ней надо было через весь город, и за все время перехода Рената не обронила ни одного слова и не отогнула края своего капюшона.

К моему удивлению, Марта в загорелом моряке признала сразу безбородого студента, в былые годы бражничавшего у нее, обрадовалась мне, как родному, и принялась ублажать меня, приговаривая:

– Ах, господин Рупрехт! Чаяла ли я вас увидеть? Вот за все десять лет не забывала вас! Господин Герард сказывал, что вы бежали с

ландскнехтами, и я думала, что только косточки ваши белеются где-нибудь в Италии, в поле. Да какой же вы стали статный, и суровый, и красивый, – ни дать ни взять святой Георгий на иконе! Пожалуйте наверх: у меня комнаты свободные и прибранные: мало дела теперь, – все нороят в гостиницы, да и дела падают, торговля идет на убыль, не как прежде бывало.

Я спокойным голосом велел приготовить все комнаты для меня с моей женой, говоря, что заплачу хорошим рейнским золотом, и Марта, почуяв в моем кошельке деньги, как охотничий пес дичь, сделалась вдвое почтительнее и восхищеннее. Пятясь перед нами, повела она нас во второй этаж, но Рената, пока хлопотала Марта, устраивая нам ночлег и спрашивая меня с причитаниями, все изображала немую роль в комедии, даже не открывая лица, словно боясь, чтобы ее не узнали. Зато, как только мы остались одни, она тотчас сказала мне повелительно:

– Ты будешь спать, Рупрехт, в той комнате и не смей входить ко мне, пока я не позову.

Я посмотрел Ренате в лицо, не возразил ни



звук, но вышел с такой тяжестью в душе, как если бы приговорен был к клеймению каленым железом. Не то хотелось мне заплакать, не то избить эту женщину, имевшую надо мной странную власть. Я сжимал зубы и говорил себе: «Хорошо же, хорошо же: если ты только поддашься мне, я отплачу тебе альбом за каждый альб» [55], – и в то же время казалось мне райским блаженством опять сидеть близ постели Ренаты и гладить ей волосы до изнеможения руки. Не смея нарушить запрета, мучился я в постели всю ночь, словно пьяный, для которого мир шатается, как палуба каравеллы, пока усталость не поборола моих горько-злых дум, но помню хорошо, что и во сне, до утра, душили меня тяжелые кошмары.

День, последовавший затем, первый день нашей совместной жизни в Кельне, ни на пядь не приблизил меня к намеченной мною мете. Привычка к походной жизни подняла меня своим барабаном в обычный час, и я успел не только привести себя в порядок, но и досыта надуматься, раньше чем встала Рената, и это стало с того дня обыкновением на-

шей жизни. Выйдя, наконец, из своей комнаты, Рената отнеслась ко мне крайне сурово, хотя ничем не поминала о своем вчерашнем намерении со мною расстаться. Во время нашего завтрака она презрительными замечаниями прекращала все мои попытки затеять разговор, а едва завтрак был закончен, объявила мне решительно:

– Слушай, Рупрехт! Мы должны найти Генриха сегодня непременно. Я не хочу ждать более ни одного дня. Мы его должны разыскать, хотя бы нам пришлось истоптать весь город. Идем немедленно!

Следовало бы мне на эту повелительную речь возразить, что мало чем могу я быть полезен в розысках графа Генриха, не видев его никогда в лицо, но таков был взгляд Ренаты, что не нашлось у меня ни слов, ни голоса. В знак согласия наклонил я только голову, Рената же начала поспешно собираться на свои поиски. И когда, вновь опустив капюшон на голову, она твердо и быстро устремилась на улицу, я задвигался за ней, как связанная с нею тень.

Ах, клянусь самым господом искупителем,

никогда в жизни не забуду я тех исступленных метаний, от церкви к церкви, через все площади и улицы, какие совершили мы в тот день! Не один, а несколько раз обежали мы весь город Кельн, от Св. Куниберта до Св. Северина и от Св. Апостолов до берега Рейна, причем ясно выказалось, что Рената не в первый раз в этом городе[56]. Прежде всего повлекла меня она к собору, но, помедлив там недолго, бросилась в закоулки около ратуши и долго рыскала там, словно бы ее Генрих играл с нами в прятки; потом, пересекши рынок и площадь, мимо Гюрцениха, побежала она к древней Капитолийской Марии и там, присев на ступени, немало времени ждала, молча. Еще после, схватив меня за руку и вглядываясь алчными глазами во всех появившихся вдали на улице, потащила меня Рената к Св. Георгу, где дожидалась снова, причем изумленно смотрели на нас каменщики, строившие новую, роскошную паперть. Потом видел нас со своим святым воинством Св. Гереон, вздохнули о нас Одиннадцать тысяч непорочных дев, почиющих со Св. Урсулой, взглянуло на нас громадное око Миноритов,

и, наконец, вернулись мы к набережной Рейна, под тень величественной башни Св. Мартина, где Рената опять ждала с такой уверенностью, словно ей было предсказано здесь свидание голосом с Синаей, а я тускло всматривался в суетливую жизнь пристани, видел, как подплывают и отплывают суда, как нагружают и выгружают разноцветные барки, как люди хлопчут и суеются, все куда-то торопятся и чем-то заняты, и думал о том, что нет им никакого дела до двух чужестранцев, притаившихся у церковной стены.

Было, судя по солнцу, далеко за полдень, когда я решился обратиться к Ренате с зовом:

– Не вернуться ли нам домой? Вы устали; нам приготовлен обед.

Но Рената взглянула на меня с презрением и ответила:

– Если ты голоден, Рупрехт, ступай, пообедай; мне этого не надо.

Вскоре опять началось наше безудержное бегание из улицы в улицу, но с каждым часом оно становилось все беспорядочнее, ибо Рената сама теряла веру, хотя с упорством и с упрямством еще выполняла свое решение:

осматривала проходивших, медлила на перекрестках, заглядывала в окна домов. Передо мной мелькали знакомые здания – и наш университет; и бурсы, где, бывало, жили мои сотоварищи, Кнек-бурса, Лаврентьевская[57], у XVI домов, и другие церкви: пятиглавый Пантелеон, Св. Клары, Св. Андрея, Св. Петра, – хотя и прежде Кельн был знаком мне хорошо, но с этого дня знаю я его так, как если бы и родился и всю свою жизнь провел только в этом городе. Скажу, что я, мужчина, привыкший к трудным переходам по степям, которому случалось по целым суткам гнаться за убегавшим неприятелем или, напротив, самому уходить от преследования, – я чувствовал себя обессилевшим и почти валился от усталости, но Рената казалась неутомимой и неизменной: ею владело какое-то безумие искания, и не было сил, чтобы остановить ее, и не было доводов, чтобы разубедить ее. Не помню уже, после каких концов и кругов очутились мы, к вечеру, снова близ собора, и там, наконец, побежденная, Рената упала на камень, прислонилась к стене и осталась неподвижной.

Я сел где-то неподалеку, не смея говорить, в тупой усталости, наполнявшей мне все члены густым оловом. Так как над моим взором высилась серая громада передней части собора, с временной крышей, с неначатыми башнями, но все же торжественная в своем смелом замысле, то, как это ни странно, но в эту минуту, забыв о своем положении и о Ренате, а также об усталости и голоде, стал я подробно думать о соборе и его постройке. Теперь я помню очень хорошо, что тогда тщательно разбирал я в мыслях планы собора, которые мне случилось видеть, и рассказы о его созидании, называл себе имена славного мастера Герарда[58] и его преподобия архиепископа Генриха фон Вирнебурга. Тогда же пришло мне на мысль, что никогда этому зданию, как и братьям его, собору Св. Петра в Риме и собору Рождества Пресвятой Богородицы в Милане, не суждено воздвигнуться в его настоящем величии: поднять на высоту те тяжести, какие нужны для его окончания, и вывести в совершенстве задуманные стрельчатые башни, это – задачи, далеко превышающие наши силы и средства. Если же когда-либо челове-

ческая наука и строительное искусство достигнут такой меры совершенства, что все это станет возможным и легким, люди, конечно, настолько утратят первоначальную веру, что не захотят трудиться, чтобы возвысить божий дом.

Мое раздумие нарушила сама Рената, которая сказала мне коротко и просто:

– Рупрехт, пойдем домой.

Я поднялся с трудом и шел за Ренатою, как в оковах, но я ошибался тогда, думая не без облегчения, что на этот день все происшествия кончились: самое поразительное еще стерегло нас впереди.

## II

Когда мы добрались к себе, я приказал Марте приготовить нам есть, но Рената почти не хотела прикоснуться ни к чему и словно с большим трудом проглотила несколько вареных бобов и отпила не больше двух глотков вина. Потом, в полном бессилии, перебралась на постель и простерлась на ней как парализованная, слабо отстраняя мои прикосновения и только шевеля отрицательно головой на все мои слова. Я же, приблизившись, опустил

близ кровати на колени и смотрел, молча, в ее глаза, вдруг остановившиеся и утратившие смысл и выражение, – и так оставался долго, в этом положении, ставшем с тех пор на многие недели обычным для меня.

Когда так были мы погружены во мрак и безмолвие, словно в какую черную глубину, – вдруг раздался над нами в стену странный и совершенно единственный трещащий стук [59]. Я удивленно повел глазами, ибо, кроме нас двоих, в комнате никого не было, и сначала не сказал ничего. Но, спустя некоторый промежуток времени, когда тот же стук повторился вторично, я спросил у Ренаты тихо:

– Слышите ли вы стук? Что это может быть?

Рената ответила мне каким-то безразличным голосом:

– Это ничего. Это часто бывает. Это – маленькие.

Я переспросил ее:

– Какие маленькие?

Она ответила мне спокойно:

– Маленькие демоны.

Таким ответом я был заинтересован на-



столько, что хотя и смущало меня тревожить обессиленную Ренату, однако отважился я ее расспрашивать, видя, что она знает нечто такое, о чем я имею понятие лишь очень смутное. С большой неохотой, медленно и с затруднением выговаривая слова, передала мне Рената, что демоны низшие, всегда вращаясь в кругу людей, иногда дают о себе знать тем, кто святой молитвою или заступничеством небесных ходатаев не охранен от их влияния, стуками в стены и в разные предметы или же передвигая разные вещи. При этом Рената прибавила, что, когда были у нее глаза открыты на мир тайный, при близости ее с Мадизлем, она даже видела сама этих духов, всегда имеющих вид, как люди, и одетых, в противоположность ангелам, в плащи не светлого и не яркого, а темного, серого или дымно-черного цвета, причем, однако, они окружены как бы некоторым сиянием и, передвигаясь, скорее беззвучно плывут, чем идут, а исчезая, тают, как облако.

Не должен я скрыть и скажу теперь же, что позднее Рената дала мне другое объяснение таких стуков, которое многим покажется,

быть может, более простым и естественным, но по всему я сужу, что истинным было это, первое, и что, если ошибалась она, то лишь в том, что не усматривала в них обычных хитростей Дьявола, ищущего запутать душу в своих сомнительных тенетах. Тогда же не было у меня времени даже обсуждать сказанное, так как весь отдался я чувству изумления, как близок от нас мир демонов, который для многих кажется лежащим как бы по ту сторону какого-то недоступного океана, переплываемого лишь в ладьях магии и гадания. К тому же во время речи Ренаты над ее постелью в стене раздавались веселые постукивания, словно подтверждавшие ее показания. Но так как никогда и ни в каких обстоятельствах моей жизни не угасал во мне пламенный свободного исследования, возжженный в моей душе книгами великих гуманистов, то, обращаясь к стучащему существу, спросил я его с крайней смелостью:

– Если ты, производящий стуки, действительно демон и если ты слышишь мои слова, постучи три раза.

Тотчас отчетливо раздалось три удара, и в

тот миг это было так страшно, как если бы незримый молоток ударял меня сквозь череп по мозгу. Но, быстро преодолев это малодушие, я с новой отвагой, не сознавая той темной бездны, к которой толкал сам себя, спросил снова:

– Ты друг нам или враг? Если друг – постучи три раза.

Тотчас раздалось три удара. После этого и Рената приподнялась в постели, глаза ее стали живыми, и она спросила:

– Именем бога заклинаю тебя, стучащий, скажи: знаешь ли ты что о господине моем, графе Генрихе? Если знаешь, ударь три раза.

Раздалось три удара.

Тогда неодолимая дрожь охватила Ренату, и, сидя, схватив руку мою и сдавив ее тонкими пальцами, быстро стала она задавать незримому нашему собеседнику один вопрос за другим: где граф Генрих? вернется ли он? увидит ли она его? сердится ли он на нее? – восклицания, на которые было очень затруднительно ответить стуками. Но, вмешавшись, я постарался внести порядок в беседу и установил, чтобы всегда три удара значили утвер-

ждение, а два удара – отрицание, после чего оставалось нам только так задавать свои вопросы, чтобы можно было разрешить их простым «да» или «нет», и между нами и нашим невидимым гостем произошел длинный разговор.

Мы спросили его: кто он, демон ли? И он отвечал нам, что да. Потом мы спросили, как его зовут, и, перебрав ряд имен и все звуки алфавита, узнали, что его имя Элимер. Потом мы спросили его, знает ли он графа Генриха, и он ответил нам, что да. Мы спросили, в Кельне ли граф Генрих, и он ответил нам, что нет. Мы спросили, приедет ли граф Генрих в Кельн, и он ответил нам, что да. Мы спросили: когда? скоро ли? не сегодня ли? не завтра ли? и узнали, что завтра. Потом, продолжая наши расспросы, мы узнали, что должны ждать графа Генриха завтра вечером, не выходя никуда, в этой самой комнате, что он сам найдет путь к Ренате, что он не забыл ее, не гневается на нее, все простил, любит ее, как прежде, хочет быть с ней.

Все эти ответы были для Ренаты, как слова Спасителя «талифа куми» для мертвой отро-

ковицы. Она тоже ожила и, забыв об усталости, неустанно задавала вопрос за вопросом, почти все об одном и том же, только немного изменяя слова, чтобы слышать еще раз сладкое для себя «да». И когда в утвердительном стуке было для нее особенно много надежды, она с легким стоном, словно в упоении, откидывалась на подушку, на минуту замирала, как после исступленного восторга, и тихо говорила мне: «Ты слышал, Рупрехт, ты слышал?»

Так продолжалось много больше часа, пока стуки, сначала став более слабыми, словно стучал некто утомившийся, не смолкли вовсе. Но и после прекращения их долго Рената не могла успокоиться и, радостная, повторяла, сама себе и мне, свои вопросы и ответы демона, или заставляла их повторять меня, уверяя: «Ведь я знала, что здесь увижу Генриха! Ведь это я чувствовала и говорила! Потому что я пришла к пределу страдания и так томиться больше мое сердце не могло бы!» При этом Рената снисходительно гладила мои волосы и лицо, давала мне целовать свою руку, приникала ко мне, словно приучая себя к бу-

дущим ласкам своего возлюбленного, а мне не было другого выхода из моей безнадежности, как слушать ее голос и касаться губами ее пальцев. И это мучительство ее ликования продолжалось далеко за полночь, несмотря на всю нашу усталость, причем я, слушая, как по-детски радовалась Рената, все оставался на коленях у ее постели, так что, когда наконец сказала она мне идти спать, я едва мог стоять на затекших ногах.

Очень понятно, что вторая моя ночь в одинокой моей комнате была ничем не лучше первой, и опять было много причин, чтобы приступом на мою душу шли мысли черные, закованные в железо, с опущенным забралом и взятым наперевес копьем. Вволю предавался я раздумьям и о страшной связи, существующей между жизнью человеков и жизнью демонов, и о новом пути, на который неожиданно свернули события последних дней. Вместе с тем не мог я не опасаться, с крайней тоской, что предвещание стучащего демона исполнится, что граф Генрих на другой день действительно явится к Ренате и что мне тогда уже не будет места близ нее. Эта последняя

мысль сгущала всю кровь в моих жилах, и я обмирал пред ней, как под взором василиска.

И вот какую попытку сделал я на следующее утро, сказав себе, что при поражении разбитый должен надеяться только на свою крайнюю покорность и на милость победителя. Когда Рената позвала меня к себе, я произнес следующую речь, обдуманную тщательно и подготовленную вполне:

— Благородная дама! Я хочу высказать открыто то, что, конечно, вы угадали в моем молчании. Не простая услужливость и не рыцарский долг удерживают меня долее близ вас, но нечто гораздо большее, чувство, которого нечего стыдиться ни мужчинам, ни женщинам. Я вам давал клятву быть верным служителем и усердным братом, но я для вас еще всегда останусь благоговейным поклонником. Узнав вас, я понял в совершенстве, что никогда не пожелаю я быть близ другой женщины и нисколько не удерживает меня все то, что вы мне открыли о вашей любви. Ибо я не надеюсь ни на что дерзкое, но более не могу быть без вас и хочу иногда целовать ваши рукава или следить за вашей походкой. Что

бы ни случилось, даже если суждено вам стать счастливой, возьмите меня на службу к себе, позвольте быть вашим телохранителем и защищать этой рукой от опасности вас и вашего избранника.

Не скажу, чтобы все до конца в этой речи, немного преувеличенной, было искренно и что я действительно желал бы исполнить сказанное мною, но все же по такому именно склону катились мои думы, хотя и не достигая до дна, – а если бы Рената потребовала осуществления моих обещаний, я, может быть, и исполнил бы воистину все то, что предлагал лишь как на театре. Но Рената, выслушав меня нахмуренно, ответила мне так:

– Ни о чем подобном не смей думать, Рупрехт. Ты – последняя тень этой поры моей жизни, слишком наполненной тенями. Я возвращаюсь в свет, и ты должен исчезнуть, как весь ночной мрак при появлении солнца. Неужели ты думаешь, что, когда со мной будет Генрих, я смогу смотреть на тебя и знать, что ты целовал мои руки и лежал в одной постели со мной? Нет, как только Генрих переступит порог, ты должен будешь выйти в дру-



гую дверь, уехать из этого города, уйти в свою неизвестность, так чтобы я не узнала о тебе более ничего и никогда! В этом ты мне должен поклясться крестными муками нашего Спасителя, и если своей клятве ты изменишь, да будет тебе суд строже, чем Иуде!

Тогда я спросил Ренату:

– А что, если утром, выйдя из дома, вы увидите на пороге мой труп и мой собственный кинжал в моей груди? Что вы скажете обо мне вашему Генриху?

Рената ответила:

– Я скажу, что это, вероятно, какой-то пьяный прохожий, и буду рада, когда рейтары уберут тело.

После этого я дал все клятвы, какие она требовала, и уже во всем повиновался Ренате без спора, хотя сам не знал и не желал о том думать, как поступлю вечером. Рената же была, напротив, рассудительна и хлопотлива, как я не ожидал от нее. Она послала меня купить ей платье, так как, кроме того, пышного, которое она носила постоянно, и синего дорожного плаща, у нее не было другой одежды, а также и разных мелких вещей, как для пу-

тешества, так и для украшения лица, видимо, желая воспользоваться всеми средствами, чтобы быть наиболее привлекательной для графа Генриха и наименее ему в тягость. Она обнаруживала великую заботливость и внимание ко всяким мелочам и заставляла меня много раз, несмотря на дождь, не стихавший весь день, возвращаться на рынок и переходить от одного купца к другому.

В таких заботах прошло время до вечера, и не было ничего опущенного к тому часу, когда рано наступившие, вследствие туч, сумерки стали наполнять комнату густой темнотой. Не знаю, были ли похожи мои ощущения на чувства человека, перенесшего в тюрьме пытку и ожидающего определенного часа, когда поведут его на казнь, но мысленно я сравнивал свое положение именно с таким. Я плыл по минутам вниз, как по быстрому потоку лодка, которой не управляет никто.

Едва мрак сгустился ощутительно, как снова послышались постукивания в стену, и Рената с поспешностью спросила – это ли наш вчерашний знакомец Элимер. Был дан ответ, что это точно он. Тогда началось как бы по-

вторение вчерашнего вечера, с той только особенностью, что скоро к одному стучащему демону присоединились другие, которые тоже указали нам свои имена: Риций, Ульрих, еще не упомяну. У каждого из них были свои особенности стуков: так, Элимер стучал определенно и четко, Риций чуть слышно, Ульрих такими ударами, что можно было бояться, не разрушится ли стена. Демоны охотно отвечали на все вопросы, сколько то можно было, стуками, и нисколько не смущали их имена святых и самого господа бога, произносимые Ренатою. При этом порою вспыхивали в разных частях комнаты, у пола, огни, как над болотом, и, поднявшись на высоту двух локтей, гасли, расплываясь. Но уже душа моя сама увлекалась ко всему тому, что, по выражению Горация Флакка, *scire nefas*[60], и даже явные стигматы ада не ужасали меня более и не смущали моей воли.

Ныне я должен сожалеть, что, отважившись на такое сомнительное дело, как сношение со стучащими демонами, не воспользовался я беседой, чтобы узнать что-либо большее об их природе и силе. Но был я в тот ве-

чер, вместе с Ренатою, захвачен ожидаемым приходом Генриха, и не нашлось во мне столько любознательности, чтобы вести длинный допрос. Я успел только узнать, что в их мире есть реки, и озера, и деревья, и нивы, что живут в нем частью дьяволы, сотворенные прежде богом благими, после же отпавшие с Люцифером, а частью – души умерших людей, не достойные ада, но не получившие надежды чистилища и осужденные томиться на земле до второго пришествия; что они всегда рады говорить с людьми, которых видят, как огонек во тьме, но не ко всем могут приступить, а лишь к тем, кто на это способен и кто не закрыт щитом служения богу.

Вот то малое, о чем догадался я спросить. Зато Рената всем из говоривших задавала бесконечное число вопросов, впрочем, опять сводя все их к одному: «Правда ли, что Генрих сегодня придет к ней», – и все отвечающие говорили ей только одно «да». Потом Элимер сказал нам, что ждать Генриха надо в темноте, которая и была вокруг нас; что войдет он ровно в полночь; что сейчас он уже в городе и переодевается. При этом последнем ответе Рена-

та непременно захотела узнать все особенности его новой одежды и без устали поминала все те уборы, какие носил ее Генрих, и также называла все части и принадлежности мужского одеяния и все цвета материй, чтобы мой Элимер простым «да» обрисовать весь образ Генриха. Мы узнали, что на нем зеленый костюм охотника, какой носят в Баварии, с коричневыми застежками, зеленый же капюшон, светлый пояс, унизанный камнями, и синие сапоги.

Потом Элимер сказал, что Генрих вышел из своего дома и идет к нам, что вот он проходит по одной улице, вот по другой, вот подходит к двери нашего дома. Мое сердце билось так сильно, что я слышал его глухие удары, и в последний раз я спросил демона:

– Если граф входит в дверь, постучи три раза.

Раздалось три удара. Я повторил:

– Если граф всходит по лестнице, постучи три раза.

Раздалось три удара. Хриплым голосом Рената сказала мне:

– Рупрехт, уходи и не возвращайся!

Лицо ее показалось мне страшным, и, шагаясь как раненый, я пошел к выходу на галерею, откуда можно было спуститься на двор дома, но, заметив, что Рената не смотрит на меня, вся упоенная ожиданием, я замедлил у двери, ибо неодолимое любопытство побуждало меня хоть раз взглянуть в лицо этого, тогда таинственного для меня, графа. Но проходили минуты, и граф не появлялся, и никаких шагов не было слышно за стеной, и все кругом было тихо и неизменно. Прошло много минут, и осторожно я опять подошел к Ренате, стоявшей у стола.

Задыхаясь, Рената спросила:

– Элимер! Если Генрих близко, ударь три раза!

Ответа не было, и она спросила снова:

– Элимер! Если ты здесь, ударь три раза!

Ответа не было, и с крайним отчаяньем Рената воскликнула третий раз:

– Риций! Ульрих! Отвечайте: придет ли мой Генрих?

Ответа не было.

Вдруг все силы покинули Ренату, и она упала бы на пол, как сраженная пулей, если

бы я не подхватил ее. И не знаю, вошел ли в нее тот демон, с которым мы только что дружески беседовали, или давний ее враг, но только вновь был я свидетелем того ужасного мучения, как в деревенской гостинице. Только казалось мне, что на этот раз дух находился не во всем теле Ренаты, но одержал лишь часть его, ибо она могла несколько обороняться, хотя все же тело ее извивалось ужасно, вывертывая члены так, словно кости должны были прорвать мускулы и кожу. Опять не было у меня средств помочь подвергнутой пытке, и я только смотрел на лицо Ренаты, совершенно искаженное, словно бы выглядывал из ее глаз некто другой, и на все чудовищные изгибы ее тела, пока наконец добровольно не отпустил ее демон и не осталась она у меня в руках изнеможенной, как слабая веточка, искрученная в водовороте. Я перенес Ренату в ее комнату, на постель, где она рыдала долго и бессильно, на этот раз в полной немоте, в невозможности вымолвить ни одного слова.

Этим кончился второй день нашего пребывания в Кельне и пятый день моей близости с

Ренатой. Эти пять дней, несмотря на множество разнообразных событий, вмещенных в них, остались отчеканенными в моей душе с такой ясностью, что я помню малейшие происшествия, почти все слова, как будто все это происходило лишь вчера. И если бы я не считал нужным быть кратким, ибо описание более поразительных явлений еще стоит предо мною, мог бы я пересказать пережитое мною за это короткое время с гораздо большими подробностями, нежели сделал это здесь.

## **Глава четвертая**

### ***Как мы жили в городе Кельне, что потребовала от меня Рената и что я видел на шабаше***

#### **I**

**В**ероятно, не одни только страдания, каким подверг Ренату пытавший ее демон, но также и отчаянье, каким сменились ее обольстительные надежды, сделали то, что она обессилела, словно перенесла долгую и сложную болезнь. Утром, после той ночи, когда тщетно ждали мы графа Генриха, Рената бы-



ла решительно не в силах подняться с кровати, не могла пошевелить левой рукой и жаловалась, что в голову ее словно заколочен острый гвоздь, – так что пришлось ей несколько дней провести в постели. Мне было большим счастьем ухаживать за больной, как слугителю в госпитале, кормить и поить ее, как слабого ребенка, оберегать ее усталый сон и искать для нее, в своих скудных познаниях по медицине, облегчающих боли средств. Хотя Рената принимала мои услуги с обычной для нее королевской небрежностью, однако и по выражению ее глаз, и по отдельным словам вправе я был заключать, что она ценит мою преданность и мои заботы, чем был я награжден с избытком за все недавние муки. И после первых пяти дней с Ренатою, напоминавших неутихающий водоворот между скал, настали для меня дни тихие, грустные, но сладостные, так все похожие друг на друга, что можно было их принять за один день, только отраженный в нескольких зеркалах.

Возвращаясь теперь мысленно к тому времени, чувствую я, как птичьи когти тоски сжимают мне сердце, и готов я, с ропотом на

Творца, признать воспоминание самым жестоким из его даров. Но все же не могу воздержаться, чтобы не описать, хотя бы кратко, и те комнаты, в которых свершилась вся наша трагическая судьба, и тот склад нашей жизни, который, при всех переменах, сохранялся до рокового часа первой разлуки.

Так как Рената не заговаривала со мною ни о родственниках, которые будто бы были у нее в Кельне, ни о своем желании покинуть меня, то озаботился я устроить ей возможно более привлекательное жилище. Я выбрал для нее ту комнату, из трех, бывших во втором этаже, которую предназначала Марта для самых знатных из своих постояльцев, почему и обставила ее с некоторой пышностью. У правой от входа стены, на небольшом возвышении, к которому должно было подниматься по трем ступенькам, стояла там прекрасная деревянная кровать, с деревянным же, убраным материей, полубалдахинном, подушками, обшитыми кружевами, и атласным одеялом. Другим значительным сооружением был здесь камин из цветных изразцов, редкой работы, какую не всегда повстречаешь и в Ми-

лане, а у внешней стены был поставлен большой шкаф для платья, резной, с инкрустациями. Между окнами помещался красивый стол с изогнутыми ножками, в углу за кроватью – складной алтарь, и убранство комнаты довершали стулья, аналой для чтения и большое итальянское зеркало, повешенное слева от входа. Эту обстановку помню я с отчетливостью крайней, – и сейчас, когда пишу эти слова, мне все кажется, что надо лишь встать, отворить дверь, – и я опять войду в комнату Ренаты и увижу ее, поникшую лицом на точечную доску аналоя или прижавшуюся щекой к холодным, стеклянным кружочкам окна.

Комнату Ренаты от моей отделял узкий коридор, выходивший на крытую галерею, которая окружала половину дома, и с которой по лестнице можно было сойти прямо вниз, не проходя через нижний этаж. Моя комната, отводившаяся Мартой для приезжих менее богатых, была обставлена просто, но все же лучше и приветливее, нежели комнаты в торговых гостиницах. Затем была в нашем распоряжении еще третья, меньшая, комната, совсем отдельная, ход в которую был прямо с

площадки внутренней лестницы; этой каморкой мы сначала не думали пользоваться, и я оплачивал ее цену лишь затем, чтобы избежать всякого соседства. Действительно, в уединенном домике, где, кроме нас, жила только Марта, женщина, правда, любившая поболтать, но гостей зазывавшая к себе не охотно, — были мы, даже в шумном и веселом Кельне, обособлены от людей не менее, чем Мерлин в волшебном лесу Вивианы.

Старая Марта была уверена, что я услаждаюсь с молодою женою, и, разумеется, не подозревала вовсе, как странно проходили наши дни. Получая от меня щедрую плату, охотно и заботливо прислуживала она нам, исполняя все мои поручения и заботясь о нашем столе: утром, на завтрак, получали мы обычно яичницу, колбасу, сыр, яйца, печеные каштаны, свежие булки, а вечером, к обеду, — баранину, поросят, гусей, карпов, щук; у меня же при этом всегда была бутылка рейнского или мальвазии. Удивляло Марту, что не хотел я ни с кем возобновить знакомства, и неоднократно уговаривала она меня пойти к престарелому Отфриду Герарду, бывшему моему

воспитателю, но я, напротив, строго запрещал рассказывать кому бы то ни было о моем прибытии в Кельн. Впрочем, Марта, кажется, не твердо выполняла мой приказ, потому что порой пытались приветствовать меня на улице люди, в которых признавал я не только прежних собутыльников, но даже магистров университета, – однако всегда давал понять, что поклонившийся ошибся и принял меня за другого.

За время болезни Ренаты и в первые дни ее выздоровления проводили мы с ней целые часы в беседах, и теперь она с охотой слушала мои рассказы о Новой Испании, дивясь, как много пришлось мне видеть в жизни. Иногда ласково касалась она моего лица пальцами, приговаривая, словно обращаясь к малому ребенку: «Какой ты у меня умный и ученый, Рупрехт!» Но долгое время ни одним словом не намекали мы ни на графа Генриха, ни на силу враждебных демонов, грозивших Ренате, и когда, – что случалось несколько раз, – приходилось нам вечером, в темноте, услышать опять знакомые постукивания в стену, спешили мы вздуть огонь и заговорить о другом,

причем стуки смолкали сами собой. Бывало, впрочем, что явное присутствие незримых врагов смущало жутким опасением не только меня, но и Ренату, и тогда она не отсылала меня в мою комнату, но позволяла провести ночь вместе с ней, — иногда у подножья ее кровати, иногда опять под одним одеялом, хотя все же, как мужчина и женщина, мы оставались чуждыми друг другу. И я даже находил в этой мучительной близости особую сладость и прелесть, как если бы кто наслаждался глубокими порезами острого лезвия, нечувствительно разделяющего тело.

К самому концу августа Рената поправилась настолько, что мы стали совершать прогулки по городу, большую часть шли на берег Рейна, куда-нибудь вверх по течению, за Ганзейскую пристань, и там, сидя на земле, смотрели на несильные, темные воды великой реки, неизменные со времен перешедшего их Кесаря, но сменяющиеся каждую минуту. Этот однообразный вид, день за днем, приводил все новые мысли в наши головы и новые слова нам на уста, и наша беседа была столь же неисчерпаема, как сам Рейн, хотя

возможно и то, что нам только казалось, будто мы беседуем без перерыва. Во всяком случае, я чувствовал явно, что весь тот хаос всяких знаний и сведений, которые вычитал я из разных книг или собрал в переменах жизни, — теперь, встречаясь то с ясной внимательностью Ренаты, то с ее строгими осуждениями, то с ее проницательными поправками, сплавлялся постепенно в одну громадную, но нераздельную массу, словно бы из расплавленного чугуна выливался стройный колокол, который может звучать гулко и далеко.

Однако, при всей кротости и покорности Ренаты, в ней жила неудовлетворимая тоска, не выпускавшая из своих ядовитых зубов ее сердца, так что, по мере того как крепили силы Ренаты, возрождалось в ней и упорство ее желания, устремленного, как стрелка компаса, все к одной точке. У меня не было иного занятия, как следить за ясностью или облачностью на небосклоне души Ренаты, и скоро подметил я, что зловещие признаки предвещают новый шторм, так как уже не был неопытным плователем под теми широтами.

Тем не менее, хотя и был я предупрежден, гроза налетела опять так стремительно, что я не успел взять рифов у парусов, и галеас моей жизни опять закрутился, как детский волчок.

Еще вечером, засыпая после долгой беседы, в течение которой касались мы всего, от судеб нашей империи до лирических стихотворений испанского поэта Гарчильясо де ла Вега[61], говорила мне Рената нежно: «Милый Рупрехт, наконец я немного отдохнула. Я словно уже умерла и живу второй, сверхдолжной жизнью. Во мне нет крови, и не может быть для меня человеческого счастья; но в этом мире еще есть твоя внимательность и ласка». Убаюкиваемый такими словами, уснул я на деревянных досках помоста, подле кровати Ренаты, слаще, чем иные на пуховых ложах, и, ощущая сквозь сон близость атласного одеяла, говорил себе радостно: «Здесь она!»

Но утром, проснувшись вдруг, как от толчка, увидел я над собой утрюмо-тоскливые глаза Ренаты, сидевшей на постели, и ее искривленный рот и, как-то сразу поняв перемену, происшедшую в ней, воскликнул с отчая-



НЬЕМ:

– Рената, что с тобой?

Так я обратился к ней потому, что она сама просила меня называть ее по имени и говорить ей «ты», как друзья между собою, но она отвечала мне:

– Что же со мною может быть? Ровно ничего – то же, что и вчера!

Я возразил:

– Но отчего у тебя такое печальное лицо?

Рената сказала с той грубостью, какая всегда проявлялась у нее во время припадков тоски:

– А ты воображаешь, что я вечно могу смеяться? Я не из тех людей, которые готовы плясать безо всякого повода! Да и чему это мне радоваться? Что такого веселого в моей жизни?

Я вышел из комнаты Ренаты и долго стоял у двери на галерею, смотря на рыжие черепицы соседних кровель, и только после значительного промежутка времени отважился вернуться к Ренате и увидел, что она сидит на подоконнике, но лицо ее мертвенно и безучастно. Сначала я предложил ей завтракать,

но она, без слов, покачала головой отрицательно; когда же я позвал ее идти на берег, она мне сказала сурово:

– На что тебе я? Никто тебя не удерживает – ступай себе, если тебе забавно бродить по грязным улицам, среди вонючей толпы, и хочется убедиться, на своем ли месте Рейн!

Считая с этого разговора, Рената на много дней впала в черное уныние, которое нельзя было рассеять никакими доводами и никакими заботами. Когда я пытался убедить ее, что неразумно и губительно предаваться такому отчаянью, она или молчала в ответ, или резко выставляла мне на вид все несовершенство и безобразие мира, обреченного греху и страданию, сравнительно с божественной красотой обетованного Эдема, и указывала, что христианину радоваться нечему и пристойно только плакать. У нее был неистощимый выбор доводов против радостей жизни, и ни один магистр не сумел бы с такой ловкостью вести диспут, с какой она доказывала мне, что есть тысячи причин отчаиваться, – так что я наконец не находил, что возразить, что ответить.

Любимым препровождением времени стало тогда для Ренаты посещение церквей, куда она уходила, запрещая мне следовать за ней. Но я, конечно, нарушал ее волю и, укрываясь за колоннами, следил, в церкви Св. Цецилии, или Св. Петра, или еще иной, как оставалась Рената сведенной в молитве по целым часам, устремив взоры к алтарю, выслушивая всю святую мессу без единого движения. Несмотря на то что вера наших дней и поколеблена сильно реформой и ересями, однако храмы большею частью бывали полны, как скорбными душами, ищущими прибежища у всемогущего, так и праздными посетителями, пришедшими то по привычке, то чтобы повидать кумушку, то чтобы подмигнуть красивой соседке. Весь этот разнообразный сброд скоро выделил нас, как странную пару, и мне случилось слышать, как шепотом передавали о нас разные вздорные слухи. Но Рената, конечно, не замечала любопытства, ею возбуждаемого, а я на него не обращал внимания, ибо мне доставляло неизъяснимое наслаждение только смотреть на Ренату и вбирать глазами ее темный облик среди пестрых церковных украше-

ний и позолоты арок, которыми отличаются кельнские церкви, – подобно тому как вбирает пьяница губами виноградный сок. Здесь-то, когда я слушал мерное пение органа и воображал порой, что то шумят кругом мексиканские леса, впервые зародилась во мне мысль увезти Ренату за океан, и я до сих пор думаю, что, если бы мне удалось исполнить это решение, я мог бы спасти и ее жизнь, и ее душу.

По вечерам, которые мы проводили вдвоем, нам довелось теперь перемениться ролями, как взаимно меняются местами бьющиеся на шпагах, ибо слушателем стал я, а мне Рената без устали говорила о себе, теща и муча себя воспоминаниями. Слишком помню я, как в ее комнате мы двое, при свете двух восковых свеч и при завешанных окнах, сидя друг против друга, за стаканами мальвазии, – ибо Рената, отказываясь от пищи, пила вино охотно, – проводили чуть не напролет ночи. Снова Рената решила говорить со мною о графе Генрихе, рассказывая мне все новые и новые подробности об нем, описывая его глаза, и брови, и волосы, и тело, повторяя его

слова, какие ей запомнились, передавая мелкие события из их жизни, изображая мне их взаимные ласки с такими подробностями, которые распяляли мою ревность в жгучее пламя. Часто начинала Рената сравнивать меня со своим возлюбленным, и ей доставляло великое услаждение выставлять мне на вид всю низменность моей души, всю обыкновенность моего лица рядом с ангельским ликом Мадиэля и божественностью его мыслей. Нередко исступленность слов разрешалась у Ренаты опять неудержными слезами, которые заливали ее щеки и смешивались с вином в ее бокале, и мы оба пили эту смесь мальвазии и слез, пока наконец я не уносил обессиленную Ренату на постель и, тоже плача, целовал ее ноги и платье.

Такая наша жизнь также продолжалась около недели, и я полагаю, что дальше мое сердце не вынесло бы напряженности постоянной боли. Но исступленность чувств у Ренаты оборвалась столь же внезапно, как внезапно возникла, и после того как в воскресенье едва ли не весь день провела она на коленях в церкви Св. Апостолов, а вечером с особой

жестокостью осыпала меня попреками, – утром в понедельник перешла она к ласковости, хотя, по всем видимостям, притворной, и, вместо того чтобы идти на мессу, позвала меня, как в другие дни, на Рейн. Я пошел не с легкой душой, и действительно, те наши часы были только изображением прежней дружественности и только подделкой под недавнюю близость. Рената, хотя она – как я часто убеждался – много раз говорила такое, чего нельзя назвать правдой, совсем не умела лгать, задумав ложь, и притворство ее было столь явное, что пробуждало в душе не негодование, а сожаление. Я не подавал виду, что замечаю театральную игру, и ждал, к чему приведет такая завязка, пока дома Рената, после разных незначительных слов, не сказала мне:

– Ответь, Рупрехт, любишь ли ты меня больше спасения своей души?

Я заверил ее клятвой, что люблю, интересуясь, к чему клонится этот вопрос. Но Рената, потребовав несколько раз, чтобы я подтвердил свои слова, не хотела говорить об этом подробнее и только продолжала выка-

зывать мне преувеличенную нежность.

Утром, во вторник (сейчас будет видно, почему я точно помню, в какой это было день), неожиданно спросила у меня Рената, чтобы я дал ей денег, и я поспешил предложить ей золотые монеты. Но она взяла только несколько серебряных иоахимсталеров и, накинув плащ, вышла, особенно строго запретив мне следовать за ней. Хотя я снова не исполнил ее требования, но ей на этот раз удалось обмануть мою бдительность инквизиторского шпиона и затеряться где-то среди узких переходов, близ рынка. Мне пришлось со все возрастающим беспокойством ждать ее одному, причем приходили мне в голову даже страшные мысли, что она меня покинула, и, только когда уже вечерело, она появилась, очень усталая и очень бледная, принеся с собой небольшой мешочек с какими-то вещами. И даже вся радость, совершенно детская, охватившая меня при виде вернувшейся Ренаты, не могла заглушить в моей душе лукавого голоса любопытства.

Против обыкновения, Рената спросила есть, потом хотела пить вино, а еще после

придумывала другие отсрочки, откладывая задуманный ею разговор, и только уже при наступающей темноте, всегда придающей отваги, не без торжественности начала говорить. Приблизительно она мне сказала так:

– Милый Рупрехт! Ты хорошо видишь, что так я жить больше не могу. Вся моя душа изойдет слезами: или меня придется положить в гроб, или стану я столь некрасива, что сама не захочу показаться на глаза тому, кого люблю. Надо выбрать что-нибудь одно: или жизнь – и тогда заботиться о жизни, или смерть – и тогда честно подать ей руку. Но ты знаешь, и видишь, и понял, что жить я могу, только если будет со мною Генрих. Чтобы воскреснуть, мне нужно услышать его голос; чтобы стать счастливой, довольно увидеть его глаза. С ним я все могу, и мне самое небо отворсто, но без него мне дышать трудно, как рыбе на земле. Должно мне найти Генриха, и он мне скажет, приговорена ли я к жизни или к смерти. Но где же по всем немецким землям искать нам одного человека, который так могуществен, что может и не быть среди людей? Обегать города и селения в поисках – не все



ли равно, что разбирать стог сена, чтобы открыть затерянную шелковинку? Не ясно ли, что делать такие попытки, значит – искушать самого бога?

Изумившись трезвости и последовательности речи Ренаты, которая в иные часы могла говорить как хороший схоласт, я ответил, что нахожу ее рассуждения правильными и жду, какое *ergo*[62]делает она из своих *quia* [63]. Тогда, голосом, более взволнованным, и с лицом, воодушевленным более, Рената заговорила так:

– Ты видел также, Рупрехт, что я молилась. Я воссылала творцу все мольбы, какие умела, и давала все обеты, выполнить которые в силах женщина, а может быть, и большие! Но господь остался глух к моему ропоту, и есть только одна сила, которая может мне помочь – и Один, к которому надлежит мне обратиться. Но никогда не соглашусь я осквернить свою душу смертным грехом, ибо душа моя отдана Генриху, а он – светлый, он – чистый, и ничто темное не должно к нему прикасаться. Поэтому ты, Рупрехт, который поклялся, что любишь меня больше спасения

души, должен принять и этот грех, и эту жертву на себя.

Первоначально я не понял до конца этой речи и переспросил Ренату, о какой силе и каком другом думает она, но Рената смотрела на меня загадочно и только приближала ко мне свои большие глаза, не говоря ни слова, пока вдруг я не понял и не вскричал:

– Ты говоришь о дьяволе, Рената!

И Рената ответила мне:

– Да!

Тут между нами произошел спор, ибо, как ни владела мною любовь к Ренате, как ни готов был я повиноваться единому ее знаку, чтобы сделать ей угодное, но такое неслыханное требование всколыхнуло всю мою душу до самых ее глубин. Я сказал прежде всего, что вряд ли господь бог не сумеет отличить истинного виновного и что если даже я погублю свою душу, прибегнув к содействию врага человеческого, то не менее погубит и она свою, посылая на это дело меня, ибо убийца даже менее виноват, нежели подкупивший его; далее – что вряд ли и сам владыка ада может оказать какую-либо помощь в таком

предприятия, ибо занят он уловлением человеческих душ, а не переписью населения, кто где живет, да к тому же граф Генрих, будучи, по описанию самой Ренаты, святым, конечно, не подвластен силам преисподней и, по воле, может ослепить и отвести взоры слуг Вельзевула; наконец, – что я решительно не знаю путей в тартар, что многое в рассказах о пактах и договорах с Дьяволом есть бабьи сказки, что, может быть, самая магия есть обман и заблуждение и что, во всяком случае, не легко нанять проводника, который добросовестно укажет дорогу прямо к Сатане.

Говорил все это я в раздражении, порой сам не веря в свои слова и впервые здесь допустив в обращении с Ренатой даже грубое и насмешливое, но она, возражая мне слабо, предложила мне посмотреть, что она будет делать. Из принесенного ею мешочка достала она несколько веточек: вереска, вербены, волкозуба, лебеды и еще какой-то травы с белыми цветами, названия которой я не знал. Лево́й рукой Рената сорвала с веточек лепестки и бросила их через голову на пол, но потом вновь подобрала и расположила на столе кру-

гом. Потом посредине этого круга воткнула нож, обвязала его ручку веревкой, передала эту веревку мне и сказала, глядя на меня внимательно:

– Прикажи трижды, чтобы она доилась, во имя его.

Я, смотревший молча на все эти ведьмовские затеи, невольно проговорил трижды:

– Во имя Дьявола, доись!

Тотчас из-под ножа вытекло несколько капель молока, а Рената радостно всплеснула руками, охватила меня за плечи и восклицала:

– Рупрехт! милый Рупрехт! ты можешь! в тебе есть сила!

Я, совсем в гневе, потребовал, чтобы она не морочила меня фокусами, но Рената, переменяя свой ликующий голос на ласкательный, стала уговаривать меня, прижимаясь ко мне, как к возлюбленному, и заглядывая мне в лицо:

– Рупрехт! Что значит спасение души, если ты меня любишь? Не должна ли любовь быть выше всего, и не должно ли приносить ей в жертву все, даже райское блаженство? Сде-

лай, что я хочу, для меня, и после Генриха ты будешь для меня первый во всем мире. И, кто знает, может быть, судия праведный не обвинит тебя за то, что ты возлюбил много, и осудит тебя не на вечную геенну, но лишь на временные муки чистилища. А я с моим Мадизелем, – клянусь тебе в этом девством Богородицы, – не забуду воссылать за тебя моления даже в куцах рая!

Я мог бы сказать, что поддался обольщению женщины, как Сампсон Далилы или Геркулес Омфалы, но, не желая лгать, признаюсь, что два соображения тогда пришли мне на ум. Первое – что действительно грех, совершаемый за другого, тяжел лишь вполовину на весах справедливости, и второе – что, может быть, в согласии моем не будет и никакого реального греха, ибо вряд ли Рената в самом деле найдет способы поставить меня пред лицом Дьявола. Поэтому я не только уступил нежной настойчивости, но и, как хладнокровный игрок, сделал важную ставку, ответив, наконец, Ренате, что отказывать ее просьбам нет у меня сил и что ее счастью готов я пожертвовать своей жизнью, этой и

вечной. Рената же, когда я произнес это свое торжественное обещание, стала глубоко-строгой и вдруг, преклонившись предо мною до земли, униженно поцеловала мне колени, так что охватило меня и смущение и стыд, и я не знал, что делать или что говорить, и воистину пожелал отдать за нее и жизнь и душу!

И когда, немного спустя, я спросил Ренату, каким путем должен я искать содействия Князя Тьмы, и она ответила мне без колебания: «Ведь завтра среда, и ты легко найдешь его на обычном шабаше», – я хотя и не мог не содрогнуться, вспомнив все рассказы о мерзостных и постыдных обрядах, совершаемых на этих запретных собраниях ведьм и демонов, – однако не возразил ни словом и не выказал ничем своего волнения. А Рената в тот вечер была ласкова необыкновенно, и ту ночь я вновь провел на ее постели около ее еще чуждого мне, но все же нежного тела.

## II

**В**се, что произошло на следующий день, хочу я описать с особым тщанием, ибо придется мне рассказывать о вещах спорных, многими в наши дни подвергаемых сомне-

нию и для меня самого не вполне выясненных. До сих пор, отойдя уже на далекое расстояние от того дня, не умею я сказать с полной уверенностью, было ли все пережитое мною – страшной правдой или не менее страшным кошмаром, созданием воображения, и согрешил ли я перед Христом делом и словом или только помышлением. Хотя сам я и склоняюсь ко второму мнению, но не в такой мере, чтобы не искать прибежища у милосердия божия, которое, будучи неисчерпаемым, одно может оправдать меня в случае, если не призрачны были совершенные мною кощунства. Поэтому воздержусь я от всякого решения и буду пересказывать все, что сохранила мне память, – так, как если б то была явная действительность.

С самого утра Рената стала готовить меня к принятому мною на себя делу и, постепенно, словно случайно упоминая то об одном, то о другом, знакомить меня с черной сущностью всего, что я должен был исполнить и о чем я знал лишь весьма неопределенно. Не без смущения узнал я в подробностях, какие богохульные слова должен буду я произнести, ка-

кие богопротивные проступки совершить и что за видения вообще ожидают меня на том празднестве. Но в то же время соблазн любопытства, которое Фома Аквинат называет пятым из смертных грехов, разгорался во мне настолько яростнее, что я сам выпрашивал у Ренаты мелкие подробности о том, что могло ожидать меня на собрании, и сердце мое билось столь же упоительно, как у мальчика, впервые идущего в объятия сладострастия. Прибавлю еще, что в такой мере был я тогда ослеплен страстью к Ренате, что, когда, пораженный ее осведомленностью в делах ведовства, спросил внезапно, по своему ли опыту она знает все это, и она ответила мне, что нет, но из признаний одной несчастной, я почти не усомнился в этом отрицании и согласен был верить в ее чистоту.

К вечеру все было у нас готово, и я более порывался ускорить время, нежели медлил. Но Рената, напротив, была грустна, как Ниобея, порою глаза ее наполнялись слезами, и чаще обычного прибавляла она к моему имени слово «милый». Когда же настал час темноты и мне можно было приступить к моему



запретному делу, проводила меня Рената до двери в нашу третью уединенную комнату, на пороге ее стояла долго, не решаясь расстаться со мной, и наконец сказала:

– Рупрехт, если есть в тебе хоть капля колебания, оставь это предприятие: я отказываюсь от своих просьб и возвращаю тебе твои клятвы.

Но меня уже не могла бы остановить ni Rey ni Roche[64], как говорят испанцы, и я ответил:

– Исполню все, что обещал тебе, и буду счастлив, если погибну за тебя. Верь, что буду смел и не изменю ни себе, ни тебе. Люблю тебя, моя Рената!

Здесь в первый раз мы сблизили губы и поцеловались, как любовники, а Рената мне сказала:

– Прощай, я пойду молиться за тебя.

Я выразил сомнение, не может ли молитва повредить в таком предприятии, но Рената, печально покачав головой, сказала:

– Не бойся, так как ты будешь далеко отсюда. Только сам остерегайся произносить святые имена...

Оборвав речь, она отстранилась порывисто; я следил взором за ней, уходящей, но, когда она скрылась в свою дверь, почувствовал в себе ту ясность ума и решимость воли, какие всегда испытывал в час опасности, особенно перед решительным боем. Вспоминая наставления Ренаты, я затворил и запер на задвижку дверь комнаты и тщательно закрыл полотном все щели около нее, окно же было раньше завешено наглухо. Потом, при свете сальной лампочки, раскрыл я ящичек с мазью, данной мне Ренатою, и попытался определить ее состав, но зеленоватая, жирная масса не выдавала своей тайны: только исходил от нее острый запах каких-то трав[65]. Раздевшись донага, я опустился на пол, на свой разостланный плащ, и стал сильно втирать себе эту мазь в грудь, в виски, под мышками и между ног, повторив несколько раз слова: «emen – hetan, emen – hetan», что значит: «здесь и там» [66].

Мазь слегка жгла тело, и от ее запаха быстро начала кружиться голова, так что скоро я уже плохо сознавал, что делаю, руки мои повисли бессильно, а веки опустились на глаза.

Потом сердце начало биться с такою силою, словно оно на веревке отскакивало от моей груди на целый локоть, и это причиняло боль. Еще сознавал я, что лежу на полу нашей комнаты, но, когда пытался подняться, уже не мог и подумал: вот и все рассказы о шабаше оказались вздором и эта чудодейственная мазь есть только усыпительное зелье, – но в тот же миг все для меня померкло, и я вдруг увидел себя или вообразил себя высоко над землею, в воздухе, совершенно обнаженным, сидящим верхом, как на лошади, на черном мохнатом козле.

Сначала все у меня в голове туманилось, но потом я сделал усилие и вполне овладел своим сознанием, ибо только оно одно могло быть мне проводником и защитником в чудесном путешествии, которое я совершал. Освидетельствовав животное, которое несло меня через воздушные сферы, я увидел, что то был совершенно обыкновенный козел, явно из костей и мяса, с шерстью, довольно длинной и местами свалывшейся, и только когда, оборотив ко мне свою морду, он посмотрел на меня, заметил я в его глазах нечто дьяволь-

ское. Тогда не подумал я о том, каким образом вышел из своей комнаты, в которой хотя была маленькая печурка, но с трубою очень узкой; однако позднее узнал я, что одно это обстоятельство не может служить доказательством призрачности моего путешествия, ибо Дьявол есть *artifex mirabilis*[67] и может с неуловимой для глаза быстротой раздвигать и снова сдвигать кирпичи. Равным образом не задумался я во время самого полета над вопросом, какая сила[68] могла поддерживать существо, столь тяжелое, как козел, вместе с тяжестью моего тела, над землею, но теперь думаю, что можно в этом видеть ту же inferнальную силу, которая позволяла подыматься на воздух Симону-волхву, о чем свидетельствует Святое писание.

Во всяком случае, мой адский конь держался в струях атмосферы очень прочно и летел вперед с такой стремительностью, что я, дабы не упасть, принужден был обеими руками вцепиться в его густую шерсть, а от ужасной скорости движения ветер свистел мне мимо ушей и было больно груди и глазам. Освоившись с чувствами летающего челове-

ка, стал я смотреть по сторонам и вниз, заметил, что держались мы много ниже облаков, на высоте небольших гор, и различил некоторые местности и селения, сменявшиеся подо мною, словно на географической карте. Разумеется, я совершенно не мог участвовать в выборе дороги и покорно несся туда, куда спешил мой козел, но по тому, что не встречалось на нашем пути городов, заключал я, что летели мы не по течению Рейна, но, скорее всего, на юго-восток, по направлению к Баварии.

Полагаю, что воздушное путешествие длилось не меньше получаса, а то и дольше, потому что успел я вполне привыкнуть к своему положению. Наконец означилась перед нами из мрака уединенная долина между голыми вершинами, освещенная странным синеватым светом, и, по мере того как мы приближались, слышнее становились голоса и виднее фигуры различных существ, сновавших там, по берегу серебрившегося озера. Мой козел опустил низко, почти к земле, и, домчав меня до самой толпы, неожиданно сронил на землю, не с высокого расстояния,

но все же так, что я почувствовал боль ушиба, а сам исчез. Но едва успел я подняться на ноги, как меня окружило несколько исступленных женщин, так же обнаженных, как я, которые подхватили меня под руки, с криками: «Новый! Новый!»

Меня повлекли через все собрание, причем глаза мои, ослепленные неожиданным светом, сперва ничего не различали, кроме каких-то кривляющихся морд, пока не оказался я в стороне, у опушки леса, где, под ветвями старого бука, чернела какая-то группа, как мне показалось, людей. Там женщины, ведшие меня, остановились, и я увидел, что то был Некто, сидящий на высоком деревянном троне и окруженный своими приближенными, но во мне не было никакого страха, и я успел быстро и отчетливо рассмотреть его образ. Сидящий был огромен ростом и до пояса как человек, а ниже как козел, с шерстью; ноги завершались копытами, но руки были человеческие, так же как лицо, смугло-красное, словно у апача, с большими круглыми глазами и недлинной бородкой. Казалось ему на вид не больше сорока лет, и было

в выражении его что-то грустное и возбуждающее сострадание, но чувство это исчезало тотчас, как только взор переходил выше его поднятого лба, над которым из черных курчавых волос определенно подымалось три рога: два меньших сзади и один большой спереди, – а вокруг рогов была надета корона, по-видимому, серебряная, изливавшая тихое сияние, подобное свету луны.

Голые ведьмы поставили меня перед тронном и воскликнули:

– Мастер Леонард[69]! Это – новый!

Тогда послышался голос, хриплый, лишенный оттенков, словно бы говорившему непривычно было произносить слова, но сильный и властный, который сказал мне:

– Добро пожаловать, сын мой. Но приходишь ли ты по доброй воле к нам?

Я ответил, что по доброй воле, как и подобало отвечать мне.

Тогда тот же голос стал задавать мне вопросы, о которых был я предупрежден, но которые не хочу повторять здесь, и шаг за шагом совершил я весь кощунственный обряд черного новициата. Именно: сначала произ-

нес я отречение от господа бога, его святой матери и Девы Марии, от всех святых рая и от всей веры в Христа, спасителя мира, а после того дал мастеру Леонарду два установленных целования. Для первого протянул он мне благосклонно свою руку, и, прикасаясь к ней губами, успел я подметить одну особенность: пальцы на ней, не исключая большого, были все равной длины, кривые и когтистые, как у стервятника. Для второго он, встав, повернулся ко мне спиной, причем надо мной поднялся его хвост, длинный, как у осла, а я, ведя свою роль до конца, нагнулся и облобызал зад козла, черный и издающий противный запах, но в то же время странно напоминающий человеческое лицо.

Когда же я исполнил этот ритуал, мастер Леонард, все тем же своим неизменным голосом, воскликнул:

– Радуйся, сын мой возлюбленный, прими знак мой на теле своем и носи его во веки веков, аминь!

И, наклонив ко мне свою голову, острием большого рога коснулся он моей груди, выше левого соска, так что я испытал боль уко-



ла, и из-под моей кожи выступила капля крови.

Тотчас приведшие меня ведьмы захолопали в ладоши и закричали от радости, а мастер Леонард, воссев на троне снова, произнес наконец те роковые слова, ради которых предстал я пред ним:

– Ныне проси у меня все, что хочешь, и первое твое желание будет нами исполнено.

С полным самообладанием я сказал:

– Хочу узнать и прошу, чтобы ты сказал мне это, где ныне находится известный тебе граф Генрих фон Оттергейм и как мне найти его.

Говоря так, я посмотрел в лицо сидящему и видел, что оно омрачилось и стало страшным, и уже не он, а кто-то другой, стоявший близ трона, низкого роста и безобразный[70], ответил мне:

– Думаешь ли ты, что мы не знаем твоего лицемерия? Поберегись играть вещами, которые сильнее тебя самого. А теперь иди, и, может быть, после получишь ты ответ на свой дерзкий вопрос.

Нисколько не уstraшенный грозным то-

ном, ибо простота и человекоподобность всего происходившего не внушали мне вообще никакого страха, хотел было я возразить, но мои руководительницы зашептали мне на ухо: «Больше нельзя! после! после!» – и почти силой повлекли меня прочь от трона.

Скоро очутился я среди пестрой толпы, ликовавшей, словно на празднике в Иванов день или на карнавальных веселиях в Венеции. Поле, где происходил шабаш, было довольно обширно и, вероятно, часто служило для той же цели, ибо все было истоптано, так что трава не росла на нем. Кое-где, местами, из земли подымались огни, горевшие безо всякого костра и освещавшие всю местность зеленоватым светом, похожим на свет от фэйерверка. Среди этих пламеней сновало, прыгало, металось и кривлялось сотни три или четыре существ, мужчин и женщин, или совсем обнаженных, или едва прикрытых рубашками, некоторые с восковыми свечами в руках, а также отвратительных животных, имевших сходство с людьми, громадных жаб в зеленых кафтанах, волков и борзых собак, ходивших на задних ногах, обезьян и голена-

стых птиц; под ногами же вились там и сям мерзкие змеи, ящерицы, саламандры и тритоны. В отдалении, на самом берегу озера, заметил я маленьких детей, которые, не принимая участия в общем празднике, пасли длинными белыми жердями стадо жаб меньшего роста.

Одна из голых ведьм, ведших меня, приняла во мне особое участие и не захотела покинуть, когда другие, втащив меня в толпу, разбежались в стороны. Лицо ее привлекало веселостью и задорностью, а молодое тело, хотя и с повисшими грудями, казалось еще свежим и чувствительным. Она крепко держала меня за руку и льнула ко мне, сообщила, что на ночных собраниях зовут ее Сарраской[71], и уговаривала: «Пойдем плясать», – я же не видел причины отказать ей.

Тем временем в толпе раздались крики: «Хоровод! хоровод!» – и все быстро, исполняя привычное дело, стали собираться в три больших круга, заключенных один в другой. Средний из них стоял так, как обычно при деревенских хороводах, но меньший и больший, напротив, обернувшись лицами вовне, а спи-

нами внутрь. Затем послышались звуки музыки, – флейты, скрипки и барабана, – и началась дьявольская пляска, становившаяся с каждой минутой все более быстрой, сначала напоминая испанский танец *de espadas* [72] или сарабанду, а потом не похожая ни на что. Так как с моей подружкой попал я в самый внешний круг хоровода, то мог видеть только мельком, что делалось в других кругах: кажется, меньший все время исступленно вращался слева направо, во втором участвующие яростно подпрыгивали, а в нашем главная фигура танца состояла в том, что, становясь вполоборота и не размыкая рук, соседи ударяли задом друг друга.

Я совершенно выбился из сил, когда, наконец, музыка стихла и пляска кончилась, но едва танцевавшие разорвали хороводы, как послышались звуки пения, доносившиеся с той стороны, где был трон. Сидящий, сопровождая свое пение звуками арфы, пел своим хриплым и тяжелым голосом некий псалом, который все мы слушали в почтительном молчании. Когда же он смолк, все сразу хором запели черную литанию, сложенную наподобие

бие церковной, причем на прошения ее, – в которых я не мог разобрать всех слов, – слышались знакомые возгласы: «Misere nobis!» и «Ora pro nobis!» [73]. Тем временем между нами сновали какие-то маленькие, но юркие существа, в красных бархатных кафтанах, униженных маленькими бубенчиками, и очень ловко расставляли столы, накрывая их белыми скатертями, хотя и видно было, что эти прислужники действуют без помощи рук.

Сарраска, во время пения отдышавшаяся от танца, стала опять теребить и торопить меня.

– Беан, беан[74], пойдем скорее, сядем, а то мест не будет, я страшно есть хочу.

Решившись подчиняться всем обычаям этого места, как это я вообще делал всюду, куда судьба заносила меня, я последовал за молодой ведьмой, и мы одни из первых сели за стол, около которого были поставлены самые обыкновенные деревянные скамьи. Очень скоро литания окончилась, и, с великим шумом и гиканьем, вся ватага последовала нашему примеру, заполнив все скамьи, толкаясь и ссорясь из-за мест. Слуги в бархатных

кафтанах стали расставлять по столам разные кушанья, очень простые: чашки с супом из капусты или с овсянкой, масло, сыр, тарелки с хлебом из черного проса, крынки молока и кварты вина, которое, когда я его попробовал, оказалось кислым и низкого сорта.

Над всеми столами стоял несмолкаемый говор, хохот, свист и гоготание, но так как наше место было в стороне, то я постарался расспросить Сарраску о разных, не совсем понятных мне подробностях этого празднования; она же, с прожорливостью набивая себе желудок предложенными угощениями, очень охотно удовлетворяла мое любопытство.

Я спросил ее, кто эти служители, подающие нам блюда, и она сказала, что это – демоны, притом безрукие и действующие с помощью зубов и крыльев, которые они скрывают под капюшоном. Тут же она подозвала одного из этих министров[75], чтобы мне его показать ближе, и странно было видеть, как голая женщина вертела передо мною невысокого человечка с тупым лицом и с крыльями, как у летучей мыши, вместо рук.

Потом я спросил, как все не боятся плясать

среди столбов огня. Но Сарраска расхохоталась и сказала мне, что он не жжется, что это только попы пугают, будто адский огонь причиняет великие страдания, а на деле он вроде мыльных пузырей, – и хотела тотчас потащить меня, чтобы убедить в этом, но я остерегся обращать на себя внимание всего общества.

Еще спросил я, не могут ли причинить вреда ползающие у наших ног змеи и тритоны, но Сарраска, опять хохоча, уверила меня, что это животные милые и безвредные, и тут же вытащила из-под стола змею и обкрутила ее вокруг своей груди; змея же ласково лизала ей шею раздвоенным языком и, играя, кусала ее красный сосок.

Наконец, спросил я, случаются ли шабаши более оживленные, нежели сегодня, и при таком вопросе глаза у Сарраски заблестели, и она мне сказала:

– Еще бы! Ведь сегодня самое обыкновенное собрание, какие всегда бывают в среду и пятницу, но что было здесь под Успение или, погоди, что будет под праздник Всех Святых. Тут собирается больше тысячи человек, кре-

стят украденных младенцев, справляют свадьбы или поминки по умершим! То-то бывает весело и плясать, и петь, и ласкаться! Волки бывают такие, что ни один мужчина не может с ними сравниться! А на угощение, порой, сами мы варим в молоке детское мясо!

При этих словах у Сарраски как-то по-особенному сверкали во рту белые и острые зубы; когда же я, не без отвращения, переспросил: неужели человеческое мясо так вкусно и волчьи ласки так приятны, – она только лукаво засмеялась в ответ. Тогда я спросил еще, случалось ли ей испытывать ласки демонов и доставляют ли они наслаждение. Она, не стыдясь, заявила мне, что доставляют, и очень большое, только семя у демонов холодное, как лед. Но потом она придвинулась ко мне совсем близко и, бесстыдно касаясь рукой частей моего тела, стала мне говорить:

– Но что там поминать прошлое, мой беанчик? Сегодня я тебя люблю, и ты мне желаннее всякого инкуба[76]. Знаешь, вот огни уже гасят и скоро петух запоет, – пойдём-ка со мной.

Когда же я отрицательно покачал головой



и постарался высвободиться из ее объятий, Сарраска спросила меня, отчего я такой печальный. Я сказал ей, что мастер Леонард пообещал мне дать ответ на один вопрос, для меня очень важный, и до сих пор не ответил ничего.

Тогда Сарраска сказала мне:

– Ты не грусти, беанчик! Прошлую пятницу я была у него невестой, и он ко мне очень благосклонен. Я сейчас пойду и спрошу у него: он мне не откажет.

Сказав это, Сарраска соскользнула со скамьи и побежала, а я, оставшись один, стал осматриваться вокруг. Действительно, огни уже погасли, и только некоторые из них слабо тлели у самой земли, и на моих глазах быстро стали пустеть скамьи, ибо настал миг для участников шабаша предаться завершительной и позорнейшей части празднества. Нежная музыка флейт зазвучала над лугом, и в сгущавшемся мраке руки стали протягиваться к рукам и сплетенные тела, с тихими стонами, падать на землю, тут же, между столами, и на берегу озера, и в отдалении, под ветвями деревьев. Там видел я перед собою

безобразное соединение юноши со старухой, там гнусную забаву старика с ребенком, здесь бесстыдство девушки, отдавшейся волку, или неистовство мужчины, ласкающего волчиху, или чудовищный клубок многих тел, переплетенных в одной ласке, – и дикие вскрики вместе с прерывистым дыханием неслись со всех сторон, возрастая и заглушая звуки инструментов. Скоро весь луг обратился в один оживший Содом, в новый праздник Кодра[77], или в страшный дом сумасшедших, где все были охвачены яростью сладострастия и бросались друг на друга, почти не различая, кто это: мужчина, женщина, ребенок или демон, – и непобедимый запах похоти подымался от этих темных роящихся груд, опьяняя также и меня, так что я чувствовал в себе то же мужское безумие и ту же ненасытную жажду объятия[78].

В этот-то миг появилась передо мной Сарраска, ликующая и говоря мне:

– Готово! Готово! Он сказал мне: «Разве моя верная служительница не дала ему ответа: куда едете, туда и поезжайте!» И уж если он подтвердил, значит – верно!

После этих слов, считая, что печаль моя рассеяна, ведьма молча охватила меня руками и повлекла за собою к опушке леса, прижимаясь, как ящерица, и шепча мне бессвязные слова ласки. Соблазн сладострастия проникал в меня и через ноздри, и через уши, и через глаза. Сарраска же теплым телом как бы опаляла мое тело, так что без сопротивления давал я вести себя. Под ветвями густого орешника мы упали на землю, где был островок моха, и я в ту минуту не помнил ни своих клятв, ни своей любви, а предавался только вожделению, затемняющему разум и лишаящему воли. Но вдруг, когда был я еще обессилен от этих чувств, прямо перед собою, среди зелени листьев, увидел я лицо Ренаты – и, как молния, во мне вспыхнуло сознание, и меня обожгли мучительно и раскаяние и ревность. Рената была вполне обнаженной, как большинство участников шабаша, и в лице ее было то же выражение чувственной похоти, как у других, – и, видимо, не замечая меня, она искала кого-то, пробираясь через опушку леса. Я вскочил на ноги, как вепрь, вырвавшийся из капкана, оттолкнул Сарраску, пытавшуюся

удержать меня, и кинулся за проходящей с гневным и скорбным криком:

– Рената! Зачем ты здесь?

Рената, узнав меня, словно в испуге, метнулась прочь, исчезая в темноте, но я устремился за ней и бежал среди черных кустов, простирая руки, ожесточенный, готовый убить ее, если настигну. Но она, лишь на миг появляясь, пропадала опять; стволы деревьев загораживали мне дорогу, ветви хлестали меня по лицу, а сзади слышались визги, свист и улюлюканье, точно за мною гнались, и все кружилось в моей голове, и, наконец, я уже ничего не различал вокруг и упал на землю, словно в глубокий колодезь, головой вниз.

Затем, когда я очнулся и, сделав большое усилие, открыл глаза и осмотрелся, я увидел, что лежу один на полу нашей маленькой комнаты, где намазал себя магическим составом. В воздухе еще стоял удушливый запах этой мази, все тело мое ныло, словно бы я разбился, упав с высоты, и боль в голове была так сильна, что я едва мог мыслить. Однако, собрав все силы, я, присев, тотчас постарался дать себе отчет, чем было все то, что наполня-

## Глава пятая

### *Как мы изучали магию и чем кончился наш магический опыт*

#### I

Доводы шли ко мне с двух разных сторон, как войны двух враждебных партий, и мне не легко было склонить весы моего разума на одну сторону, потому что на обе чаши я мог класть все новые и новые соображения.

С одной стороны, многое говорило за то, что страшный мой полет на шабаш был только сонным видением, вызванным ядовитыми испарениями мази, которой я натер свое тело. Плащ, на котором я очнулся, был измят и скомкан именно так, как это должно было случиться от продолжительного на нем лежания человеческого тела. Нигде на моем теле не было никаких следов ночного путешествия, особенно же на ногах никаких царапин или ссадин от пляски босиком на лугу и от бега по лесу. Наконец, — и это самое важ-

ное, – на моей груди не было заметно знака от укула рогом, которым, как мне казалось, мастер Леонард поставил на мне вечное клеймо Дьявола, *sigillum diabolicum*.

С другой стороны, связность и последовательность моих воспоминаний далеко превосходила все, что обычно имеет место по отношению ко сну. Память сообщала мне такие подробности о бесовских игрищах, которые до того времени были мне решительно неизвестны и измыслить которые не было у меня ни малейших оснований. Кроме того, мне совершенно ясно представлялось, что участвовал я в хороводе ведьм телесно, а не духом, если даже допустить возможность прижизненного отделения духа от тела, что охотно признает божественный Платон, но в чем сильно сомневается большинство философов.

Наконец, пришло мне в голову, что есть верный способ разрешить мои сомнения. Если все виденное мною было реальностью, то Рената, обманув меня, следовала за мною в воздушном перелете и теперь должна была или медлить еще вне дома, или лежать в своей постели столь же утомленной, как я. В но-

вом припадке гнева и ревности стал я поспешно приводить себя в порядок и одеваться, что было мне сделать не легко, так как руки у меня дрожали и в глазах темнело. Через несколько минут я уже был в коридоре, где свежий воздух, хлынувший мне в грудь, несколько оживил меня, и, с бьющимся сердцем, я отворил дверь комнаты Ренаты. Рената спала спокойно на своей высокой кровати, и не было вокруг никаких признаков, чтобы она провела эту ночь, подобно мне, как не было и запаха мази, который показывал бы, что она тоже прибежала к магическим натираниям.

В ту минуту представилось мне это неопровержимым доводом в пользу того, что я не покидал области сна, но не радость, что ночные мои поступки и слова, какими я губил вечное спасение своей души, были просто грезами, – но подавляющий стыд охватил тогда меня. Мне представилось до последней степени позорным, что я не сумел исполнить поручения Ренаты, не смог проникнуть до дьявольского трона, хотя это так легко удаётся лицам, по-видимому, ничтожным. В то же

время я подумал, что мой сон был наслан, может быть, все-таки самим Дьяволом, который опять хотел посмеяться и поиздеваться над моим бессилием, – и эта мысль ударила меня как оскорбительная пощечина. И в то единое мгновение, пока я смотрел на спящую Ренату, во мне и зародилось и сразу окрепло то решение, которое руководило затем моими поступками в течение многих следующих недель: попытать свои силы в открытой борьбе с духами тьмы, с которыми столкнулся я на жизненном пути и которые до сих пор швырялись мною, как мячом.

Между тем Рената, пробужденная скрипом двери, приоткрыла глаза. Другое чувство – раскаянья, что я мог заподозрить Ренату в обмане, – заставило меня кинуться к ней стремительно, припасть поцелуем к ее руке и говорить ей слова, для нее непонятные:

– Рената! милая! благодарю тебя! А ты прости меня!

Рената, сквозь сон, сначала не могла понять, в чем дело, но потом вспомнила все и спросила быстро:

– Рупрехт, ты был? ты видел? ты спросил?



Что он ответил?

Эти жестокие вопросы, показавшие мне, что Рената вовсе пренебрегает мною, изнемогавшим от утомления, и думает только о своем Генрихе, несколько отрезвили меня. Я ответил, что ее мазь оказалась бессильной, что она только усыпила меня и дала мне видение шабаша, вместо того чтобы реально перенести меня на место, где справляют свой праздник ведьмы. Но тут же поспешил я добавить, что моя неудача нисколько не лишила меня бодрости, а, напротив, вселила твердое желание достичь цели и что теперь я своими силами постараюсь найти более действительные пути, чтобы использовать власть ада. Я хотел тогда же подробнее развить свою мысль перед Ренатою, но она настойчиво потребовала, чтобы я раньше передал ей свои приключения, и, уступая ее желанию, я, почти против воли, должен был пересказать ей все то, что мне казалось дурным сном. Впрочем, в этом сообщении я утаил два обстоятельства: что не устоял перед соблазнами Сарраски и что образ самой Ренаты привиделся мне среди других ночных видений. Рената отнеслась к мо-

им воспоминаниям как к полной действительности, совершенно не согласилась со мною, что это только призрак, и почла, что председатель ночного пира подтвердил слова Геердтской ворожеи. Но я в ответ только смеялся и над Ренатаю, и над своим полетом, говоря, что если все это реальность, то нелепая, если сон, то лживый, если предсказание, то из него вывести нельзя ровно ничего.

Вскоре, однако, нам пришлось прекратить наш спор, так как почувствовал я, как следствие моих ночных впечатлений, неодолимую усталость и последнее изнеможение. Ломота во всем теле и ожесточенная боль в голове заставили меня даже лечь в постель, и остаток того дня я провел в полузабытьи, в котором непрерывным колесом вертелись пред моим взором образы шабаша: голые ведьмы, безрукие демоны, пляски, пиршество, ласки, мастер Леонард. Помню, через сон, как время от времени подходила к моей кровати Рената и клала свои холодные руки на мой разгоряченный лоб, и мне тогда казалось, что эти невольно нежные пальцы мгновенно исцеляли всю боль.

Утром, на следующий день, я проснулся опять бодрым и сильным, как всегда, но нашел в душе свое вчерашнее решение пустившим прочные корни и раскинувшим далеко ветви, словно деревцо, в несколько часов выращенное индийским гимнасофистом. Уже безо всякого волнения, но совершенно определенно я подтвердил Ренате, что намерен заняться изучением магии, так как не вижу другого способа оказать ей услугу, какую она ждет от меня. Я добавил, что немного добьешься, обращаясь к Дьяволу, как нищий проситель к заимодавцу, так как Дьявол слушает, видимо, лишь тех, кто приказывает ему, как господин слуге, и что вообще в мир бесов должно вступать силами знания, а не сомнительными чарами волхвования. Немедленно при этом изложил я пред Ренатою и целый план занятий тайными науками, магией, демономантией и дивинаторным искусством [79].

Рената выслушала меня очень внимательно и, как ни неожиданно было это со стороны той, кто первая повлекла меня к миру демонов, объявила мне, что решительно восстает

против моего замысла, и не замедлила поставить мне на вид, с немалой убедительностью, всю трудность, всю опасность, а может быть, и всю ненужность затеянного мною дела. Так, она говорила мне, что занятия магией требуют долгих годов и подготовительных знаний, что сокровенные тайны никогда не доверяются книгам, а только передаются среди посвященных из уст в уста, от учителя к ученику, что, наконец, она не принимает от меня такой жертвы, возвращает мне мои обещания. Но у меня на все эти доводы были возражения: я говорил, что, как рыцарь, не могу покинуть даму, не использовав все мыслимые средства для ее спасения; что для внимательного глаза и ума одних намеков, сохраненных в магических сочинениях, достаточно; что я хочу постичь не все тайны запретных знаний, но лишь получить некоторые сведения для практических целей, – и подобное.

Когда из разговора выяснилось, что я не хочу уступить, Рената попыталась напугать меня и, обличая свое близкое знакомство с магией, сказала мне приблизительно так:

– Ты не знаешь, Рупрехт, той области, куда

хочешь вступить. Там нет ничего, кроме ужа-са, и маги – это самые несчастные из людей. Маг живет под постоянной угрозой мучительной смерти, только неусыпной деятельностью и крайним напряжением воли удерживая яростных духов, готовых каждую минуту растерзать его звериными челюстями. Целый сонм враждебных чудовищ стережет каждый шаг мага и следит, не забудет ли он, не упустит ли он какую-либо маленькую предосторожность, чтобы хищно ринуться на него. Представь себе заклинателя, проводящего дни и ночи в клетке бешеных собак или ядовитых змей, ярость которых он едва обуздывает ударами бича и каленым железом, – вот что такое жизнь мага. И в награду за эту беспрерывную пытку получает он вынужденную службу мелких бесов, мало сведущих, далеко не всемогущих, всегда коварных, всегда готовых на предательство и на всякую низость.

Эти возражения Ренаты были мне сладостны, как свет солнца сквозь дождь, потому что здесь в первый раз увидел я в ней заботу о моей судьбе, но все же я, не колеблясь, ответил:

– Я готов согласиться, что все это так, но

страх еще никогда не удерживал меня. Злые духи сотворены богом, но лишены его благодати и, как все в природе, кроме личной и всемогущей воли творца, не могут не быть подчинены естественным законам. Остается только познать эти законы, и мы будем в силах управлять демонами, как ныне пользуемся силами ветров для движения кораблей. Нет сомнения, что ветер безмерно сильнее человека, и порою буря разбивает суда в щепы, но обычно капитан приводит свой груз к пристани. Знаю, что я подвергаю наш корабль, и тебя на нем, большой опасности, увеличивая парусность под штормом, но иного средства у нас нет.

После этих моих слов наш разговор прекратился.

Скоро пришлось мне убедиться, что Рената, возражая мне, говорила многое против своего убеждения и что магия и тайные знания имели для нее притягательную силу еще большую, нежели для меня. Однако, сохраняя свою роль, она довольно долгое время делала вид, что пренебрегает моими занятиями, и не хотела оказать мне ни малейшей помощи в

работе, так что приходилось мне, совсем одному, преодолевать первые, как всегда, самые трудные, повороты нового пути.

В годы моей студенческой жизни был мне знаком один торговец книгами, живший на Красной Горе, старый чудак, по имени Яков Глок, которому я, бывало, когда оставался без денег, сбывал или закладывал свои учебники. В его-то лавку и задумал я закинуть удочку рыбака, ибо помнил, что он интересовался книгами по астрологии, по алхимии и по магии, кажется, и сам погруженный в изыскания философского камня.

Лавка Глока не переменилась несколько за десять лет, и я почувствовал себя опять студентом, когда, переступив порог, очутился в темноватой каморке, с единственной дверью на улицу и без окон, набитой ворохами всевозможных книг, то старых, писаных, то новых, печатных, то подержанных, то свежих, то в пестрых обложках, то в кожаных переплетах с застежками. Сам Яков Глок, среди многоярусных полок, аккуратных столбиков из in-quarto и беспорядочных груд из боевых листков, сидел на поломанной скамье, влады-

кою всех этих манускриптов, опускулов[80] и фолиантов, запертых в его лавке, словно ветры в пещере Эола. Увидя меня, Глок опустил очки на нос, положил гравюру, которую рассматривал, на колена, повернул ко мне небритый подбородок и стал ждать, что я скажу, конечно, не признавая во мне старого знакомого.

Припоминая характер Глока, я начал изда-лека, назвался проезжим ученым, сказал, что много слышал о его богатом собрании и что нарочно прибыл в город Кельн, имея в виду написать сочинение по некоторым вопросам богословия, соприкасающимся с магией, чтобы приобрести нужные книги[81]. Выслушав мою речь, Глок долго смотрел на меня, по-стариковски шевеля губами, потом поднял опять очки на глаза, взялся за гравюру и сказал:

– Я торгую только книгами, одобренными церковью. Поезжайте на ярмарку во Франкфурт: там вы получите все, что вам нужно.

Я понял, что старик боится, не шпион ли я инквизитора, всячески постарался разуверить его в этом и упомянул, что в прежние годы его торговля славилась на всю Германию



тем, что у него, как в сокровищнице лидийского Креза, можно было найти все на все вкусы.

Поддавшись на лесть, Глок заворчал в ответ:

– Мало ли что прежде бывало! Разве наш Кельн теперь тот же? У нас здесь считалось студентов столько же, сколько во всех других немецких университетах вместе, а теперь меньше, чем в любом. На что теперь кельнцам книги, когда у нас пошли такие попы, как Иоганн Райм, который едва умеет пролопотать мессу и вряд ли в силах прочесть по латыни часы[82]!

Таким образом, разговор был завязан; я поддакнул старику, напомнил ему счастливые времена Кельна, навел его на разговор о книгах и издателях и покорно целый час слушал его восхваления славных печатников, от Ульриха Целля[83] до Иоганна Сотера, похвалы несравненным изданиям Альдо Мануция и Генриха Стефана и рассуждения о преимуществах разных почерков и разных шрифтов, как готический, римский, антиква, батард, курсив. В награду за то, прощаясь со мной,

старик сказал мне более добродушно:

– А вы, милостивый господин, заходите еще; мы с вами пороемся в этих гудах, – может, что-нибудь и найдем для вас подходящее: мало ли что мне в лавку ветром заносит, хе-хе-хе!

На следующий день я, конечно, не преминул опять быть у Глока, и он встретил меня, как доброго приятеля. Опять промучив меня разговорами немалое время, он потом продал мне крохотное opusculum, отпечатанное в Кельне: «Das Geheimniss der heiligen Gertrudis zur Erlangung zeitlicher Schätze u. Güter» [84], одно из самых непонятных сочинений, какие я когда-либо читал, и мне совершенно непригодное, причем взял с меня за него несообразную цену в пять гульденов. Зато еще через день Глок уже позволил мне рыться в его сокровищах, и я выловил там несколько рукописей, наполненных заклинаниями и магическими фигурами, под заманчивыми заглавиями: «Buch Mosis und dreifacher Hollenzwang», «Machtige Beschwörungen der hollischen Geister», «Hauptzwang der Geister zu menschlichen Diensten» [85] и т. под., за кото-

рые все мне пришлось платить очень щедро. Потом, продолжая нырять изо дня в день, как ловец жемчуга, в волны книг, выловил я постепенно, с благосклонной помощью Глока, чуть не целую библиотеку, причем он уговаривал меня не гнушаться даже сочинениями, направленными против магии, каковы, например, нелепая старая книжка, со скверными рисунками, Ульриха Молитора «*De lamiis et phitonicis mulieribus*», пустое opusculum Мартина Плантша «*De sagis maleficiis*», знаменитое сочинение Инститора и Якова Шпренгера «*Malleus maleficarum*» [86], прямо имеющее целью облегчить судьям распознавание, обличение и наказание ведьм, и даже трактат знаменитого плохой славой доминиканца, врага гуманистов, Якова Гогстратена: «*Quam graviter peccant guaerentes auxilium a maleficis*» [87].

Когда же Глок нашел, что сбыл мне весь залежавшийся в его лавке товар, он растворил передо мною шкаф, где хранились у него действительно научные сочинения по этой части, и для меня открылся словно Новый Свет, еще более поразительный, чем поля и доли-

ны Новой Испании. Тут, наконец, попали в мои руки творения Альберта Великого, Арнольда де Вилланова, Рогерия Бакона, Роберта Английского, Ансельма Пармезанского, Пикатрикса Испанского, сочинения аббата Тритгемиа, в том числе его удивительные «*Philosophia naturalis*» и «*Antipalus maleficiorum*», труд Петра Апонского «*Elementa magica*» [88], в котором полнота обзора сочеталась с ясностью изложения, и после всего книга, которая привела в систему все собранные таким образом знания и озарила их светом истинно философского отношения к явлениям: «*Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheym, de Occulta Philosophia libri tres*» [89], с рукописной четвертой частью [90]. Это последнее сочинение Глок продал мне также по дорогой цене, называя издание тайным и ссылаясь на то, что на титуле не были означены ни место печатания, ни год; но после узнал я, что книга была отпечатана в Кельне, всего несколько месяцев назад, и притом с привилегией его величества императора, — и только дополнительная четвертая часть представляла некоторую редкость, так как ав-

тор, опасаясь преследований, не решился предать ее типографскому станку.

Впрочем, я не сохранил дурных чувств по отношению к Глоку, хотя он и много перетаскал у меня денег и немало истомил меня своими беседами. В конце концов он все же снабдил меня всеми нужными мне пособиями, а в старческой его болтовне попадалось немало вещей для меня не только полезных, но прямо необходимых. Я пропускал сквозь уши его речи об «уксусе мудрецов», о «голове ворона», «льве зеленом» и «красном», о «парусах Тезея» и тому подобных вещах[91], для меня лишних, равно как и его рассказы о знаменитых алхимиках и их баснословных обогащениях, – но зато ловил его драгоценные указания по вопросам оперативной магии, тщательно запоминал все его объяснения магических терминов и научился извлекать пользу из его анекдотов о славных магах, некромантах и теургах. Если сделал я некоторые успехи в изучаемой науке, то во многом был я обязан доброму старику, который хотя и мечтал о превращении свинца в золото, не забывал, однако, добывать серебро из чужих кар-

манов более обыкновенными способами.

Эти мои посещения лавки Глока, которые я здесь так бегло описал, продолжались несколько недель, но, конечно, все это время я не терял даром и, приходя домой, тотчас засаживался за стол, склоняя глаза над страницами фолианта. Рвение мое в этой работе было так сильно, что, без сомнения, если бы я с таким же прилежанием изучал в свое время «Sententiae», «Processus», «Copulata», «Reparationes» [92] и прочие учебники, не пришлось бы мне с буйными лютеранцами грабить город святого отца и не видал бы я лугов Анагуака, но мирно читал бы лекции, как магистр, с кафедры одного из университетов. Поглощая книгу за книгой, переходя от трактата к трактату, узнавая все новые тайны, я постоянно чувствовал себя несатытым, как Вергилиева Сцилла, и ум мой в те дни сделался каким-то пожирателем исписанной или печатной бумаги.

В такой мере был я увлечен своим делом, что на некоторое время стих во мне даже голос моей страсти: я как-то более слепыми глазами смотрел на Ренату и на меня меньшее

впечатление производили ее слова. Мало того – меня совсем не охватывало беспокойство, когда, несколько раз, проведя весь день в задумчивости и унынии, она вдруг, не говоря ни слова, надевала плащ и удалялась на долгие часы неизвестно куда, возвращаясь только поздно ночью. Меня нисколько не трогало, когда она намеренно начинала высмеивать мою работу и нарочно говорить мне вещи обидные, называя меня трудолюбивым, но лишенным дара. Весь преданный разысканиям, размышлениям, выводам, я чувствовал свою душу как бы заживо заключенный в глыбу льда, знал, что сердце моей любви бьется, но не страдал оттого, что крылья ее недвижны.

Однако, однажды утром, после одного из своих исчезновений, Рената неожиданно, но с такой простотой, как если бы она это делала всегда, придвинула к столу два стула и сказала мне:

– Что же, Рупрехт, пора нам за работу!

Я посмотрел на Ренату с изумлением и благодарностью, поцеловал ее руку, и мы сели с ней рядом. С того дня – было это в конце

сентября месяца – мы продолжали изучение тайной философии и оперативной магии вдвоем.

Так как я надеюсь, что моя Повесть будет не только занимательным чтением, но, быть может, принесет пользу кому-либо, кто попадет в такие же западни, как я, то и хочу я здесь, в коротких словах, пересказать, что с Ренатою узнали мы из прочитанных нами книг, хотя, конечно, не имею надежды исчерпать безмерный океан, именуемый областью тайных или запретных знаний.

Я полагаю, что позволено мне будет совершенно оставить в стороне пустые рассказы теологов и схоластов, которые думают, что на одних цитатах из Святого писания можно основать какую угодно науку. Писатели из этой бездельной толпы выказывают притязания знать о демонах все мельчайшие подробности, точное их число, равно как и все их имена. Одни из этих всезнаек утверждают, например, что демоны делятся на девять разрядов: первым, где собраны ложные боги, начальствует Вельзевул, вторым, где ложные пророки, – Пифон, третьим, где изобретатели



всего злого, – Белиал, четвертым, где мстители за преступления, – Асмодей и т. д. Другие сообщают точную иерархию демонов, в среде которых будто бы есть император – Вельзевул, семь королей: Бэл, Пурсан, Билэт, Паймон, Белиал, Асмодей, Запан, двадцать три герцога, тринадцать маркграфов, десять графов, одиннадцать презусов и множество рыцарей, причем все они приводятся по именам. Третьи изображают двор адского владыки, сообщая точно, что при Вельзевуле великим канцлером состоит Адрамелек, казначеем – Астарот, церемониймейстером – Верделет, главным капелланом – Камоос, и не менее точно называя адских министров и военачальников, а также адских представителей при разных европейских дворах. Слишком ясно, что все эти построения исходят из общих соображений и являются подражанием современному государственному устройству на земле, тогда как истинная наука может опираться только на опыт, на наблюдения и на достойные веры показания очевидцев.

Напротив, в книгах, действительно стоящих внимания, мы часто не находили ответа

на многие вопросы, которые по праву могли быть нами поставлены, ибо серьезные исследователи сообразуются не с любопытством читателя, но с пределами своих знаний. Но природа и жизнь демонов в такой мере трудно поддаются изучению, что до сих пор, несмотря на благородные и бескорыстные труды ученых, древних и новых, притом таких исполинов науки, как Альберт Великий, аббат Тритгемий, Агриппа фон Неттесгейм, — еще очень многое в этой сфере остается сомнительным или вовсе неизвестным. И во главе всякого рассуждения о демонах полезно было бы ставить справедливые слова одной из прочитанных нами рукописей: «Познать природу демонов и их силу для человека столь же трудно, как муравью понять философию универсального доктора, Фомы Аквина-та» [93].

Вот, однако, какое общее представление об этих вопросах составилось у нас после добросовестного изучения собранной библиотеки.

Демоны принадлежат к числу разумных существ, сотворенных богом, и делятся на три рода. Первые называются «небесными»

(coelestes), обитают в сферах высших и выполняют исключительно волю бога, около которого и вращаются, как вокруг некоторого центра. Вторые называются «мировые» (mundani), ибо им поручен надзор за мирами, почему и различаются в их числе демоны Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия, Луны, также двенадцати знаков зодиака, тридцати шести небесных декурий, семидесяти двух небесных квинарий и т. п. Третьи называются «земные» (terrestres), делятся на четыре порядка – огня, воды, воздуха, суши – и постоянно обитают среди людей, незримо вмешиваясь в наши дела, причем, как естественно ожидать, из них демоны огня действуют преимущественно на наш ум, воздуха – на наши чувства, воды – на наше воображение, земли – на наше тело и его похоти. Хотя ни одна часть земли не свободна от этих демонов, все же одни из них проявляются больше в одном месте, другие – в другом, так что различают еще демонов дневных и ночных, северных и южных, восточных и западных, лесных, горных, полевых, домашних. Что же касается до общего числа демонов, то

исследователи в этом вопросе не согласны между собой, и можно сказать лишь одно, что это число должно быть очень велико, превышая сотни миллионов.

Относительно тела демонов существуют сильные споры между исследователями, но приходится думать, что демоны обладают телом зыбким, тонкого состава, однако бессмертным, не подверженным тлению, не воспринимаемым обычно нашими чувствами — зрением и осязанием, способным проникать сквозь все вещества. Однако тело высших демонов, составленное из чистого эфира, более тонко, нежели тело демонов низших, в состав которого входят огонь и воздух, и тем более самых низких, состоящее также из элементов воды и земли. Чтобы стать видимыми, должны демоны образовывать для себя тело из более твердых веществ, принимая облики то туманной фигуры, то огненного духа, то бескровного, подобного трупу, человека. Собственное тело демонов не нуждается в пище и посему не имеет естественных отправлений, равно как демоны и не могут размножаться естественным путем, не имея пола и

не будучи подвержены похоти. Однако, из злых целей, часто умеют они сблизиться телесно с мужчинами и женщинами, как суккубы и инкубы, причем демон, являвшийся в одном случае суккубом, сберегает принятое им семя, дабы воспользоваться им в другом месте, где он будет играть роль инкуба.

Все демоны могут вступать в общения с людьми, но демоны небесные делают это только по своему желанию или по повелению божию, демоны же земные слишком слабы и ничтожны, чтобы люди нуждались в их помощи, так что обычно обращаются маги к вызыванию демонов мировых. Для вызывания мирового демона необходимо знать его имя, его характер и его заклинание. Многие демоны сами, беседуя с людьми, сообщали свои имена, почему мы и знаем их, например – двенадцати демонов зодиака: Мальхидаель, Асмодел, Амбриель, Муриель, Верхиель, Гамалиель, Зуриель, Бархиель, Адуахиель, Ганаель, Гамбиель, Бархиель. Но, по мнению исследователей, имена их можно вычислять и искусственно: из букв еврейских, соответствующих числам небесных знаков, если,

начиная от знака демона, проходить, по градусам, весь небесный круг, причем в направлении восходящем, получают имена добрых демонов, а в нисходящем – злых. Характеры или печати демонов состоят из его знака, соединенного с монограммой его имени. Знак образуется из шести корней, сообразно шести звездным долготам, к которому сводятся также планетные долготы, и соединительных линий, а монограмма пишется на одном из принятых магами алфавитов: египетскими иероглифами, древнееврейскими буквами, особо измененными латинскими или, наконец, условными. Заклинания, которые и суть главный элемент в вызывании, составлены магами по взаимному соглашению с демонами, причем в заклинании точно означены все свойства демона и содержится убедительный призыв явиться и исполнить требуемое, все же это подкреплено властью тайных божественных имен.

Сила заклинания заключена в магическом значении чисел, которое разъяснил еще Пифагор и которое не может отрицать ни один серьезный исследователь, и в том случае, ес-

ли весь порядок вызывания совершен точно, имя демона написано верно и заклинание произнесено без ошибок, демон не может не явиться магу и не подчиниться его повелению, как не может не обращаться к северу стальная игла, правильным образом намагниченная. Замечательно при этом, что различные демоны имеют излюбленные формы, в которых они обычно и появляются пред заклинателем. Так, демоны Сатурна являются стройными и изящными, с гневным взором; цвет лица их темный, движения их – как порывы ветра; перед их появлением видно бывает белое пространство, словно покрытое снегом; часто принимают они образы – бородатого короля, едущего на драконе, или старой женщины, опирающейся на палку, или существа четырехликого, или филина, или серпа, или можжевельника. Демоны Юпитера являются среднего роста, в сангвиническом теле; цвет лица их ржавый, движения стремительные, взор кроток, разговор угодлив; перед их появлением видны бывают люди, пожираемые львами; часто принимают они образы – короля с обнаженным мечом, едуще-

го на олене, или человека в митре, в длинной одежде, или девушки в венце, украшенной цветами, или быка, или павлина, или лазурного одеяния. Демоны Луны являются громадными, полными, флегматичными; цвет лица их – как темное облако, выражение – беспокойное, глаза – рубиновые и полные влаги; у них кабаньи зубы, они лысы, и движения их подобны морской зыби; перед появлением их льется дождь; часто принимают они образы – короля с луком в руках, едущего на лани, или маленького мальчика, или стрелы, или лани, или громадной сороконожки – и т. д.

Таясь во всех этих разнообразных формах, демоны вступают в беседу с заклинателем, говоря на его языке, сначала пытаются обмануть его, но потом, если он не уступает им, подчиняются его хотениям и исполняют покорно все, что только доступно их довольно, впрочем, ограниченной силе.

Таковы, в самых общих чертах, свойства демонов и порядок их заклинания.

Те сведения, которые я изложил здесь на четырех небольших страницах, собирали мы с Ренатою в продолжение почти двух меся-



цев, до самого конца октября, занимаясь прилежно, как самые примерные школяры. Рената не знала по-латыни, и поэтому книги, написанные на этом языке, – а таких было большинство, – мне приходилось переводить ей слово за словом, но ни в каком случае ее участие не было для меня затруднением. Наоборот, Рената очень во многом облегчила мне изучение, так как с необыкновенной легкостью умела истолковывать скрытое значение иных утверждений или дополнять недосказанное в книге, – что тогда я относил к ее змеиной проницательности, а ныне согласен объяснить тем, что она уже не в первый раз приступала к области тайных наук, знала и слышала о магических операциях многое такое, что остается неведомым большинству. И я уверен, что только эти воспоминания Ренаты, вместе со случайными намеками Якова Глока, дали мне возможность овладеть в такой короткий срок, как десять недель, такой сложной наукой, как магия.

Замечательно, что, присоединившись к моей работе, Рената вдруг как бы изменилась вся, и в течение тех четырех или пяти недель,

которые мы трудились вместе, она неизменно оставалась в добром намерении духа и в поведении ее не было обычных странностей. Рвением и прилежанием она скоро превзошла меня, без утомления проводила среди книжных занятий целые дни, от серого утра до черного вечера, забывая и церковные службы, и городские празднества. Не раз случалось, что, когда я уже падал от усталости и ум мой отказывался воспринимать далее, Рената не хотела отойти от стола и, упрекая меня, раскрывала новый том. Она готова была стучать заступом мысли в черных шахтах печатных строк без перерыва, ночью как днем, и никогда не ослабевала ее рука в этой работе, и никогда не притуплялась ее радость, когда опять выносили мы на свет из этих глубин новый слиток золота.

Впрочем, у этой неутомимости Ренаты было и свое объяснение, ибо, приблизившись к тайнам магии, она скоро уверовала, как всегда, слепо и упрямо, что с их помощью действительно сумеет вернуть любовь своего графа Генриха. Что же касается меня, то, наоборот, погружаясь в изучение тайных наук,

я постепенно терял из виду свою первоначальную цель и увлекался своей работой уже бескорыстно, как истинный адепт. Покоренный величием тех далей, которые открывались передо мною – мира демонов, в который наш мир человек вброшен как малый остров среди океана, – я временно как бы забыл о графе Генрихе и о клятве, данной мною Ренате. Мне так хорошо было носиться с нею вместе по волнам книг, рукописей, чертежей, вычислений, что, завидев наконец за гребнями волн тот берег, к которому сам держал курс корабля, как-то не мог я обрадоваться и не спешил войти в гавань. И когда Рената, после того как овладели мы основами церемониальной магии, уже торопила меня применить наши знания к делу, я долго еще находил предлоги, чтобы отложить решительный день, ссылаясь на недостаточность этих знаний.

## II

Наконец, в первые дни ноября месяца, подошедшего к нам неслышно с холодными ветрами и долгими сумерками, не осталось у меня никаких возражений, и увидел я необ-

ходимость уступить настойчивости Ренаты. От книжных и теоретических занятий перешли мы к практике и взялись за последние приготовления к небезопасному опыту, что было еще очень не легко, так как надо было с предосторожностями приобретать нужные, но редкие предметы и с большой тщательностью изготовлять необходимые инструменты. Рената и в этом деле помогала мне так же терпеливо и бодро, с каждым днем все более и более уверенная, что час ее свидания с графом Генрихом недалек, говоря мне об этом с крайней бессердечностью, словно не примечая, какую мне это причиняло муку. Во мне же, по мере приближения назначенного дня, выростали, как привидения, дурные предчувствия и, стоя в углах моей души, угрюмо кивали головами и на слова Ренаты, и на мои ответы ей.

Предполагалось сначала, что заклинателем выступлю я один, так как Ренате казалось, что ее участие в этом деле запятнает ее душу, которую хотела она сохранить чистой для своего Генриха. Я постарался опровергнуть это соображение, указав на то, что мы

будем искать власти над демонами не для низменных выгод, но с благою целью; заставлять же злых духов трепетать и повиноваться есть дело достойное, которого не чуждались многие из блаженных, как, например, св. Киприан и св. Анастасий[94]. После некоторого колебания Рената согласилась со мною, но, как мне кажется, более потому, что не совсем доверяла моим способностям как мага и боялась, что я что-либо существенное забуду или не сумею исполнить. Таким образом, к решительному опыту приступили мы вдвоем, *magister cum socio*[95].

Самое заклинание, произведенное нами, я хочу описать во всех подробностях, чтобы человек опытный и сведущий, если в его руки попадет эта Повесть, мог определить, что было нами упущено и чем объясняется жалкий и трагический неуспех нашего предприятия.

Днем, избранным нами после долгих обсуждений, была пятница, 13 числа ноября месяца, потому что демонам пятницы, посвященной Венере, особенно свойственно возвращать женщинам любовь их возлюбленных; местом же операции – та самая комната,

из которой пытал я свой неудачный полет на шабаш. К сроку было нами собрано там все, что могло быть необходимо для заклинания, а также позаботились мы, чтобы в целом доме в тот вечер не было никого, кроме нас, ибо сильный шум мог возбудить подозрения нашей Марты. Сами же мы готовились к опыту воздержанием в пище, полным отказом от вина и сосредоточением мыслей на одном предмете.

Первой заботой заклинателя всегда является магический круг, ибо он служит обороной от нападения враждебных сил извне, почему на исполнение этого круга, согласно с именем призываемого демона, расположением звезд, местом опыта, временем года и часом, – всегда употребляется много забот. Нами магический круг сначала был тщательно вычерчен на бумаге, и лишь в день опыта перенесен углем на пол комнаты. Состоял он из четырех концентрических окружностей – большая с диаметром в девять локтей, – образовавших три замкнутых, друг в друга включенных круга: внешний, средний и внутренний, каждый шириною в ладонь. Средний

круг был разделен на девять равных частей, и в этих домах было написано: в первом, обращенном прямо на запад, тайное название часа, избранного нами для заклинания, именно пятничной полночи, Nethos; во втором – имя демона того часа, Sachiel; в третьем – характер этого демона; в четвертом – имя демона того дня, Anael, и его слуг, Rachiel и Sachiel; в пятом – тайное название того времени года, то есть осени, Ardarael; в шестом – имя демонов того времени года, Tarquam и Guabarel; в седьмом – название корня того времени года, Torquaret; в восьмом – имя земли в то время года, Rabianara; в девятом – имена солнца и луны, какие имеют они в то время года, Abragini и Mata-signais. Внешний круг был разделен на четыре равных части, и в этих домах, обращенных строго на запад, север, восток и юг, были написаны: имена демона воздуха, начальствующего в тот день, Sarabotes rex, и его четырех слуг: Amabiel, Aba, Abalidoth, Flaef. Внутренний круг был разделен на четыре части, и в этих домах были написаны вечные божественные имена: Adonay, Eloy, Agla, Tetragrammaton. Наконец, то про-

странство, внутри трех кругов, где должны были помещаться заклинатели, было разделено крестом на четыре сектора, а вне кругов, на четырех странах света, были вычерчены пятиугольные звезды.

Когда приблизилось время полночи, внимательно заперев все входы дома и еще раз удостоверившись, что в нем нет никого, кроме нас, мы вошли в комнату опыта. Здесь оба, и Рената и я, мы облачились в новые, нарочно приготовленные одежды из чистого белого льна, длинные, закрывавшие нам ноги и перехваченные поясом из такого же материала. На головы надели мы также льняные уборы, подобные митрам, на передней части которых было написано божественное имя; ноги же наши остались босыми. При этом облачении произносили мы установленную молитву: «Ancor, Amacor, Amides, Theodonias, Anitor, per merita angelorum tuorum sanctorum, Domine, induam vestimenta salutis, ut hoc, quod desidero, possim perducere ad effectum» [96]. В руки мы взяли по магическому жезлу, сделанному из дерева, без сучьев и с металлическим, подобным маленькому мечу, окончени-



ком. Затем, не вступая еще в круг, возложили на стол, поставленный в стороне и покрытый белой льняной скатертью, пергамент с знаком пентаграммы и с именем и характером демона Aduachiel, ибо солнце было тогда в знаке Стрельца, на деревянный треножник, помещенный у самого круга, с его западной стороны, *librum consecratum*[97], то есть тетрадь, где были тщательно вписаны все заклинания, которые намеревались мы произнести в тот день. Около треножника зажгли две свечи из чистого воска, а на четырех пятиугольных звездах – четыре глиняных лампы, наполненные чистым растительным маслом с растительными же светильниками.

Когда все было так приготовлено, я посмотрел на Ренату и увидел, что волнение ее дошло до предела крайнего: руки ее дрожали, лицо было бледно и едва могла она держаться на ногах. Тогда я обратился к ней, как *magister* к своему *socio*: «Друг, помни важность этого часа», – и поспешил с началом опыта. Обрызгав все кругом нами освященной водой с произнесением установленных слов: «*Asperges me, Domine*» [98], я решитель-

но вступил в магический круг с его западной стороны, через оставленную там в чертеже дверь, и, увидя, что Рената последовала за мной, замкнул вход знаком пентаграммы. В душе у меня в этот миг был холод и была печаль, но я помнил твердо и ясно все, что должен был делать.

Обратившись на четыре страны света, я призвал двадцать четыре имени демонов, сторожащих этот день, по шести с каждой страны; затем имена семи демонов, управляющих семью планетами, затем еще семи демонов, которым поручены семь дней недели, семь цветов радуги и семь металлов. Рената тем временем, освоившись со своими обязанностями товарища, осыпала лампы заготовленными нами курениями, в которые входили: лаванда, порошок папоротника и вервены, восточная стираксовая смола, особенно же мазь из растения кост, посвященного дню Венеры, и от лампад поднялись струи ароматного дыма, которые, постепенно расстилаясь, начали заволакивать всю комнату неопределенным, синеватым туманом. В то же время эти курения действовали на чувства, как па-

ры вина, не то опьяняя сознание, не то придавая бодрости.

Тут приступил я, собственно, к заклинанию, стараясь говорить голосом приветливым, но властным. Сначала прочел я несколько церковных молитв, оберегающих заклинателей, и затем совершил призывание демонов воздуха, начинающееся словами: «*Nos facti ad imaginem Dei, dotati potentia Dei et ejus facti voluntate, per potentissimum et corroboratum nomen Dei, El, forte admirabile, vos exorcisamus*» [99]. Мне был слышен голос Ренаты, подававший мне ответы на мои прошения. Скоро заметил я, или мне так привиделось, что в колеблющемся дыму курений образуются и мелькают некоторые формы, вероятно, низшие духи, привлеченные запахом коста, и я устремил против них острие жезла, воспрещая им прикоснуться к нам. Полагая далее, что наступило время для крайнего заклинания, я произнес последние из подготовительных слов: «*Esse pentaculum Solomonis quod ante vestram adduxi praesentiam*» [100] – и т. д.

Тут в лицо мне повеял как бы некоторый

холодный ветер, всколебавший мои волосы, и в эту минуту я не менее Ренаты уверен был в успехе опыта. Взглянув на нее, однако, я увидел, что дрожь ее не успокаивается и что она почти падает от изнеможения. Тогда, торопясь, начал я обходить круг, идя с запада на восток и произнося основное заклинание, обращенное к демону Анаэлю:

– Audi, Anaël! ego, Ruprechtus, indignus minister Dei, conjuro, posco et voco te non mea potestate sed per vim, virtutem et potentiam Dei Patris, per totam redemptionem et salvificationem Dei Filii et per vim et devictionem Dei Sancti Spiritus. Per hoc devinco te, sis ubi velis, in alto vel abysso, in aqua vel in igne, in aere vel in terra, ut tu, daemon Anaël, in momento coram me appareas in decora forma humana. Veni ergo cum festinatione in virtute nominum istorum Aye Saraye, Aye Saraye, Aye Saraye, ne differas venire per nomina aeterna Eloy, Archima, Rabur, festina venire per personam exorcitatoris conjurati, in omni tranquillitate et patientia, sine ullo tumulto, mei et omnium hominum corporis sine detrimento, sine falsitate, fallacia, doIo. Conjuro et cofirmo

super te, daemon fortis, in nomine On, Hey, Heya, Ia, Ia, Adonay, et in nomine Saday, qui creavit quadrupedia et animalia reptilia et homines in sexto die, et per nomina angelorum servientium in tertio exercitu coram Dagiel angelo magno, et per nomen stellae quae est Venus, et per sigillum ejus quod quidem est sanctum, – super te, Anaël, qui es praepositus diei sextae, ut pro me labores. El, Aly, Titeis, Azia, Hyn, Ien, Chimosel, Achadan! Va! Va! Va![101]

Я трижды успел обойти кругом, произнося это заклинание. В синеватом дыму всюду колыхались дьявольские лики, и везде от полукомнаты вставали струйки тумана, в малом виде похожие на те, какие я видел на шабаше. Но тщетно ждал я, что покажутся передо мною, в видении, играющие девочки, зовущие заклинателя принять участие в их забавах, что служило бы признаком появления демона Венеры. Проходя трижды мимо Ренаты, видел я ее в напряжении крайнем, с глазами, раскрытыми точно в исступлении, но с усилием опирающейся на свой магический жезл, как на трость. Зная, однако, что часто нужны бывают труды многих часов, чтобы

привлечь демона в свою сферу, я не терял надежды и стал произносить усиленные заклинания:

– Quid tardas? ne morare! obedito praeseptori tuo in nomine Domini Bathat, super Abrac ruens, superveniens. Cito, cito, cito! veni, veni, veni!  
[102]

Смутный гул наполнил в это время всю комнату, словно бы по листьям высоких деревьев приближался к нам ветер или дождь. Ожидание невиданного и поразительного охватило меня со всей силой; все мое тело и вся моя мысль были напряжены и готовы к обороне или к нападению. Но в эту минуту, когда я находился лицом к треножнику, всматриваясь в колыхающийся туман, раздался внезапно, сзади меня, там, где была Рената, удар столь оглушительный, словно весь наш дом распадался. С невольным вскриком я обратился назад и в первый миг увидел только одно: что лампада, та, около которой стояла Рената, погасла.

Со всей стремительностью я бросился туда с магическим жезлом, устремленным вперед, так как знал, что открывался, таким образом,

доступ внутрь нашего круга для злых духов, но, вероятно, было уже поздно. Тут же, встретив лицо Ренаты, я едва узнал его, ибо было оно искажено и искривлено, и надо полагать, что один или несколько демонов, воспользовавшись прорывом круга, схватили ее и овладели ею. Рената, за минуту перед тем едва имевшая силы стоять, вдруг с силой необыкновенной отстранила меня и с поднятым железом кинулась к другим лампадам. У меня не было ни воли, ни средств остановить ее, и она – причем, конечно, действовал ее рукою тот, кто таился в ней, – несколькими ударами сокрушила и остальные три лампы, и две восковых свечи. Мы оказались в совершенном мраке, и вокруг нас поднялся, если то не было обманом чувств, дикий вой, и гоготание, и свист.

В эту минуту опасности я понял, что магический круг уже не защитит нас, так как все равно он нарушен, и потому, громко твердя слова отпуска: «*Abi festinanter, arape te, recede statim in continenti*» [103], всей силой повлек Ренату прочь из комнаты. У порога, поспешно отпирая дверь, я произнес последнее заклин-

нение, считаемое особенно сильным: «Per ipsum et cum ipso et in ipso» [104]. Думаю, что никогда, ни в каком, самом яром, сражении с краснокожими не подвергался я такой опасности, как в этой комнате, наполненной враждебными демонами, которая подобна была той клетке с бешеными собаками и ядовитыми змеями, о которой говорила Рената. Вероятно, только крайнее присутствие духа спасло меня от смерти, потому что все-таки успел я отворить дверь и вывести Ренату сначала на свежий воздух коридора, а потом и на лунный свет, вливавшийся в ее комнату.

Но лик Ренаты продолжал оставаться страшным и совершенно на себя непохожим, ибо мне казалось даже, что глаза ее стали больше, подбородок более вытянутым, виски гораздо сильнее выступающими, нежели обыкновенно. Рената билась в моих руках яростно, сорвала с себя и митру, и льняное одеяние и неустанно, грубым, почти мужским, вовсе не своим голосом, выкрикивала какие-то слова. Прислушавшись, я понял, что она говорила по-латыни, произнося вполне правильно и отдельные восклицания, и це-



лые связные предложения, хотя, как я упоминал, она этого языка не знала вовсе и разве только заучила несколько слов во время наших совместных чтений магических книг. Смысл ее речей был ужасен, ибо Рената осыпала проклятиями и меня, и самое себя, и графа Генриха, произносила неистовые богохуления и грозила мне и всему миру величайшими бедами.

Хотя никогда не доверял я особенно защите святых предметов, в этом моем несчастном положении, когда я каждый миг ожидал, что на нас ринутся все раскованные дьяволы из комнаты заклинаний, мне не оставалось ничего лучшего, как привлечь Ренату к маленькому алтарю, бывшему в ее комнате, и там надеяться на помощь божию. Но Рената, в испуге, не хотела приближаться к святому распятию, крича, что ненавидит и презирает его, подымая сжатые кулаки на образ Христа, и наконец упала на пол, опять в том же припадке конвульсий, которого я уже дважды был свидетелем. Но ни разу еще не проводил я часов над ней в таком безнадежном бессилии, наклонясь над мучимой и видя, как

терзают ее тело демоны, овладевшие ею, может быть, по моему попущению.

Понемногу опасения мои успокоились, и я почувствовал, что мы уже вне опасности; также постепенно, естественным образом, миновало и мучительство Ренаты, ибо демон, бывший в ней, в последний раз крикнув мне, что мы еще с ним встретимся, покинул ее. Но мы оба, простертые на полу, около распятия, напоминали потерпевших крушение в море, достигших какой-то малой скалы, все потерявших и уверенных, что следующий водный вал смоеет их и поглотит окончательно. Рената не могла говорить, и слезы, безмолвные, катились по ее лицу, а у меня не было речей, чтобы утешать или ободрять ее. Так оставались мы, молча и без сна, на полу, до самого рассвета, когда я на руках перенес Ренату в постель, ибо не могла она ни ходить, ни стоять и не способна была сама принять какое-либо решение. Сознаюсь, что бывали минуты, когда спрашивал я себя, не лишилась ли от потрясения она рассудка, и лишь два-три отрывистых слова, слабо произнесенных ею, показали мне, что в ней бьется ее преж-

няя душа.

Мне же, когда рассвело, первым долгом предстояло позаботиться об том, чтобы уничтожить следы нашего ночного опыта, и я, не без некоторого трепета, вошел в комнату заклинаний. Там стоял дым от курений, лежали разбитые черепки лампад, но больше не было никаких повреждений, и никто не помешал мне убрать комнату и стереть с пола следы магических кругов, с таким тщанием начертанных мною. Так окончился предпринятый нами опыт оперативной магии, к которому готовились мы более двух месяцев и на который сначала я, а потом Рената – возлагали такие богатые надежды.

После этого дня Рената снова впала в черное отчаянье, из которого на некоторое время была выведена совместными нашими трудами над познанием магии и верой в успех; но этот ее припадок тоски далеко превзошел по силе все предыдущие. В прежние дни она находила в себе волю и охоту, споря, доказывать мне, что у нее есть много причин для печали, – теперь же она не хотела ни говорить, ни слушать, ни отвечать. Первые дни, больная,

она лежала в постели неподвижно, обратив лицо к подушке, не произнося ни слова, не шевеля ни одним мускулом, не открывая глаз. Потом, все в той же безучастности, она стала проводить часы, сидя на скамье, устремив глаза на угол своей комнаты, занятая своими мыслями или ничем не занятая, но не слыша, когда ее звали по имени, словно деревянное изваяние какого-нибудь Донателло, только порою слабо вздыхая и тем обнаруживая признаки жизни. Так могла бы Рената просиживать и ночи, если бы я не убеждал ее, с наступлением темноты, ложиться в постель, но несколько раз мне приходилось убеждаться, что все же большую часть времени до утра она проводит без сна, с открытыми глазами.

Все мои попытки вызвать в Ренате интерес к существованию оставались в те дни бесплодными. На магические книги она не могла смотреть без отвращения; когда же я заговаривал с ней о повторении нашего опыта, она отрицательно и с презрением качала головой. На мои приглашения идти в город, на улицу, она только молча пожимала плечами.

Пытался я, не без задней мысли, даже заговаривать с нею о графе Генрихе, об ангеле Мадие, обо всем, самом заветном для нее, но Рената большею частью просто не слышала моих слов или, наконец, произносила в ответ болезненно все одно и то же: «Оставь меня!» Только один раз, когда я особенно настойчиво приступил к ней с просьбами, Рената сказала мне: «Разве ты не понимаешь, что я хочу замучиться! На что мне жизнь, если у меня нет и уже не будет никогда самого главного? Мне здесь сидеть и вспоминать хорошо, – зачем же ты заставляешь меня куда-то идти, где мне больно от каждого впечатления?» И после этой длинной речи она опять впала в свое оцепенение.

Эта затворническая, неподвижная жизнь, причем Рената почти не принимала пищи, быстро сделала то, что глаза ее впали, как у мертвой, и обвились черноватым венцом, лицо посерело, а пальцы стали прозрачными, как тусклая слюда, так что я с содроганием сознавал, что она определенно близится к своему последнему часу. Скорбь без устали рыла в душе Ренаты черный колодезь, все глубже и

глубже вонзая лопаты, все ниже и ниже опускающая свою бадью, и нетрудно было предвидеть день, когда удар заступа должен был перерубить самую нить жизни.

## **Глава шестая**

### ***О моей поездке в Бонн к Агриппе Неттесгеймскому и о том, что он сказал мне***

#### **I**

**Н**елегко остановить повозку, раскатившуюся по одной дороге; так и я не мог сразу свернуть с того пути, по которому, в течение последних месяцев, неуклонно стремилась моя жизнь. После неудачи нашего опыта я все еще не в силах был думать ни о чем ином, как о заклинаниях, магических кругах, пентаграммах, пентакулах, именах и характерах демонов... Тщательно пересматривал я страницы изученных книг, стараясь найти причину неуспеха, но только убеждался, что нами все было исполнено правильно и согласно с указаниями науки. Конечно, отважился бы я повторить вызывание и без помощи Рена-

ты, если бы не останавливала меня мысль, что ничего нового в свои приемы внести я не могу и что, следовательно, ничего нового не вправе и ожидать.

В этой моей неуверенности, как огонь маяка в белом береговом тумане, стал мерцать мне один замысел, который сначала отгонял я как неисполнимый и безнадежный, но который потом, когда мечта с ним освоилась, показался достигаемым. От Якова Глока знал я, что тот писатель, сочинение которого о магии было для меня самой ценной находкой среди всего собранного мною книжного богатства и который дал мне наконец ариаднину нить, выведшую меня из лабиринта формул, имен и непонятных афоризмов, – доктор, Агриппа Неттестеймский, проживал всего в нескольких часах езды от моего местопребывания: в городе Бонне, на Рейне же[105]. И вот, все более и более, стал я задумываться над тем, что мог бы за разрешением своих сомнений обратиться к этому человеку, посвященному во все тайны герметических наук и действительно знавшему из опыта и из сношений с другими учеными многое такое, что

неуместно было бы передавать через печать profano vulgo[106]. Казалось мне дерзким личными своими делами встревожить работу или отдых мудреца, но в тайне сердца не почитал я себя недостойным встречи с ним и не думал, что моя беседа покажется ему смешной и нелюбопытной.

За советом, еще не решив, как поступить, я отправился в лавку к Глоку, у которого не бывал уже давно и который, увидя меня, весьма обрадовался, так как любил во мне покорного слушателя. На этот раз пришлось мне выдержать многоречивый панегирик Бернарду Тревизанскому, одному из немногих, нашедших камень философов, – и только когда у Глока иссяк запас восторженных слов или, может быть, пересохло в глотке, приступил я к изложению своего дела. Осторожно объяснил я, что мои занятия магией приближаются к концу, что, однако, выводы, к которым я пришел, сильно уклоняются от обычных воззрений, и что я, прежде, нежели изложить свои мнения в сочинении, желал бы представить их на обсуждение истинному авторитету в этих вопросах; при этом я назвал имя Агриппы и вы-



сказал предположение, что Глок, благотворная деятельность которого известна всей Германии, может оказать мне в этом деле некоторую помощь. К немалому моему удивлению, Глок не только с настоящим вниманием отнесся к моему замыслу, но изъявил готовность ему способствовать и тут же пообещал достать мне рекомендательное письмо к Агриппе от его издателя, с которым был сам в отношениях дружеских. Это обещание принял я как *omen bonum*[107] и подумал, не сама ли богиня Фортуна приняла на сегодня дряхлый образ старого книгопродавца, чтобы продвинуть меня в путь, как принимала в песнях божественного слепца богиня Минерва образ старого Ментора.

Через два дня после этого Глок, сдержав свое слово, в самом деле прислал мне письмо, на котором была сделана надпись: «*Doctissimo ac ornatissimo viro, Henrico Cornelio Agrippae, comprimis amico Godefridus Hetorpius*» [108], и тогда показалось мне даже неприличным отказаться от своего предприятия. Разумеется, смущало меня то, что я должен был покинуть Ренату, но ведь, находясь

близ нее, ничем не в силах был я помочь ее тягостному недугу, у корня подрезавшему ее жизнь. Пытался было я переговорить с Ренатою о своем плане, но она не хотела вникнуть в смысл моих слов и жалобным знаком руки просила меня не мучить ее объяснениями, так что, сжав губы, решил я действовать на свой страх, отправился покупать себе лошадь и достал из угла свой запылившийся дорожный мешок. Когда же, в самый день отъезда, ранним утром, пришел я к Ренате в комнату проститься и сказал ей, что все-таки еду по общему нашему делу, она мне ответила так:

– У нас с тобою общего дела быть не может: ты – живой, я – мертвая. Прощай.

Я поцеловал руку у Ренаты и вышел, словно действительно из комнаты, где стоит гроб и дымятся похоронные свечи.

Между городами Кельном и Бонном всего несколько часов хорошей верховой езды по имперской дороге, но так как началась уже зимняя погода и каждый час можно было ожидать снега, то дорога была испорчена жестоко, и мне пришлось путешествовать целый день, от зари до темноты, не раз отдыхая

во многочисленных деревенских гостиницах, в Годорфе, Весселинге, Виддиге, Герзеле, а даже едва не заночевав в самом близком расстоянии от города. Скажу также, что новая моя одежда из темно-коричневого сукна, которую я сшил себе уже в Кельне и впервые надел для этого посещения Агриппы, пришла в очень плачевный вид, и нисколько не защитил ее мой верный товарищ – морской плащ, выдавший бури Атлантического океана. Однако все время пути был я в таком бодром настроении духа, какого не знавал уже давно, ибо, впервые после нескольких месяцев покинув Ренату, я как будто обрел потерянного самого себя. Испытывал я такое ощущение, словно из темного погреба вдруг вышел на ясный свет, и мой одинокий путь вдоль Рейна в Бонн казался мне непосредственным продолжением моего одинокого пути из Брабанта, а недавние дни с Ренатою – мучительным сношением на одной из дорожных станций.

Впрочем, никак не забывал я о цели своей поездки, и меня очень тешила мысль увидеть Агриппу Неттесгеймского, одного из величайших ученых и замечательнейших писателей

нового времени. Поддаваясь игре воображения, знакомой, вероятно, каждому, представлял я себе во всех подробностях мое посещение Агриппы, и, слово за словом, повторял я мысленно те речи, которые я ему скажу и какие услышу в ответ, причем иные из них, не без затруднения, составлял даже по-латыни. Мне хотелось верить, что явлюсь я перед Агриппою не как неопытный ученик, но как скромный молодой ученый, не лишенный знаний и опытности, но ищущий указаний и наставлений в тех высших областях науки, которые еще не достаточно разработаны и где не стыдно спрашивать о дороге. Я воображал себе, как Агриппа будет сначала слушать мои рассуждения не без недоверия, потом – с радостным вниманием, и как, наконец, пораженный моим умом и богатым запасом моих сведений, в удивлении спросит, как успел я в мои годы достичь такой редкой и разносторонней учености, и я ему отвечу, что лучшим моим руководителем были его сочинения... И немало других, не менее вздорных, невероятных и просто немислимых разговоров подсказывало мне детское тщеславие, неожидан-

но вынырнувшее со дна моей души в часы трудного пути по холодным и пустынным зимним полям архиепископства.

Издروгший и усталый, но не потерявший бодрости, добрался я до ворот Бонна уже после третьего звона с башни, совсем в темноте, и не без труда добился пропуска у ночной стражи, так что пришлось мне не быть особенно разборчивым в выборе места для ночлега и охотно принять комнату в первой попавшейся гостинице, помнится, под вывеской «Золотой Лозы».

Утром следующего дня, как то всегда водится в маленьких гостиницах, хозяин ее пришел ко мне осведомиться, не нуждаюсь ли я в чем, а больше из любопытства, чтобы выведать, кто такой его новый постоялец. Я встретил его не без удовольствия, ибо надо мне было расспросить, где именно живет Агриппа, да и приятно мне было показать, что приехал я к такому человеку. А так как хозяин оказался местным старожилом, то, в придачу к сведениям об улице, на которой стоит дом Агриппы, услышал я и городские толки про него.

– Как не знать Агриппы? – сказал мне хозяин. – Его всякий мальчишка у нас давно заметил, и, правду сказать, избегает! Хорошего про него говорят мало, а дурного – много. Рассказывают, что занимается он чернокнижием и знает с Дьяволом... Во всяком случае, сидит он в своем гнезде, как сыч, и иногда неделями не показывается на улице. Что не больно-то он хороший человек, можно судить уже потому, что двух своих жен он уморил, а третья вот только что, месяца не прошло, как развелась с ним. Но, впрочем, я прошу вашу милость простить меня, если это ваш добрый знакомый, потому что рассказываю я это все только по слухам, а мало ли что люди говорят: всех не переслушаешь!

Я поспешил заверить, что с Агриппою нет у меня дружбы никакой, а только денежные дела, и хозяин, приободрясь, но голос понизив, стал мне передавать уже всякие небылицы про славного гостя их города[109]. Так, рассказал он, что у Агриппы всегда есть несколько домашних демонов, которые живут с ним под видом собак; что Агриппа на диске луны читает обо всем, что совершается на разных

концах земли, и потому знает все новости без слов; что, владея тайной превращения металлов, часто расплачивается он монетами, которые имеют всю видимость добрых, но впоследствии превращаются в куски рога или навоза; что знатым людям в магическом зеркале показывает он все их будущее; что молодые годы, состоя в Италии при испанском генерале Антонио де Лейва, магическими силами обеспечивал своему начальнику успех во всех предприятиях; что однажды видели Агриппу в городе Фрибурге кончающим публичную лекцию ровно в десять часов утра, в тот самый миг, когда он же начинал другую публичную лекцию за много миль отсюда, в городе Понтимуссах[110], – и множество других, столь же сомнительных историй.

Эти пустые рассказы слушал я с удовольствием не потому, чтобы верил им, но потому, что мне казалось лестным идти в дом к столь поразительному человеку. И когда, по моим соображениям, настал час, удобный для посещения, я, еще раз оправив свое платье, вышел из гостиницы с видом гордым и, идя по улицам, втайне желал, чтобы прохожие за-

метили, куда я направляюсь. Вспоминая теперь те свои самодовольные мечтания, не могу я не улыбнуться, горько и грустно, ибо судьба, играющая с человеком, как кот с мышью, сумела тут посмеяться надо мною с тонкой жестокостью. Вместо роли триумфатора, которую мне присваивало мое самолюбие, заставила она меня разыгрывать роли, гораздо менее почетные: уличного буяна, пустого кутилы и школьника, которому учитель делает выговор.

По данным мне указаниям я довольно легко отыскал дом Агриппы, – на краю города, у самой стены, довольно большой, хотя только в три этажа, со многими пристройками, старинный, суровый и строго обособленный от других зданий. Я постучал у входа, потом, не получив ответа, повторил стук, и, наконец, толкнув дверь, оказавшуюся незапертой, вошел в обширные и пустые сени, и, на звук голосов, проник дальше, во вторую комнату. Там, за широким столом, вокруг миски с каким-то дымящимся блюдом, сидело, весело болтая и хохоча, четверо молодых людей, которых я принял за домовых слуг. Услышав



скрип растворяемой двери, они смолкли и обернулись ко мне, а из-под стола, с ворчанием и скаля на меня зубы, вышли две или три породистых собаки.

Я спросил вежливо:

– Могу ли я видеть доктора Агриппу Неттестеймского, который, кажется, живет в этом доме?

Один из полдничавших, рослый малый, с лицом итальянца и с итальянским выговором речи, крикнул мне в ответ грубо:

– Как вы смеете входить в чужой дом, не постучавшись? Это – не пивная и не ратуша! Уходите, пока мы не указали вам дороги к двери!

Этот окрик до такой степени противоречил всем моим ожиданиям, что подействовал на меня, как удар по лицу, – сразу потерял я обладание собою и, в порыве безотчетного гнева, крикнул в ответ тоже неосмотрительные и резкие слова, что-то вроде следующих:

– Ты ошибаешься, приятель, говоря, что я вошел без стука! Но в этом доме лакеи бражничают, вместо того чтобы исполнять свои обязанности! Ступай и осведомься у своего

господина, как тебе обращаться с его гостем, потому что вот у меня к нему рекомендательное письмо от его друга.

Слова мои произвели впечатление сильнейшее. Один из сидевших вскочил с яростным ругательством и устремился на меня с сжатыми кулаками, опрокинув скамью, другой бросился ему на помощь, третий, напротив, пытался удержать товарищей, а собаки начали кидаться на меня с лаем и рычанием. Я, видя себя неожиданно вовлеченным в бесславную схватку, обнажил свою испытанную шпагу и, размахивая ею, отступил к стене, повторяя, что проколю насквозь первого, кто приблизится на расстояние удара. В продолжение нескольких минут все вокруг напоминало покой царя Улисса перед началом избияния женихов, и легко могло стать, что, ввиду неравенства сил, за свою заносчивость расплатился бы я жизнью, и никто, конечно, не поинтересовался бы убийством неизвестного проезжего.

По счастью, однако, исход распри был более мирным, потому что одержали верх голоса более благоразумных, которые убеждали,

что у нас нет никакого повода к кровавому столкновению. Тот из молодых людей, которого, как я узнал вскоре, звали Аврелием, принудил нас разойтись, сказав нам такую речь;

– Господин приезжий и товарищи! Не давайте богу войны Марсу торжествовать в этом доме, посвященном богине мудрости – Минерве! Господин приезжий виноват, обращаясь с нами, как с челядью, но и мы виноваты, встретив человека благородного столь пренебрежительно и невежливо. Принесем взаимные извинения и выясним, в чем недоумение, трезво, как подобает людям мыслящим.

Говоря правду, я был рад подобному обороту дел, избавлявшему меня от бессмысленной, но опасной драки, и, поняв, что вижу перед собою не слуг Агриппы, но его учеников, вторично в учтивых выражениях изложил поводы моего посещения, назвал свое имя, показал рекомендательное письмо и объяснил, что нарочно приехал из другого города, чтобы переговорить с Агриппою.

Аврелий ответил мне:

– Не знаю, удастся ли вам увидеть учителя. Он имеет обычай работать в своем кабинете, не выходя из него, по нескольку суток подряд, и никто в доме не смеет в это время его тревожить, так что даже обед и питье ставят для него в соседней комнате. Там же кладут ему и все присылаемые письма, так что, если вы передадите нам ваше, мы его включим в то же число.

После такого заявления не оставалось мне ничего лучшего, как вручить Аврелию письмо Геторпия и откланяться, довольствуясь тем, что так счастливо разрешилось мое первое в доме Агриппы приключение, в котором вел я себя не совсем достойно. Однако надо думать, что тот день принадлежал к числу несчастных, *dies nefasti*[111], потому что и Аврелий и я, оба мы вздумали загладить следы нелепой ссоры, забывая пословицу, что кто отыгрывается, проигрывает вдвое. Так, Аврелий убедил всех своих товарищей подать мне руку и по одному представлял их мне.

– Это, – говорил он, указывая на того, с кем началась у меня перебранка, – самый из нас старший, родом из Италии, и мы зовем его

Эммануэлем; как уроженец юга, он вспыльчив и необуздан; а это – маленький Ганс, самый младший из нас, не по имени только Иоанн, но и по любви к нему учителя; а это – дельный малый, голова и кулак, каких немного, по прозвищу Августин; наконец, перед вами я сам – Аврелий, человек кроткий, как вы сами видели, а потому надеющийся наследить землю[112].

Я же не только пожал всем руки, но, на беду, предложил, в знак того, что не осталось между нами никакого недоразумения, выпить вместе кварту вина в одном из трактиров. Посоветовавшись между собою вполголоса, ученики согласились на мой зов, и без промедления все, впятером, отправились мы из дома Агриппы под гостеприимный кров лучшей в городе гостиницы под вывеской «Жирных Петухов» [113].

Расположившись в большой и еще совершенно пустой в тот ранний час комнате трактира за стаканами, в которых искрился радостный шарлахбергер[114], и за кругом доброго южного сыра, мы очень скоро забыли недавние вражеские друг на друга взгляды.

Вино, по выражению Горация Флакка, *explicuit contractae seria frontis*, разгладило на наших лбах морщины, и голоса наши стали громкими, живыми и радостными, так что сторонний наблюдатель мог бы принять нас за обычных собутыльников, не знающих тайн между собою. Но напрасно старался я навести разговор на сокровенные знания и на магию, думая, что ученики великого чародея за бокалами будут похваляться своими частыми сношениями с демонами, – их мысли были всего дальше от этих предметов. Здоровые и веселые, болтали они обо всем на свете: об успехах лютеранства, о своих любовных похождениях, о приближавшихся праздниках св. Катарины и св. Андрея с их забавными обрядами[115], – и я почувствовал себя опять студентом среди своих давних кельнских собутыльников. И только один юный Ганс держался среди нас особняком, пил мало и был похож на девушку, которая по стыдливости говорит «спутники» вместо «панталонны» [116].

Когда наконец прямо стал я расспрашивать об Агриппе и его теперешней жизни, изо

всех уст посыпались жалобы, для меня очень неожиданные. Августин признался, что переживают они время очень плачевное, что учителя теснят кредиторы, а у него почти нет других доходов, кроме прибыли от продажи его сочинений. Аврелий добавил, что из-за этой стесненности в деньгах принужден был Агриппа вступить на службу к нашему архиепископу, а тот поручает ему такие недостойные занятия, как устройство праздников и присмотр за ними. Наконец, Эммануэль с бранными словами напал на третью жену Агриппы, с которой он только что развелся, находя, что все беды принесла с собой эта женщина, и всячески выхваляя его покойную жену, Жанну-Луизу, к которой, кажется, был неравнодушен. Начал Эммануэль также рассказывать мне о прекрасных днях, какие знали они все в Антверпене, когда Агриппа процветал под покровительством, ныне уже покойной, принцессы Маргариты Австрийской; когда дом их был оживленным, веселым, вечно наполненным смехом и шутками; когда учитель, его жена, его дети и его ученики составляли одну дружную семью... К сожалению

нию, шкипером нашей беседы был бог Вакх, и конец рассказа, не достигнув пристани, затонул где-то под штормом неожиданных шуток и насмешек Августина. Одно только мог я заключить с достоверностью: что Агриппа, если и умел делать золото для других и доставлять успех другим, не пользовался своим искусством для самого себя.

Однако, несколько времени спустя, мы опять повернули к интересным берегам, потому что захмелевшие собеседники стали настойчиво добиваться от меня, с каким делом приехал я к Агриппе. Я не в силах был сказать ни слова этим беспечным ребятам о Ренате и потому отозвался кратко, что хочу спросить некоторых советов по вопросам оперативной магии.

К моему справедливому удивлению, этот ответ был встречен дружным смехом.

– Ну, друг, – сказал Аврелий, – попали вы не метко в цель! Придется вам ехать назад с тем же багажом, с каким приехали!

– Неужели Агриппа, – спросил я, – до такой степени оберегает свои сведения в тайных науках и так неохотно делится ими?



Тут в разговор вмешался Ганс, молчавший почти все время.

– Как обидно, – воскликнул он, – что на учителя всегда смотрят, как на чародея! Неужели всегда Агриппа Неттестгеймский, один из самых светлых умов своего века, должен будет платиться за увлечения своей молодости и его будут знать только как автора слабой и неудачной книги «О сокровенной философии» [117]?

Изумленный, я указал, что книгу Агриппы по магии никак не могу почитать неудачной, что, кроме того, она только что вышла из печати и что, следовательно, сам автор придает ей, еще теперь, некоторое значение.

Ганс ответил мне, негодуя:

– Разве же вы не читали предисловия к книге, где учитель объясняет это? Его книга распространилась по всей Европе в списках неверных, со вздорными дополнениями, вроде нелепой ее «четвертой части», и учитель предпочел напечатать свой подлинный текст, чтобы отвечать только за свои слова. Но в самой книге нет ничего, кроме изложения разных теорий, которые учитель изучал

как философ. Нас он сам заверил, что никогда, ни одного раза в жизни не приходило ему в голову заниматься такими пустяками или такими нелепостями, как вызывание демонов!

Едва Ганс произнес эти запальчивые слова, как товарищи стали потешаться уже над ним, напоминая, что еще очень недавно он сам верил в заклинания. Смешавшись и покраснев, Ганс, чуть не со слезами на глазах, просил замолчать, говоря, что тогда он был еще слишком молод и глуп. Но я, как лицо постороннее, настаивал, чтобы мне объяснили, о чем речь, и Августин, хохоча, рассказал мне, что Ганс, только что вступив в дом Агриппы, тайно унес из его кабинета книгу заклинаний и гримуаров[118] и хотел, начертив круг, непременно вызвать духа[119].

— Забавнее всего то, — добавил оправившийся Ганс, — что теперь в народе рассказывают про этот случай. Уверяют, будто ученик, укравший книгу, действительно вызвал демона, но не умел отогнать его. Тогда демон умертвил ученика. Агриппа как раз в эту минуту вернулся домой. Чтобы не сочли его са-

мого виновником этой смерти, велел он демону войти в тело ученика и отправиться на людную площадь. Там будто бы демон и покинул мертвое тело, оживленное им, так что оказалось много свидетелей скоропостижной смерти ученика. И я убежден, что эту вздорную басню включают впоследствии в биографию учителя и будут ей верить больше, чем правдивым рассказам о его работах и несчастьях!

После этого все четверо еще несколько минут говорили о демонах и вызываниях, но все время в тоне пренебрежительной шутки, и не без лукавства расспрашивали меня, в какой отдаленной местности подобрал я на ниве брошенную за ненадобностью веру в магию. Я же, слушая эти легкомысленные речи, действительно чувствовал себя, как Лютер, приехавший из своего глухого городка в Рим, где ждал он найти сосредоточие благочестия, а нашел только разврат и безбожие.

Тем временем хозяин «Жирных Петухов» усердно сменял опустевшие кварталы полными, собеседники мои пили от чистого сердца, с ненасытимой жаждой молодости, а я пил,

чтобы заглушить чувство стыда и неловкости перед самим собой, – и наша веселая болтовня переходила понемногу в буйное веселие. Языки наши стали выговаривать слова не отчетливо, а в головах закружились розовые смерчи, от которых все стало казаться приятным, милым и легким. Покинув темы о магах и о заклинаниях, перешли мы к беседам, более подходящим к состоянию нашей мыслительной способности.

Так, сначала поднялся у нас спор о преимуществах разных сортов вин: итальянского рейнфаля и испанского канарского, шпейерского генсфюссера и виртембергского эйльфингера, а также многих других, причем ученики Агриппы проявили себя знатоками не хуже монахов. Спор грозил перейти в драку, потому что Эммануэль кричал, что лучшее вино идет из Истрии, и грозил разбить череп всякому, кто думает иначе; но всех пятерых примирил Аврелий, предложивший спеть песенку:

*Klingenberg am Main,  
Wurtzburg am Stein,  
Bacharach am Rhein*

Стихи, должно быть, как голос Музы, успокоили всех; но через минуту поднялась другая ссора о том, где женщины лучше. Эммануэль опять выхвалял свою Италию и особенно дома веселия в Венеции, но Августин уверял, что нет места лучше Нюрнберга, так как там недавно закрыли женский монастырь и все монахини перешли в публичные дома[121]. Впрочем, спор велся безо всяких правил диспутов, и, когда я только упомянул, что был в Риме, Эммануэль пришел в неистовый восторг, схватил меня в объятия и целовал, крича: «Он был в Италии! Слышите? – он был в Италии!» Чтоб и в этом случае успокоить страсти, Аврелий предложил такое решение, что лучшие женщины – в Бонне и что в этом надо немедленно удостовериться. Товарищи с криками радости согласились на доводы Аврелия и объявили, что никогда не видели более ловкого кводлибетария[122].

Запев какую-то веселую песню, но не очень твердо стоя на ногах, отправились мы, под предводительством Аврелия, куда-то на другой край города, пугая мирных прохожих.

Однако свежесть зимнего воздуха довольно скоро отрезвила меня, и, когда на одном повороте маленький Ганс сделал мне знак глазами, я тотчас его понял и поспешил последовать сигналу. Задуманная военная диверсия нам удалась счастливо, и скоро мы остались одни в пустынном переулке.

– Мне показалось, – сказал Ганс, – что вам не было заманчивым продолжать попойку, а я считаю такое времяпрепровождение и вредным, и бесполезным. Хотите, поэтому я вас провожу к вам домой?

Я ответил:

– Вы совершенно правы. Я вас благодарю и очень прошу в самом деле оказать мне услугу, потому что вино в этом городе, кажется, вдвое крепче, чем на всем свете, и без вас я не найду другой дороги, как в ближайший ров.

Маленький Ганс добродушно засмеялся и принял во мне самое близкое участие. Не только он проводил меня в мою гостиницу, но и уложил в постель, где тотчас же придавил меня мутный сон. А когда, спустя несколько часов, я проснулся, не совсем, ко-

нечно, освеженный, с сильной еще головной болью, но с проветренным сознанием, – я увидел, что Ганс не покидал меня и заготовил мне какое-то питье и ужин.

– Я – медик, – объяснил мне Ганс, – и не считал хорошим покинуть больного в том виде, в каком вы находились.

Гансу было лет двадцать, а может быть, меньше. Он был невысок ростом и некрасив лицом, которому несколько смешной вид придавали кругловатые глаза навывкате под круто изогнутыми бровями, но молодое лицо изобличало ум и было приятно. В разговоре, который завязался у нас тотчас, этот безбородый юноша выказал проницательность, большие сведения в науках и даже знание жизни. И вот, под впечатлением минутного порыва, который управляет нашими поступками чаще, чем рука холодного соображения, а может быть, и не без влияния еще не вполне миновавшего опьянения, я рассказал маленькому Гансу то, что утаил от его старших товарищей: зачем я приехал к Агриппе и вообще, что пришлось мне пережить за последние месяцы, умолчав, конечно, только об имени Ре-

наты и о нашем местопребывании. Надо, впрочем, в мое оправдание вспомнить, что в течение долгого времени я не имел возможности ни с одним человеческим существом поговорить откровенно и что все то мучительное, что испытывал я, оставалось в моей душе как некая тяжесть, давившая ее и давно искавшая исхода.

Ганс выслушал мою длинную и страстную исповедь со вниманием, как врач принимает признания больного, и, после недолгого обдумывания, ответил мне так, говоря, словно наставник к младшему:

– Я не сомневаюсь в справедливости ни одного из ваших слов. Но вы, по-видимому, мало изучали медицину и, во всяком случае, не знаете новых и весьма замечательных открытий, сделанных в этой области. Я же был счастлив, имев руководителем по этой науке такого ученого, как наш учитель, который хотя и прекратил практику, но остается одним из величайших медиков своего века. Теперь мы знаем, что существует особая болезнь, которую нельзя признать помешательством, но которая близка к нему и может быть названа



старым именем – меланхолия. Болезнь эта чаще, чем мужчин, поражает женщин, – существо более слабое, как показывает самое слово *mulier*[123], производимое Варроном от *mollis*, нежный. В состоянии меланхолии все чувствования бывают изменены под давлением особого флюида, распространившегося по всему телу, так что больные совершают поступки, которых нельзя объяснить никакой разумной целью, и бывают подвержены самым необъяснимым и самым быстрым сменам настроений. То они веселы, то печальны, то бодры, то безвольны до крайности, – и все это безо всякой видимой причины. Точно так же без надобности они лгут: выдают себя не за то, что они есть, возводят сами на себя или на других вымышленные преступления, особенно же любят играть роль преследуемых, жертвы. Эти женщины искренно верят в свои рассказы и искренно страдают от призрачных бед: воображая, что одержимы демонами, они действительно мучаются и бьются в конвульсиях, причем заставляют так изгибаться свое тело, как это им невозможно сделать сознательно, и вообще своим воображе-

нием могут довести себя и до смерти. Из числа именно этих несчастных пополняются ряды так называемых ведьм, которых надо бы пользоваться успокоительным питьем, но против которых папы издают буллы, а инквизиторы воздвигают костры. Я полагаю, что и вы повстречались с одной из подобных женщин. Конечно, она вам рассказала о своей жизни басню, и никакого графа Генриха не существовало никогда; позднее же, всеми доступными ей средствами, она стремилась к тому, чтобы остаться в ваших глазах необыкновенной и несчастной, за что, впрочем, никак нельзя ее винить, так как тут действовала ее болезнь.

Выслушав эту лекцию, я напомнил Гансу то, что рассказывал ему о своем полете на шабаш и о нашем вызывании демона Анаэля, но Ганс возразил мне так:

– Пора бы перестать верить в такие бабьи сказки, как шабаш: помрачение чувств, воображение – вот что такое шабаш! Вы, конечно, были во власти сильного снотворного средства, которое дала вам ваша знакомая, и я тотчас скажу вам состав этого зелья: в него

входило – масло, петрушка, паслен, волкозуб, ибунка, может быть, соки и других растений, но главными элементами были – трава, называемая итальянцами белладонна, затем беле-на и немного фиванского опиума. Составлен-ная таким образом мазь, при втирании ее в тело, всегда вызывает глубокий летаргиче-ский сон, в котором являются с большой ярко-стью видения тех вещей, о которых вы дума-ли, засыпая. Некоторые медики уже делали опыты и заставляли женщин, которые почи-тали себя ведьмами, натираться волшебной мазью под своим присмотром. И что же? Ока-зывалось, что эти несчастные лежали про-стертыми во сне на одном месте, хотя, проснувшись, с полным убеждением и по-вествовали разные небылицы о своих поле-тах и плясках. Точно так же нелепо верить, будто какие-то слова, халдейские или латин-ские, которые ничем не лучше наших немец-ких, и какие-то линии, называемые характе-рами, имеют власть над силами природы и Дьяволом. Я уверен, что в вашем опыте вызы-вания не что иное, как дым от курения при-няли вы за образы демонов и что разбил у вас

первую лампаду не один из злых духов, но та же ваша помощница, конечно, находясь в припадке исступления[124].

На все эти рассуждения у меня тогда не нашлось возражений как потому, что моя голова была утомлена в тот день, так и потому, что я отвык от ученых споров, и я стоял перед маленьким Гансом, как противник, выронивший шпагу из рук, или как пристыженный ученик, которого наставник бьет линейкой. Такое положение не помешало мне, однако, воздать должное остроумию доводов Ганса, и я тут же сказал ему, что, если он сумеет обосновать свои мнения и подкрепить их достаточным числом примеров, ему удастся написать очень примечательное и, может быть, полезное сочинение. И я еще твердо надеюсь повстречать такую книгу, которая и сделает известным имя моего молодого друга – Иоганна Вейера.

Остаток вечера мы провели в беседе менее значительной, но исполненной всяческой приятности, ибо во всех областях, каких мы касались, проявлялся природный ум Ганса, его сметливость и ранняя начитанность. Для

меня эта беседа имела значение немаловажное, ибо вывела меня из того круга мыслей, в котором я вращался, и напомнила мне, как смешно сводить судьбу человека к таинственной воле inferнальных сил. Прощаясь со мною, Ганс убедительно советовал мне прийти на следующий день к ним в дом, так как это был воскресный день и можно было ожидать, что Агриппа покинет свой кабинет. Я тоже согласился, что неприлично мне, оставив рекомендательное письмо, самому в доме не появиться, но после всего, что слышал я от учеников Агриппы, уже не мог ждать ничего важного для себя от встречи с ним. Эту вторую ночь в Бонне провел я совсем не с такими весенними мечтами, как первую, и все мои пустоцветные надежды, словно от засухи, поникли головами к земле.

## II

**В**се-таки на следующий день, в час после обеда, я опять постучался под дверями Агриппы, и на этот раз Эммануэль, Августин и Аврелий встретили меня как доброго приятеля, только добродушно выговаривая мне, что я не по-товарищески покинул их накану-

не «в беде». Вчера меня ждали в доме Агриппы дреколья и собачьи зубы, а сегодня меня похлопывали по плечу, называли, шутя, amicissime[125], и я на деле мог убедиться, что нет лучшей свахи, чем Вакх. Мало того: потому ли, что Аврелий и его товарищи действительно почувствовали ко мне расположение, или они хотели загладить вчерашний свой прием, или, наконец, они просто рады были новому человеку, скучая в уединении, – но только весь тот день они посвятили мне и наперерыв заботились, чтобы доставить мне всякие развлечения.

Аврелий взялся показать мне весь дом, и мы обошли двенадцать или пятнадцать комнат, из которых некоторые были совершенно нежилыми и не обставленными никакой мебелью. В других обстановка была самая разнообразная, от вещей роскошных, хотя и обветшалых, до совершенно дешевых, купленных по нужде и расставленных как попало, безо всякого изящества. В комнатах, которые недавно занимала третья жена Агриппы, все оставалось в крайнем беспорядке, словно жилище только что было разграблено немецки-

ми ландскнехтами; но и наиболее прибранные напоминали скорее лавку столяра, нежели дом философа.

Аврелий познакомил меня и со всеми обитателями дома, а прежде всего, с двумя сыновьями Агриппы, Генрихом и Иоганном, мальчиками лет по десяти, не произведшими на меня впечатления ни умных, ни воспитанных; два других сына Агриппы были тогда в отсутствии[126]. С детьми жила старая служанка Мария, добродушная и простоватая, не покидавшая Агриппу в течение последних пятнадцати лет, но, кажется, неспособная связать трех слов подряд. Другая служанка, Маргарита, была лишь немногим помоложе, но зато лишь немногим и поумнее, а слуга, рослый парень, по прозвищу Антей, производил впечатление совершенного идиота. Таким образом, легко можно было догадаться, что жизнь в этом доме была невеселая, и после учеников я должен был признать самыми живыми его обитателями шесть или семь собак, больших, породистых, со звучными кличками: Таро, Циккониус, Баласса, Муза, которые важно бродили по всем комнатам,

как по своим исконным владениям.

Аврелий, не упуская нигде случая уверить меня, что Агриппа не занимается чародейством, сказал мне об этих собаках:

– Учитель так любит собак, что с иными неразлучается даже ночью и спит с ними в одной постели. На смерть одной из его любимых собак, Filiolus'a[127], его друзья даже написали несколько латинских эпитафий в стихах. А в народе по этому поводу ходят вздорные слухи, будто Агриппа держит у себя в виде собак домашних демонов.

Точно так же, показывая мне комнату, смежную с кабинетом Агриппы, где ставилась ему пища и клались новые письма, Аврелий сказал мне:

– Имперская почта получает хороший доход с учителя, так как ему ежедневно приходит несколько писем. Он в переписке и с Эразмом, и со многими коронованными лицами, и с архиепископами, и даже с самим папою, не говоря о простых ученых и бесчисленных его почитателях. От них-то узнает он новости со всех краев Европы, а суеверы воображают, будто он получает их магическими



способами[128].

После осмотра дома и сытного, хотя довольно скромного обеда новые приятели повели меня гулять по городу, из улицы в улицу, причем мы очень скоро обошли его весь, так как Бонн очень невелик, и даже выходили за ворота, откуда красивый вид на Семигорье. Также полюбовался я и церквами Бонна, особенно же пятибашенным собором – поистине одним из прекраснейших созданий нашей старинной архитектуры. Улицы в тот день были по-праздничному полны народом, и было приятно медленно брести в толпе, разодетой в яркие, разноцветные платья, перемигиваться с незнакомыми девушками и рассматривать молодых людей, в зимних плащах и шляпах с перьями. Августин уже успел узнать по именам весь город и чуть не о каждом прохожем и не о каждой женщине успевал шепнуть нам на ухо веселую историйку, напоминавшую *Facetiae*[129] Поджо и заставлявшую нас смеяться.

Часов около пяти мы вернулись домой, и Аврелий, узнав, что Агриппа все еще не отворял дверей кабинета, предложил играть в

шахматы. Я предоставил доску Аврелию с Эммануэлем, а сам вызвался биться с Августинном об заклад за выигрыш того или другого. Смотреть на игру пришли мальчики из своей детской, а с ними и Мария, которая почитала себя членом семьи. Все мы столпились вокруг стола, за которым сидели игроки, и две собаки, поместившись подле, не с меньшим вниманием следили за передвижением пешек и коней. И никто, глядя на двух шахматистов, увлеченных своими ходами, на следящих за ними закладчиков, на двух мальчишек, сосущих свои пальцы, и на старую добрую няньку, – не подумал бы, что эта идиллическая семейная сцена, достойная пера Саннацаро[130], совершается в доме великого чародея Агриппы, который, по рассказам, сводит луну с неба и выводит тела мертвых из их могил.

Я держал пари за Эммануэля, надеясь на его изобретательность, но Аврелий оказался гораздо более ловким в искусстве Дамиана [131] и, действуя медленно и обдуманно, очень решительно теснил своего противника. Играя без хладнокровия, Эммануэль сердился и ни за что не хотел признать себя побежден-

ным, но, вероятно, не избег бы мата, если бы вдруг из комнаты Агриппы не раздался звук колокольчика, призывающий к нему. Все, бывшие в нашей комнате, пришли в движение: мальчики испуганно шмыгнули за двери, Мария побежала за ними, Ганс кинулся наверх по зову, а Эммануэль, пользуясь общим смятением, словно в минутном порыве, смешал фигуры на доске, и никто не узнал, чем должна была кончиться та партия.

Через несколько минут Ганс вернулся от учителя и объявил, что Агриппа читал мое письмо и готов принять меня немедленно и что, вместе с тем, он зовет к себе и всех учеников.

Таким образом, исполнилось мое заветное желание и осуществилась цель, ради которой я прибыл в Бонн, – но уже не надежда получить разрешение томивших меня недоумений, а только любопытство путешественника, осматривающего местные достопримечательности, владело мною, когда взбирался я по узкой лестнице во второй этаж, где был кабинет Агриппы. Ученики же, принимая во мне дружеское участие, наперерыв давали

мне советы, как вести себя с Агриппою, то напоминая, чтобы я говорил громче, ибо учитель несколько туг на ухо[132], то предупреждая, что учитель терпеть не может монахов, то предлагая непременно называть учителя «magister doctissime» [133] и т. под. Перед самой дверью в комнату Агриппы пришлось еще раз остановиться, Ганс опять побежал вперед, и только после этого, наконец, дверь отворилась, и я вступил в святая святых.

Кабинет Агриппы с первого взгляда напоминал скорее музей или монастырскую библиотеку, – так был он весь загроможден шкафами с книгами и с папками, аналоями для книг, а также чучелами животных и различными физическими приборами и инструментами; даже на скамьях и на полу были разбросаны рукописи, рисунки, бумаги всякого рода. Там и сям лежали слои пыли, пахло какой-то затхлостью, но солнце, проникая в узкое готическое окно комнаты, озаряло ее довольно приветливо и ярко. У широкого стола, тоже заваленного фолиантами и тетрадями, сам словно погребенный в бумагах, сидел в высоком кресле человек небольшого роста, не старый

еще, худой и бритый, в малиновой шапочке на седых волосах и широком плаще, отороченном мехом. Я узнал Агриппу, ибо он очень похож на свой портрет, напечатанный на обложке книги «De Occulta Philosophia»; только выражение лица показалось мне несколько иным: на портрете оно добродушное и откровенное, – у Агриппы же было в лице что-то пренебрежительное или брезгливое, может быть, оттого, что губы его как-то старчески свисали, а усталые веки наполовину прикрывали взгляд живых и острых глаз. У ног Агриппы, положив ему морду на колени, сидела его любимая черная собака, небольшая, с мохнатой шерстью и поразительно умными, словно человеческими, глазами, которую, как я узнал позже, звали «Монсеньёром» [134].

Войдя, я с поклоном остановился на пороге, но Агриппа, приветствуя меня наклоном головы, словно государь, привыкший давать аудиенции, сказал мне:

– Добро пожаловать, господин приезжий! Мне о вас пишет мой друг Геторпий. В старости у меня друзей осталось немного, очень немного, но зато каждое их слово для меня –

обязательство. Садитесь и будьте другом в этом доме, хотя вы и привезли мне дурные новости.

Последние слова чуть-чуть смутили меня, и, занимая место среди учеников около стола, я не знал, что сказать, но Агриппа снова заговорил сам. Взяв со стола привезенное мною рекомендательное письмо и показывая его нам, он произнес, не без риторского искусства, целую речь, которую, по-видимому, предназначал исключительно для меня, так как ученикам не сообщал в ней ничего нового.

– Геторпий, представляя вас, – сказал он, – пишет мне в то же время, что он не решается печатать моего «Апологетического письма к Кельнскому сенату» и что вообще ни одна типография в Кельне не примет его под свой пресс[135]! Узнаю обычное оружие моих противников, так как происки их преследовали меня всю мою жизнь! В Антверпене тамошние ученые добились запрещения мне практиковать как медику, хотя я лечил людей в дни язвы, когда городские лекаря все разбежались. В Кельне мне не позволили читать

лекций, хотя в Доле, в Турине, в Павии у меня было больше слушателей, чем у всех других магистров! Император, у которого я состоял историографом, не находил нужным платить мне жалованье, и в Брюсселе кредиторы бросили меня за долги в тюрьму! Наконец, едва попытался я печатать свои сочинения, как обрушились на меня еще худшие угрозы: в Париже мою книгу сожгли, по приговору Сорбонны, а в Германии противился ее напечатанию сам инквизитор, пренебрегая данной мне привилегией. Против моих сочинений кричат доктора, лиценциаты, учителя, бакалавры, риторы всех родов и вся несчетная толпа бездельников в рясах, капюшонах, мантиях, босоногих и в сандалиях, черных, белых, серых, всех мастей: одним словом, все делатели силлогизмов и наемные софисты, которым истина слепит глаза, как совам. Но я не боюсь нападений, сумею оборониться и против явных обвинений, и против клеветы тайной. Они теперь не дают мне напечатать письма, в достаточной степени сдержанного. Что ж, я напишу другое, беспощадное, подбавлю туда уксусу и горчицы, но поуменьшу мас-

ла, и напечатаю-таки его в другом городе, хоть в Лондоне, хоть в Константинополе!

Произнося эти грозные диатрибы в моем присутствии, Агриппа, вероятно, надеялся, что через меня они станут известны разным кругам лиц, так как почитал меня другом Геторпия. Но я, видя необходимость ответить, сказал осмотрительно, что не берусь быть судьей в споре Агриппы с клиром, ни тем более с его величеством императором, но что, конечно, все те преследования, о которых говорит Агриппа, делают ему честь, ибо на незначительного человека не направили бы нападений ни инквизиция, ни теологи, ни ученые.

Воспользовавшись минутою молчания, Аврелий напомнил учителю, что я приехал с определенной целью просить у него совета. Агриппа, словно бы он только неожиданно вспомнил обо мне, обернулся в мою сторону и, гневно кинув письмо Геторпия на стол, спросил:

– Что же, молодой друг, хотите вы от меня? Чем может помочь Агриппа, которого, как вы видите, травят, словно свора собак лису?



Я поспешил ответить, что чувствую себя, как Марсиас, вопрошаемый Аполлоном, и что оправдания своей смелости ищу только в славе Агриппы, распространенной по всей Европе, но что за разъяснением вопросов, на которые ответа нельзя найти в книгах, во всей Германии обратиться можно только к его познаниям, к его уму, к его опытности. Далее рассказал, что некоторые обстоятельства моей личной жизни привели меня к занятиям оперативной магией, что среди всех книг, написанных по этому вопросу, я не мог не выделить сочинение Агриппы, что, изучив основательно все, изложенное в его труде, я нахожу еще множество темных пунктов и хочу о них отдельно просить разъяснения у самого автора.

Агриппа, выслушав меня, нахмурился и произнес с досадливостью:

– Вы, должно быть, мою книгу читали не очень внимательно или ее не поняли, иначе бы не обратились ко мне с такими вопросами! В предисловии у меня сказано ясно и твердо, что маг должен быть не суевером, не кознодеем и не демониаком, но мудрецом,

священнослужителем и пророком. Истинным магом почитаю я сибиллу, пророчившую в язычестве о Христе, и тех трех царей, которые, узнав из дивных мировых тайн о рождении спасителя мира, поспешили с дарами к колыбели-яслям. Вы же, по-видимому, ищете в магии, как и большинство, не сокровенного знания о природе, но разных ловких средств, чтобы вредить ближним, чтобы добывать богатства, чтобы разузнавать о завтрашнем дне; но за такими сведениями надо идти к фокусникам и шарлатанам, а не к философу. Книга моя «О сокровенной философии» написана мною в юности и содержит много несовершенного, но все же представляет только обзор всего сказанного о магии, дабы любознательный ум мог проследить все отрасли этой науки, но никогда никого не приглашал я пускаться в темные и не заслуживающие одобрения опыты гоетейи[136]!

Видя, что Агриппа от прямого ответа уклоняется, я решился его, однако, принудить к тому, хотя бы и героическими средствами, и потому сказал так:

– Почему же, учитель, исследовав внима-

тельно области магии и найдя в них одни заблуждения, не постарались вы других отклонить от бесплодных занятий этою наукою, а, напротив, поспешили напечатать свой труд, который сами считаете несовершенным? Он, может быть, и составлен вами в юности, но не забудьте, что присоединили вы к нему два предисловия, которые написаны совсем недавно и в которых о магии говорите вы с большим почтением и своего презрительного к ней отношения не проявляете ничем. Не подаете ли вы этим великий соблазн любознательным читателям, и не прав ли буду я, напомнив вам слова Евангелия, что лучше было бы человеку, соблазнившему единого из малых сих, если бы повесили ему на шею мельничный жернов и утопили его в морской пучине?

Во время этой моей речи Аврелий делал мне глазами знаки, чтобы я замолчал; но я не привык оставаться осмеянным и спокойно договорил до конца. Агриппа тоже был живо затронут моими словами, весь вид его резко переменился, – так как его самоуверенность и надменность как бы погасли, и он сказал мне

раздражительно:

– Чтобы печатать мое сочинение, у меня были важные причины, о которых вы, молодой человек, не имеете, вероятно, никакого понятия. Объяснять их вам сейчас было бы совсем неуместно, не говоря о том, что особая клятва воспрещает мне касаться некоторых вопросов перед непосвященными.

Суровость ответа могла только возбудить мою настойчивость, и я, не побоявшийся задавать вопросы председателю шабаша, конечно, не отступил перед гневом Агриппы Неттестеймского. Продолжая теснить его, я тотчас бросил ему новый вопрос, причем мне самому показалось, что мой ясный голос застучал, как две игральных кости, прыгающие по столу при решительной ставке:

– *Magister doctissime!* Ведь я не имею никаких притязаний, чтобы вы открывали предо мной сокровенные тайны! Но, будучи одним из соблазненных вашей книгой, я только скромно прошу ответить мне, что же такое магия: истина или заблуждение, наука или нет?

Агриппа вскинул на меня глаза, но я не

опустил своих, и, пока наши взоры были сопряжены, испытывал я такое чувство, словно бы, держась за руки, мы оба стояли над пропастью. Одну минуту верилось мне тогда, что Агриппа сейчас скажет мне что-то исключительное и вдохновенное, – но через миг передо мной опять сидел в высоком кресле пожилой ученый, в широком плаще и малиновой шапочке, который, сдержав свое негодование, на мои дерзкие требования ответил мне чуть-чуть недовольным, но строгим и ровным голосом:

– Есть два рода науки, молодой человек. Одна – это та, которую практикуют в наши дни в университетах, которая все предметы рассматривает отдельно, разрывая единый цветок вселенной на части, на корень, стебель, лист, лепесток, и которая, вместо познания, дает силлогизмы и комментарии. В моей книге «О недостоверности познания», стоившей мне многих лет работы, но принесшей мне одни насмешки и обвинения в ереси, выяснено подробно, что называю я псевдонаукой. Адепты ее – псевдофилософы – сделали из грамматики и риторики инструменты для

своих ложных выводов, превратили поэзию в ребяческие выдумки, на арифметике основали пустые гадания да музыку, которая развращает и расслабляет, вместо того чтобы укреплять, превратили политику в искусство обманов, а теологией пользуются как ареной для логомахии, для словесной борьбы безо всякого содержания! Эти-то псевдофилософы исказили и магию, которую древние почитали вершиной человеческого познания, так что в наши дни натуральная магия не более как рецепты отрав, усыпительных напитков, потешных огней и всего подобного, а магия церемониальная – только советы, как войти в сношение с низшими силами духовного мира или как пользоваться ими разбойнически и врасплох. Как не устану я оспаривать и осмеивать ложную науку, так постоянно буду отвергать и ложную магию. Но в человеке все же нет ничего более благородного, как его мысль, и возвышаться силой мысли до созерцания сущностей и самого бога – это прекраснейшая цель жизни. Надо только помнить, что все в мире устремлено к одному, все обращается вокруг единой точки и через то все

связано одно с другим, все в определенных отношениях между собою: звезды, ангелы, люди, звери и травы! Единая душа движет и солнце в его беге вокруг земли, и небесного духа, покорного велению божию, и мятущегося человека, и простой камень, скатившийся с горы, – лишь в разной степени напряженности проявляется эта душа в разных вещах. Наука, которая рассматривает и изучает эти все-ленские отношения, которая устанавливает связь всех вещей и пути, которыми они влияют друг на друга, и есть магия, истинная магия древних. Она ставит себе задачу согласовать слепую жизнь своей души, а по возможности – и других душ, с божественным планом создателя мира, и требует для своего выполнения возвышенной жизни чистой веры и сильной воли, – ибо нет силы более мощной в нашем мире, чем воля, которая способна совершать и невозможное, и чудеса! Истинная магия есть наука наук, полное воплощение совершеннейшей философии, объяснение всех тайн, полученное в откровениях посвященными разных веков, разных стран и разных народов. Об этой магии, молодой друг,

как кажется, вы ничего не знали до сих пор, и, в заключение нашей беседы, я желаю вам обратиться от гаданий и волхвований к истинному источнику познания.

После этой двусмысленной речи не оставалось мне делать ничего другого, как, встав, еще раз просить извинения за причиненное беспокойство и проститься. Я бросил последний взгляд на Агриппу, на его учеников, теснившихся вокруг его кресла с изъявлениями восторга, – и вышел из комнаты, думая, что покидаю этот круг навсегда, не подозревая во все, что мне еще придется повстречать великого чародея, и при каких странных обстоятельствах!

На площадке лестницы меня догнали Ганс и Аврелий, которым хотелось, должно быть, загладить неприятное впечатление аудиенции, так как они всячески старались объяснить суровость Агриппы, ссылаясь на то, что он очень был расстроен письмом Геторпия. В кратком разговоре, происшедшем у нас тут, Аврелий сказал:

– Вот не ожидал я, что учитель еще втайне верует в магию!



А Ганс, с заносчивостью юности, добавил:

– Великий он человек и ученый, но другого, нежели мы, поколения.

И Ганс и Аврелий убедительно просили меня остаться в Бонне еще на день, уверяя, что завтра учитель отнесется ко мне доброжелательнее, но я решительно отказался еще раз тревожить Агриппу, тем более что потерял всякую надежду на его помощь в моем деле. Впрочем, я благодарил обоих юношей за содействие, ими оказанное мне, а Ганс дружески проводил меня до дверей дома, и мы, расставаясь, дали друг другу обещание обмениваться письмами.

На следующее утро я выехал обратно на север. В полях выпал снег, и было довольно холодно, но дорога значительно исправилась, и ехать было гораздо легче, нежели три дня назад. Лошадь бодро бежала по мягкому белому ковру, прикрывавшему промерзшую твердую почву.

Когда впоследствии я тщательно обсудил все свое посещение Агриппы и внимательно обдумал все его речи, я пришел к выводу, что не каждому сказанному им слову должно

придавать веру. В те краткие минуты, которые я, приезжий незнакомец, стоял перед Агриппою, не было у него причин открывать свою душу и высказывать прямо свои сокровенные мысли о предмете столь ответственном, как магия. Похоже было, что не высказывал он их и перед своими учениками, так что в их скептических речах, может быть, отражалось не окончательное мнение философа, а то одиночество, на которое всегда обречены великие люди, принужденные таиться даже от самых близких. Ныне же, после второй встречи с Агриппою, я даже не сомневаюсь, что в магию верил он гораздо больше, нежели хотел это показать и, что, может быть, именно гоетейе были посвящены часы его уединенных занятий.

Но все эти соображения еще не приходили мне в голову во время моего возвратного пути из Бонна. Напротив, мне тогда казалось, что строгая речь Агриппы и трезвые догадки Ганса, как свежий ветер, разогнали тот туман таинственного и чудесного, в котором я блуждал последние три месяца. С настоящим удивлением спрашивал я себя, как мог я в течение

четверти года не выходить из круга демонов и дьяволов, – я, привыкший к ясному и отчетливому миру корабельных снастей и военных передвижений. С таким же недоумением искал я ответа, почему оказался я, не раз прежде залечивавший в сердце раны от стрелы крылатого божка, привязанным такими прочными узами к стану женщины, отвечавшей мне только пренебрежением или снисходительною холодностью. Пересматривая, не без краски стыда на щеках, свою жизнь с Ренатою, находил я теперь свое поведение смешным и глупым и негодовал на себя, что так рабски подчинялся причудам дамы, о которой даже не знал с точностью, кто она и имеет ли право на внимание.

Тут же вспомнилась мне и та клятва, которую я дал самому себе в Дюссельдорфе и о которой совсем не думал последние недели: не оставаться близ Ренаты более трех месяцев и больше, чем то время, в какое истрачу я треть собранных мною денег. Три месяца с того утра истекли уже шесть дней тому назад, и предельная сумма денег тоже была почти вся израсходована. Под влиянием этих раздумий

мелькнула у меня мысль вовсе не возвращаться в Кельн, но, повернув свою лошадь, ехать южнее Бонна, по направлению к родному Лозгейму, а Ренату предоставить ее одинокой судьбе. Однако сделать этого у меня не достало духу, прежде всего потому, что меня томила тоска по Ренате, но и честь не позволяла мне такого предательства.

Тогда я сказал себе: приехав домой, я поговорю с Ренатою открыто и чистосердечно, укажу ей, что ее искания графа Генриха – безумие, напомним ей, что полюбил ее страстно и сердечно, и предложу ей стать моей женой. Если может она пред богом и людьми дать мне клятву быть женою верной и преданной, мы направимся в Лозгейм вдвоем и, получив благословение моих родителей, поедем жить за океан, в Новую Испанию, где все прошлое Ренаты забудется, как предутренний сон.

Убаюканному этими мечтами о мирном счастье, мне было легко и вольно; я напевал вполголоса веселую испанскую песенку «A Mingo Revulgo, Mingo» и без усталости понукал свою лошадь, так что еще засветло выступи-

ли передо мною городские стены Кельна, темнея над белым снегом.

## Глава седьмая

### **Как я встретился с графом Генрихом и почему я вызвал его на поединок**

Добравшись до нашего дома, усталый, но веселый, я стуком в ворота вызвал Луизу, передал ей поводья лошади и спросил:

– Что госпожа Рената?

К моему удивлению, Луиза ответила мне:

– Ей, кажется, лучше, господин Рупрехт.

Без вас она все дни гуляла по городу и вчера возвратилась только поздно вечером.

Конечно, в словах Луизы было затаенное острие, так как давно уже относилась она к Ренате недоброжелательно, – и удар не пришелся мимо. «Как, – сказал я себе, – Рената, которая при мне делает вид, что не может подняться с постели, как параличная, Рената, которая целыми неделями не хочет переступить порога своей комнаты, словно она отказалась от этого по обету, – едва осталась одна, гуляет по зимним улицам до темной ночи!

Можно ли не верить после этого догадкам Ганса Вейера, что вся ее болезнь – только воображение, что все ее страдания – только роль на театре!»

Негодую, почти в гневе, вбежал я по лестнице во второй этаж, но там на площадке, опираясь на перила, ждала меня Рената, причем лицо ее было бледно и обличало волнение необыкновенное. Завидев меня, она протянула руки, взяла меня за плечи и, не давая мне вымолвить ни слова, сама не произнося приветствия, сказала:

– Рупрехт, он – здесь.

Я переспросил:

– Кто здесь?

Она подтвердила:

– Генрих – здесь! Я его видела. Я говорила с ним.

Еще не совсем доверяя словам Ренаты, я стал ее спрашивать:

– Ты не ошиблась? Тебе это, быть может, показалось? Это был кто-нибудь другой. Он сам признался тебе, что он – граф Генрих?

Рената же увлекла меня в свою комнату, заставила сесть и, почти прильнув ко мне, на-

клонив свое лицо близко, стала, задыхаясь, рассказывать мне, что произошло с нею в Кельне за эти два дня.

По ее словам, в субботу, в час вечерней службы, ей, когда она обычно изнемогала у окна в холодной тоске, вдруг послышался тихий, но явственный голос, как бы ангельский, который повторил трижды: «Он – здесь, около собора. Он – здесь, около собора. Он – здесь, около собора». После этого Рената не могла ни рассуждать, ни медлить, но, встав и накинув плащ, тотчас поспешила к собору на площадь, в то время полную народом. Не прошло и пяти минут, как в толпе она различила графа Генриха, шедшего с другим молодым человеком, обнявшись. От волнения при этом видении, о котором она слишком долго мечтала, Рената едва не упала без чувств, но некая сила, как бы извне, поддержала ее, и она последовала за идущими через весь город, пока они не вошли в один дом, принадлежащий Эдуарду Штейну, другу гуманистов.

На другой день, в воскресенье, с ранней зари, Рената была на страже близ этого дома, твердо решив дожидаться появления Генриха.

Ей пришлось ждать долго, весь день, но она не обращала внимания на изумленные взгляды прохожих и подозрительные – рейтаров, и только мысль, что Генрих мог ночью покинуть город, заставляла ее дрожать. Вдруг, уже около сумерек, дверь растворилась, и появился Генрих с тем же юношей, как вчера, оживленно беседуя. Рената пошла за ними, прячась у стен, и проследила весь их путь до Рейна, где друзья распрощались: незнакомец направился на пристань, к судам, а Генрих хотел возвратиться. Тогда Рената вышла из тени и назвала его по имени.

По словам Ренаты, Генрих сразу узнал ее, но она была бы счастлива, если бы не было так, ибо лицо его, едва он понял, кто перед ним, исказилось негодованием и ненавистью. Рената схватила его за руку; он освободился, с дрожью брезгливости, и, отстраняя протянутые к нему пальцы, пытался удалиться прочь. Тогда Рената стала перед ним на колени на грязной набережной, целовала край его плаща и сказала ему все те слова, которые так много раз твердила мне: как она его ждала, как она его искала, как она его любит, и умо-



ляла здесь же убить ее, потому что от его удара умерла бы с блаженством, как святая. Но Генрих ответил ей, что не хочет ни говорить с ней, ни видеть ее, что даже не имеет права простить ее; наконец, вырвавшись из ее рук, он скрылся, почти убегая, оставив ее одну, в темноте и безлюдии.

Весь этот рассказ Рената провела одним духом, говоря голосом твердым и выбирая выражения верные и картинные, но, дойдя до конца, она вдруг сразу потеряла силы и волю и залилась слезами: словно бы спал ветер, гнавший корабль ее души, и паруса жалостно захлопали по снастям. И тотчас тяжело опустилась она на пол, так как отчаяние всегда влекло ее к земле, и, клонясь ничком, начала рыдать и биться, повторяя беспомощно одни и те же слова, не слушая ни моих ласковых утешений, ни моих пытливых вопросов.

Признаюсь, что на меня рассказ Ренаты, хотя в тот день я и был от нее более далек, чем всегда, — произвел впечатление ошеломляющее: у меня забилося сердце прерывисто и вся душа словно наполнилась черным дымом от взрыва. Мысль, что кто-то смел обра-

щаться надменно и презрительно с женщиной, перед которой я привык стоять на коленях, была мне нестерпима. Однако я не позволил себе поддаться гневу и ревности, но постарался отчетливо разобраться в том, что произошло, хотя оно и представлялось мне беспорядочным и стремительным вихрем. Как только Рената получила опять хоть некоторую возможность говорить связно, я попросил ее повторить мне точнее слова Генриха.

Все еще захлебываясь слезами, она воскликнула:

– Как он оскорблял меня! Как он меня оскорблял! Он говорил мне, что я была злым гением его жизни! Что я погубила всю его судьбу. Что я отняла его у Неба. Что я – от Дьявола. Он сказал мне, что презирает меня. Что воспоминание о нашей любви ему отвратительно. Что наша любовь была мерзость и грех, в которые я завлекала его постыдным обманом. Что он, что он... плюет на нашу любовь!

Тогда я спросил, почему граф Генрих мог говорить, что Рената отняла его у Неба? Разве не сам он, добровольно, увез ее в свой замок,

чтобы жить с ней, как с женой и как с близкой? И так как в тот час все обычные плотины в душе Ренаты были сломаны стремительным потоком ее горя, то, не делая даже попытки защищаться, она упала лицом мне на колени и воскликнула с какой-то последней искренностью, так для нее непривычной:

– Рупрехт! Рупрехт! Я утаила от тебя самое важное! Генрих никогда не искал человеческой любви! Он не должен был никогда в жизни прикасаться к женщине! Это я, это я заставила его изменить клятве! Да, я отняла его у Неба, я у него отняла лучшие мечты, и за это он меня теперь презирает и ненавидит!

Продолжая осторожно подкрадываться к истине, как зверь к добыче, я, вопрос за вопросом, выведал затем у Ренаты все то, что она утаила от меня о Генрихе в своем первом рассказе и о чем не обмолвилась ни разу за три месяца нашей общей жизни. Я узнал, что Генрих был участником одного тайного общества, вступая в которое дают обет целомудрия. Это общество должно было скрепить христианский мир более тесным обручем, нежели церковь, и стать во главе всей земли более

властно, нежели император и святейший отец. Генрих мечтал, что он будет избран гроссмейстером этого ордена и выведет ладью человечества из пучины зла на путь правды и света. Ренату позвал он за собой лишь как помощницу в его опытах новой, божественной магии, ибо ему нужна была особая сила, таящаяся в некоторых людях. Но Рената, почитая Генриха воплощением своего Мадизэля, приблизилась к нему с одной целью – владеть им и, не пренебрегая никакими средствами, достигла торжества своих желаний. Однако Генрих, после недолгого времени, в которое ум его был ослеплен страстью, пришел в ужас от совершенного и, в горьком раскаянье, бежал из родного замка, как из зачумленной страны.

Такое истолкование событий показалось мне гораздо более правдоподобным, нежели то, которое Рената давала мне раньше, – и я, соединив наконец в одно целое отдельные нити ее рассказа, спросил у нее:

– Если ты сама сознаешь, что виновата перед графом Генрихом, что ты лишила его лучшей надежды и отняла у него святую цель

жизни, как же ты удивляешься, что он ненавидит тебя?

Рената медленно приподнялась с полу, посмотрела на меня вдруг высохшими глазами и потом сказала совершенно новым, твердым, словно отлитым из стали, голосом:

– Я, может быть, не удивляюсь вовсе. Я, может быть, рада тому, что Генрих меня ненавидит. Я плачу не по нем, но по себе. Мне не его жалко потерять, но стыдно и горько, что я могла так любить его, так предаваться ему. Я сама его ненавижу! Теперь я узнала точно, о чем догадывалась давно. Генрих обманул меня! Он – только человек, простой человек, которого можно соблазнить и которого можно погубить, а я, в безумии, воображала, что он – мой ангел! Нет, нет, Генрих – только граф Оттергейм, неудавшийся гроссмейстер своего ордена, а мой Мадизель – на небесах, вечно чистый, вечно прекрасный, вечно недоступный!

Рената сложила руки, как для молитвы, а я почел это мгновение подходящим для того, чтобы высказать ей все то, о чем мечтал и раздумывал на возвратном пути из Бонна. Я сказал:

– Рената! Итак, ты убедилась, что граф Генрих – не твой ангел Мадизель, но простой смертный, который некоторое время любил тебя и которого ты любила едва ли не по заблуждению. Ныне любовь эта погасла в нем, равно как и в тебе, и твое сердце, Рената, свободно. Вспомни же, что близ тебя есть другой, кому это сердце дороже всех золотых россыпей Мексики! Если со спокойной душой, хотя бы и без страсти, ты можешь протянуть мне свою руку и дать мне на будущее обещание верности, я приму это, как несчастный нищий королевскую милостыню, как пустыжник благодать с неба! Вот, еще раз, Рената, я на коленях перед тобой, – и от тебя зависит обратить все свое страшное прошлое в забывающийся сон.

Рената, после моих слов, встала, выпрямилась, опустила мне руки на плечи и сказала так:

– Я буду твоей женой, но ты должен убить Генриха!

Отступив на шаг, я переспросил, так ли я расслышал, потому что еще раз Рената несколькими словами перевернула все мое

представление о ней, словно ребенок, перевертывающий мешок, из которого сыплются на землю все лежавшие там вещи, – и Рената повторила мне голосом спокойным, но, по-видимому, в крайнем волнении:

– Ты должен убить Генриха! Он не смеет жить, после того как выдавал себя за другого, за высшего. Он украл у меня мои ласки и мою любовь. Убей его, убей его, Рупрехт, и я буду твоей! Я буду тебе верна, я буду тебя любить, я пойду за тобой всюду – и в этой жизни, и в вечном огне, куда откроется путь нам обоим!

Я возразил:

– Я – не наемный убийца, Рената, не неаполитанец[137], я не могу поджидать графа за углом и ударить его кинжалом в спину: мне честь не позволит этого!

Рената ответила:

– Неужели ты не найдешь поводов вызвать его на бой? Ступай к нему, как ты пошел к Агриппе, оскорби его или заставь его оскорбить тебя, – разве мало у мужчины средств, чтобы убить другого?

Меня в этой речи поразило, прежде всего, упоминание об Агриппе, так как до той мину-

ты я был уверен, что Рената, относясь безучастно ко всему на свете, не знала о цели моей поездки. Что же касается самого требования – убить графа Генриха, то я лицемерил бы, если бы стал утверждать, что оно меня ужаснуло. Смutilа меня лишь неожиданность слов Ренаты, но в глубинах души моей они сразу нашли сочувственный отзвук, словно бы кто-то ударил в медный щит перед глубокими гротами и многогласное эхо, замирая далеко, долго повторяло этот звук. И когда Рената начала теснить меня, как противник врага, загнанного в ущелье, вырывать у меня согласие, как пантера кусок мяса из чужих когтей, – я сопротивлялся не очень упорно, почти для виду, и дал ту клятву, которой она ждала.

Едва я произнес решающие слова, как Рената переменяла все свое поведение. Внезапно заметила она, что я изнемогаю от усталости после довольно продолжительного пути; с заботливостью, которая до того времени проявлялась в ней так редко, бросилась она снимать с меня дорожное платье, принесла мне воды, чтобы умыться, разыскала мне



ужин и вина. Она вдруг стала со мною как самая добрая, домовитая жена с любимым супругом или как старшая сестра с захворавшим младшим братом. Перестав говорить о графе Генрихе, словно позабыв весь наш ожесточенный разговор и мою клятву, Рената за ужином начала расспрашивать меня о моей поездке, интересуясь всем, что со мною случилось, обсуждая со мною слова Агриппы, как в счастливые дни наших общих занятий. Когда я, видя сквозь окна совершенно черное небо, сознавая внутренним чувством, что мы уже переступили через порог полночи, хотел, поцеловав руку Ренаты, удалиться к себе, — она тихо сказала мне, опустив глаза, как невеста:

— Почему ты сегодня не хочешь остаться со мной?

Признаюсь, этот вопрос поразил меня в самое сердце. Уже в течение многих недель Рената более не позволяла мне проводить ночи близ себя, и я вспоминал о нашей прежней близости, как о счастье недоступном. И вот, когда я, не смея мечтать о том, чтобы остаться с Ренатою, преодолевая скорбь, с нею про-

щался, она вдруг задала мне такой вопрос, словно бы я обижал ее своим уходом!

Не вспомню, что я ответил Ренате, знаю только, что мы остались вместе, и этот раз Рената не захотела, чтобы я устроился на деревянном помосте близ ее постели, но позвала меня лечь с нею рядом, опять как в первые дни. Мало того, тотчас Рената стала прижиматься ко мне всем телом, как любовница, целовала меня, искала моих губ, моих рук, всего меня. И когда я, отстраняясь, сказал ей, что она не должна искушать меня, Рената отвечала мне:

– Должна! Должна! Я хочу быть с тобой! Сегодня я хочу тебя!

Так неожиданно совершилось наше первое соединение с Ренатою, как мужчины с женщиной, в день, когда я всего менее ждал этого, после разговора, который всего менее вел к этому. Та ночь стала нашей первой брачной ночью, после того как немало ночей мы провели на одной постели, словно брат и сестра, и после того, как несколько месяцев мы жили рядом, словно скромные друзья. Но, когда я, в муке неожиданного счастья, опья-

нев от свершения всего, что мне уже казалось невозможным, приник, истомленный, к губам Ренаты, чтобы поцелуем благодарить ее за свой трепет, – вдруг увидел я, что ее глаза вновь полны слезами, что слезы текут по ее щекам и что губы ее искривлены улыбкой боли и безнадежности. Я воскликнул:

– Рената! Рената! Неужели ты плачешь?

Она ответила мне сдавленным голосом:

– Целуй меня, Рупрехт! Ласкай меня, Рупрехт! Ведь я же отдалась тебе! Ведь я же отдала тебе все мое тело! Еще! Еще!

Почти в страхе, упал я ниц на подушки, сам готовый плакать и скрежетать зубами, но Рената с насилием влекла меня к себе, заставляя быть живым орудием ее пытки, добровольным, но содрогающимся палачом, терзая и распиная себя, с ненасытимой жаждой, на колесе ласк и кресте сладострастия. Она обманывала меня, снова и снова, притворной нежностью, соблазняла страстью, может быть, и не искусственной, но предназначавшейся не мне, и, вбросив свое тело в пламя и в пилы, стонала от блаженства – чувствовать боль, плакала от последней радости – презирать се-

бя. И до самого утра длилась эта чудовищная игра в любовь и счастье, в которой поцелуи были острыми клинками, призывы к наслаждению – угрозами судьи, влага страсти – кровью, а вся наша брачная постель – черным застенком.

Этот вечер, когда во имя любви от меня потребовали убийства, и эта ночь, когда во имя страсти от меня потребовали мук, остались самым страшным из моих бредов, и сон изнеможения, избавивший меня от дьявольских видений, оказал мне милость большую, чем то могли все владыки мира.

Я утром проснулся, измученный сильнее, чем был бы после полугодового заключения в подземной тюрьме: мои глаза едва в силах были смотреть на свет и сознание мое было тускло, словно плохое стекло. Но Рената, порой, бывала как из металла, твердая и упругая, не знающая никакого утомления, и когда я впервые встретил ее взгляд – он был все тот же, что накануне. Для меня все было еще так смутно, что я готов был сомневаться, живы ли мы оба, а Рената уже звала меня с безжалостной настойчивостью:

– Рупрехт! пора! пора! Мы должны идти к Генриху сейчас же! Я хочу, чтобы ты убил его скоро, сегодня, завтра!

Она не давала мне одуматься, она торопила меня, словно на корабле в час крушения, когда каждая минута дорога, – и теперь это я подчинялся с покорностью андроида Альберта Великого. Не споря, принарядился я как мог лучше, надел свою шпагу и последовал за Ренатою, которая повела меня по пустынным утренним улицам, – молча, не откликаясь на мои слова, точно исполняя чью-то неодолимую волю. Наконец подошли мы к дому Эдуарда Штейна, большому и роскошному, с хитрыми балконами и лепными обводами окон, и, с одним только словом «здесь», Рената, указав мне тяжелые резные двери, быстро повернулась и пошла прочь, как бы оставляя меня наедине с моей совестью. Впрочем, и не смотря вслед Ренате, я тотчас почувствовал, что она не уйдет далеко, но укроется за первым поворотом и будет ждать моего вторичного появления у этой двери, чтобы, кинувшись, выхватить у меня тотчас известие об успехе.

Сказать правду, я был так оглушен закрутившим меня смерчем событий, что, против своего обыкновения, совсем не успел внимательно и строго обсудить свое положение. Только взявшись, чтобы постучаться, за дверную ручку, массивную и утонченной работы, вспомнил я, что не подготовил слов для разговора с Генрихом, что вообще не знаю, что я буду делать, войдя в этот богатый дом. Медлить, однако, было не время, и с тою решимостью, с какой, зажмурив глаза, бросаются в пучину, я ударил твердо и громко металлом по металлу и, когда слуга отворил мне дверь, сказал, что должен непременно видеть остановившегося в этом доме графа Генриха фон Оттергейм, по делу важному и не терпящему отлагательства.

Слуга провел меня через переднюю, уставленную высокими, но изящными шкапами, потом по широкой лестнице с красивыми перилами, далее еще через входную комнату, где висели картины, изображавшие разных животных, и, наконец, постучавшись, отворил мне маленькую дверь. Я увидел перед собой узкую комнату с деревянным, разукра-

шенным потолком, с резными фризами по стенам, всю заставленную деревянными для книг аналоями, – из-за которых и выступил мне навстречу молодой человек, одетый изысканно, как рыцарь, в шелк, с прорезными рукавами, с золотой цепью на груди и множеством мелких золотых украшений. Я понял, что это – граф Генрих.

Несколько мгновений, прежде чем заговорить, всматривался я в этого человека, с которым, без его ведома, уже так давно была чудесным образом связана моя судьба, образ которого так часто силился я представить, которого порою считал то небесным духом, то созданием больного воображения. Генриху на вид было не более двадцати лет, и во всем существе его был такой избыток свежести и юности, что, казалось, их не может сокрушить ничто в мире, так что становилось почти страшно и невольно вспоминалось о вечной молодости[138], какую будто бы дает людям таинственный напиток, растворивший в себе алхимический камень мудрецов. Лицо Генриха, безбородое и полуюношеское, было не столько красиво, сколько поразительно:

голубые глаза его, сидевшие глубоко под несколько редкими ресницами, казались осколками лазурного неба, губы, может быть, слишком полные, складывались невольно в улыбку, такую же, как у ангелов на иконах, а волосы, действительно похожие на золотые нити, так как были они тонки, остры и сухи и до странности лежали каждый отдельно, возносились над его челом, словно нимб святых. Во всех движениях Генриха была стремительность не бега, но полета, и если бы продолжали настаивать, что он – житель неба, принявший человеческий облик, я бы, может быть, увидел за его детскими плечами два белых лебединых крыла.

Первым граф Генрих прервал молчание, конечно, недолгое, но казавшееся длительным, спросив меня, какую может он оказать мне услугу, – и голос его, который я услышал здесь в первый раз, показался мне самым прекрасным в его существе, – певучий, легко и быстро переходящий все ступени музыкальных тонов.

Собрав все силы своей сообразительности, стараясь говорить плавно и свободно, но да-



же не зная, чем закончу предложения, первые слова которых произношу, – я начал почитательную речь. Я сказал, что много слышал о графе как о замечательном ученом, в молодые годы проникшем в запретные тайны природы и во все сокровенные учения, от Пифагора[139] и Плотина до учителей наших дней; что с раннего детства влекло меня неутолимое желание к познанию высшей мудрости, к исканию первопричины всех вещей; что усердным и прилежным изучением достиг я некоторой высоты понимания, но уверился с несомненностью, что личными усилиями нельзя проникнуть в последние тайны, ибо посвященные, еще со времен Хирама, строителя Соломонова, передают основные истины лишь устно ученикам; что только в обществах, где, как благодать в церкви, преемственно передаются откровения древнейших народов: евреев, халдеев, египтян и греков, возможно прийти к цели на пути познания; что, зная графа за лицо влиятельное и важное в самом значительном из этих обществ, которые все связаны между собою единством задач и единством дела, я и прибегаю теперь

к нему с просьбою – помочь мне вступить, покорным учеником, в одно из них.

К моему удивлению, эта речь, наполовину хвастливая и наполовину лицемерная, в которой я постарался выставить напоказ все свои скудные сведения о таинственных орденах посвященных, – была встречена графом Генрихом как что-то, достойное внимания. Приняв меня, кажется, за одного из посвященных, хотя и стоящего вне обществ, Генрих поспешно и с крайней вежливостью указал мне на скамью, сел сам и, глядя мне в лицо грустными и откровенными глазами, заговорил со мною, как близкий с близким.

– Ответьте сначала, – сказал мне он, – родственны ли вы нам по основным устремлениям своего духа? Одушевлены ли вы, как и мы, ненавистью к зверям Востока и Запада[140]? Приняли ли вы, как первое и вечное руководство, эмблему сына господня, озаренную светом[141]? Жаждете ли подняться к небесным вратам по семи ступеням из свинца, латуни, меди, железа, бронзы, серебра и золота[142]?

По правде, я мало что понял из этих странных вопросов, но подобные выражения были

не в новость мне, только что прочитавшему множество книг по магии, и хотя тот час казался мне тогда важнейшим в жизни, не преодолел я лукавого соблазна, который поманил меня испытать, насколько сами посвященные понимают друг друга. Припомнив несколько загадочных выражений, встреченных мною в «Пэмандре» [143] и других подобных сочинениях, постарался я ответить Генриху в тоне его речи и озаботился при этом всего более, чтобы слова мои не имели никакого отношения к его, ибо такую особенность подметил я во всех таинственных вопросах и ответах. Я сказал:

– Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста [144] гласит: то, что вверху, подобно тому, что внизу. Но пентаграмма, с главой, устремленной вверх, знаменует победу тернера над двумя, духовного над телом; с главой же, устремленной вниз, – победу греха над добром. Все числа таинственны, но простые выражают преимущественно божественное, десятки – небесное, сотни – земное, тысячи – будущее. Как же думаете вы, что пришел бы я к вам, если бы не умел различать бездны верх-

ней от бездны нижней?

Едва произнес я эти совершенно пустые слова, как тотчас раскаялся в своей шутке, потому что Генрих устремился на них с доверчивостью ребенка и воскликнул в таком восторге, словно я открыл ему что-то неведомое и что-то поразительное.

– Ах, вы правы, вы правы! Конечно, конечно! Я сразу понял, что мы с вами – об одном. И я вас вовсе не испытывал! Я только хочу предупредить вас, что на том пути, куда вы порываетесь, больше терний, чем сладких ягод. На тайных собраниях не открывают, словно какой-то ларчик, истину истин. Первое слово, которое должны мы говорить новоприбывшему, это – жертва. Лишь тот, кто жаждет принести себя в жертву, может стать учеником. Вдумались ли вы в примеры: светлого Озириса, погубленного темным Тифоном? божественного Орфея, растерзанного вакханками? дивного Диониса, умерщвленного титанами? нашего Бальдура, сына света, павшего от стрелы хитрого Локи? Авеля, убитого рукою Каина? Христа распятого? Рыцари Храма[145], двести лет тому назад, заплатили жизнью за

возвышенность своих целей и за благородство, с каким они говорили владыкам: «Ты будешь королем, пока справедлив». Вергилий Марон описывает две двери из мира теней: первая из слоновой кости, но сквозь нее вылетают лишь обманчивые призраки; вторая из рога[146]. Я только спрашиваю вас, добровольно ли вы идете в менее украшенную дверь?

Генрих проговорил все это со страстным увлечением, произнося каждое слово так, словно оно было ему особенно дорого или словно оно в первый раз в жизни пришло ему на уста. Смотря на этого полуюношу, полуробенка, в котором было так много внутреннего огня, что ничтожного повода, вроде легкомысленных вопросов случайного посетителя, было ему достаточно, чтобы вспыхнуть огненными языками, – чувствовал я, что падает и замирает во мне вся к нему ненависть, всякое к нему недоброжелательство. Я слушал удивительные переливы его голоса, словно открывавшие голубые дали, вглядывался в его глаза, которые, как мне казалось, оставались, несмотря на оживленность речи, пе-

чальными, как бы тая на своем дне канувшее туда отчаяние, – и был как змея, выползшая из-под камня, чтобы ужалить, но зачарованная напевом африканского заклинателя. Был один миг, когда я почти готов был воскликнуть: «Простите меня, граф, ведь я недостойно посмеялся над вами!» Но с ужасом, поймав свою мысль на такой опасной тропинке, я сам крикнул себе «берегись!» и поспешил овладеть своею душою, как всадник понесшей лошадью. И тотчас, чтобы дать себе возможность оправиться, бросил я еще несколько слов Генриху, сказав ему:

– Я не боюсь испытаний, ибо мне давно нестерпимо наше знание, которое есть, по выражению одного ученого, уподобление познающего познаваемому, *assimilatio scientis ad rem scitam*[147]. Я ищу того познания, о котором говорит тот же Гермес Трисмегист, как о разумной жертве души и сердца. А тому ли, кто ее ищет, бояться дорожных шипов?

Генрих схватил и эти слова, как драгоценную находку, и, словно бы по всякому поводу мог он говорить без конца, тотчас разлился передо мною в длинной и тоже воодушевлен-

ной речи. И опять, против моей воли, эта речь, как будто произнесенная с желанием убедить и уговорить своего лучшего друга, отпечатлелась в моей памяти так резко, что сейчас не составляет мне труда воскресить ее, едва ли не от слова до слова.

– Я вас понимаю, я вас понимаю, – сказал он. – Только вы все-таки ошибаетесь, думая, что мы в силах раздавать истинное познание, как дары. Сокровенные знания называются так не потому, что их скрывают, но потому, что они сами скрыты в символах. У нас нет никаких истин, но есть эмблемы, завещанные нам древностью, тем первым народом земли[148], который жил в общении с богом и ангелами. Эти люди знали не тени вещей, но самые вещи, и потому оставленные ими символы точно выражают самую сущность бытия. Вечной Справедливости, однако, надо было, чтобы мы, утратив это непосредственное знание, пришли к блаженству через купель слепоты и незнания. Теперь мы должны соединить все, что добыто нашим разумом, – с древним откровением, и только из этого соединения получится совершенное познание.

Но, верьте мне, чистая душа и чистое сердце помогут в этом более, чем все советы мудрых. Добродетель – вот истинный камень мудрецов!

В этом месте речи Генрих сделал остановку, потом, с совершенно измененным лицом и немного блуждающим взором, добавил тихо и отдельно:

– Ведь вы тоже знаете, что времена и сроки исполнились. Ведь вы тоже, как только наступает тишина, слышите раскрываемые двери. Вот и сейчас: прислушайтесь! Слышите, шаги приближаются? слышите: падают листья с деревьев?

Последние слова Генрих произнес совсем замирающим голосом, делая знак мне соблюдать тишину, весь насторожившись, словно действительно слышал он шум шагов и падение листьев, и близко наклонив ко мне свои глаза, большие и безумные, так что стало мне жутко и не по себе. Я оторвал свой взгляд от взгляда Генриха и, вдруг откинувшись назад, на спинку кресла, переменил тон и сказал ему твердо и жестко:

– Довольно, граф, теперь я все понял, что



желал узнать.

Генрих посмотрел на меня недоумевающе и спросил:

– Что вы поняли и что вы желали узнать?

Я ответил:

– Я окончательно узнал, что вы – обманщик и шарлатан, который где-то украл обрывки сокровенных знаний и пользуется наворованным, чтобы выдавать себя за посвященного и учителя!

При таком неожиданном нападении Генрих невольно поднялся со скамьи и, продолжая глядеть прямо на меня, сделал несколько шагов вперед, словно желая потребовать от меня объяснений. Я ждал, не двигаясь, не опуская взгляда, но, не дойдя до меня, Генрих переломил свое волнение и произнес кротко:

– Если вы так думаете, нам не о чем больше разговаривать! Прощайте!..

Но я, толкая самого себя вниз по склону, крикнул ему:

– Теперь это вы ошибаетесь, думая, что за обман заплатите так дешево! Есть святыни, которыми нельзя шутить, и есть слова, которые нельзя произносить легкомысленно! Я

призываю вас к ответу, граф Генрих фон Оттергейм!

С гневным лицом Генрих ответил мне:

– Кто вы такой, что приходите ко мне и вдруг начинаете говорить таким голосом? Я могу не слушать вас!

Я возразил с торжественностью:

– Кто я? Я – голос вашей совести и голос земли!

Говоря так, я себе показывал на глаза Генриха и напоминал, что их любила Рената, – на его руки, и говорил, что она их целовала, – на все его тело, и старался представить, как она ласкала его с упоением. Словно большими мехами, раздувал я в своей душе огонь ревности и, словно полководец солдатам, приказывал я своим словам: «Смелее!»

Между тем Генрих, сочтя меня, должно быть, за помешанного, сказал мне: «Мы поговорим после!» – и хотел выйти из комнаты. Но я, в страхе, что не использовал этой встречи, которая может не повториться, загородил Генриху дорогу и крикнул, уже в самом деле со страстью:

– Вы, говорящий о добродетели, я вас обви-

няю в бесчестности! Я вас обвиняю, что вы по отношению к даме вели себя не как рыцарь! Вы обманом увезли в свой замок девушку для целей низких и едва ли не преступных. Вы потом пренебрегли ею и покинули ее. Когда же она здесь, на улице, молила вас о снисхождении, вы оскорбили ее, как мужчина не должен оскорблять женщину. Я вам бросаю перчатку, и вы подымете ее, если вы рыцарь!

Впечатление моих слов, необдуманное, которых, по всем соображениям, говорить мне не следовало, было выше моих ожиданий, потому что Генрих метнулся от меня в сторону, как раненый олень; потом, в крайнем волнении, схватил какую-то книгу с аналая и безвольно, дрожащими пальцами, стал ее перелистывать; наконец обернулся и спросил меня подавленным голосом:

— Я не знаю вас, кто вы такой. Я могу принять вызов только от равного себе...

Эти слова заставили меня потерять последнее самообладание, ибо хотя я и не имею никаких причин стыдиться своего происхождения от честного медика маленького городка, однако в вопросе Генриха узнал я незаслу-

женное оскорбление, которое клеймило меня уже не раз, как человека не из рыцарской семьи. И в тот миг не нашел я ничего более достойного, как, откинув голову, сказать с холодной гордостью:

– Я такой же рыцарь, как вы, и вам не может быть стыда сойтись со мною в честном поединке. Пришлите же завтра ваших товарищей, в полдень, к собору, условиться с моими. Иначе мне останется убить вас как труса и не знающего чести.

Уже произнеся эти слова, понял я, как позорно было мне лгать в ту минуту, и меня охватили стыд и раздражение, так что, не добавив более ничего, почти выбежал я из комнаты Генриха, быстро спустился вниз по роскошной лестнице и гневным движением заставил растворить предо мною выходную дверь. Лицо мое в свежий ветер светлого зимнего дня и глаза мои в ясное синее небо упали как в водоем с ключевой водой, и я долго стоял, неуверенный, было ли в действительности все, что произошло. Потом я пошел по улице, как-то невольно касаясь рукою стен, словно слепой, нащупывающий свою дорогу,

и вдруг прямо передо мною означилось лицо Ренаты, испуганное и бледное, с расширенными зрачками. Она хотела что-то спросить у меня, но я отстранил ее с такой силой, что она едва не упала, ударившись о выступ дома, а сам пробежал дальше, не произнеся ни слова.

## Глава восьмая

### *Как я разыскал Матвея Виссмана и о моем поединке с графом Генрихом*

**М**иновав несколько улиц, освеженный движением и холодом, я вновь получил способность думать ясно и делать выводы, и сказал себе:

«Поединок твой с графом Генрихом решен. Отступить теперь невозможно и непристойно. Надо искать только, как лучше выполнить все дело».

Лично я никогда не был сторонником поединков, получивших в наши дни столь пагубное распространение во Франции[149], и хотя известны мне блистательные слова Иоганна Рейхлина – «прекраснейшее, что

принадлежит нам, есть честь» [150], – но никогда не мог принять я, чтобы честь опиралась на острие шпаги, а не была утверждена на благородстве поступков и слов. Однако, в дни, когда сами венценосцы [151] не гнушаются посылать друг другу вызовы на единоборство, не почитал я уместным уклоняться от поединков и выступал на них в бытность свою ландскнехтом даже не однажды. Теперь положение вещей усложнялось тем, во-первых, что вызывающим, и притом без надлежащего повода, был я, и тем, во-вторых, что ставил я себе целью поразить противника насмерть, – и от всего этого было мне тяжело и трудно, как если бы предстояло выполнить долг палача.

В те минуты не сомневался я нисколько, что перевес и превосходство в бою будут принадлежать мне, ибо, хотя уже давно не случилось мне упражнять руку, был я одним из лучших бойцов на длинных шпагах, тогда как граф Генрих, преданный исключительно книжным занятиям и философским размышлениям, не мог иметь времени (так мне тогда казалось) достаточно изодраться в искусстве

Понца и Торреса[152]. Смущало меня другое, — именно то, что во всем городе, помимо старого Глока, не было у меня человека знакомого, и не видел я, кому, согласно с обычаем поединков, поручить переговоры с противником и устройство нашей с ним встречи. После долгого колебания, порешил я постучать в дверь одного из своих давних университетских товарищей, Матвея Виссмана, фамилия [153] которого, как я знал, жила в городе Кельне уже несколько поколений и которого поэтому я скорее, чем кого другого, мог найти, после прошедших немалых лет, на том же месте, где бывало, у прежних пенатов.

Ожидания мои не были обмануты, так как действительно оказалось, что Виссманы живут на старом месте, хотя и не легко было мне разыскать их приземистый, старозаветный домик, в три выступающих друг над другом этажа, среди новых, высоких, всячески изукрашенных строений, кругом воздвигнутых нашим бойким веком. На удачу мою Матвей оказался дома, но я едва мог признать юношу, хотя и несколько неповоротливого, но все же не лишенного привлекательности и бывшего

даже моим (посрамленным, однако) соперником в моих ухаживаниях за хорошенькой женой хлебопекаря, – в том обрюзгшем и степенном толстяке, с глазами сонными, со смешной бородкой, оставлявшей подбородок голым, к которому провел меня слуга дома. Конечно, и он едва мог признать студента счастливого времени, буйного и безбородого, в мужчине, обожженном экваториальным солнцем и обветренном ураганами океана; но, когда я назвал Матвею свое имя и напомнил о нашем былом дружестве, он обрадовался непритворно, все лицо его превратилось в одну добродушную улыбку, и, сквозь слои жира, проглянуло на нем что-то юношеское, как свет сквозь мутное стекло.

Обняв меня дружески и целуя маслянистыми губами, Матвей сказал мне:

– Помню ли я Рупрехта! Брат, да я тебя за каждой попойкой вспоминаю! Клянусь пречистой кровью Христовой, изо всего нашего бывшего круга тебя одного недостает мне. Ну, влезай, влезай в мою берлогу, садись и развязывай язык! А я велю подать сейчас две куварты доброго вина.



К огорчению Матвея, от вина я отказался, но долго не умел приступить к изложению своего дела. Как я ни отнекивался, а пришлось-таки мне пересказать Матвею свои приключения: годы в Лозгейме, службу ландскнехтом, бродяжничество по Италии, путешествие в Новую Испанию и походы там. А потом и Матвей не преминул сообщить мне, как преуспевает он, позабыв все проказы юности, на многотрудном поприще университетского ученого. Более пяти лет потратил он, чтобы, одолев начала «артистических» знаний и защитив на диспутах несколько «софизмов», получить звание бакалавра; столько же лет ушло у него, чтобы одержать победу над книгами Аристотеля, проявить себя в декламации и стать лицензиатом; наконец, в этом году надеется он добиться инцепции и звания магистра, после чего откроется ему доступ к любому из высших факультетов[154]. Матвей с таким самодовольством говорил о том, что заседает в совете вместе с докторами и ректором, так искренно опасался предстоящих ему больших «промоций» и так наивно почитал себя ученым, что недостало у меня

духа посмеяться над ним и не почел я нужным возобновлять старый спор «поэтов» с «софистами» [155].

Наконец удалось мне прервать повествование увлекшегося своею славою профессора и кое-как, скрывая истинную причину вещей, изложить свою просьбу. Матвей поморщился, словно приняв горького лекарства, но потом скоро ухватил мое предложение за какой-то его веселый край и заликовал опять.

– Не мое это дело, брат! – сказал он мне. – Нынче, правда, и студенты берутся за шпаги, но я держусь старого устава, что ученый – как монах, ему оружие – как ослу очки [156]. Ну, да куда ни шло, для старого приятеля! К тому же страсть как не люблю я эту знать, задирающую перед нами нос! Мы потом выпариваем из себя доктора, а их жалуют учеными степенями князь или император. Видно, и твой граф из таких докторов-побулле! Если берешься ты посадить его на вертел, я уж для тебя постараюсь!..

Я указал назначенное мною место свидания для переговоров, объяснил, где живу сам, затем распрощался, и Матвей вышел прово-

дить меня до уличной двери. Когда проходили мы через столовую, заставленную тяжелой мебелью старонемецкой работы, неожиданно выбежала из соседней комнаты молодая девушка в розовом платье, зеленоватом переднике и золотом поясе и вдруг, натолкнувшись на нас, смутилась, остановилась и не знала, что делать. Стройность и нежность ее образа, овальное детское лицо с зазубринами длинных ресниц над голубыми глазами, льняные, золотистые косы, собранные под белым чепчиком, все это видение предстало мне, привыкшему к образам скорби и мучения, к чертам, искаженным страстью и отчаяньем, как осужденным духам мимолетный полет ангела у входа в их преисподнюю. Я сам остановился в смятении, не зная, пройти ли мне мимо, или поклониться, или заговорить, а Матвей, раскатисто хохоча, смотрел на наше замешательство.

– Сестра, это – Рупрехт, – сказал он, – добрый малый, которого мы с тобой в иную минуту поминаем. А это, Рупрехт, – сестра моя, Агнесса, которую видал ты девочкой, совсем малышом, тринадцать лет тому назад. Что же

вы смотрите друг на друга, как кошка на собаку? Знакомьтесь! Может быть, я вас еще по-сватаю. Или ты, брат, уже женат, а, отвечай?

Не сумею объяснить почему, но я ответил:

– Я не женат, милый Матвей, но не надо такими словами стыдить и меня и барышню. Извините меня, госпожа Агнесса, я вас очень рад увидеть вновь, но тороплюсь по одному важному делу.

И, поклонившись низко, я поспешил выйти из дому.

Не знаю, под впечатлением ли этой встречи или от нее независимо, но когда я подумал о том, что теперь предстоит мне возвратиться домой, я испытал какое-то отталкивающее чувство, какое, конечно, ведали бы, будь они одушевленны, два магнита, сближенные одноименными полюсами. Мне показалось нестерпимым быть с Ренатою, видеть ее глаза, слышать ее слова, говорить с нею о Генрихе.

Довольно долго проблуждал я по улицам города, почему-то останавливаясь на одних углах и почему-то быстро пробегая другие площади, но потом утомление и холод заста-

вили меня поискать прибежища, и я вошел в первый встретившийся кабаk, сел уединенно в углу, спросив себе пива и сыру[157]. Кабак полон был крестьянами и гулящими девками, потому что день был базарный, и кругом не смолкали крики, споры, брань, ругань и проклятия, подкрепляемые порою здоровым тумакoм; но мне казалось хорошо в промозгом воздухе и в гаме пьяных людей. Грубые, зверские лица, дикая, неправильная речь, непристойные выходки как-то странно согласовались со смятением моей души, как сливаются иногда в хор крики тонущих с вoем бури.

Потом подсел ко мне какой-то худо выбритый малый, в пестром праздничном наряде, и завел длинную речь о бедственном положении мужиков, не новую, хотя и не чуждую правды. Жаловался он на тяготу платежей, оброков, штрафов и всяких поборов, на ростовщичество, на запрещение заниматься ремеслами в деревне, поминал мятеж, который был десять лет назад, и все это с угрозами, обращенными чуть ли не прямо ко мне, словно я во всем и был виноват. Попытался я возра-

зять, что сам почитаю себя скорее из мужиков и что все, чем я владею, заработано собственными моими руками, но, конечно, мои слова пропали даром, и я уже покорно слушал, – ибо мне все равно было, что ни слушать, – как мой случайный сотоварищ грозил рыцарям и горожанам и пожарами, и вилами, и виселицами...[158]

Так как собеседника моего угощал я, то понемногу он захмелел окончательно, и я опять оказался один в общем гуле голосов. Оглядевшись, увидел я картину отвратительную: там и сям валялись тела людей, пьяных мертвецы, в углу двое колотили друг друга, вцепившись в волосы, везде стояли лужи пролитого пива и человеческой блевотины, а посреди всего этого другие еще продолжали попойку, или бесстыдно шутили с девками, тоже пьяными и тоже безобразными, или обыгрывали один другого в грязные карты. Я вдруг удивился, почему я сижу в этом темном и смрадном углу, и, торопливо расплатившись, опять вышел на зимнюю стужу. Было уже сумеречно, и я безвольно побрел домой.

Когда стучался я в нашу дверь, душа моя

казалась мне пустой, как вычерпанный колодец, но в доме ее тотчас наполнила строгая тишина и непобедимо повлекла меня в знакомый круг и мыслей и чувств. Я почувствовал, как с лица моего сбежали выражения, искажавшие его весь день, и как губы сложились вновь в ту тихую улыбку, которой я всегда встречал глаза Ренаты. С сердцем, бьющимся тревогою, как в первый раз, отворил я дверь к Ренате и сразу, увидев ее в привычном положении, у окна, прижавшую лицо к его холодным стеклянным кружочкам, кинулся к ней и опустился перед ней на колени.

Рената не сказала мне ни слова о грубости, с какой я оттолкнул ее утром, не упрекнула, что я не возвращался так долго, не захотела узнать, о чем мы говорили с Генрихом, но только, как если бы все другое уже было ей известно, спросила:

– Рупрехт, когда ваш поединок?

Я, в ту минуту не удивившись на этот вопрос, ответил просто:

– Не знаю, решится завтра...

Рената не промолвила больше ни слова и опустила ресницы, а я остался на коленях у ее

ног, в неподвижности, приложив голову к подоконнику, но подняв глаза на лицо сидящей, рассматривая ее любимые, милые, хотя неправильные черты, и опять погружаясь в их очарование, словно уходя в глубь бездонного омута. Глядя на эту женщину, которую еще вчера я ласкал всеми поцелуями счастливого любовника и к руке которой сегодня не смел прикоснуться благоговейными губами, я чувствовал, как от всего ее существа разливается магическая власть, замыкающая в свой предел все мои желания. Как легкая мякина на веялке, сероватым дымом отлетали и рассеивались все мятежные думы и все случайные соблазны дня, и определенно падало на ток души полное зерно моей любви и моей страсти. Не хотелось мне думать ни о Генрихе, ни о себе; я был тогда счастлив тем, что тихо касался рукою руки Ренаты, и тем, что минуты неслышно проходят, оставляя меня рядом с ней.

Так, в безмолвии, не смея нарушить его неосторожным словом, мог бы я остаться до утра и почел бы себя у дверей эдема, но вдруг Рената подняла голову, коснулась рукою мо-



их волос и промолвила нежно, как бы продолжая разговор:

– Милый Рупрехт, но ты не должен убивать его!

Я вздрогнул, вырванный из очарования, и спросил:

– Я не должен убивать графа Генриха?

Рената подтвердила свои слова:

– Да, да. Его нельзя убить. Он – светлый, он – прекрасный, я его люблю! Я перед ним виновата – не он предо мною. Я была как лезвие, перерезавшее все его надежды. Надо перед ним преклоняться, целовать его, ублажать его. Слышишь, Рупрехт? Если ты коснешься одного его волоса – у него золотые волосы, – если ты уронишь одну каплю его крови, – ты больше не услышишь обо мне никогда, ничего!

Я встал с колен, скрестил руки на груди и спросил:

– Зачем же ты, Рената, не сообразила всего этого раньше? Зачем же ты заставила меня играть смешную роль в комедии с поединком? Можно ли быть легкомысленной в вопросах о жизни и смерти?

У меня дыхание прерывалось от волнения, а Рената возразила мне резко:

– Если ты вздумаешь бранить меня, я не стану слушать! Но я запрещаю тебе, слышишь ты, запрещаю касаться моего Генриха! Он – мой, и я для него хочу только счастья. Я не отдаю его тебе, я не отдам его никому в мире!..

Делая последнюю попытку, я спросил:

– Так ты забыла, как он оскорблял тебя?

Рената воскликнула:

– Как было хорошо! Как было прекрасно! Он проклинал меня! Он хотел ударить меня! Пусть бы он топтал меня! Он – милый! милый! Я люблю его!

Тогда я сказал тяжелым голосом:

– Я исполню все так, как ты хочешь, Рената. Но больше говорить нам не о чем. Прощай!

Я ушел в свою комнату, бросился на постель, и мне казалось, что я загнан, как зверь, которого травят, в круг из колючей изгороди, прорвать которую у меня нет сил, и упал на землю, в ожидании, пока охотники покончат со мною. Мне хотелось или не быть, или

проснуться от жизни, и я в первый раз начал понимать, что такое искушение – поднять на себя руки. Думая о своей судьбе, я решил, что не буду более говорить с Ренатою ни о чем, а завтра выйду на поединок, опущу шпагу и буду счастлив, ощущая чуждую сталь в своей груди. И, воображая свое тело простертым, все в крови, на оснеженной траве, испытывал я умиление перед собою и нежную к себе жалость, как дитя, которому читают о муках святых.

Утром, однако, при трезвых лучах солнца, несколько успокоенный, я еще раз обдумал свое положение и захотел все-таки переговорить с Ренатою основательно и беспощадно, ибо решения ее всегда были зыбки, как образы облака, и легко могли перемениться за ночь; но оказалось, что Рената, встав раньше меня, уже ушла из дому. Тогда пошел я к Матвею, чтобы предложить ему, при переговорах, выбрать условия менее тягостные, так как, по какому-то врожденному чувству, продолжая заботиться о своей жизни, которая в то время казалась мне ни на что не нужной; но и Матвея не пришлось мне увидеть. Тогда, как-то

обезволенный, вернулся я домой и предоставил все трем пряхам, как человек, все равно приговоренный к смерти, которому открывался только выбор между топором и виселицей.

После полудня пришел Матвей, и странно было появление здорового, добродушного толстяка в наших комнатах уныния и отчаянья, странен был его раскатистый и беспечный смех среди стен, привыкших отражать звуки рыданий и вздохов. Приветствовал меня Матвей такими словами:

– Ага, брат, напрасно прикидывался ты вчера причастницей! Я ведь узнал, что ты не один здесь. Только не бойся, я для друзей – рыба, молчу, потому что никто не без греха. Нехорошо только от приятелей таиться! Я отбивать красоток не стану – не таковский.

Когда же я прервал речь Матвея и попросил дать отчет о переговорах, он сказал:

– Все проехало, как корабль по маслу. Уж я друга не выдам, волк его не съест! Пришел от твоего графа щеголь, приседает, как девка, волосы завиты. Ну, да я отщелкал его! Другой раз не будет похваляться своим рыцарством

перед добрым бургером! А встреча ваша сегодня же, в три часа, – что откладывать? – в лесу, близ Линденталя[159]. Там никто вам не помешает, переломай все кости молодчику!

Этот свой приговор выслушал я, не выказав никаких признаков волнения или недовольства; с большой деловитостью условился с Матвеем о разных подробностях встречи и попросил его зайти за мною, когда будет время. Проводив Матвея, я приказал Луизе подать мне обед, так как не хотел, чтобы на исход дела повлияла слабость тела, и потом, достав свою длинную шпагу, стал упражнять руку, стараясь вернуть ей нужную гибкость. За этим занятием и застала меня Рената, появившаяся в дверях, вся закутанная в плащ, словно некое привидение, и вперившая в меня вопрошающий и укоризненный взгляд.

– Рупрехт, – сказала она, – ты вчера мне поклялся!

Я ответил:

– Я исполню мою клятву, Рената. Но что, если теперь граф Генрих убьет меня?

Откинув голову назад, Рената произнесла твердо:

– Так что же?

Я поклонился церемонно, как кланяются два противника перед началом поединка, вложил свою шпагу в ножны и опять, как вчера, вышел из комнаты: ибо отречься от Ренаты у меня не было воли, а подпасть под ее влияние я не хотел.

Оставшееся время провел я в том, что написал письмо матери, которой не давал известий о себе во все семь лет, со дня, как тайно покинул родительский кров, и свое духовное завещание, обращенное к Ренате, в котором я поручал ей, взяв из остающихся у меня денег сумму, какую она найдет нужным, все остальное переслать в Лозгейм, моей семье. Удивительным образом, мои родные, отец, и мать, и братья, и сестры, о которых я почти не помышлял, вдруг представились мне необыкновенно близкими, я отчетливо вспомнил их лица, их голоса, и неудержно захотелось мне их обнять, сказать им, что я не забыл их. Должно быть, угроза смерти размягчает душу, как сильный жар металлы, хотя и поспешу я добавить, что письмо к матери осталось непосланным.

В половине третьего часа пришел за мною Матвей, все не унывающий, и стал дружески меня торопить, хотя мои сборы и сводились к тому, чтобы надеть теплый плащ да привесить на пояс шпагу. Перед самым уходом предупредил я Матвея, что есть у меня еще маленькое дело, и он лукаво подмигнул мне, указывая на комнату Ренаты, к которой действительно не мог я не войти еще раз. В третий раз я сделал попытку обратить ее внимание на себя, вырвать у нее, почти насильно, хотя бы одно сердечное слово, обращенное ко мне, и, застав ее у аналоя, как будто молящейся, я ей сказал:

– Рената, я ухожу, пришел с тобою проститься. Может быть, мы не увидимся больше в этой жизни...

Рената обратила ко мне свое бледное лицо, а я приник к нему взором, чтобы выискать в его чертах малейшую надежду, затаенную в какой-нибудь складке губ или в какой-нибудь морщинке у глаза, – но выражение этого лица было как объявление казни для меня, и слова, которые услышал я вторично, были неумолимы и беспощадны, как камень, который пада-

ет без воли:

– Рупрехт, помни, ты мне дал клятву!

Впрочем, эта жестокость Ренаты скорее прибавила мне сил, чем потрясла меня, что, наверное, сделала бы ее ласка, ибо почувствовал я, что мне нечего терять дорогого, а следовательно, и нечего страшиться. К Матвею вернулся я с лицом почти веселым, и когда, вышедши, сели мы на лошадей, им припасенных (ибо ехать было сравнительно далеко), я даже немало смеялся над забавной фигурой, какую представлял конный профессор. Всю дорогу Матвей потешал меня шутками и остротами, которыми хотел он поддержать во мне бодрость, и я сознательно заставлял себя принимать их как можно ближе к сердцу, чтобы не думать о том, о чем думать было страшно. Со стороны можно нас было принять за двух купцов, сделавших выгодное дельце в городе, выпивших хорошо и везущих подарки своим женам в родное селение.

Совершив довольно длинный путь по трудной, мерзлой дороге, различили мы наконец в неясной дали рано убывающего зимнего дня – отлогий косогор и двух всадников,



чернеющих у опушки леса.

– Эге, да мы опоздали! – сказал Матвей. – Господину рыцарю не терпится, пришел первым, не повезут ли последним!

Приблизившись, мы молча поклонились нашим противникам, и я вновь увидел и графа Генриха, закутанного в темный плащ, и его сотоварища, юношу, стройного, как девушка, с нежным продолговатым лицом, в берете с пером, похожего на один из портретов Ганса Гольбейна[160]. Затем мы спешили, и в то время, как мы двое, я и граф Генрих, остались друг против друга, наши товарищи отошли в сторону для последних условий. Генрих стоял передо мною недвижимо, полузакрыв лицо, опираясь на эфес шпаги, весь словно отлитый из одного куска металла, – и я не мог разгадать, спокоен он, негодует или тяготится судьбою, как я.

Наконец наши товарищи вернулись к нам, и Матвей, пожимая плечами и всячески давая понять, что он находит это излишним, объявил мне, что друг графа, Люциан Штейн, намерен предложить нам примирение. Если должно быть правдивым, то, не боясь выста-

вить себя трусом, я признаюсь, что при этой вести мое сердце застучало от радости и представилось мне, что этот франт, в бархатном плаще, – посланец неба.

Но вот какова была речь Люциана Штейна, обращенная ко мне.

– Из вчерашних переговоров, – сказал он, – выяснилось, что вы, почтенный господин, по происхождению не из рыцарской семьи, и потому мой друг, граф Генрих, по чести, мог бы пренебречь теми оскорблениями, какими вы его осыпали, и не принять вашего вызова. Но, видя в вас человека воспитанного и образованного, он не отвечает вам отказом и готов, с оружием в руках, доказать неосновательность ваших утверждений. Однако раньше, чем вступить в поединок, считает он нужным вам предложить, чтобы, одумавшись, прекратили вы эту распрю миром. Ибо, помимо крайних случаев, не должен человек, существо, созданное по образу и подобию божиему, угрожать жизни другого человека. И если вы, почтенный господин, согласны признать, что введены были кем-то в заблуждение, раскаиваетесь и извиняетесь в своих вчерашних

словах, – друг мой охотно протянет вам руку.

Несмотря на заносчивость таких слов, я, быть может, не побоялся бы унизиться до извинений, так как все же это была лучшая из дверей, остававшаяся мне для выхода, – но первая половина речи делала это для меня невозможным. Намек Люциана на то, что вчера я лживо назвал себя рыцарем, заставил всю кровь прилить к моему лицу, и я готов был тут же ударить говорившего, жизнь которого не была запрещена мне и которому мог я, с полной свободой, показать силу своей нерыцарской руки. И, еще в этом волнении, не дававшем мне, как высокие морские волны, ясно видеть цели на берегу, я ответил:

– Я не отказываюсь ни от одного из своих слов. Я повторяю, что граф Генрих фон Оттергейм – обманщик, лицемер и человек нечестный. И да рассудит нас бог!

Матвей при моем ответе вздохнул облегченно, как переводящий дыхание бык, а Люциан, отвернувшись, отошел к Генриху.

Мы сбросили плащи и обнажили шпаги, между тем как товарищи наши начертили на земле, чуть-чуть белой от изморози, круг, из

которого мы не должны были выступить. Я всматривался в лицо Генриха, видел, что оно сосредоточенно и мужественно, словно теперь сквозь ангельские его черты проглядывал земной человек, и соображал, что таким бывал он в часы, когда, как мужчина, отвечал на ласки Ренаты. Потом, обмениваясь с ним обычным поклоном, обратил я внимание на то, что он гибок, как мальчик, что все его движения, без заботы об том, красивы, как у античной статуи, и вспомнил слова восторга, которыми мне описывала его Рената. Но едва наши клинки скрестились, едва сталь звякнула о сталь, во мне вздрогнула и пробудилась душа воина: я сразу забыл все, кроме боя, и вся жизнь моя сосредоточилась в узком промежутке между мною и моим противником и в тех недолгих минутах, какие могло длиться наше состязание. Все подробности борьбы, беглые, мгновенные, – усилие удара, быстрота прикрытия, степень упругости встречного лезвия, – вдруг сделались событиями, включавшими в себя столько смысла, как целый прожитый год.

Я знал, что не нарушу данной Ренате клят-

вы, ибо сковывала она мою волю почти сверхъестественной силой, но я надеялся, что сумею и буду в состоянии, не касаясь графа Генриха, выбить шпагу из его рук и тем покончить поединок для себя с честью. Однако я очень скоро убедился, что совершенно неосновательно судил о фехтовальном искусстве[161] своего соперника, ибо под своим клинком обрел я шпагу твердую, быструю и ловкую. На все мои ухищрения Генрих отвечал немедленно, с непринужденностью мастера, и очень скоро перешел в наступление, принудив меня со всем вниманием отбивать его опасные выпады. Как бы связанный тем, что сам я не желал наносить удара, парировал я удары противника с затруднением, а острие его шпаги каждый миг устремлялось на меня, и прямо, и сбоку, и снизу. Теряя надежду на удачный исход боя, терял я и самообладание: пальцы мои посинели от зимнего холода, шпага моя переставала мне повиноваться; я видел перед собою словно колесо крутящихся огненных клинков и среди них, тоже как бы огненное, лицо Генриха-Мадизля. И вот уже стало казаться мне, что глаза

Генриха сияют где-то в высоте надо мною, что наш бой идет в свободных надземных пространствах, что это не я отбиваю нападения врага, но что темного духа Люцифера теснит с надзвездной высоты светлый архистратиг Михаил и гонит его во мрак преисподней...

И вдруг, при одном моем неверном параде, граф Генрих с силою отбросил мою шпагу, и я увидел блеск вражеского клинка у самой моей груди. Тотчас вслед за тем почувствовал я тупой удар и толчок, как всегда при ране холодным оружием; шпага у меня из рук выпала, быстро заволокло мой взор алое облако, — и я упал.

## Глава девятая

### *Как мы прожили декабрь и праздник Рождества Христова*

Как я узнал потом, ко мне, простертому без памяти на холодной земле, поспешил на помощь не только Матвей, но и мой соперник и его приятель. Граф Генрих проявлял все признаки крайнего отчаянья, горько упрекал себя, что принял вызов, и говорил, что, если я умру, не будет знать покоя всю жизнь. Перевязав мне рану, все трое устроили род носилок и решили нести меня в город пешком, ибо опасались подвергнуть меня качке на лошади по плохой дороге. Я же не сознавал почти ничего из совершавшегося со мной, погруженный в смутное бесчувствие, почти блаженное, прерываемое порою мучительной колющей болью, которая заставляла меня открывать глаза, – но, видя над собой синее небо, я думал почему-то, что плыву в лодке, и, успокаиваясь, опять опускал голову и душу в бред.

Я совершенно не помню, как принесли ме-

ня домой и как меня встретила Рената, но Матвей говорил мне потом, что проявила она в таких обстоятельствах мужество и распорядительность. Ближайшие за тем дни, как то всегда бывает от воспаления раны и потери крови, провел я также в беспамятстве и даже не сумею пересказать здесь видения своей горячки, ибо не соответствуют слова, созданные для дел разума, призракам безумия. Знаю только, что, странным образом, воспоминание о Ренате ни в какой мере не примешивалось к этому бреду; из памяти моей, словно губкой написанное мелом на доске, стерты были все мучительные события последнего времени, и я сам себе представлялся тем, каким был в годы моей жизни в Новой Испании. Когда, в редкие минуты просветления, видел я перед собою заботливое лицо Ренаты, воображал я, что это – Анджелика, та крещеная индейская девушка, с которой я жил некоторое время в Чемпоалле[162] и с которой, не без горечи, был должен расстаться после ее неблагоприятных поступков. И потому, в своем бреду, я всегда негодуяще отталкивал руки Ренаты и гневно говорил ей в ответ на



ее хлопоты: «Зачем ты здесь? Ступай прочь! Я не хочу, чтобы ты была со мною!» – и Рената принимала это грубое обращение больного безропотно.

Поединок наш с Генрихом произошел в среду, и лишь в субботу, в час всеобщей, в первый раз пришел я в себя настолько, чтобы узнать и комнату, которая замыкала мне кругозор, и дни, через которые переводила меня жизнь, и, наконец, Ренату, в ее розовой кофте, с белыми и темно-синими украшениями, в том платье, в каком видел я ее в первый день знакомства. Она, внимательно следившая за моим лицом, вдруг по моим глазам разгадала, что я очнулся, и бросилась ко мне в порыве радости и надежды, с криком:

– Рупрехт! Рупрехт! Ты узнал меня!

Сознание мое было еще очень неясно, словно туманная даль, в которой мачты кажутся башнями, но я уже помнил, что бился на шпагах с графом Генрихом и, пытаясь вздохнуть, явно ощущал мучительную боль во всей груди. Мне пришло в голову, что я умираю от раны и что этот проблеск памяти – последний, который часто знаменует наступ-

пающий конец. И вот, по той причудливости человеческой души, которая дает возможность преступнику шутить на плахе с палачом, я постарался сказать Ренате те слова, которые показались мне наиболее красивыми при таком случае, хотя исходили они вовсе не из сердца:

– Видишь, Рената, вот я умираю – затем, чтобы остался жив твой Генрих...

Рената с плачем упала на колени перед постелью, прижала мою руку к своим губам, и не сказала, а как бы сквозь некую стену закричала мне:

– Рупрехт, я люблю тебя! Разве же ты не знаешь, что я люблю тебя! Давно люблю! Одного тебя! Я не хочу, чтобы ты умер, не зная этого!

Признание Ренаты было последним лучом, который еще запечатлелся на моем сознании, и потом оно опять погрузилось во мрак, и на его поверхности, словно отблески незримого костра, опять начали плясать красные дьяволы, размахивая широкими рукавами и переплетаясь длинными хвостами. Но мне слышалось, что в своей чудовищной пляске они хо-

ром продолжали слова Ренаты и пели, и кричали, и вопили надо мной: «Я люблю тебя, Рупрехт! давно люблю! тебя одного!» – и сквозь лабиринт бреда, по его крутым лестницам и стремительным провалам, я словно нес эти драгоценные слова, тяжесть которых, однако, сокрушала мне плечи и грудь: «Я люблю тебя, Рупрехт!»

Вторично я очнулся на благовест к воскресной обедне, и этот раз, несмотря на слабость и боль в ране, почувствовал, что какая-то грань переступлена, что во мне – жизнь, и я – в жизни. Рената была подле, и я глазами сделал ей знак, что узнаю ее, что помню ее вчерашние слова, что благодарен ей, что счастлив, и она, поняв меня, опять опустилась на пол, на колени, и приникла ко мне головой, как понижают в церквях на молитве. Сознание, что я как бы восстал из могилы, ощущение нежных ресниц Ренаты на моей руке, тихие рассветные лучи и слабо сквозь стекла проникающий благовест делали миг несказанным и неземным, словно бы в нем намеренно было соединено все для человека самое прекрасное и самое дорогое.

С этого дня началось мое выздоровление. Прикованный к постели, почти не в силах шевельнуться, с изумлением наблюдал я, как ловко и обстоятельно распорядилась Рената всем ходом домашней жизни, хлопоча около меня, заставляя Луизу исполнять свою волю, не позволяя посетителям докучать мне. Посетители же гораздо чаще стучались в нашу дверь, чем то можно было ожидать, потому что каждый день непременно приходил ко мне Матвей, несколько пристыженный моей неудачей, но, конечно, не потерявший своей здоровой бодрости и своего добродушного веселья, и почти столь же часто появлялся Люциан Штейн, настойчиво добивавшийся сведений о ходе моей болезни, чтобы сообщить о том графу Генриху. Наконец, тоже каждый день, входил ко мне доктор, приглашенный Матвеем, человек в черном плаще и с круглой шляпой[163], педант и невежда, которому, менее чем всем другим, почитаю я себя обязанным жизнью.

Будучи не совсем несведущим в медицине и видав на практике, в походах, немало ран, тотчас же, как только я получил способность

рассуждать разумно, я приказал выбросить все масляные мази из разных отвратительных составов этого жреца Эскулапа и пользовал свою рану исключительно теплой водой, к большой тревоге Ренаты и к негодованию черного доктора. Я, однако, понимая, что вопрос поставлен о жизни и смерти, нашел в себе уже достаточно воли, чтобы одеть свое решение в панцирь, непроницаемый ни для угроз, ни для просьб, и после, день за днем, указывал на удачу своего лечения, с торжеством и врача и больного.

Когда же мы оставались с Ренатою наедине, мы забывали о моей болезни, потому что ей хотелось только повторять, что она меня любит, а мне было слишком сладостно слушать эти признания, от которых мое сердце начинало биться так сильно, что я чувствовал боль в ране. Я спрашивал Ренату в сотый и в тысячный раз: «Так ты меня любишь? Почему же ты мне не говорила о том прежде?» – а она в сотый и в тысячный раз отвечала:

– Я тебя давно люблю, Рупрехт. Как же не замечал ты того? Часто я тихо шептала тебе это слово: «Люблю». Ты, не расслышав, пере-

спрашивал, что я говорю, а я отвечала: «Так, ничего». Я любовалась тобой, твоим лицом, суровым и строгим, твоими бровями, сходящимися вместе, твоей решительной походкой, но, когда тебе случалось поймать мой любовный взгляд, я начинала тебе говорить о Генрихе. Сколько раз ночью, если ты спал отдельно, я на цыпочках прокрадывалась к тебе в комнату и целовала тебе руки, грудь, ноги, трепеща, как бы не разбудить тебя! Когда тебя не было дома, я тоже часто входила к тебе и тоже целовала твои вещи, подушки, на которых ты спал. Но разве же я смела признаться, что люблю тебя, после всего, что говорила тебе о моей любви к Генриху? Мне казалось, ты станешь презирать меня, ты почтешь мою любовь ничего не стоящей, если я перебрасываю ее, как мяч, от одного к другому. Ах, но разве же я виновата, что ты победил меня своей нежностью, своей преданностью, силой своей любви, неуклонной и могучей, как горный поток!

Я спрашивал Ренату:

– Однако ты послала меня почти на верную смерть? Ты мне запретила касаться Ген-

риха и приказала подставить грудь под его удар! Ведь очень недалеко было от того, чтобы он вонзил шпагу мне прямо в сердце!

Рената отвечала:

– Это было последнее испытание, суд божий. Помнишь, я молилась, когда ты уходил на поединок? Я спрашивала бога, хочет ли он, чтобы я любила тебя. Если была на то его воля, он мог сохранить твою жизнь и под вражеским клинком. И еще я хотела в последний раз изведать твою любовь, смеет ли она посмотреть – взор во взор – на смерть. А если бы ты погиб, знай, в тот же день я затворилась бы в монастырской келье, потому что дольше могла жить – только близ тебя!

Не знаю, сколько было правды в словах Ренаты; вполне допускаю, что рассказывала она не все так, как оно было, но как ей теперь представлялось прошлое; однако тогда было мне не до оценки ее слов, ибо едва доставало сил, чтобы впитывать их в себя, – как иссохший цветок дождевую влагу. Я был подобен нищему, который в течение долгих лет тщетно вымаливал у церковной паперти жалкие гроши и перед которым вдруг раскрыли все

богатства лидийского Креза, предлагая брать золото, алмазы и сапфиры горстями. Я, который выслушивал с каменным лицом самые жестокие отповеди Ренаты, не находил в себе силы перенести ее нежность, и часто уже не ее, а мои щеки были теперь смочены слезами.

Мучительную сладость нашей близости придавало то, что в течение многих дней моя рана делала невозможным для нас отдаться нашей страсти в полной мере. Первое время у меня едва доставало сил, чтобы, приподняв голову, приблизить свои губы к губам Ренаты, словно к огненному углю, и, обессиленный таким подвигом, я падал назад, на подушки, не дыша. Позднее, когда я уже мог сидеть на постели, Рената должна была с кроткой настойчивостью удерживать меня от безумных порывов, так как хотелось мне, схватив ее в руки, сжимать, и целовать, и ласкать, и заставить пережить все содрогания любовного счастья. Но, действительно, при первой попытке довериться вихрю страсти, силы мне изменяли, кровь выступала из-под перевязки, в глазах у меня начинали вертеться одноцветные круги, в ушах свистеть однообразный ветер,



мои руки опускались, и Рената, улыбаясь извиняюще, укладывала меня, как ребенка, в постель и шептала мне:

– Милый, милый! полно! Перед нами еще вся жизнь! перед нами еще вся жизнь!

К концу первой декабрьской недели я наконец оправился настолько, что мог слабо бродить по комнате и, сидя в большом кресле, исхудалой рукою перелистывать заброшенные нами томы магических сочинений. Вместе с моим выздоровлением наша жизнь начала вновь вливаться в прежнее русло, так как один за другим исчезали наши посетители, – и Люциан Штейн, которому не о чем было больше справляться, и черный доктор, которому я сам указал на дверь, и, наконец, верный Матвей, который не очень ладил с Ренатою.

Вокруг нас двоих начала образовываться привычная нам пустота, но насколько отличной казалась она мне от той, в которую я был погружен раньше! Можно было поверить, что надо мною новое небо и новые звезды и что все предметы кругом преобразились силою волшебства, – так непохоже было на прошлое

все то, что переживал я тогда, в тех самых стенах, которые прежде теснили меня, как неотступный кошмар!

И теперь, вспоминая этот декабрь, который прожили мы с Ренатою, как новобрачные, я готов на коленях благодарить творца, если свершилось все его волею, за минуты, которые мог испытать. А в те дни только одна мысль настойчиво занимала и тревожила меня: что жизнь моя достигла своей вершины, за которой не может не начаться новый спуск в глубину, что я, как Фэтон, возница колесницы Солнца, вознесен к зениту и, не сдержав отцовских коней, должен буду позорно рухнуть по крутому склону вновь на землю. С томительной поспешностью старался я всем существом впитать в себя блаженство высоты и иступленно говорил Ренате, что самое благоразумное – было бы мне умереть, чтобы счастливым и победителем оставить эту жизнь, в которой, несомненно, еще ждали меня, не в первый раз, трагические маски скорби и поражения.

Но Рената на все эти речи отвечала мне:

– Как ты не привык к счастью! Верь мне,

милый, мы еще только в его дверях, не прошли и первой залы! Я вела тебя по подземелиям мук, а теперь поведу тебя по дворцу блаженства. Только оставайся со мной, только люби меня – и мы оба будем восходить все выше и выше! Это я так напугала тебя, но я хочу, чтобы ты все забыл, хочу за каждый миг страдания заплатить тебе целыми днями радости, потому что ты своей любовью уже вознаградил меня за всю жизнь отчаяния и гибели!

Говоря это, Рената имела такой вид, словно всю жизнь питалась счастьем, как райские птицы воздухом[164].

И, подобно тому как не знала Рената предела в проявлениях своего отчаяния, не знала она предела и в выражениях своей любви. Я вовсе не был новичком в плавании по океану страсти на галере под флагом богини Венеры, но еще в первый раз встречал я такую алчность чувства, для которого все ласки казались слишком слабыми, все сближения недостаточно тесными, все радости не наполняющими меры желания. При этом, как бы стремясь вознаградить меня за жестокость, с ка-

кой прежде она встречала мою любовь, Рената теперь искала в страсти унижений и покорности. Я должен был немало сопротивляться, чтобы она не целовала мне ног, как Магдалина Христу, и удерживать ее почти насилием от многого такого, намек на что я не могу доверять и этой рукописи.

Около двух недель длился наш медовый месяц, время, за которое ко мне почти совсем вернулись силы, а вместе с тем и присущий мне трезвый взгляд на вещи, который в себе я ценю более всех иных способностей. Вместе с тем минуло и то напряжение всех чувств, в котором долгое время меня держали наши неопределенные отношения с Ренатою, наши постоянные поиски чего-то, наше неотступное ожидание какого-то события, и я начал ощущать себя так, словно в душе моей спущен наконец давно натянутый лук и стрела вонзилась в намеченную цель. Разумеется, даже в начальные дни нашего неожиданного соединения, которые Ренате хотелось превратить в оживший бред двух как бы безумных, не терял я головы окончательно, и сквозь всю иступленность наших взаимных клятв, лю-

бовных признаний и ласк, в непрерывной цепи сменявших одна другую, – видел я, словно день за густыми лианами, суровую действительность и не забывал ни на час, что мы – лишь пилигримы на волшебном острове. Но, когда существо мое насытилось наконец непривычными и им забытыми радостями, когда черный и огненный кошмар мучительных месяцев совсем был заслонен розоватым туманом настоящего, не мог я не подумать, здраво и отчетливо, и о нашем будущем.

Прежде всего побуждало меня к этому сознание, что от денег, собранных мною за океаном, осталось уже не больше половины, которая также таяла довольно быстро. Во-вторых, помимо необходимости заботиться о заработке, меня уже явно тяготило многомесячное бездействие, и я часто мечтал о деле и о труде, как о самых благородных радостях. Наконец, никогда не угасало во мне убеждение, к которому в зрелую пору жизни приходят все мыслящие люди, что одними личными удовольствиями не вычерпаешь жизни, как моря – кубками веселого пира. Правда, чтобы приступить к работе, надо было окончательно-

но устроить свою судьбу, но я твердо помнил, что Рената дала согласие быть моей женой в дни, когда скрывала любовь под маской суровости, и не мог сомневаться, что она даст это согласие теперь, когда открыла лицо.

Выбрав подходящий час, я сказал Ренате:

– Дорогая моя, из моих рассказов ты достаточно знаешь, что мы не можем без конца вести с тобою такое беспечное существование, как теперь, и я должен непременно приняться за какое-либо дело. Я предпочитал бы за то, о котором давно думаю: за торговлю с язычниками в Новой Испании. И вот сегодня, Рената, после того, как ты дала мне тысячи доказательств, что любишь меня, повторяю я тебе мою просьбу, которую раньше едва смел произнести: быть моей женой, ибо я хочу, чтобы моя подруга могла без смущения смотреть в глаза всем женщинам. Если и ты согласишься мне свое «да», мы тотчас поедem с тобою в мой родной Лозгейм, и я уверен, что мои родители не откажут нам в благословении, – иначе же мы обойдемся без него, ибо я давно уже собственными силами пробиваю себе путь в дебрях жизни. И, как муж и жена,

мы поплывем в Новый Свет, чтобы там осуществить те годы света и блаженства, о которых пророчишь ты.

К моему удивлению, это мое предложение, которое и поныне представляется мне естественным и разумным, произвело на Ренату самое дурное впечатление, и сразу на ее лицо как бы упала тень от какого-то мимовеющего крыла. Замечу кстати, что эта тень почти всегда омрачала ее облик, когда заговаривал я о своих родителях и о своем доме; сама же она никогда, ни даже в минуты предельной близости двух страстно соединенных, не говорила мне ничего о своем отце и матери или о своей родине. Теперь же, нахмутив брови, она мне ответила так:

– Милый Рупрехт, я тебе обещала быть женой, если ты убьешь Генриха. Этого не случилось, может быть, по моей вине, но я клятвой не связана. Так погодим говорить о будущем. Неужели ты не можешь принять счастье без всякой посторонней мысли, взять его, как берут стакан вина, и выпить до дна? Когда необходимым станет заботиться о жизни, мы и будем заботиться, и, верь мне, ты найдешь во

мне помощницу мужественную. Теперь же я отдаю тебе всю мою любовь, и от тебя прошу только одного: пусть будут твои руки достаточно сильны, чтобы принять ее полностью.

Произнося эту неожиданную и несправедливую отповедь, Рената приникла ко мне с нежностью и постаралась увлечь меня в сад ласк, но, конечно, она не рассеяла тем моих сомнений, и, как это ни странно, тот разговор оказался явным переломом в ходе событий, и тот день должно признать последним днем нашего медового месяца. Неудачу моего предложения не мог я не приписать каким-то тайным причинам, и страстное мое чувство к Ренате сразу потускнело, а на дне души стало собираться неопределенное недовольство, капля по капле, словно новая колонна в сталактитовой пещере. Вместе с тем, словно мышцы из шапки фокусника, стали тогда неожиданно разбегаться по нашей жизни всякие недоразумения, подчас нелепые и нас недостойные.

Тогда подошли праздники святого Рождества Христова, и Рената, с обычной прихотливостью своих решений, захотела непременно



провести их весело илюдно. Ей понадобились вдруг знакомства, зрелища и разные песни, и я, вспоминая, с каким вниманием вникала бывало Рената в латинские тексты, только недоумевал, видя, с какой детской наивностью стала она предаваться разным уличным удовольствиям.

Прежде всего, конечно, должны мы были посетить все церковные службы. В ночь под день Рождества в церкви Св. Цецилии любовались мы изображением святых яслей, с коленопреклоненными подле царями, так живо напомнившим мне дни детства; не пропустили обедни в день Иоанна Евангелиста, и в день сорока тысяч младенцев, и в день обречения господня; ходили по городу со всеми церковными процессиями. Затем понравилось Ренате принимать в наших комнатах детей, приходивших славить Христа со сделанным из дощечек вертепом, слушать их пение, говорить с ними и угощать их. Далее водила меня Рената по всем балаганам, настроенным вдоль по набережным и на рынке, в которых показывались разные диковинки, и только смеялась, когда я напоминал ей ее прежние

слова о несносности уличной толпы. И мы проводили целые часы среди пьяных и грубых мужиков, наблюдая игроков на бандурах и волынках, акробатов, ходивших на голове, фокусников, достававших живую змею из своей ноздри, шпагоглотателей и людей, пускавших фонтаны изо рта, женщин с бородами, ихневмонов, носорогов, дромадеров и всякие редкости, за которые проезжие люди умеют собирать с горожан их трудовые гроши [165].

Наконец, неожиданно для меня, появились в нашем доме две женщины, по-видимому, из бюргерской семьи, которых Рената назвала Катариной и Маргаритой и которых мне представила как наших соседок и своих давних знакомых. Женщины показались мне тупыми и неинтересными, и я никак не мог понять, зачем нужны они среди нас, после того как мы так радовались, что вновь обрели наше одиночество. Проведя с двумя посетительницами очень скучный час в разговоре о сравнительных достоинствах патеров разных приходов, я после стал довольно горько выговаривать Ренате за такое знакомство, и это

послужило поводом к нашей первой ссоре. Рената ответила мне с неожиданной горячностью, что не могу же я требовать, чтобы она не видала никого в мире, и спросила, неужели, приглашая ее с собою в Новый Свет, намерен я там заточить ее в четырех стенах. Я не побоялся указать Ренате на всю неосновательность ее речей, но она ничего не хотела слушать и, осыпав меня упреками, пригрозила тут же уйти из дому, как из тюрьмы.

Правда, обменявшись, словно ударами шпаги, очень жестокими словами, мы через несколько минут оба увидели нелепость нашего спора и поспешили задуть огонь расприбуйным ветром клятв и признаний и залить его влагой поцелуев и ласк, – но под пеплом остались живые искры. Дня через два после этого происшествия Рената вдруг объявила мне, что в послеобеденный час намерена идти к нашей соседке и что меня также ждут на это собрание. Я с негодованием ответил, что не хочу сохранять вздорного знакомства; когда же Рената, несмотря на то, принарядилась и ушла из дому, я, как бы в отместку ей, пошел к Матвею, к которому порывался давно, –

и то было в первый раз после моей болезни, что мы разлучились с Ренатою.

Матвей встретил меня ворчливо, но добродушно, а Агнесса, которая, по всему судя, была теперь осведомлена о существовании в моей жизни Ренаты, – робко и недоверчиво. Я постарался пробить тот лед, которым затянулось наше дружество с Агнессою, и долго занимал ее рассказами о Новой Испании, которыми производил неизменное впечатление на всех новознакомых, еще раз повествуя и о разрушенных храмах майев, и о громадных кактусах, и об опасных охотах на медведей и унце. Расстались мы снова друзьями, и, когда, вернувшись домой, услышал я от Ренаты лукавые слова о каком-то юноше, сыне купца, проявлявшем к ней особенное внимание в доме соседки, я поспешил с своей стороны сообщить об Агнесе, которая завлекла мое любопытство в доме Матвея. Этот новый наш поединок, где клинки старались поразить ревность противника, кончился в мою пользу, ибо Рената, сначала делавшая вид, что пренебрегает моими признаниями, скоро перешла к жалобным упрекам, а потом не удержала и

слез, так что я должен был, утешая ее, поклясться, что не чувствую никакого влечения к Агнессе, а она призналась мне, что сын купца существует только в ее воображении.

Это не помешало тому, чтобы через немного дней Рената опять объявила мне, что приняла какое-то приглашение соседки, на что я ответил новым посещением Матвея. А так как подобный турнир имел и еще продолжения, то в короткое время я действительно сделался частым посетителем Виссманов и, оставляя Матвея его ученым книгам, стал проводить долгие часы с Агнессою. Мне очень нравилось это создание, тихое и кроткое, девушка, с которой хорошо было говорить обо всем на свете, ибо все для нее было ново и всему она верила с доверчивостью младенца. В собственной же ее голове бабушкины сказки были причудливо перемешаны с университетской мудростью, которою сбивал ее с толку брат, и это приводило ее к самым забавным и несообразным представлениям и изображениям, которыми я любил тешить себя, как дети игрушками. Агнесса вполне серьезно спрашивала меня, правда ли, что на лице

человека написано латинскими буквами Homo Dei[166], причем два глаза суть две буквы О, нос – буква М и т. под.; что Иисус Христос был распят по самой середине земли, ибо Иерусалим есть центр мира, как сердце центра тела; что на земле ровно столько видов растений, сколько звезд на небе, ибо виды растений возникают от влияния звезды на соединение стихий; что изумруд присвоила себе Пресвятая Дева и что этот камень сам собою разбивается вдребезги, если при нем совершится любовный грех, – и многое в этом роде.

Я, впрочем, должен тут же со всею определенностью заявить, что в моих отношениях с Агнессою, ни тогда, ни после, не было ничего, достойного названия любви, хотя, конечно, близость милой и юной девушки была мне сладостна, как-то дополняя страстность и опытность Ренаты. Но должен также сознаться, что в глубине души, в те дни, не находил я в себе ни той безусловной преданности, которая прежде отдавала меня без меча и без кольчуги в руки Ренаты, ни той опьянительной страсти, которая держала меня в своих цепях из роз в дни нашего сближения после

моей болезни. Чувство, нараставшее долгие месяцы, как волна, вознесло до последней высоты свой гребень в наши медовые дни, а потом упало и рассыпалось бессильной пеной. Моя страсть, потопом блаженства затопившая меня на две недели, как бы отливом отхлынула от берегов души, обнажив ее дно и оставив на песке морские звезды, ракушки и водоросли.

Все же я чутьем знал, что наступит час и нового прилива, и потому продолжал повторять Ренате прежние слова о любви и клясться, что верен ей, как бывало. Но от зоркости Ренаты не могла укрыться перемена, произошедшая во мне.

В эту пору обмелевшей любви мы с Ренатою то целыми днями не видали друг друга, то опять бросались один на другого в порыве вспыхнувшего желания, то падали в провалы вражды и злобы. В часы ссор Рената иногда доходила до крайнего исступления, то попрекала меня таким, о чем, может быть, лучше было не вспоминать, то угрожала, что ночью перережет мне горло или подстережет на улице и убьет Агнессу, то опять исходила сле-

зами, падала на пол и предавалась обо мне такому же отчаянью, как когда-то о графе Генрихе. Напротив, в дни примирения воскресали все восторги двух счастливых любовников: мы были вновь как Клеопатра и Антоний в своем Египте или как Тристан и прекрасная Изольда в своем дворце, и недавние распри казались нам смешными недоразумениями, какими-то проделками злобных домовых, тех, кого сама Рената назвала «маленькие».

Эти постоянные смены радости и скорбей утомляли меня больше, чем прежние мучения отвергаемой любви, и моя тоска по жизни мирной и трудовой все возрастала, как медленно надвигающаяся буря. Но мы долго еще могли ждать первых молний, потому что Рената все же сохраняла владычество над моей душой, которая после недолгого отлучения вновь тянулась к ней, к ее взгляду и ее поцелую, как под землю корень ко влаге. Однако в существовании самой Ренаты было что-то, не допускавшее медленного хода событий, и, увлеченная новым, внутренним переворотом на новый путь мыслей и чувствований, она вдруг повернула и всю нашу жизнь на другой



## Глава десятая

### *Как явился Ренате вновь Мадизэль и как она меня покинула*

#### I

Однажды вечером, когда был я, по обыкновению, у милой Агнессы, пришлось мне возвращаться домой довольно поздно, так что пропуска у ночных стражей я добивался маленькими подачками. Подойдя к нашему дому, я различил в сумраке, что кто-то сидит на пороге, как кошка, и скоро убедился, что это – Луиза. Она мне бросилась навстречу и, не без простодушного ужаса, рассказала, что с госпожою Ренатою приключилось сегодня нечто неожиданное и страшное и что она, Луиза, боится, не было ли здесь вмешательства нечистой силы. Из подробного описания я вскоре понял, что с Ренатою произошел вновь тот припадок одержания, какие мне уже приходилось видеть, когда дух, входя внутрь ее тела, жестоко мучил и оскорблял ее. Тут же припомнил я, что последние дни

Рената была особенно грустна и беспокойна, к чему, однако, я отнесся с небрежением легкомысленным и недостойным.

В ту минуту чувство мое было такое, словно кто-то уколол меня в сердце, и ключ моей любви к Ренате вдруг брызнул в душе струею сильной и полной. Я поспешил наверх, уже воображая в подробностях, как буду просить у Ренаты прощения, и целовать ее руки, и слушать ее ответные ласковые слова. Застал я Ренату в постели, где она лежала обессиленная, как всегда, припадком до полусмерти, и лицо ее, слабо освещенное свечой, было как белая восковая маска. Увидя меня, она не улыбнулась, не обрадовалась, не сделала ни одного движения, обличающего волнение. Я стал на колени у постели и начал говорить так:

– Рената, прости меня! Последнее время я вел себя не так, как подобало. Я жестоко виноват, что покинул тебя. Не знаю сам, как и зачем я это сделал. Но больше этого не будет, я тебе клянусь!

Рената остановила мою речь и сказала мне голосом тихим, но отчетливым и решитель-

НЫМ:

– Рупрехт, это я должна говорить сейчас, а ты слушать. Сегодня совершилось со мною нечто столь важное, что я еще не могу объять его разумом. Сегодня моя жизнь переломилась надвое, и все, что ожидает меня в будущем, не будет похоже на то, что было в прошлом.

После такого торжественного экзорциума [167] Рената, обратив ко мне бледное и серьезное лицо, рассказала мне следующее.

Последнюю неделю, когда я особенно мало обращал внимания на Ренату, она сильно страдала от одиночества и целые дни плакала, тщательно скрывая это от меня. Но, когда человек в тоске, он становится беззащитен перед нападением враждебных демонов, и давний враг Ренаты, преследовавший ее еще в замке графа Генриха, опять поборол ее, вошел в нее и, пытая, поверг на пол. Однако, когда лежала она, простертая, почти не сознавая ничего, – внезапно возникло перед ее глазами светлое сияние, и в нем выступил образ огненного ангела, который не видала она с самых дней своего детства. Рената узнала тот-

час своего Мадизэля, ибо он был таким же, как прежде: лицо его блистало, глаза были голубые, как небо, волосы словно из золотых ниток, одежда будто тканная из пламенной пряжи. Восторг несказанный охватил Ренату, подобно тому как апостолов на горе Фаворе, в час преображения господня, но лик Мадизэля был строг, и, заговорив, ангел сказал так:

«Рената! С того самого дня, как ты, поддавшись плотским пожеланиям, хотела обманом и коварством склонить меня к страсти, – я покинул тебя, и все раза, когда после думала ты, что меня видишь, то не был я. И тот граф Генрих, в котором воображала ты узнать мое воплощение, был тебе послан не кем другим, как искушителем, чтобы совратить и умертвить твою душу окончательно. В куцах блаженства, перед лицом вседержителя, где витают ангелы, не раз лил я горестные слезы, видя тебя погибающей и созерцая злобное торжество врагов твоих и наших. Не раз возносил я, как дым кадильный, свою мольбу ко Всевышнему, да разрешит он мне положить тебе руку на плечо и удержать тебя над бездной, но всегда останавливал меня глас: „Над-

лежит ей преступить и эту ступень“. Ныне мне дано наконец открыть тебе всю истину, и узнай, что тяжки твои прегрешения на весах справедливости и душа твоя наполовину уже погружена в пламя адское. Не о венце святой Амалии Лотарингской подобает тебе мечтать теперь, но лишь о венце мученическом, кровью омывающем скверну преступлений. Сестра моя возлюбленная! ужаснись, покайся, молись неустанно богу, и мне позволено будет опять оберегать и укреплять тебя!»

Пока говорил Мадизель, все слова его открывались Ренате в ярких картинах. Так, видела она – то сады рая, в которых ангелы поют славословия творцу и взлетают, как птицы, образуя своими сочетаниями мистические буквы D, I, L[168]; то ступени некоей лестницы, изображающей ее земную жизнь, по которым ступала она среди змей, василисков, драконов и других чудовищ; то, наконец, себя самое, по пояс погруженную в пламя преисподней, и пляшущих кругом в ликовании дьяволов. Когда же Мадизель кончил гневную речь, Рената была в последнем отчаянье, и ей казалось, что дыхание жизни ее покидает. То-

гда, видя свою подругу в таком страшном положении, Мадизель неожиданно изменился, лицо его приняло выражение кроткое и нежное, и весь он стал как добрый старший брат, каким бывал в дни их детских игр; приблизившись, он наклонился к помертвелой Ренате и ласково поцеловал ее в губы, овеяв ее сладостной и не жгучей огненностью. С криком радости Рената хотела обнять его, но протянутые ее руки встретили только старую Луизу, которая прибежала на шум от ее падения и на ее жалобный стон.

Это рассказала мне Рената, оставив меня, как всегда, после своих признаний, в недоумении: что из ее слов действительность, что видение ее бреда и что измышление ее ума, роковым образом склонного ко лжи. В тот день я позаботился только о том, чтобы успокоить больную, уговаривая ее не думать пока о совершившемся и пытаясь утешить ее обещанием лучших дней, когда я буду посвящать ей все часы и минуты. Но Рената на мои речи отрицательно качала головой или улыбалась мне снисходительно, как улыбается мать ребенка, пытающемуся развеселить ее тоску

своими игрушками. Убаюкиваемая моими ласковыми речами, она, впрочем, скоро уснула сном утомленного и замученного, а я уснул близ нее, как в прежние дни, когда мы еще не были близки.

Однако, в ту же самую ночь, мог я убедиться, что не легкомысленно говорила Рената, будто вся жизнь ее переломилась надвое: на первой заре Рената разбудила меня, и лицо ее было странно торжественным, когда она попросила меня помочь ей встать и проводить к ранней обедне. Я повиновался, невольно подчиненный строгостью ее голоса и тишиной утреннего часа, и Рената, поспешно одевшись, заставила меня отвести ее, хотя была так слаба, что едва могла ступать, в церковь Святой Цецилии. Там, упав на аналой, Рената, среди яркой пестроты и позолоты храма, молилась ненасытно и заливалась слезами до самого конца службы, как последняя грешница, ищущая отпущения грехов. И, глядя на ее ревность, начал я понимать, что в душе Ренаты произошла не мимолетная перемена, но свершился какой-то большой переворот, изменивший надолго все ее мысли, чувствава-

ния, пожелания, словно перестроивший по новому плану все ее существо.

Действительно, отсюда началось для Ренаты, и для меня с ней, совершенно новое существование, и порой мне казалось, что если и можно найти единство между всеми ликами Ренаты, являвшимися мне прежде, то новый ее образ принадлежит вовсе другой женщине. Не только Рената высказывала совсем иные, чем прежде, суждения, не только повела совсем новый образ жизни, но я не узнавал самого ее способа говорить, действовать, обращаться с людьми, не узнавал самого звука ее голоса, ее походки, пожалуй, и лица. Но тогда напоминал я себе, что рассказывала мне Рената о своем детстве, как проводила она ночи напролет в молитве, как выходила обнаженной на холод, как бичевала себя или терзала груди остриями; или еще те слова, какие она сказала мне на барке, когда мы плыли с нею к городу Кельну: «Всем нам, каждому, надо было бы ужаснуться и, как оленю от охотника, бежать в монастырскую келью», – и я понимал, что все это уже было в Ренате и раньше, но лишь скрывалось – как тело под



случайными одеждами.

Чтобы изобразить, хотя бы в самых общих чертах, эту последнюю пору нашей совместной жизни с Ренатою, должен я прежде всего сказать, что в свое покаяние внесла она ту же иступленность, как раньше в скорбь, а потом в страсть. В один из первых дней после видения захотела она пойти на исповедь и, сколь я ни предостерегал ее от такого опасного поступка, действительно исполнила свое намерение в нашей приходской церкви. Не знаю, чистосердечно ли покаялась Рената перед нашим патером в своих прегрешениях, из которых меньшее, будь оно обнародовано, могло повести ее на костер ведьм, — но, вернувшись домой, умиленная и в слезах, сообщила она мне об епитимии, на нее наложенной. И с того дня, выполняя ее, она не пропускала утра, чтобы не быть у мессы, каждый церковный звон встречала молитвой, каждый вечер молилась у аналоя до изнеможения, держала все предписанные верным посты, в среду, пятницу и субботу, а порою вскакивала и среди ночи, чтобы опять, ломая руки, рыдая, молить об отпущении грехов. Не

довольствуюсь указанными ей испытаниями, Рената жаждала всячески усилить свои подвиги, чтобы полнее выразить свое покаяние, а может быть, чтобы скорее выпросить себе прощение. Не раз я удерживал ее, когда она яростно билась головой об стену, не раз подымал с полу потерявшей сознание от усталости на молитве, а однажды вырвал из ее рук кинжал, которым она уже начертила у себя на груди кровавый крест. В эти минуты у Ренаты всегда было лицо счастливое и детское, и она упрашивала меня кротко:

– Рупрехт, оставь меня, мне хорошо, мне хорошо!

Ко мне в те первые дни своего покаяния Рената относилась ровно и ласково, как сестры к братьям в бригиттианских монастырях [169], не возражая мне резко, подчиняясь мне в малом, но во всем существенном твердо держась своего пути. Разумеется, Рената отреклась от всякого соблазна страсти, не позволяла мне даже прикоснуться к ней и говорила теперь о земной любви с той же холодностью, как любой схоластик.

Настойчиво убеждала меня Рената присо-

единиться к ее покаянию, упрашивала о том на коленях и со слезами, как добрая сестра, или заклиная с угрозами, как проповедник, – но в моей душе, куда бросил свои семена Яков Вимфелинг[170], эти призывы не могли найти отзвука. Всю мою жизнь твердо сохранял я в глубине сердца живую веру в творца, промыслителя мира, в его благодать и искупительную жертву Христа Спасителя, однако никогда не соглашался, чтобы истинная религия требовала внешних проявлений. Если Господь Бог дал людям во владение землю, где лишь борьбой и трудом можно выполнить свой долг и где лишь страстные чувства могут принести истинную радость, – не может его справедливость требовать, чтобы отказались мы от трудов, от борьбы и от страсти. Кроме того, пример монахов, этих настоящих волков в овечьих шкурах, которые давно уже стали широкой мишенью, продырявленной всеми стрелами сатиры, – достаточно показывает, как мало приближает к святости жизнь праздная и тунеядная, хотя бы вблизи от алтаря, при каждодневных мессах.

Впрочем, искренность и увлеченность, с

какими отдавалась своему покаянию Рената, настолько оживили во мне мое чувство к ней, что я в течение недели или даже дней десяти делал вид, будто испытываю то же, что она, так мне хотелось не отходить от нее, разделять все ее минуты. Вместе с Ренатою посещал я церкви; опять, прислонясь к колонне, следил за ней, склоненной к молитвеннику; слушал мерное пение органа и воображал безнадежно, что это шумят вокруг нас мексиканские леса. Не отказывал я Ренате и тогда, когда она звала меня молиться с собой, ласково ставила близ себя на колени и нежно просила, чтобы я повторял за нею слова псалмов и кантик. Отдавал я себя в волю Ренаты и тогда, когда хотелось ей каяться во всем, ею в жизни совершенном, когда, став передо мной на колени, она целые часы, заливаясь слезами, проклинала себя и свои поступки, рассказывала мне о своем постыдном прошлом, причем, как мне кажется, находила особую сладость в том, чтобы обвинять себя в самых черных преступлениях, в которых не была повинна, взводить на себя самые стыдные небылицы.

В этих рассказах свою жизнь с графом Генрихом изображала она как сплошной ужас, ибо уверяла теперь, что тайное общество, в котором Генрих мечтал стать гроссмейстером, было общество самых низших магов, служивших черную мессу и готовивших ведьмовское варево. По словам Ренаты, именно в эти дни были ей указаны пути на шабаш и тайны магии, так что она только притворялась, будто постигает их вместе со мной. Однако и о нашей совместной жизни тут же, с не меньшим волнением, рассказывала Рената такие вещи, которым я никак не мог дать веры и которые являли события, лично мною пережитые, словно отраженными в изогнутом зеркале. Так, заверяла меня Рената, что перед встречей со мной не было у нее другого желания, как затвориться в монастырь. Но затем некий голос, принадлежавший, конечно, врагу человеческому, сказал ей над ухом, что демоны отдадут ей Генриха, если она взамен поможет им уловить в их сети другую душу. После этого вся наша жизнь будто бы в том лишь и состояла, что Рената, применяя ложь и лицемерие, старалась вовлечь меня в

смертные грехи, не останавливаясь ни перед какими обманами. Если бы поверить Ренате, то пришлось бы допустить, что роль стучащих духов играла она сама, чтобы заманить меня в область демономантии, что мои видения на шабаше были ею мне подсказаны, что Иоганн Вейер был прав, уверяя, будто это Рената разбила лампы при нашем магическом опыте, и подобное.

Между прочим, решительно потребовала Рената, чтобы магические сочинения, все еще лежавшие на столе в ее комнате, были уничтожены или выброшены, и сколько ни возражал я против такой незаслуженной казни книгам Агриппы Неттесгеймского, Петра Апонского, Рогерия Бакона, Ансельма Пармезанского и других, но она оставалась непреклонной. Унеся груды томов, я спрятал их в дальнем углу своей комнаты, ибо почитал святотатством уподобляться папе, сжегшему Тита Ливия, и подымать руку на книги как на лучшее сокровище человечества. Но, взамен исчезнувших томов, на столе Ренаты скоро появились другие, столь же тщательно переплетенные в пергамент и с не менее блестя-

щами застежками, да, пожалуй, и содержанием отличающиеся не более, чем груша от яблока, ибо и они усердно трактовали о демонах и духах. А так как большинство тех новых сочинений, к которым тянулась теперь жаждущая душа Ренаты, также было написано по-латыни, то пришлось мне опять быть толмачом, и повторились для меня с Ренатою часы общих занятий, когда, рядом за столом, склонясь к страницам, вникали мы оба в слова писателя.

Добывать книги приходилось, конечно, опять мне, так что я возобновил свои посещения Якова Глока и опять стал рудокопом в его богатых шахтах; но Рената резко воспрещала мне приносить сочинения Мартина Лютера и всех его приспешников и подражателей, я же ни за что не хотел, чтобы она читала какого-нибудь Пфефферкорна или Гогстратена, так что, исключив всю современную литературу двух воинствующих станов, должно было мне ограничить свои выборы теологами прежнего покроя, трактатами старой и новой схоластики. Впрочем, первое, что досталось нам, была благородная и интересная книга

Фомы Кемпийского «О подражании Христу» [171], но тотчас последовали разные «Ручные изложения веры», «Enchiridion», на которых было помечено: «Eyn Handbuchlein eynem yetzlichen Christenfest nutzlich bey sich zuhaben» [172], далее заманчивые по заглавиям, знаменитые, но своей славы не заслуживающие трактаты, как «Die Hymelstrass» [173] Ланцкранны или «О молитве» Леандра Севильского, еще после – жития святых, как-то: Бернарда Клервосского, Норберта Магдебургского, Франциска Ассизского, Елизаветы Тюрингенской, Екатерины Сиенской и других, и, наконец, сочинения двух солнц этой области, – два фолианта, один поменьше, другой несоразмерно громадный, за которые не пожалел я талеров, но в которых недалеко мы подвинулись: серафического доктора Иоганна Бонавентуры «Itinerarium mentis» [174], местами не лишенное увлекательности, и универсального доктора Фомы Аквината «Summa Theologiae» [175] – книга совершенно мертвой и ожить не способной учености. Рената хваталась, как за якорь спасения, то за одно, то за другое сочинение и торопила меня то перево-



дить ей страницу жития, то истолковать теологический спор, восхищаясь описываемыми чудесами, устрасаясь угрозами адских мук и с наивностью, ей несвойственной, принимая за истины всякие нелепые измышления схоластических докторов.

Я не упомяну сейчас всей суммы вздоров и несообразностей, какие довелось нам вычитать при этих наших усердных занятиях, достойных более осмотрительного применения, но я приведу здесь несколько примеров тех рассказов, которые с особенной силой потрясли Ренату, вызывая на ее ресницы слезы. Так, с истинным ужасом читала Рената у Фомы Аквината описание преисподней, более полное, нежели у поэта Данте Алигиери, с точным означением, где будут находиться и каким мучениям подвергнутся различные грешники: праотцы, умершие до пришествия Христа, дети, умершие до крещения, тати, убийцы, блудники, богохульники. С соответственным умилением слушала Рената перечисление числа ударов, какие были получены Спасителем после предания, причем оказывалось, что ударов бичом было 1667, ударов

рукой – 800, особо заушений – 110; тут же сообщалось, что слез было им пролито на Масличной горе 62 200, а капель кровавого пота – 97 307; что терновый венец причинил пречистому челу 303 раны, что стонов было им испущено 900 и т. д[176]. Умилял Ренату рассказ, как явилась Екатерине Сиенской Богоматерь, подвела ее к своему сыну, который и подал святой, в знак обручения, кольцо с бриллиантом и четыремя жемчужинами, под звуки арфы, на которой играл царь Давид; или, как святой Ютте, в Тюрингии, явился сам Христос, позволил ей прижать уста к своему прободенному ребру и сосать пречистую свою кровь. Не менее серьезно принимала Рената вести, будто из могилы святого Адальберта в Богемии, когда ее открыл епископ Пражский, излилось столь укрепляющее благоухание, что все присутствующие три дня после того не нуждались в пище, или будто в одном женском цистерианском монастыре, во Франции, святость жизни была столь высока, что, с божьего благословения, дабы не вводить в монастырь никого со стороны и все же продолжить его население, каждая монахиня, не

зная мужа, родила по девочке, которая должна была стать ее преемницей. Не знаю, всегда ли вера враждует с рассудком, и правда ли, что занятия теологией размягчают мозг, но, глядя, как доверчиво слушает эти истории Рената, которая в другие дни умела пользоваться логикой, мог я только повторять слова святого Бернарда Клервосского: «Все грехи возникают из греха неверия».

Что до меня, схоластические бредни, как новинка, забавляли меня только первые дни, а так как сочинения теологические имеют одну плохую особенность: все они очень похожи одно на другое, – то скоро часы чтения с Ренатою сделались для меня неприятной обязанностью. Любовь моя к Ренате, вдруг ожившая под влиянием ее видения, стала замирать снова, словно шар, который кто-то подтолкнул неожиданно, но который все равно не может свободно катиться по каменистой дорожке. И очень скоро монастырский образ жизни, который ввела у нас в доме Рената, с молитвами, коленопреклонениями, воздыханиями и постами, начал казаться мне каким-то неуместным маскарадом. Я начал

уклоняться от того, чтобы сопровождать Ренату в церковь, уходил, под разными предложениями, из дому в часы, когда могли бы мы приняться за чтение, резко прерывал благочестивые разговоры и ночью, слыша из комнаты Ренаты ее сдавленные рыдания, не спешил к ней. А потом настал и день, когда не мог и не захотел я преодолеть своего желания: вернуться к Агнессе, словно к ясному воздуху над зелеными лугами, после рдяных и голубых лучей, перекрещивающихся в церквах сквозь расписные стекла.

## II

Этот день, чего я предвидеть не мог никак, если не определил, то предсказал всю нашу судьбу. Рената тогда с утра была в соборе, и я, прождав ее до полудня, вдруг, почти неожиданно для самого себя, вышел на улицу, направился, не без смущения, к знакомому дому Виссманов и постучался в дверь, как виноватый. Агнесса приняла меня с неизменной приветливостью и только сказала мне:

— Вы так давно у нас не были, господин Рупрехт, и я уже думала, что с вами опять случилось что-либо нехорошее. Мне брат запре-

тил спрашивать вас, говоря, что у вас могут быть причины, которых не должно знать честной девушке, – правда ли это?

Я возразил:

– Ваш брат пошутил над вами. Просто в моей жизни настали неудачные дни, и я не хотел вас печаливать грустным лицом. Но сегодня стало мне слишком тяжело, я пришел к вам, чтобы помолчать и послушать ваш голос.

Я действительно молчал почти все время, какое пробыл с Агнессою, а она, скоро освоившись со мною вновь, щебетала, как ласточка под кровлей, обо всех маленьких новостях недавних дней: о смерти собачки у соседки, о смешном случае за обедней в воскресенье, о попойке профессоров, какая была у ее брата недавно, о каком-то необыкновенном, отливающем в три цвета шелке, присланном ей из Франции, и о многом другом, заставлявшем меня улыбаться. Речь Агнессы текла как ручеек в лесу; ей говорить было легко, потому что все впечатления жизни и все сказанные ею слова скользили сквозь нее, не задевая в ней ничего, а мне было легко ее слушать, по-

тому что не надо было ни думать, ни быть внимательным, можно было бросить поводья своей души, которые так часто приходилось мне натягивать. Опять, как всегда, ушел я от Агнессы освеженный, словно легким ветром с моря, успокоенный, словно долгим созерцанием желтой нивы с синими васильками.

Дома я застал Ренату над книгами, тщательно разбирающей какую-то проповедь Бертольда Регенсбургского[177], написанную на старом языке. Строгое лицо Ренаты, ее спокойный взгляд и сдержанный голос, – все это было такой противоположностью с детской беспечностью Агнессы, что сердце у меня словно кто-то ущемил клещами. И вот тогда-то вдруг, с крайней непобедимостью, захотелось мне прежней Ренаты, недавней Ренаты, ее страстных глаз, ее исступленных движений, ее несдержанных ласк, ее нежных слов, – и желание это было так остро, что я готов был заплатить всем, чтобы насытить его. В ту минуту, без колебания, отдал бы я всю будущую жизнь за одно мгновение ласки, тем более что казалось оно мне неосуществимым.

Я бросился к Ренате, я стал перед ней на

колени, как в хорошее, давнее время, я начал целовать ей руки и говорить о том, как безмерно ее люблю и как изнемогаю смертельно все эти дни от ее суровой неприступности. Я говорил, что из черного ада я вышел было к радужному эдему, как Адам не сумел воспользоваться блаженством, и вот стою у врат рая, и страж с пылающим мечом загораживает мне возврат, – что я согласен умереть сейчас же, если мне еще один раз позволено будет вдохнуть запах эдемских лилий. Я знал, даже в тот миг, что говорю неправду, что повторяю слова прошлого, но ложь была той дорогой ценой, за которую надеялся я купить любовный взгляд и ласковое прикосновение Ренаты. Не останавливался я даже и перед другими, еще более недостойными средствами соблазна, стараясь отуманить сознание Ренаты, стараясь вновь пробудить в ней чувственное влечение, так как мне, во что бы то ни стало, нужна была ее страсть.

Не знаю, искусство ли моей речи одержало верх, или во мне самом тогда было слишком много огня, который не мог не перекинуться на существо Ренаты и не зажечь ее, или, на-

конец, в ней самой вырвались наружу силы страсти, насильственно заваленные камнями рассудка, – только в тот вечер могла торжествовать богиня любви и крылатый сын ее мог опять задуть свой ночной факел. С такой пламенностью приникли мы друг к другу, с такой нежной ожесточенностью искали поцелуев и объятий, словно то было первое соединение, и, в опьянении счастьем, казалось мне, что мы не в нашей знакомой комнате, а где-то в пустыне, в диких скалах, в гроте и что молнии неба и нимфы леса приветствуют наш союз, как когда-то Энея и Дидоны:

*Fulsere ignes et conscius aether  
Connubiis, summoque ulularunt  
vertice Nymphae[178]*

И Рената, потеряв строгий облик монахини, повторяла мне слова ласки, которые для меня были нежнее всех звуков виолы и флейт:

– Рупрехт! Рупрехт! Мне больше ничего не надо, только ты люби меня; я не хочу ни блаженства, ни рая, я хочу, чтобы ты был со мной, чтобы ты был мой, а я – твоя. Я люблю



тебя, Рупрехт!

Но зато, когда миновал порыв страсти, когда, словно из какого-то ничто, опять выступили кругом стены нашей комнаты и вся ее обстановка, и стали нам видны и книги, разбросанные по столу, и упавший на пол том проповедей Бертольда Регенсбургского, и мы двое, простертые в утомлении на смятой постели, – тотчас охватило Ренату отчаянье. Вскочив, кинулась она к аналою, стала на колени, шепча молитву, но потом так же быстро поднялась, бледная, гневная, и стала бросать в меня упреки:

– Рупрехт! Рупрехт! Что ты сделал! Я знаю, тебе только одно это и нужно! Я знаю, ты во мне ничего другого не ищешь, не хочешь. Но зачем тогда я тебе? Иди в публичный дом – там ты за малые деньги найдешь себе женщин. Предложи себя любой девушке, и ты получишь жену, которая будет тебе служить каждую ночь. Но тебе нравится искушать меня именно потому, что я отдала свою душу и свое тело богу!

На это я возразил:

– Рената, будь милосердна и справедлива!

Вспомни, я целые месяцы жил близ тебя, не добиваясь твоих ласк, когда думал, что ты обручена другому, и не жаловался на твою бесстрастность. Но как хочешь ты, чтобы я сносил ее спокойно, когда знаю, что ты меня любишь, когда чувствую близость твоей любви? Я не верю, что господу богу неугодна ласка двух любящих, и ты еще несколько минут назад говорила, что за нее готова отдать блаженство будущей жизни.

Но вместо ответа Рената начала рыдать, как она всегда рыдала, то есть безудержно и безутешно, так что напрасно пытался я ее успокоить и утешить, прося у нее прощения, обвиняя самого себя, обещая ей, что ничего, подобного этому дню, не повторится никогда. Не слушая меня, Рената плакала словно о чем-то погибшем безвозвратно, как могла бы плакать разве девушка, нечестно обольщенная соблазнителем, или как, может быть, плакала праматерь Ева, понявшая лицемерие Змия. Я же, видя эти слезы и эту тоску, сам себе давал решительные клятвы, что никогда больше не поддамся искушению, что лучше покину Ренату, нежели опять выставлю себя

в ее глазах человеком, ищущим грубых наслаждений, так как не их, а ласковых глаз и нежных слов жаждал я.

Однако, несмотря на эти обещания, данные мною и Ренате и себе, тот день послужил образцом для многих других, вылепленных хотя и из другой глины, но в тех же формах, притом с такой точностью, что во всех них занимала свое место Агнесса. Обычно происходило все так, что я шел днем к Агнессе, слушал ее тихие речи, смотрел на ее льняные косы и с душой успокоенной, как заштилевшее море, возвращался к Ренате, по пути напоминая себе, что сегодня буду я владеть собою строго. Дома большею частью начинали мы чтение какого-нибудь назидательного сочинения, причем, преодолевая чувство скуки, старался я вникать в рассуждения, любопытные для Ренаты, – но понемногу близость ее тела увлекала меня, как некий любовный фильтр[179], и, почти сам не примечая того, я то прикивал губами к ее волосам, то теснее прижимал ее руку к своей. Вспоминая теперь эти минуты, думаю, что, может быть, не всегда первый повод подавал я, но что одинако-

вое со мною чувство испытывала и Рената, которая также влеклась, против воли, к страсти, или что было во всем этом влияние существ, нам враждебных и незримых. Во всяком случае, без одного исключения, все наши чтения, после первого нашего грехопадения, стали завершаться одинаково: сначала испуганными ласками и взаимными клятвами, а потом отчаяньем Ренаты, ее слезами и жестокими укорами и моим поздним раскаеньем. И число этих образов, сходных друг с другом, как листья одного дерева, увеличивалось в нашей памяти каждый день на один.

Так наша жизнь, словно завиваясь суживающимися кольцами водоворота, замкнула наконец в очень тесный круг то, что прежде она обнимала широким обхватом. Первые месяцы нашей жизни с Ренатою были мы чуждыми друг другу; затем в течение двух недель, после моего поединка с графом Генрихом, напротив, близкими, как только могут быть близки люди. В следующий период жизни, длившийся до видения Ренаты, эти смены враждебности и близости свершались в течение нескольких дней, и порою в одну неделю

успевали мы быть и лютыми врагами, и страстными любовниками. Теперь такой же цикл замкнулся в краткое время двадцати четырех часов. На протяжении от утра до вечера успевали мы пройти всю высокую лестницу от братской близости через дружескую доверчивость, к самой пылкой, самозабвенной любви и дальше, к отточенной, как кинжал, ненависти. Каждый день наши души, как клинки, то раскалялись до белого света на горне страсти, то вдруг погружались в ледяной холод, – и легко можно было предвидеть, что, не выдержав таких переходов, они наконец сломаются.

Я чувствовал себя совершенно измученным всей своей жизнью с Ренатою и снова помышлял втайне о том, чтобы покинуть ее и бежать в другие страны, хотя в то же время мысль лишиться ее и ее ласк была мне так ужасна, что я просто боялся вообразить себя в мире опять одиноким. Вместе с тем и Рената, в часы наших ссор, все чаще решалась говорить мне, что более не может оставаться со мной, что в меня вселился дьявол, искушающий ее, что ей лучше умереть от тоски по

мне, нежели совершать смертные грехи ради близости со мной, и что единое пристанище, где ей теперь место, – монастырь. Тогда я не придавал особого значения этим словам, но и мне наша общая жизнь опять представлялась тогда комнатой, из которой нет выхода, в которой все двери мы замуровали сами и в которой теперь мечемся безнадежно, ударяясь о каменные стены.

Но катастрофа, разрушившая эти стены в прах, вдруг бросившая меня в какие-то другие пропасти, на другие острые камни, все же пошла незаметно, словно судьба подкралась в маске и на цыпочках и схватила нас обоих сзади.

Мне памятен тот день, может быть, больше всех иных дней, и потому я знаю точно, что было то 14 февраля, в воскресенье, в День святого Валентина[180]. Снова был я тогда у Агнессы, причем при беседе нашей присутствовал и Матвей, и мы втроем немало шутили над обычаями и приметам, связанными с этим днем. Возвращаясь домой, был я опять расположен добродушно и ласково и говорил себе: «Душа Ренаты изранена всем, что пере-

жила она. Надо дать ей тихое успокоение, как больному дают лекарство. Кто знает, быть может, после нескольких месяцев жизни и яснотой и мирной, и любовь ее, и покаяние ее вольются в ровное русло, – и для нас с ней станет возможною та счастливая и трудовая жизнь мужа и жены, о которой я уже перестаю мечтать».

С такими благими решениями вошел я к Ренате и, по обыкновению, застал ее среди книг, над фолиантом, в смысл которого она тщательно старалась вникнуть. Была она так заинтересована темным для нее содержанием книги, что не слышала, как я приблизился, и, вздрогнув, обратила ко мне ясные глаза свои, только когда я осторожно поцеловал ее в плечо.

Словно забыв все свои вчерашние жестокие упреки и жалобы, Рената сказала мне приветливо:

– Рупрехт, как я тебя долго ждала сегодня! Помоги мне – я вижу, что эта книга очень важная, но понимаю очень плохо; здесь есть откровения, которые, если мы будем их помнить, удержат нас от многих зол.

Я присел рядом с Ренатою и увидел, что то была книга, недавно разысканная мною у Глока, так как она уже давно была распродана: прекрасный том, отпечатанный еще в прошлом веке, в городе Любеке, под заглавием: «*Sanctae Brigittae Revelationes ex recensione cardinalis de Turrecremata*» [181]. Книга была раскрыта на описании путешествия святой Бригитты Шведской по чистилищу и тех родов мучений, какие она там наблюдала. В упор начали мы читать о какой-то грешной душе, голова которой была так крепко стянута тяжелой цепью, что глаза ее, вылезши из орбит, висели на своих корнях до самых колен, а мозг лопнул и вытекал из ушей и из носу; далее изображались мучения другой души, у которой язык был вырван через открытые ноздри и свисал до зубов; еще далее следовали иные формы всевозможных пыток, сдирания кожи, исхищренных бичеваний, терзаний огнем, кипящим маслом, гвоздями и пилами.

Мне не довелось прочесть в этой книге описания мук в самом аду, но в изображении чистилища заинтересовала только сила



необузданной фантазии, много терявшая, впрочем, от дурного изложения кардинала, не совсем твердого в латинской стилистике. Зато на Ренату видения святой Бригитты произвели впечатление потрясающее, и, оттолкнув страшную книгу, вся дрожа, она прижалась ко мне, видимо, представляя себе загробные мучения со всей ясностью открывшегося взорам зрелища. С чувством настоящего ужаса, как ребенок, оставшийся один в темной комнате, она воскликнула, наконец:

– Страшно! Страшно! И это грозит всем нам, каждому, мне и тебе! Пойдем, помолимся, Рупрехт, и да оставит нам бог столько жизни, чтобы загладить все грехи наши!

В эту минуту Рената, наивная и робкая, похожа была на маленькую деревенскую девочку, которую пугает заезжий монах, надеясь с ее помощью распродать побольше индульгенций, и была она мне мила и дорога несказанно. Я охотно последовал за ней к маленькому алтарю, бывшему в ее комнате, и мы стали на колени, повторяя святые слова: «Placare Christe servulis...» [182] Эта общая молитва, когда мы стояли рядом, как два извая-

ния в церкви, и когда наши голоса смешивались, как запах двух рядом растущих цветков, решила нашу участь, потому что оба мы не одолели вновь желаний, вдруг вставших со дна нашей души, как встает из корзины, на свист заклинателя, – его змея.

Я не хочу обвинять здесь в этом последнем поступке Ренату и не могу принять за него всей вины на себя, и пусть рассудит это в свое время тот, кому принадлежит судить и разрешать, в руках которого весы верные и кто не зрит на лица. Но кто бы ни был из нас виноват в этом нашем последнем падении, во всяком случае, скорбь, которая поборолла Ренату, едва миновало головокружение страсти, еще не имела в прошлом равного ничего. Рената с таким изумлением и с такой дрожью отпрянула от меня, словно я завладел ею тайно, в ее сне, или насилием, как Тарквиний Лукрецией, и первые два слова, произнесенные ею, ударили меня бичом по сердцу сильнее, чем все последующие проклятия. Эти два слова, исполненные беспредельной тоски, были:

– Рупрехт! Опять!

Я схватил руки Ренаты, хотел целовать их,

заговорил торопливо:

– Рената! Клянусь богом, клянусь спасением души, я не знаю сам, как все это произошло! Это все – лишь оттого, что я слишком люблю тебя, что я согласен на все мучения Бригитты, только бы целовать твои губы!

Но Рената высвободила свои пальцы, отбежала на середину комнаты, словно для того, чтобы быть от меня дальше, и закричала мне вне себя:

– Лжешь! Лицемеришь! Опять лжешь! Подлый! Подлый! Ты – сатана! В тебе – дьявол! Господи, Иисусе Христе, охрани меня от этого человека!

Я попытался настичь Ренату, протягивал к ней руки, повторял ей какие-то ненужные извинения и бесплодные клятвы, но она отстранялась от меня, крича мне:

– Прочь от меня! Ты мне ненавистен! Ты мне противен! Это в безумии я говорила, что люблю тебя, в безумии и в отчаянье, так как мне ничего не оставалось больше! Но я дрожала от отвращения, когда ты обнимал меня! Ненавижу тебя, проклятый!

Наконец я сказал:

– Рената, почему ты обвиняешь меня одного, но не себя? Разве ты не одинаково виновата, поддаваясь моему соблазну, как я, уступая твоему? Вернее, не бог ли виноват, сотворив людей слабыми и не дав им сил для борьбы с грехом?

В эту минуту Рената остановилась, словно пораженная моими богохулениями, дико стала оглядываться и, увидев лежащий на столе нож, схватила его, как оружие избавления.

– Вот, вот, гляди! – крикнула она мне голосом хриплым. – Вот какое средство завещал нам сам Христос, если тело наше искушает нас!

Говоря так, Рената ударяла себя клинком в плечо, и кровь окрасила место раны, а через миг потекла и из рукава ее платья. У меня тотчас мелькнула мысль, что этот порыв – последний, что за ним наступит упадок всех сил, и я хотел подхватить Ренату в руки, как изнемогшую. Но, против ожидания, рана только придала ей новой ярости, и, с удвоенным негодованием, она оттолкнула меня, метнулась в сторону и опять закричала мне:

– Уйди! Уйди! Не хочу, чтобы ты ко мне

прикасался!

Потом, совершенно обезумевшая, а может быть, подпавшая под влияние злого духа, Рената с размаха бросила в меня ножом, который еще держала в руке, так что я едва успел отклониться от опасного удара. Тут же схватила она со стола тяжелые книги и стала метать их в меня, как ядра из баллисты, а за ними и все другие мелкие предметы, находившиеся в комнате.

Защищаясь, сколько было можно, от этого града, хотел я говорить и образумить Ренату, но ее каждое мое новое слово приводило в большее раздражение, каждое мое движение возбуждало еще и еще. Я видел ее лицо, бледное, как никогда, и искаженное судорогами до неузнаваемости, я видел ее глаза, в которых зрачки расширились вдвое, – и весь ее облик, все ее тело, находившееся в непрерывной дрожи, доказывали мне, что не она владеет собой, но кто-то иной распоряжается ее телом и ее волей. И вот в ту минуту, слыша повторные крики Ренаты: «Уйди! уйди!», видя, в какую ярость приводит ее мое присутствие, принял я решение, может быть, неосто-

рожное, но за которое сегодня все же не смею упрекать себя: я решился действительно уйти из дому, полагая, что без меня Рената скорее овладеет собой и успокоится. Кроме того, не мог я оставаться твердым, как марпезийская скала[183], слыша непрестанные оскорбления себе, и хотя понимал умом, что Рената за них не ответственна, однако не без труда удерживал я себя, чтобы не крикнуть ей в ответ и своих обвинений.

Итак, я предпочел, повернувшись, быстро выйти из комнаты и слышал за собой неудержимый хохот Ренаты, словно бы она торжествовала долгожданную победу. Приказав Луизе подняться наверх и ждать приказаний госпожи, я накинул плащ и вышел на весенний воздух, в сумерки подступавшего вечера, – и такой странной показалась мне узкая улица, и высокие кельнские дома, и еще белый месяц над ними, после сумасшедшего дома, в котором только что слышал я вопли, скрежет и смех. Я шел вперед, не думая ни о чем, только дыша всей грудью, только вбирая глазами темнеющую синь неба, и вдруг сам удивился, увидя себя у дверей дома Виссма-

нов, куда меня как-то сами завели мои ноги. Я, конечно, не вошел к ним вторично, но, перейдя на другую сторону улицы, заглянул в окна, и мне показалось, что я узнал милый и нежный облик Агнессы. Успокоенный уже этим одним, а может быть, и всей прогулкой, я медленно направился домой.

Но у нас нашел я Луизу в смятении, а комнату Ренаты пустой, причем на полу валялись ее вещи, некоторые части одежды, какие-то лоскуты, веревки – и все обличало, что кто-то здесь поспешно готовился к отъезду. Конечно, я догадался сразу, что произошло, и охватил меня крайний ужас, как неопытного мага, который втайне заклинал демона явиться и вдруг упал ниц при его страшном появлении. В волнении начал я расспрашивать Луизу, но она немного могла объяснить мне.

– Госпожа Рената, – так бормотала Луиза, – сказала мне, что вы попрощались с нею и что она уезжает на несколько дней. Она приказала мне помочь ей собрать ее вещи, но запретила за ней следовать. Я же никогда не возражаю господам и делаю все, как они прикажут.

Вот только удивило меня, что у госпожи Ренаты вся рука была в крови, ну да я ей рану перевязала чистым полотном.

Спорить с глупой старухой или бранить ее было бесполезно, и я, не отвечая на ее причитания, побежал, с непокрытой головой, на улицу. Мне казалось, что Рената не могла уйти далеко, я надеялся нагнать ее, упрямить, умолить вернуться. Я толкал редких вечерних прохожих, я сам натыкался на стены и без толку, с сердцем, бьющимся, как молот кузнеца, пробегал улицу за улицей, пока не послышался звон уличных цепей и не замелькали, там и сям, во мраке переносные фонари. Тогда я понял бессмысленность своих поисков и вернулся к себе, потрясенный и растерявшийся.

Хотя утешал я сам себя соображением, что не успела, конечно, Рената выйти из города, прежде чем заперли ворота, однако все же первая ночь, которую я провел без нее, была поистине страшной. Сначала я бросился в свою постель и ждал мучительно, против всякого вероятия, что вот раздастся стук в дверь и вернется Рената, – встречая каждый шорох,



как надежду, как предзнаменование. Потом, вскочив, я стал на колени и начал молиться с тем же исступлением, с каким молилась сама Рената, заклиная Всевышнего вернуть мне ее, вернуть во что бы то ни стало, какой бы ценой то ни было. Я давал сотни обетов, исполнить которые клялся, если только Рената вернется: клялся заказать тысячу обеден, клялся положить десять тысяч поклонов, клялся пойти пешком ко Гробу Господню, соглашался отдать взамен все другие радости жизни, какие еще могли ожидать меня в будущем, – сам понимал всю нелепость своих обетов и все же произносил их, сжимая руки. Потом бросился я в опустелую комнату Ренаты, где все еще было живо ею, ложился на ее постель, на ту простыню, к которой она еще вчера прижимала свое тело, целовал ее подушки и грыз их зубами, воображал Ренату в своих объятиях, говорил ей все страстные, все нежные слова, которые не успел сказать за дни нашей близости, и бился головой об стену, чтобы чувством боли вернуть себе сознание. Не знаю, как не потерял я рассудка в ту ночь.

Настала заря, и я был уже на ногах, я уже

искал Ренату по городу, уже стерег ее у городских ворот и на пристанях, откуда отходят барки. Но я не нашел Ренаты нигде, я не дождался ее дома – она не вернулась ко мне ни в тот день, ни на следующий, ни в целый ряд других дней, – она не вернулась в ту свою комнату больше никогда.

## **Глава одиннадцатая**

### ***Как я жил без Ренаты и как я встретился с доктором Фаустом***

#### **I**

**Н**е сумел бы я описать в подробностях, как я прожил первые дни после ухода Ренаты, ибо в моей памяти они слились в одно мутное пятно, как при тумане сливаются в одно – гавань, и окружные дома, и мечущиеся на пристани люди. Но никогда прежде, даже воображая, как мы расстанемся с Ренатою, не мог я допустить, что с такой неодолимостью схватит меня в свои когти тоска, словно горный орел малого ягненка, и что окажусь я настолько беззащитным и беспомощным перед натиском безумных, неисполнимых жела-

ний. В те дни всю мою душу наполняло до краев, и свыше края, сознание, что счастье моей жизни – в одной Ренате и что без нее – нет для меня смысла видеть день или встречать ночь. Месяцы, проведенные мною с Ренатою, представлялись мне временем эдемского блаженства, и при мысли, что я мог утратить его так легкомысленно, я готов был в ярости кричать самому себе все проклятия и бить самого себя по лицу, как презреннейшего негодяя.

Конечно, исполнил я все, что только было в моих силах, чтобы разыскать Ренату. Я подробно опросил, не жалея подачек, всех сторожей у городских ворот, не проходила ли или не проезжала ли через эти ворота женщина, подобная Ренате. Я навел все возможные справки в гостиницах, монастырях и всех других местах, где могла бы она найти приют, причем, сознаюсь, в безумии своем обращался с вопросами даже в публичные дома. Я не постыдился вынести свой позор на улицу и пошел со своими жалобами и просьбами к тем нашим соседкам, Катарине и Маргарите, с которыми одно время водила странную

дружбу Рената. Но на все мои розыски получал я лишь пожимание плеч, а в иных случаях, когда расспрашивал с излишним волнением и слишком страстной настойчивостью, – и жестокие насмешки или просто брань в ответ.

В то же время, хватаясь за бессмысленную надежду – повстречать Ренату где-либо на перекрестке, неустанно обегал я улицы и площади города, простаивал часами на пристанях и рынках, входил во все церкви, где любила молиться Рената, и воспаленным взглядом всматривался в коленопреклоненные образы, мечтая различить среди них слишком знакомую фигуру. Тысячу раз представлял я себе, как, столкнувшись внезапно с Ренатою, где-нибудь в узком проходе, схвачу я ее за плач, если она торопливо захочет бежать прочь, упаду на колени в уличную грязь и скажу ей: «Рената, я – твой, опять – твой, навсегда и совсем! Возьми меня, как раба, как вещь, как Господь Бог берет душу! Делай со мною, что хочешь: сомни меня, как горшечник свою глину, приказывай мне, – я буду счастлив умирать для тебя!» Говоря короче,

пережил теперь я сам, со всей точностью, все то, что переживала когда-то Рената, ища безумно своего Генриха на улицах Кельна, и думаю я, что мои чувства ничем не разнились от ее огненного безумия тех дней.

В вечерние часы, которые проводил я дома, открывались мне безмерные просторы отчаяния, и время до утра было для меня порою безжалостной пыткой, которой подвергал я сам себя. Несмотря на то, унижительным казалось мне прибегнуть к какому-либо успокаивающему средству, и я не хотел выпить ни стакана вина, предпочитая встречать скорбь лицом к лицу, без забрала, как честный рыцарь на поединке, чем купить временное спокойствие ценою забвения о Ренате. Снова, как в первую ночь без Ренаты, переходил я из одной комнаты в другую, то запирался у себя, чтобы не видеть, не помнить вещей, к которым прикасалась Рената и на которые мне нестерпимо было смотреть, то опять кидался на ту самую постель, в которой она спала, целуя подушки, к которым прижимались ее щеки, стараясь вспомнить все нежные слова, которые она произносила. Усталость смыкала

мне наконец глаза, и тогда во сне она поникала в мои объятия, прижималась к моей груди своим маленьким, хрупким телом, или шла ко мне навстречу из зеркальных зал, торжествующая, как царица, мне дарующая венец, или, напротив, входила бледная, больная, истомленная, простирая руки, прося защиты... Я просыпался, словно падая с высокой башни счастья во мрак и холод своего отвержения...

Так провел я в мечтаниях несколько дней, а потом овладело мною последнее отчаянье и безнадежность крайняя, так что не стало у меня сил даже для поисков. Я круглые сутки оставался в своих комнатах, наедине с тоской, словно преступник, запертый в тюрьме вместе с дикой обезьяной, которая каждый миг опять бросается на него и его душит своими цепкими руками. Порой призывал я к себе Луизу и начинал в сотый и сто первый раз спрашивать ее об обстоятельствах, при которых ушла Рената, особенно упорно повторяя вопрос: «Так она сказала, что уезжает лишь на время?» – и мучил бедную старуху до тех пор, пока она, качая головой, не уходила от меня сама. Тогда предавался я воспомина-

ниям о Ренате, перебирая в уме все дни и часы, какие мы с нею провели, подобно тому как скряга пересыпает с ладони на ладонь скопленные им монеты, и иногда смеясь от радости, как идиот, когда в памяти вдруг всплывало забытое слово, забытый взгляд Ренаты. А то еще выдумывал я всякие приметы, одну нелепее другой, которыми не то чтобы обольщал, но как-то тешил себя. Так, смотря в окно, я говорил себе: «Если справа по улице сейчас пойдет мужчина, то Рената ко мне вернется». Или так: «Если я сосчитаю, не сбившись, до миллиона, то она еще в Кельне». Или еще: «Если я вспомню по именам всех своих товарищей по университету, то я встречу ее завтра». И в таком состоянии бессилия и безволия проходили опять дни, и мне становилось все более странно подумать о том, что я могу вернуться к людям, а образ самой Ренаты уже казался мне не воспоминанием о живом человеке, но каким-то святым символом.

Однажды придумал я новую игру, а именно, сидя в кресле, закрывал глаза и воображал, что Рената здесь, в комнате, что она пе-

реходит от окна к столу, от постели к алтарю, что она подходит ко мне, касается моих волос. В увлечении я действительно словно слышал шаги, шуршание платья, словно ощущал прикосновение нежных пальцев, и этот самообман был мучителен и сладостен. Так упивался я фантазией целые часы, и слезы не раз наполняли мои глаза, но вдруг сердце мое остановилось и тотчас забилось мятежно, а руки похолодели: я услышал реальный шорох платья и отчетливые женские шаги в комнате.

Я открыл глаза: передо мною была Агнесса.

Медленным, словно несознательным движением Агнесса приблизилась ко мне, опустилась передо мной на колени, как, бывало, я перед Ренатою, взяла мою руку и прошептала мне:

– Господин Рупрехт, отчего вы давно не рассказали мне про себя все?

Была такая ласковость в ее голосе и он так осторожно коснулся ран моего сердца, что не было мне ни стыдно своей скорби, ни страшно присутствия чужого в этой комнате. Я тоже сжал руку Агнессе и так же тихо, как гово-



рила она, сказал в ответ ей:

– Останьтесь со мной, Агнесса; благодарю вас, что вы пришли.

И тут же, так как я не мог в тот час думать ни о чем ином, стал я говорить Агнессе о Ренате, о нашей любви, о моем отчаянье. Нашла свое утolenie давно томившая меня жажда назвать вслух, громко, свои чувства, с беспощадностью, в точных терминах, определить свое положение, – и слова вырывались у меня как-то против моей воли, без удержу, иногда без связи, как у сумасшедшего. Я видел, как бледнела Агнесса от моих признаний, как светлый и всегда беспечный взгляд ее застилался слезами, но воздержаться уже не имел силы, ибо вид чужого страдания как-то облегчал мое собственное. Если же Агнесса пыталась вставить свое слово, чем-нибудь утешить меня, я насильственно прерывал ее речь и продолжал свою еще в большем иступлении, словно меня уносил в бездну на своих крылах какой-то демон.

Безумный порыв мой длился, вероятно, около часа, и наконец Агнесса, не выдержав той пытки, какой я подверг ее, вдруг, зарыдав,

упала на пол и повторяла: «А обо мне, обо мне вы и не думали никогда!» Тут я несколько опомнился, поднял Агнессу, усадил ее в кресло, говорил, что я признателен ей за ее доброту бесконечно, и действительно, в ту минуту испытывал к ней всю нежность любящего брата. Когда же Агнесса успокоилась, отерла покрасневшие глаза, привела в порядок растрепавшиеся волосы и стала торопиться домой, чтобы отсутствие ее осталось незамеченным, я на коленях умолял ее прийти завтра вновь, хотя на минуту. А после ухода Агнессы испытывал я какое-то странное успокоение, словно раненый, который долго лежал на поле битвы без помощи и наконец попал в руки внимательного медика, промывшего ему, без мучительной боли, его глубокие раны и перевязавшего их чистым полотном.

Агнесса вернулась ко мне на другой день, а потом пришла и на третий, и на четвертый, и стала появляться в моих комнатах ежедневно, умея как-то обмануть и бдительность брата, и аргусовский взор соседних кумушек. Конечно, я не мог не догадаться тотчас, почему она приходила ко мне, да ее дрожь, когда я к

ней прикасался, покорность ее взгляда и робость ее слов достаточно объясняли мне, что она ко мне относилась со всей нежностью первого чувства. Но это не могло помешать мне мучить ее своими признаниями, потому что мне Агнесса была нужна только как слушательница, перед которой мог я свободно говорить о том, чем жила моя душа, и перед которой я мог вслух произносить сладостное мне имя Ренаты. Таким образом, в обратном отражении, повторились для меня те часы, когда я сам слушал рассказы Ренаты о Генрихе, ибо на этот раз я был не жертвою, но палачом. И, глядя на маленькую Агнессу, ежедневно шедшую ко мне на мучения, думал я, что мы четверо: граф Генрих, Рената, я и Агнесса – сцеплены между собою, как зубчатые колеса в механизме часов, так что один невольно впивается в другого своими остриями.

Я скажу, что Агнесса с неожиданной для нее бодростью переносила эти испытания, так как любовь, по-видимому, всем, и самым слабым, дает силы титана. Забыв свою девическую скромность, покорно слушала она мои рассказы о днях нашего счастья с Рена-

тою, – рассказы, в которых нравилось мне вспоминать и о самом сокровенном. Преодолевая свою детскую ревность, шла она за мной в комнату Ренаты и позволяла показывать себе любимые места Ренаты, кресло, где она часто сидела, алтарь, у которого она молилась, ту постель, у подножия которой я, бывало, спал, не смея поднять глаз выше. Заставлял я Агнессу и обсуждать со мною вопрос, как мне теперь поступить, и робким, прерывающимся голосом убеждала она меня, что мне бессмысленно было бы ехать на поиски по всем городам немецких земель, особенно когда я не знал даже, где родина Ренаты и где живут ее близкие.

Впрочем, случалось нередко, что я не соизмерял своих ударов с силами своей жертвы, и тогда Агнесса, вдруг уронив руки, шептала мне: «Я не могу больше!» – и вся как-то поникала, или опускалась, с тихими слезами, на пол, или стыдливо припадала лицом в кресло. Тогда истинная нежность к этой бедной девочке возникала во мне, я обнимал ее ласково, так что смешивались наши волосы и губы сближались в поцелуй, для меня, одна-

ко, не значивший ничего другого, кроме дружбы. Может быть, ради этих кратких минут и приходила ко мне Агнесса и, в ожидании их, готова была принять все мои обиды.

Так прошло времени около десяти дней, а я все медлил в Кельне, во-первых, потому, что действительно некуда было мне ехать, а во-вторых, потому, что безволие все еще опутывало меня словно густой сетью и страшно мне было расстаться с последней пристанью, еще остававшейся у меня на земле: с привязанностью Агнессы. Душа моя в те дни так была размягчена всем, мною пережитым, что никто бы не признал во мне сурового сподвижника великих конквистадоров, водившего экспедиции через девственные леса Новой Испании, но, напротив, весь погруженный в смену своих чувств, напоминал я скорее какого-нибудь «кортеджано», столь тонко изображенного остроумным Бальдассаре Кастильоне[184]. И, может быть, не имея воли сделать решительный шаг, еще много дней длил бы я свой странный образ жизни, если бы не положило ему конец происшествие, которое вернее признать естественным выво-

дом из всего бывшего, чем случайностью.

Однажды, на склоне дня, а именно в субботу 6 марта, когда Агнесса, не выдержав снова тех испытаний, каким я подверг ее, лежала в бессилии у меня на коленях, а я, снова раскаяваясь в своей жестокости, осторожно целовал ее, – дверь нашей комнаты вдруг распахнулась, и на пороге показался Матвей, который, увидев неожиданную картину, весь как-то замер от изумления. Агнесса, при появлении брата, вскочила с криком и, растерянно метнувшись к стене, прижала к ней свое лицо; я тоже, чувствуя себя виноватым, не знал, что сказать, – и в течение, вероятно, целой минуты представляли мы какую-то немую сцену из пантомимы уличного театра. Наконец, получив дар речи, Матвей заговорил так, в сердцах:

– Вот этого, брат, я от тебя не ожидал! Что хочешь про тебя думал, а уж честным малым тебя считал! Я-то смотрю, что он перестал ко мне ходить! То, бывало, каждый день, каждый день, а то – две недели глаз не кажет! Сманил, значит, птичку; думает: теперь она ко мне и сама летать будет. Ну, нет, брат,

ошибаешься, это тебе легко не сойдет с рук!

Говоря так и сам от своих слов приходя в ярость, Матвей наступал на меня чуть ли не с поднятыми кулаками, и я тщетно пытался образумить его. Потом, заметив вдруг Агнессу, Матвей ринулся на нее и, еще более задыхаясь, стал осыпать ее непристойными, бранными словами, каких никогда не посмел бы я произнести в присутствии женщины. Агнесса, слыша жестокие обвинения, зарыдала еще отчаяннее, задрожала вся, как опаленная на огне бабочка, и упала на пол, наполовину без чувств. Тут я уже решительно вступился в дело, загородив Агнессу, и сказал Матвею твердо:

– Милый Матвей! Я очень перед тобой виноват, хотя, может быть, и не настолько, как ты это думаешь. Но сестра твоя не виновна ни в чем, и ты должен оставить ее, пока не выслушаешь моих объяснений. Пусть госпожа Агнесса идет домой, а ты сядь и позволь мне говорить.

Уверенность моего тона подействовала на Матвея; он примолк и грузно опустился в кресло, ворча:

– Ну, послушаем твою диалектику!

Я помог Агнессе подняться, так как она едва сознавала, что делает, проводил ее до двери и тотчас запер эту дверь на засов. Потом, вернувшись к Матвею, сел против него и стал говорить, стараясь казаться беспечным. Как то со мной всегда бывает, в минуту, когда надо действовать, – ко мне вернулась тогда и ясность мысли, и твердость воли.

Я объяснил Матвею, насколько то можно было человеку грубому и простоватому, какие обстоятельства жизни довели меня до крайнего отчаянья, и изобразил посещения Агнессы как дело милосердия, подобное посещению больниц или темниц, на что благословляет и церковь. Настаивал я, что ни с моей стороны, ни со стороны Агнессы не было речи о любви, не говоря уже о более низменных пожеланиях, и что наши отношения не переступали дозволенного между братом и сестрою. Ту же картину, свидетелем которой был Матвей, объяснил я исключительно добротой Агнессы, которая плакала над моими страданиями и волновалась видом моей неутешной скорби. При этом, конечно, ста-



рался я говорить со всей убедительностью, какой только способен был достигнуть, и полагаю, что сам Марк Туллий Цицерон, отец ораторов и лицемеров, прослушав мою святошескую речь, похлопал бы меня по плечу благосклонно.

По мере того как я говорил, Матвей успокаивался несколько и в ответ потребовал:

– Вот что, брат. Поклянись мне пречистым телом Христовым и блаженством Пресвятой Девы в раю, что между тобой и Агнессой не было ничего дурного.

Я, разумеется, дал такую клятву со всею серьезностью, и Матвей тогда сказал мне:

– А теперь я тебе вот что скажу. В тонкости чувств я вдаваться не умею и не хочу, а только об Агнесе ты и думать перестань. Если бы ты посватался к ней, я бы, может быть, и не отказал бы, а все эти сочувствия да нежности не для нее – ей нужно не друга, а мужа. К ней ты лучше и не думай показываться, да и никаких писем не подсылай – ничего хорошего не выйдет!

Постановив такое решение, Матвей поднялся с кресла, собираясь уходить, но потом

передумал, подошел ко мне и сказал, уже голосом более добрым:

– И еще вот что я добавлю, Рупрехт: уезжай отсюда подобра. Я с этим к тебе и шел, чтобы посоветовать. Вчера слышал я такие разговоры про тебя, что мне страшно стало. Уверяют, что ты со своей сбежавшей дружкой занимался не только чернокнижием, но и кое-чем похуже. Я, конечно, в это не очень верю, но сам знаешь, под пыткой всякий в чем угодно признается. А уже поговаривают, что следует тебя привлечь к ответу. Делать тебе здесь нечего, а ты сам знаешь: без дела человек только балуется. Одним словом, послушайся меня – от сердца говорю: уезжай, да поскорее!

После этих слов Матвей, все не подавая мне руки, повернулся и вышел, и я остался один. Замечательно, что все это происшествие, совершившееся чрезвычайно быстро и в котором трагедия была смешана с легкой комедией, – повлияло на меня самым возбуждающим образом. Я испытывал такое ощущение, словно бы меня во сне окатили студеной водой и я дико озираюсь кругом, продрогший, но проснувшийся. Когда постепенно мое вол-

нение успокоилось, я сказал сам себе:

«Не очевидно ли, что это событие было послано тебе роком, чтобы вызвать тебя из той трясины бездействия, в которой завязла твоя душа? Еще немного, и лучшая часть твоих чувств поросла бы сплошной болотной осокой. Надо избрать что-нибудь одно – или жизнь, или смерть: если жить ты не можешь, то умри, немедля; если же не хочешь умереть, живи, а не будь похож на улитку! Целые дни плакать и умиляться на чью-то доброту – недостойно человека, поставленного, по словам Пико делла Мирандолы, в средоточии мира, чтобы озирать все существующее!»

Эти простые рассуждения, которым следовало бы прийти мне в голову и без проповеди Матвея, отрезвили меня, и я стал смотреть на свое положение глазами здоровыми. Ясно было, что мне пора покинуть город Кельн, где более не было никаких причин мне оставаться и где могли угрожать мне, по указанию Матвея, весьма важные неприятности. Тотчас же, не откладывая дела, начал я готовиться к отъезду, разбирать вещи, которых накопилось много за месяцы жизни на одном месте,

и пересчитывать свои деньги, которых у меня оказалось больше ста рейнских флоринов – сумма, с которой я еще не мог считать себя бедняком. Куда именно ехать, у меня в то время не было определенного решения, и только одно знал я твердо, что не поеду в родной Лозгейм, к родителям: мне и тогда казалось нестерпимым явиться перед ними каким-то неудачником, без денег, без надежд, чтобы отец вправе был сказать мне в лицо: «Был ты бездельником, таким и остался».

И, странным образом, хотя все мое будущее по-прежнему было в тумане, решение покинуть Кельн успокоило меня, и, кажется, ночь после посещения меня Матвеем была первая, которую я провел сравнительно покойно со дня исчезновения Ренаты.

## II

Следующий день был воскресный, и его решил я отдать на то, чтобы попрощаться с Кельном, ибо слишком много дорогого для меня свершилось в этом городе, чтобы я мог его покинуть как деревушку, в которой заночевал случайно. Под звон церковных колоколов надел я свое лучшее платье, печально

вспоминая, как в праздники шли мы прежде с Ренатою к мессе, и направился одиноко в нашу приходскую церковь Св. Цецилии, полную разноцветной толпой. Там, прислонясь у колонны, слушая пение органа, пытался я обрести в своей душе молитвенное чувство, чтобы хотя им слиться с Ренатою, которая в тот час, конечно, молилась тоже, где-то в другой, неизвестной мне церкви, – как объединяются двое любящих, разделенных океаном, глядя вечером на одну и ту же звезду.

Потом, по окончании мессы, я долго бродил из улицы в улицу, воскрешая в памяти события последних месяцев, так как, поистине, не было в городе камня, с которым не связывалось бы у меня какого-нибудь воспоминания. Там, за Ганзейской пристанью, бывало, сидели мы с Ренатою, молча смотря на темные воды Рейна; здесь, в церкви Св. Петра, была у нее любимая скамейка; вот здесь, у башни Св. Мартина, долго и уверенно ждала Рената появления своего Генриха; этой улицей ехал я вместе с Матвеем на поединок с Генрихом; в этом кабаке однажды провел я нелепые часы в мечтах о Ренате и об Агнесе.

И много также других воспоминаний отделялось передо мной от стен, вставало близ меня на перекрестках с земли, кивало мне из окон домов, выглядывало на меня из-за прилавков магазинов, слетало ко мне со шпилей церковных башен. Мне начинало казаться, что мы с Ренатою заселили весь город Кельн тенями нашей любви, и страшно мне стало расстаться с этим местом, словно с обетованной землей.

Так, бродя в тоске и мечтах, подошел я, уже не в первый раз, к собору и без определенной цели остановился в его тени, около громадных южных окон, когда внезапно из толпы выступили два человека, по-видимому, и раньше следивших за мною, и приблизились ко мне. Я посмотрел на них изумленно, но должен признаться, что уже при самом беглом осмотре они мне показались весьма замечательными. Один из них, человек лет тридцати пяти, одетый, как обычно одеваются доктора, с небольшой курчавой бородкой, — производил впечатление переодетого короля. Осанка его была благородна, движения — самоуверенны, а в выражении лица — какое-то

утомление, словно у человека, уставшего повелевать. Спутник его был одет в монашеское платье; он был высок и худ, но все существо его каждый миг меняло свой внешний вид, так же как его лицо – свое выражение. Сначала мне представилось, что монах, идя ко мне, едва сдерживает смех, готовясь к какой-то остроумной шутке; через миг я был уверен, что у него какие-то злобные намерения против меня, так что я внутренне уже приготовился к обороне; но когда он подошел совсем близко, я увидал на его лице лишь почти-тельную улыбку.

С изысканной вежливостью монах сказал мне:

– Любезный господин, сколько мы заметили, вы проводите время в том, что осматриваете этот прекрасный город, и притом, видимо, с ним хорошо знакомы. Между тем мы – путешественники, приехали сюда в первый раз и очень были бы рады, если бы кто-нибудь указал нам на достопримечательности Кельна. Не окажете ли вы нам внимание и не согласитесь ли стать на сегодняшний день нашим проводником?

Была в голосе монаха необыкновенная вкрадчивость, или, вернее, было в нем какое-то магическое влияние на душу, потому что сразу почувствовал я себя словно запутавшимся в неводе его слов и, вместо того чтобы резким отказом прервать разговор, отвечал так:

– Простите, любезные господа, но меня удивляет, что вы обращаетесь с такими просьбами к человеку, который вас не знает и у которого могут быть более важные дела, чем водить по городу двух приезжих.

Монах с удвоенной любезностью, под которой могла скрываться и насмешка, возразил мне:

– Мы вовсе не хотели вас обидеть. Но, по всему судя, вы не очень радостны, а мы зато – веселые ребята, живем каждой минутой, не думая о следующей, и, может быть, если бы вы согласились соединиться с нами, оказали бы вам не меньшую услугу, чем вы нам. Если же останавливает вас, что вы нас не знаете, то этому помочь легко, так как у всякой вещи и у всякого существа есть свое название. Вот это – мой друг и покровитель, человек достой-



нейший и ученейший, доктор философии и медицины, исследователь элементов, Иоганн Фауст[185], имя, которое вы, быть может, слышали. А я – скромный схоляр, много лет изучающий изнанку вещей, которому излишний пирронизм мешает сделаться хорошим теологом. В детстве звали меня Иоганном Мюллином, но более привычно мне шуточное прозвище Мефистофелес, под которым и прошу меня жаловать.

В то время оба незнакомца показались мне людьми достойными, и я подумал, что не будет никакого зла, если я проведу некоторое время в обществе двух путешественников и попытаюсь в их здоровую веселость окунуть свою тягостную грусть. Сохраняя все свое достоинство, я ответил, что готов прийти к ним на помощь, так как издавна люблю город Кельн и рад познакомить чужестранцев с его богатствами. Таким образом, союз был заключен, и я тут же вступил в свою роль проводника, предлагая начать осмотр с того собора, около которого мы находились.

Все, бывавшие в Кельне, хорошо знают этот собор, о котором уже несколько раз упо-

минал я в своем рассказе, да и не посещавшие города слышали, конечно, о громадном сооружении, предпринятом три века назад и в своем теперешнем виде красноречиво свидетельствующем о слабости сил человека сравнительно с мощностью его фантазии. Я рассказал своим спутникам все, что знал о постройке этого храма, в котором хоровая часть была освящена через столетие после начала работ, корабль – предоставлен для служения еще спустя пятьдесят лет, башни, не доведенные до полной высоты, украшены колоколами более восьмидесяти лет назад, – и который все еще стоит среди города, как Ноев ковчег, готовимый для будущего потопа, и, словно пальцем, грозит с крыши гигантским журавлем для подъема камней[186]. Когда я закончил мое объяснение, Мефистофелес сказал:

– Как измельчали люди! Храм Соломона был не меньше этого, а построен всего в семь с половиною лет! Впрочем, и то сказать: работали на старика не одни рабы, но и духи стихийные. Бывало, пригрозит им перстнем, а они от ужаса дрожат, как листья осенью.

С изумлением посмотрел я на того, кто о

царе-Псалмопевце говорил, словно о человеке, лично знакомом, но потом я счел это шуткой и посоветовал моим спутникам войти во храм и осмотреть семь капелл, окружающих хоровую часть. Когда показывал я капеллу Трех Волхвов, где, по преданию, лежат тела этих евангельских магов, переданные Кельну после разрушения итальянского города Милана, доктор Фауст, до тех пор почти все время молчавший, сказал:

– Добрые люди! Не сбились ли вы немного с пути, заехав сюда, вместо того чтобы поехать в Вифлеем палестинский! Или, может быть, были вы после смерти брошены в море и приплыли в Кельн по Рейну, чтобы здесь обрести себе могилу!

Мы на эту остроту засмеялись, а Мефистофелес прибавил в том же тоне:

– Бедные Мельхиор, Балтазар и Каспар, не очень-то вы были удачливы! При жизни крестил вас апостол Фома, который и сам в Иисуса Христа плохо верил, а по смерти положили вас на покой во храме, который сам покоя не ведает[187]!

Осмотрев собор, отправились мы к старин-

ной церкви Св. Куниберта, потом к Св. Урсуле, потом к Св. Гереону, к остаткам римской стены и так далее – ко всем достопримечательностям города Кельна. Везде мои спутники находили что сказать смешного или остроумного, причем в речах доктора Фауста больше было добродушной шутки, а Мефистофелес предпочитал злую насмешку. В общем, эта новая прогулка по знакомым местам, с двумя неутомимыми собеседниками, рассеяла несколько черное облако уныния, которое опять заволокло было кругозоры моей души, и, когда от продолжительной ходьбы все мы очень устали, я с удовольствием принял предложение Мефистофеля войти в ближайший трактир и выпить кварту вина.

В трактире мы поместились в углу, около окна, и, пока хозяин и слуга жарили нам гуся и подавали вино, я стал подробнее расспрашивать своих новых знакомцев, кто они и куда едут. Мефистофелес отвечал мне так:

– Мой друг и покровитель, доктор Фауст, утомлен бременем познаний, – ибо он человек ученейший, – и пожелал лично убедиться, устроен ли мир согласно с законами науки

или нет. А по пути, объезжая страны и осматривая города, мы, кстати, убеждаемся, что вино всюду пьяно и мужчины везде бегают за женщинами.

Доктор Фауст печально добавил:

– Ты мог бы лучше сказать, что под всеми широтами за деньги нельзя купить счастья и силой нельзя получить любви.

Я спросил, в каких странах они бывали, и Мефистофелес охотно сделал мне длинный перечень.

– Сначала, – сказал он, – побывали мы в Италии, видели Милан, Венецию, Падую, Флоренцию, Неаполь и Рим. В Риме мой друг сильно позавидовал жизни его святейшества и жестоко упрекал меня, что я не сделал его папой. Потом отправились мы в Паннонию и Грецию. В Греции пожалел мой друг, что не живет во времена Ахилла и Гектора. Потом морем проехали мы в Египет, где я показывал доктору пирамиды, и он непременно пожелал быть фараоном. Из Египта отправились мы в Палестину, но я эту страну не очень люблю, и мы перебрались в Константинополь к султану Солиману[188], самому славному из

всех правителей мира, и если бы я не удержал доктора, он бы непременно перешел в веру Магомета. Из Константинополя пробрались мы в Московию, и доктор Фауст показывал свою ученость при дворе княгини Елены [189], но остаться там не пожелал из-за лютых морозов. Теперь же объезжаем мы города немецкой земли; были в Вене, Мюнхене, Аугсбурге, Праге, Лейпциге, Нюрнберге и Страсбурге. Далее направляемся в Трир, а после поедем во Францию и в Англию.

Пока Мефистофелес передавал мне этот свой итинерарий, принесли нам вина, и за стаканами рейнвейна беседа наша оживилась. Я все старался выведать, насколько новые знакомцы меня морочат и насколько говорят правду, но оба они были чрезвычайно уклончивы в своих ответах. Мефистофелес постоянно шутил и изо всех вопросов выскальзывал, как змея, а доктор Фауст говорил мало, словно бы ничто в мире не занимало его, ничего не отрицал, но и не подтверждал ничего. Впрочем, когда я, узнав, что доктор Фауст не чужд занятиям магией, описал ему свою поездку к Агриппе Неттестеймскому,

доктор прослушал мой рассказ с видимым любопытством и в ответ сказал мне следующее:

– Я читал сочинения Агриппы, и он мне представляется человеком очень трудолюбивым, но не одаренным. Магией он занимался так же, как историей или какой другой наукой. Это то же, как если бы человек усидчивостью думал достичь совершенства Гомера и глубокомыслия Платона. Все сочинения Агриппы основаны не на опыте магическом, который один открывает дверь к этой науке, а на добросовестном изучении разных книг, – не более.

Я, сколько умел, защищал значение Агриппы, так как поистине считаю сочинение «De Occulta Philosophia» [190] торжеством человеческого ума, но Мефистофелес, вмешавшись, прекратил наш спор такими словами:

– Сколько бы ни потели вы, господа, над формулами и сколько бы ни упражнялись в магическом опыте, все равно уловите вы в свои сети только какую-нибудь жалкую тварь из бесовского мира, ради которой и трудиться не стоило. А уж с теми, кто посильнее, не вам

тягаться, если не оковали их ни Адам, ни Соломон, ни Альберт Великий! Ну, да будет философствовать и систематизировать; я, право, не вынесу больше ученой мины; давайте веселиться: ведь мы же это обещали нашему гостю!

В трактире было довольно много посетителей, и Мефистофелес, внезапно переменив свой серьезный вид на образ настоящего шута, обратился к присутствующим с какой-то прибауткой, предлагая спеть песенку. Кое-кто подошел к нам, а Мефистофелес, присев на стол, звонким и довольно приятным голосом запел разудалые куплеты, из которых запомнился мне только припев, который скоро стала подтягивать вся зала:

*Wein! Wein!  
Von dem Rhein![191]*

Кончив песню, Мефистофелес обратился к слушателям с таким предложением:

– Милостивые господа! Совершая путешествие и посетив ваш город, мы чрезвычайно довольны его местоположением и желали бы отблагодарить как-нибудь вас за то. Позволь-



те же нам угостить каждого из вас доброй кистью молодого винограда!

Все приняли эти слова за шутку, ибо едва начиналась весна и на лозах не могло быть и зеленого листика, но Мефистофелес с полусерьезным, полушутовским видом принялся за исполнение своего обещания. Он взял в руки два блюда и, подняв их вверх, протянул к самому окну, которое, ввиду духоты в комнате, было слегка приоткрыто, приговаривая при этом с комически таинственным видом какие-то бессмысленные слова, по внешности похожие на заклинания. Зрители, глядя на эти проделки, хохотали, как над выходкой забавного гауклера[192], но Мефистофелес через несколько минут поставил блюда на стол, и они оказались наполненными гроздьями белого и красного винограда[193].

Разумеется, я не сомневался, что в этом чуде крылась только хитрость ловкого фокусника, однако в то время и я был поражен не менее прочих, и у всех нас невольно вырвалось восклицание изумления. Мефистофелес всех приглашал попробовать его угощения, и те, кто на это отваживался, могли убедиться, что

виноград производил впечатление совершенно свежего. Некоторое время Мефистофелес был предметом всеобщего восхищения, так как на него смотрели не без священного страха, как на колдуна или чародея, а он, сложив руки на груди, среди толпящихся бургеров стоял, как идол, с лицом горделивым, как у Люцифера.

Однако, когда прошло первое удивление, заметил кто-то, что подобное дело не могло быть исполнено без помощи черной силы, и этот голос поддержал слуга трактира, которому не по вкусу было, что посетители угощаются припасами, добытыми чудесным способом. Какой-то подвыпивший крестьянин даже подступил к Мефистофелю со сжатыми кулаками и стал, ругаясь, требовать, чтобы он тотчас поцеловал крест и подтвердил, что он – добрый христианин. Еще третий, видимо, студент из бурсы, стал предостерегать, что виноград может оказаться отравленным.

Мефистофелес некоторое время слушал брань и нападки с надменным видом, потом вдруг ответил всем так:

– Если вам, пьянчуги, мой виноград не по

вкусу, то вы его и не получите!

Сказав, он накинул на блюда край своего плаща, а когда поднял его – винограда уже не было и в помине, и все мы могли думать, что видели и пробовали ягоды лишь в воображении.

Тут поднялся неизъяснимый шум, так как все сразу пришли в ярость и кинулись на нас троих, чтобы побить нас. В лицо нам вопили, что мы – мошенники и что должно передать нас городским властям, а кулаки подымались уже над нашими головами, так что могло нам прийти плохо, тем более что мы были загнаны в угол. Уже искал я глазами какого-либо оружия, думая, что силой придется мне защищать свое достоинство, но вмешательство трактирного хозяина, которому не хотелось, чтобы его заведение стало ареною убийства, кое-как успокоило ссору. Мефистофелес кинул на стол крупную монету, и, под прикрытием слуги, добрались мы до двери, провожаемые весьма нелестными возгласами.

Когда мы были уже на улице, доктор Фауст сказал Мефистофелю сурово:

– Как тебе не наскучит повторять одни и те

же старые шутки! Сидит в тебе мелкий бесенок, который часу не может прожить без проказ. Лицо у тебя, должно быть, устает быть серьезным и должно от времени до времени кривиться в гримасу. О всех твоих мальчишеских проделках стыдно мне вспоминать!

Мефистофелес ответил с преувеличенной почтительностью:

– Что делать, любезный доктор, не всем быть испытателями элементов, как вы, да к тому же мы обещали позабавить нашего сотоварища!

Фауст продолжал:

– А что, если бы хозяин не вступился за нас, пришлось бы нам познакомиться с кельнскими кулаками!

Мефистофелес возразил:

– Вот еще! Я сыграл бы с ними такую же шутку, как с питухами из Ауербаховского погреба в Лейпциге, и мы еще потешились бы вдвое.

Чтобы переменить разговор, я спросил Мефистофеля, как должно смотреть на показанный им фокус: есть ли это проворство рук или обман зрения, – но он сказал мне:

– Вы ошиблись, это ни то, ни другое, но умение пользоваться законами природы. Вам должно быть известно, что год разделен между двумя частями земли, так что когда у нас зима, в Сабейской Индии – лето, и наоборот. Остается только иметь в своем распоряжении маленького духа, умеющего летать быстро, и он без труда в любой месяц доставит вам любые плоды, созревающие где-либо на другом конце света.

Как всегда в речах Мефистофеля, нельзя было при этом определить, говорит ли он, насмехаясь, или от души, но я не стал настаивать на объяснениях. Тем временем подошли мы к перекрестку, где должно было нам расстаться, и я, повинувшись внезапному желанию, так как новые знакомцы в сильной степени заняли мое любопытство, сказал так, обращаясь к доктору Фаусту:

– Любезный доктор! Сегодня утром я охотно исполнил вашу просьбу, для меня не совсем обыкновенную, – служить вам проводником. Вечером я тоже хочу отнестись к вам с просьбой, может быть, нескромной. Вы мне сказали, что намерены продолжать ваше пу-

тешество и едете в город Трир. Но и мне есть нужда отправиться туда же. Не позволите ли вы присоединиться к вам, причем, конечно, все свои расходы я возьму на себя? В дороге добрая шпага никогда не помешает, а моя грусть будет нелишней при постоянной веселости вашего спутника.

Едва я сказал эту речь, как лицо Мефистофеля, вообще способное менять свое выражение, как хамелеон цвет кожи, сделалось высокомерным и презрительным, словно у государя, говорящего с придворным льстецом, и он сказал мне:

– Извините, господин Рупрехт, мы не нуждаемся ни в деньгах, ни в шпагах. Мы путешествуем вдвоем, и у нас нет места для третьего. Вы лучше пристройтесь к какому-либо каравану купцов.

Не успел я ответить на это оскорбление, как Фауст, до тех пор проявлявший только крайнюю вежливость, вдруг пришел в последнее раздражение и закричал на своего друга так гневно, как только хозяин может кричать на собаку:

– Молчи, и позволь мне самому выбирать

своих спутников! Думаешь ты, что мне приятно видеть постоянно около себя только твое кривляющееся лицо? Боже мой, да мне счастьем будет слышать близ себя живой, человеческий голос!

На эти гневные слова доктора Фауста Мефистофелес рассмеялся, как если бы то была милая шутка, и ответил:

– Ваше дело, доктор, приказывать, а мне – повиноваться, и я вам покорный слуга, пока не случится какой-либо случайной перемены в наших отношениях. Если я отказал господину, то только потому, что боялся вас беспокоить, а сам я очень рад попутчику, лихому собутыльнику и ярому собеседнику. Ибо вино и логика – это мои слабости, без которых мне и жизнь не в жизнь.

Затем, обращаясь ко мне, Мефистофелес добавил:

– Мы пускаемся в дорогу завтра на заре, а найдете вы нас в гостинице «Трех королей».

После этого мы учтиво попрощались и разошлись в разные стороны.

Было еще довольно рано, и мне пришлось было на ум пойти к дому Виссманов и хотя бы

заглянуть тайком к ним в окно, но тотчас заметил я, что вчерашнее мое решение уехать и сегодняшние приключения совершенно заволокли туманом лик Агнессы в моей душе, и я тщетно искал в своем сердце прежних дружеских чувств к ней, словно легких черт, начертанных на прибрежном песке и стертых приливом больших волн. Так и не любопытствовал я что-либо разведать об участии Агнессы и по настоящий день не знаю, отправил ли ее брат за ее вину в какой-нибудь монастырь, или удовольствовался домашним наказанием, или, поверив моим басням, простил вполне. Больше я никогда не видел Агнессы, не говорил об ней ни с кем и только, начав эти записки, вновь оживил ее образ, покоившийся мирно в одном из гробов в темном углу моей памяти.

Пришедши домой, я расплатился с Луизою, которая не преминула по этому поводу горько поплакать, отдал ей на хранение разные громоздкие вещи, как книги, а остальные уложил окончательно и бросился в постель, чтобы отдохнуть после дня, полного приключениями необычайными. В назначенный час,



рано утром, я был на ногах и, перекинув через плечо свой дорожный мешок, поспешил к «Трем королям», одной из лучших гостиниц в городе. У ее ворот уже стояла крепкая, крытая повозка, запряженная четвернею добрых лошадей, а доктор Фауст и Мефистофелес, стоя на крыльце, распорядились укладкою последних вещей.

Доктор приветствовал меня любезно, а Мефистофелес лукаво, — но, впрочем, без насмешки он не умел обходиться никогда. Скромный мой узел мы привесили сзади кузова, потом я и доктор Фауст сели внутрь повозки, а Мефистофелес с кучером на козлы. Скоро послышалось щелкание кнута, лошади рванули, и повозка покатила по Бонновской дороге к Северинским воротам, увозя меня, может быть, навсегда, из города Кельна, где я прожил замечательнейшие дни своей жизни.

## Глава двенадцатая

### *Как путешествовал я с доктором Фаустом и как провел первых два дня в замке графа фон Веллен*

#### I

Только когда городские стены уже давно остались позади нас и взор мой невольно стал вбирать в себя дали весенних полей, — вдруг почувствовал я всю несообразность своего положения и, как бы со стороны посмотрев на себя, в чужой повозке, с чужими людьми, зачем-то отправляющегося в город Трир, мысленно рассмеялся. В самом деле, шаг за шагом, ступень за ступенью, заставила меня судьба спуститься в глубины, столь далекие от всех моих прежних планов и намерений, что былая жизнь уже представлялась мне словно снежная вершина за облаками.

Однако, так как издавна поставил я себе правилом никогда не жалеть о поступке, раз совершенном, постарался я и свое путешествие с доктором Фаустом обратить к себе стороной, наиболее для меня выгодной. Поне-

многу, несмотря на тряску повозки, ибо кузов ее не был подвешен на ремнях, как то устраивают теперь для облегчения ездящих, удалось мне вовлечь своего спутника в оживленный разговор. И скоро мог я уже не раскаиваться, что затеял эту поездку, так как доктор Фауст оказался собеседником занимательнейшим. Говорили мы с ним *de omni re scibili*[194], если пользоваться любимым выражением Пико делла Мирандола, и я мог убедиться, что области грамматики и натуральной философии, математики и физики, астрономии и юдициарной астрологии[195], всех медицин и прав, теологии, магии, экономии и других искусств равно знакомы моему спутнику, как хорошему хозяину свой огород. Я сначала оспаривал иные замечания доктора, потом прерывал его речь короткими вставками, но потом беседа наша превратилась в монолог, и я предпочел играть роль почтительного слушателя. Так длилось, пока Мефистофелес, обратив к нам с козел свое кривляющееся лицо, не перерезал моего внимания лезвием какой-то нелепой шутки.

То было перед нашим приближением к ме-

стечку Брюллю, где мы дали отдых лошадям и провели несколько часов в какой-то скверной гостинице. Здесь повстречали мы несколько лоллардов[196], которые, заговорив с нами, стали прославлять успехи лютеранства и других подобных учений, указывая на возрастающую силу Шмалькальденского союза протестантов, который ныне едва ли не более властен в Германии, чем император, на смелость короля английского, вместо папы самого себя объявившего святою главою тела церкви, на подвиги королей шведского и датского, отнявших у духовных все их вековое имущество, наконец, на упорное сопротивление католическому войску нового пророка Иоанна Боккольда в Мюнстере[197]. Мефистофелес, вступив в спор, горячо защищал достоинство святой церкви и сказал, между прочим:

– Эти новые ереси имеют успех потому, что князья почуяли здесь наживу, как собаки чуют жаркое, а самого Лютера один добрый черт водит за нос. В конце концов, после этих вероисповеданий и новых катехизисов, христианство так обмелеет, что аду куда легче будет ловить с берега свою рыбу.

Скоро любезный читатель увидит, почему я счел нужным записать здесь эти слова Мефистофеля.

Из Брюлля поехали мы по дороге на Евскирхен, но и я, и доктор Фауст были уже значительно утомлены, так что эту часть пути мы сделали почти молча, и тщетно старался нас развеселить Мефистофелес, то своими прибаутками, то заставляя петь песни нашего кучера, человека мрачного вида, на устах которого каждое веселое слово казалось кощунством. В Евскирхен прибыли мы уже в сумерках, мечтая каждый только о спокойной постели, но там ждало нас приключение, героем которого выставил себя опять тот же неутомимый проказник Мефистофелес.

Дело в том, что в городе оказалось множество приезжих, и нам лишь после долгих препирательств в гостинице, под вывеской «Zwey Schlusssel» [198], согласились предоставить для ночлега общую залу, когда посетители разойдутся. Приходилось и за то быть благодарным, и мы в большой комнате второго этажа, набитой, как трюм торгового корабля, примостились, чтобы поужинать, в углу, за

неимением свободного стола, около досок, уложенных на два пустых бочонка. Между бражничающими гостями, большею частью уже совершенно пьяными, хозяин гостиницы и его единственный слуга метались по всяким диагоналям, сбитые с толку и не чующие под собой ног. Мефистофелес, после того как мы долго добивались, чтобы нам подали чего-либо для ужина, поймал наконец слугу за горло и, сделав страшную гримасу, закричал ему прямо в лицо, чтобы он принес нам немедленно вина и баранины.

Несколько времени спустя парень появился перед нами, с волосами, прилипшими ко лбу от усталости, по виду совершенно дурковатый, и сунул нам кварту вина и три стакана.

Мы тотчас спросили его, где же баранина, но он, озлобленный, должно быть, всеобщими попреками, отвечал нам грубо:

– Погодите, и получше вас дожидаются!

Некоторые из посетителей, услышав такую нам отповедь, захохотали пьяным смехом, а кто-то с дальнего стола даже крикнул: «Так их, франтов!», хотя никто из нас не щего-

лял одеждой. Сердиться на слова тупого карстганса[199] было, конечно, неумно, но по невольному движению, как невольно поднимаешь руку, если на тебя замахиваются, я что-то закричал на невежу. Однако меня предупредил Мефистофелес, и, паясничая, как езжий фигляр, он схватил одной рукой парня за плечо и крикнул ему преувеличенно громким голосом:

– Ах, негодяй! Думаешь ты, что мы станем пить без закуски! Добрый стакан вина требует и доброго куска! И если ты не хочешь подать мне к вину баранины, так я съем тебя самого!

Слышавшие эту речь принялись еще больше хохотать, а Мефистофелес быстро опорожнил налитый стакан вина, потом неестественно разинул свой рот, причем он стал похож на пасть змеи, и сделал вид, что хочет действительно проглотить бедного малого. И как бы странным и невероятным это ни показалось, но я должен засвидетельствовать, что в тот же миг слуга исчез из наших глаз, как будто его здесь вовсе не бывало, а Мефистофелес, закрывая рот, словно после хорошего

глотка, сел опять за стол и попросил налить себе еще стакан[200].

Все присутствовавшие были ошеломлены таким чудом, иные остались прямо с открытыми ртами, и на некоторое время пьяный шум залы сменился такой тишиной, какая бывает лишь на море в час самого полного штиля, когда вода похожа на зеленое зеркало.

Среди этого молчания доктор Фауст сказал своему споспешнику вполголоса:

– Неужели тебе забавно изображать перед этими неучами чародея?

Мефистофелес возразил также вполголоса:

– Дорогой доктор! мы все изображаем что-нибудь: я – чародея, вы – ученого, которому ничто не мило. Всякий человек, согласно с Моисеем, только изображение божие. И хотел бы я узнать, что вообще известно вам, кроме изображений?

Тем временем к нам подбежал хозяин гостиницы, растерянный и испуганный, со шляпой в руке, бросился на колени, словно перед владетельными князьями, и стал умолять нас, говоря так:

– Добрые и милостивые господа! Не из-



вольте гневаться на моего дурня: у него меланхолия с детства. Мы вам всячески услужим, и я предоставляю вам свою собственную комнату на эту ночь. Но только вы мне моего кельнера верните, потому что сегодня у меня слишком много дела! В другой раз я не стал бы тревожить таких господ своей глупой просьбой, но вы сами посмотрите: видите, что одному не управиться!..

Мефистофелес засмеялся, смехом хриплым и вовсе не веселым, и сказал:

— Ну, мой друг, на первый раз извиняю! Ступай вниз, там, под лестницей, найдешь своего слугу.

Хозяин и все посетители, я в том числе, побежали вниз, и, в самом деле, под лестницей, где складывались дрова, сидел бедный парень и дрожал, как новорожденный теленок, словно бы у него была жестокая лихорадка. Хозяин вытащил его на свет, и мы все напереыв стали его расспрашивать, что именно с ним случилось, но от него нельзя было добиться ни слова, так как страх, должно быть, отшиб ему память. Вернувшись наверх, я на этот раз поостерегся расспрашивать Мефисто-

феля, уже зная его манеру отвечать ничего не значащими шутками.

Что до хозяина, то он свое обещание сдержал и действительно предоставил нам на ночь, сам с женой перебравшись в какой-то чулан, свою комнату с большой деревянной двуспальной постелью. На этом-то супружеском ложе и провели часы до рассвета, бок о бок, мы двое с доктором Фаустом, так как Мефистофелес предпочел спать где-то в другом месте. Перед сном я, как будто без задней мысли, сказал доктору:

– Вероятно, от многих неприятностей путешествия избавляет вас ловкость вашего друга?

Доктор Фауст отвечал мне:

– Я желал бы испытывать в пути и в жизни как можно больше всякого рода неприятностей, больших и малых, тогда, быть может, знал бы я и радости.

Слова эти были сказаны более серьезно, нежели того требовал мой вопрос, и тотчас доктор, закрыв глаза, сделал вид, что заснул, а затем вскоре усталость прервала и все мои путающиеся думы о наших дневных приключе-

чениях.

На другой день, рано утром, сопровождаемые низкими поклонами хозяина, мы пустились далее в дорогу, направляясь к Мюнстеррейфелю[201], красивому местечку на берегу Эрфта, со старинной церковью; там мы отдыхали, без особых, на этот раз, происшествий. Оттуда мы свернули несколько на восток, держа путь на Арские горы по землям архиепископства Трирского, где на каждом шагу чувствовался достаток жизни, созданный мудрым управлением покойного архиепископа Рихарда фон Грейффенклау[202]. В тот день я опять упорно вызывал доктора Фауста на разговор и монологи, так как необходимо было мне непрестанно сосредоточивать внимание, чтобы подавить в душе ту тягостную тоску по Ренате и по потерянному блаженству, которая, несмотря на все превратности странствия, от времени до времени подымалась в моей душе, как подымаются в свой час горячие воды в исландских источниках.

На склоне дня, проехав Фрейсхейм, стали подумывать мы, где нам провести эту ночь, когда вдруг неожиданное событие изменило

все наши предположения, а меня, путем непредвиденным и изогнутым, повело к роковой развязке той горестной истории, которую я передаю на этих страницах. Это событие стоит, как звено, в том ряду случайностей, которые своим осмысленным постоянством заставляют меня почитать жизнь не игралищем слепых стихий, но творением искусного художника, изваянным по определенному и дивно совершенному замыслу.

Уже некоторое время любопытство наше привлекал красивый замок, стоявший на высоком берегу Вишеля, долиной которого мы ехали, и господствовавший над всем горизонтом своими четверугольными башнями старинной стройки. Когда, после одного изгиба реки, мы оказались совсем от него поблизости, мы заметили, что к нам быстро приближается верховой, размахивая шляпой и явно делая нам знаки. Тогда Мефистофелес приказал остановить лошадей, а вестовой, одетый как герольд на турнире, подъехал и, учтиво кланяясь, сказал:

– Мой господин, граф Адальберт фон Веллен, владелец этого замка, приказал мне освещать

домиться: не вы ли знаменитый доктор теологии, философии, медицины и права Иоганн Фауст из Виттенберга, который должен был проехать через наши земли по пути в город Трир?

Доктор признался, что это точно он, и тогда вестовой продолжал:

– Мой господин покорнейше просит вас и ваших спутников пожаловать к нам в замок и воспользоваться нашим гостеприимством на эту ночь или и далее, если то будет вам угодно.

Услышав эти слова, Мефистофелес воскликнул:

– Любезный доктор! Замечаешь ли ты, какой всенародной славы мы с тобой уже достигли! Что до меня, я не прочь от графского предложения. По мне куда лучше нежиться на аристократических кроватях, чем изнывать от клопов в деревенской корчме или проводить ночь на хозяйской двуспальной постели по-флорентийски[203].

Так как и мы с доктором ничего не имели против приюта, любезно нам предложенного, то мы и поспешили ответить вестовому со-

гласием и повернули лошадей к замку.

По подъемному мосту, перекинутому через ров с водой, мы проехали сначала на первый двор, где отдали лошадей и повозку слугам, потом пешком через вторые ворота прошли на главный двор замка, превращенный вниманием владельца в небольшой сад, в итальянском вкусе. Здесь перед лестницей, ведущей во внутренность замка, встретил нас сам граф фон Веллен, окруженный небольшой свитой, человек молодой, привлекательный, с одним из тех открытых лиц, опущенных небольшой бородкой, какие любит изображать венецианский мастер Тициан Вечелли[204]. Граф приветствовал доктора Фауста церемонной речью, в которой упоминался Гермес Трисмегист и Альберт Великий, боги Олимпа и библейские пророки, и намеренную напыщенность которой я понял лишь впоследствии. Доктор отвечал ему кратко и с достоинством, и затем, по знаку графа, пажи пригласили нас последовать за ними в комнаты для приезжих, где мы могли бы привести себя и свое платье в порядок после дневного пути.

Уже проходя по комнатам, я мог подметить то, в чем впоследствии, при своем довольно продолжительном пребывании в замке, мог вполне убедиться, а именно, что он составлял благородное исключение из тех рыцарских гнезд, которые теперь все чаще и чаще превращаются в прямые разбойничьи притоны. Как известно, в наше суровое и трезвое время, когда на войне требуется не столько личная доблесть, сколько дисциплина солдат да количество пушек, пицалей и мушкетов[205], и когда в жизни главную роль играет не происхождение от знатных предков, но сила денег, так что банкиры спорят влиянием с королями[206], рыцарство пришло в крайний упадок и прежние паладины, что бы ни говорил в их защиту Ульрих фон Гуттен, составляют самый отсталый круг в современном обществе[207]. Между тем в замке графа фон Веллен на каждом шагу виделись следы хорошего вкуса и просвещения, а главное, утонченной жизни, и ясно было, что хозяин замка хочет идти в уровень с нашим веком, о котором тот же Гуттен воскликнул: «Как радостно жить в такое время!» [208]

Изящная итальянская мебель в некоторых комнатах, картины, в которых можно было угадать учеников славного колориста Матвея Грюневальда[209], литые статуи чуть ли не самого Петера Фишера и много других мелких подробностей казались свежими узорами на пышной ткани старинной обстановки, времен походов в Палестину, тяжелой, но не лишенной величия. Наконец, в отведенных нам комнатах нашли мы все самые изысканные средства для туалета, духи, притирания, гребни, щетки, подпилки для ногтей, словно бы мы были публичными женщинами или римскими куртизанами.

Умываясь ароматической водой и переменив, с помощью слуги, свой дорожный кафтан на предложенный графом из синего шелка, я, не без постыдного тщеславия, чувствовал себя польщенным, что в таком месте принят как почетный гость, забывая, что я был приглашен лишь как случайный спутник доктора Фауста. Это пустое самодовольство еще не покинуло меня, когда нас провели вниз, в столовую комнату, где был накрыт обширный стол, уставленный, как лоток разносчика то-



варами, всевозможными кушаньями и винами, и где собралось все население замка, с графом и его супругой, графиней Луизой, женщиной, на вид казавшейся старше своего мужа, но представительной и державшей себя с истинным величием. В обширной зале, которая, конечно, служила прежде сеньору для приема вассалов, украшенной по стенам живописью на тему из Троянской войны и ярко освещенной факелами и восковыми свечами, среди небольшой толпы изящных кавалеров, шелестевших шелком и атласом, в шляпах со страусовыми перьями[210], и дам, блиставших золотыми уборами, кружевами и необыкновенно розовой кожей, – я на минуту почувствовал себя – так человек мелочен! – чуть не счастливым.

Но очень скоро ждало меня справедливое разочарование. Во-первых, я должен был убедиться, что лично на меня никто не склонен был обращать внимание, а я, все же более привычный к жизни походной или к тихим беседам с глазу на глаз, сам не умел втиснуться в общее оживление. Во-вторых, я не мог не распознать, что при всех изъявлениях почте-

ния, какие расточали и граф и его приближенные доктору Фаусту, была в их обращении с ним, и со всеми нами, какая-то доля насмешки. Догадка возникла у меня в душе, что мы были приглашены графом лишь как редкостные шуты, которыми можно позабавиться в весенние скучные недели, – и этому стельку подозрения суждено было окрепнуть в целое деревцо.

Когда мы разместились за столом, я попал на самый конец его, где сидели капеллан замка и какой-то молчаливый господин в бархатном кафтане, больше занятые кубками, чем мной, – и это дало мне возможность беспрепятственно делать свои наблюдения. Я видел, что внимание всего общества сосредоточено на докторе Фаусте, которого посадили рядом с графиней; к нему беспрестанно обращался граф, то угощая его, то рассыпая перед ним комплименты его учености, то задавая ему разные, будто бы очень серьезные, вопросы; когда Фауст начинал говорить, граф делал знак, призывая всех к молчанию, словно готовясь каждый раз услышать откровения мудрости. Но и это всеобщее внимание, и риторич-

ческие похвалы графа, и особенно мнимочечные задачи, ставимые доктору, все сильно отзывалось пародией и сатирой, и я даже подметил два или три раза дурно скрытый смех некоторых из присутствующих, доказавший мне, что в заговоре участвовало все общество. Когда я убедился, что мое открытие справедливо, почувствовал я стыд пред самим собой и обиду за доктора и даже готов был немедленно встать и, сказав какие-нибудь резкие слова, удалиться из замка, но удержала меня мысль, что сделать это первому следовало бы не мне, а моим спутникам.

Впрочем, доктор Фауст, как кажется, раньше меня угадал свое положение, потому что он, еще недавно открывавший так охотно передо мной, случайным попутчиком, сокровища своего ума, сделался вдруг на слова скуп, как герой Макция Плавта[211]. Все горячие приветствия графа потухали в его холодной вежливости, и по большей части он уклонялся от ответов на те лукавые вопросы, которые ежеминутно обращали к нему присутствующие, как к оракулу. Зато Мефистофелес, не смущаемый ничем, охотно перехватывал эти

вопросы на лету, как мячи, и бросал ответные стрелы, иногда попадавшие в самый глаз лицемерным вопрошателям.

Так, с видом весьма серьезным, молодой кузен графа, рыцарь Роберт, обратился к Фаусту с такой речью:

– Я хотел расспросить вас, ученейший доктор, о средствах делать себя невидимым. Некоторые уверяют, что для этого достаточно носить под мышкой правой руки ладанку с сердцами летучей мыши, черной курицы и лягушки. Но большинство делавших опыт утверждает, что этот прием удается плохо. Другие предлагают способ гораздо более сложный. Надо в среду, до восхода солнца, взять мертвую голову и, положив в ее глаза, уши, ноздри и рот по черному бобу, сделать на ней знак треугольника и похоронить ее, а затем в течение восьми дней приходить и поливать могилу; на восьмой день предстанет демон и спросит вас, что вы делаете; вы ответите: «Я поливаю мой цветок»; демон попросит у вас лейку, протягивая к вам руку; если на руке будет такой же знак, какой вы сделали на мертвой голове, вы лейку отдадите, и

демон сам польет насаждение; на девятый день вырастет боб, и довольно будет взять одно его зерно в рот, чтобы стать невидимым. Но этот способ слишком сложен. Третьи, наконец, утверждают, что было только единственное средство делаться невидимым: это – кольцо Гигеса, о котором рассказывают Платон и Цицерон, но оно безвозвратно потеряно [212].

Едва рыцарь кончил говорить, как Мефистофелес воскликнул:

– Мне, милостивый рыцарь, известен более простой способ сделаться невидимым!

Разумеется, при этих словах все взоры устремились на Мефистофеля, как если бы он был Эней, готовый рассказывать карфагенянам о падении Илиона, но среди всеобщего молчания он произнес:

– Чтобы стать невидимым, достаточно скрыться за предметом непрозрачным, например, за стеной.

Острота Мефистофеля вызвала всеобщее разочарование. Однако, спустя немного времени, сенешал замка обратился к доктору с таким вопросом:

– Вы, высокочтимый доктор, много путешествовали. Изъясните же нам, правда ли, что прах той ослицы, на которой Иисус Христос совершил свой въезд в Иерусалим, покоится в городе Вероне? И что другая ослица, на которой когда-то ехал пророк Валаам, жива поныне и сохраняется в тайном месте в Палестине, чтобы привезти с неба Илию в день второго пришествия[213]?

Опять ответ взял на себя Мефистофелес, который сказал:

– Мы, любезный господин, не проверяли фактов, о которых вы говорите, но почему бы Валаамовой ослице и не быть бессмертной, если среди людей в течение тысячелетий не переводятся *ослы*?

Эта шутка имела немалый успех среди собеседников, но все новые и новые вопросы обращались со всех концов стола к доктору Фаусту, причем, по мере того как пиршество разгоралось и все пьянели, вопросы эти становились все более и более дерзкими, по временам близко соприкасаясь с оскорблением. Вместе с тем со своего сторожевого поста я мог наблюдать, как охмелевшие кавалеры на-

чинали держать себя более развязно, нежели то подобало, как одни тайком пожимали руки и груди своим соседкам, а другие, отягченные вином, незаметно расстегивали теснившие их пуговицы. Тогда граф, который весь вечер держал себя с большой ловкостью, прервал начинавшуюся оргию такой речью:

– Мне кажется, друзья, что пора дать отдых нашим гостям. Мы отдали честь и Бахусу, и Кому, и Минерве; время совершить возлияние Морфею. Поблагодарим наших собеседников за все их мудрые разъяснения и пожелаем им добрых советов бога Фантаза.

Ясный и уверенный голос сеньора сразу заставил всех присутствующих овладеть собою, и, встав из-за стола, все стали прощаться с нами, опять проявляя величайшую обходительность. Мы трое поклонились графу и графине, благодаря их за угощение, и пажи отвели нас в наши комнаты, где уже были приготовлены для нас все удобства: мягкие постели, ночные кафтаны, туфли, головные колпаки и даже ночные горшки[214]. Недоставало только, чтобы в своей услужливости любезный граф предложил своим гостям по женщине легкого

поведения, как некогда жители города Ульма императору Сигизмунду и его свите[215].

Что до меня, то, засыпая в комнате, где, может быть, отдыхал какой-нибудь сподвижник Готфрида Бульонского, я дал себе обещание, что завтра поутру покину этот замок, хотя бы и без своих спутников. Однако порешил я это, как говорится, без соизволения божия, и вышло все по-иному, ибо судьба, приведшая меня к графу Адальберту, имела цели гораздо более далекие, нежели только – показать мне пир знатных повес.

## II

По своему обыкновению, проснулся я на другой день очень рано и, не желая тревожить никого, тихо спустился вниз и вышел на балкон, род итальянской лоджии, какой нередко можно видеть в наших старых рыцарских замках. Там, прислоняясь к колонне, вдыхая свежесть мартовского утра и отдыхая взором на красивой дали полей, невольно задумался я над своей судьбой, и все горестные думы, прорвав плотину сознания, затопили мою душу. Мне представилась Рената, которая, где-то в незнакомом мне городе, прово-



дит часы новой радости с кем-то другим, а не со мной; или, может быть, напротив, тоскует обо мне, раскаиваясь в своем побеге, но лишена всякой возможности отыскать меня и отторгнута от меня навсегда; или еще, больная, в своем привычном отчаянье, окруженная чужими, грубыми людьми, насмехающимися над ее страданиями и ее странными речами, — и никто не подойдет к ней, как я, чтобы ласковым словом или нежным прикосновением облегчить ее томления... И новый приступ старой скорби овладел мною с такой жестокостью, что я не мог одолеть себя и, поникнув на каменный парапет лицом, дал волю слезам, бессильным и не знающим удержу.

Когда так плакал я, считая себя в одиночестве, на балконе замка фон Веллен, моего плеча вдруг коснулась рука, и я, подняв голову, увидел, что ко мне подошел сам граф. Хотя и был он меня моложе, но, с какой-то отеческой заботливостью, он обнял меня за стан и повел по галерее, осторожно и дружески спрашивая, в чем мое горе, обижен ли я кем-либо из его людей или у меня неудачи в личной жизни. Смущенный и пристыженный, я поборол

свое волнение и ответил графу, что скорбь моя привезена мною вместе с поклажей и что я не могу жаловаться ни на что в замке. Граф, однако, не хотел меня оставить, и мы продолжали разговор, гуляя взад и вперед по балкону.

Вскоре я должен был объяснить, что не принадлежу к свите доктора Фауста, но познакомился с ним лишь три дня назад, и это очень расположило графа в мою пользу. В то же время речи графа, в которых, может быть с излишней, я бы сказал меркуриальной, живостью переливалось хорошее образование, им полученное, заставили меня забыть о его вчерашнем участии в насмешках над нами и позволили мне отнестись к нему с доверием. И когда, слово за словом, объяснилось, что у нас с ним есть общие любимцы в мире авторов и книг, и он немедленно предложил мне показать свою библиотеку, я не нашел ни причин, ни поводов, чтобы отказаться.

В кабинете графа я опять уверился, что первоначальное мое наблюдение было справедливо и что граф принадлежит к лучшим людям своего сословия, так как его собрания

сделали бы честь любому ученому. Он провел меня перед целыми рядами полок с книгами, показывал мне ценные переплеты из пергамента, дерева, кожи, красной, зеленой, черной, и разные редкостные издания, вышедшие из-под лучших станков, и любовно собранные им путеводные вехи нашего времени, как «*Epistolae obscurorum virorum*», «*Laus Stultitiae*», «*Oestrum*» [216], которых встречал я, как добрых друзей, с которыми давно не виделся. Потом граф показал мне разные научные приборы, которых было у него множество: глобусы, земные и небесные, астролябии, армиллы, торкветы и еще какие-то мне неизвестные, и тут же рассказал мне смелую поразительную теорию Николая Коперника из Фрауэнбурга о устройстве неба, которую тогда я слышал впервые, потому что до сих пор сочинения этого астронома не изданы. Наконец, граф раскрыл передо мною свои ящики и вынул из них рукописные кодексы латинских писателей, добытые им в соседних монастырях, собрание прекрасных древних гемм, вывезенное им из его путешествия по Италии, и, наконец, в особом ларце, пачку писем знаме-

нитого Ульриха Цазия[217], с которым он был в личной переписке.

Легко было подметить, что граф показывает свое собрание не без детского хвастовства, но все же его любовь к наукам и искусствам совершенно примирила меня с ним, и я, желая сделать ему приятное, сказал, что его богатствам позавидовал бы сам Ватикан. Окончательно восхищенный моей лестью, граф усадил меня против себя и сказал мне так:

– Я более не могу вас считать чужим, потому что вы принадлежите к числу тех же новых людей, как я сам, и – клянусь Гиперионом! – мне было бы стыдно вас обманывать. Поэтому я должен просить вас прежде всего откровенно сказать мне, что вы думаете о докторе Фаусте.

Я ответил, что считаю Фауста человеком старого склада, но чрезвычайно ученым и умным, и не удержался, чтобы не прибавить, что Фауст достоин большего внимания, нежели то, которое проявляют к нему в замке.

Тогда граф сказал мне следующее:

– А знаете ли вы, какие ходят слухи о Фаусте и его приятеле? Рассказывают, что этот

Мефистофелес не кто иной, как дьявол, который обязан служить доктору двадцать четыре года с тем, чтобы заполучить потом в свою власть его душу. Я, разумеется, не верю такому вздору, как не верю вообще в пакты с демонами, и думаю, что дьявол заключил бы плохую сделку, получив в платеж за реальные услуги – душу. Мне кажется, что дело много проще и что ваши спутники, а мои гости – просто шарлатаны, которые пользуются не силами ада, но приемами ловких мошенников. Они ездят из замка в замок, из города в город, везде выдавая себя за чародеев и показывая фокусы, а взамен собирая деньги, позволяющие им жить безбедно.

Эти слова крайне смутили меня, потому что до того времени я считал доктора Фауста человеком вполне благородным, и я начал защищать его со всем жаром, так что между нами произошел даже довольно упорный спор. В конце концов граф уже прямо признался мне, что пригласил к себе проезжавшего мимо доктора Фауста с единственной целью изобличить его проделки и вывести его на чистую воду, тут же предложив мне принять

участие в общем заговоре и помочь ему в таком деле. Так оказался я внезапно перед трудным выбором, как Геркулес на распутье, с тою только разницей, что менее было для меня ясно, на какой стороне Добродетель и на какой Порок, ибо и образ графа из нашей беседы выступил для меня крайне привлекательным, и о докторе Фаусте успел я составить суждение самое лестное. Некоторое время весы моей души колебались довольно неопределенно, но потом я нашел точку их равновесия и сказал графу:

– Ни в каком случае не соглашусь я участвовать в заговоре против человека, не сделавшего мне ничего дурного и которого считаю весьма просвещенным. Но из уважения к вам, господин граф, я не предприму ничего против вашего плана и обещаю вам, что не скажу ни слова моим спутникам об этом нашем разговоре.

Когда граф мое решение принял, показалось мне уже неуместным заговорить о своем отъезде, и я постановил провести еще один день в замке, но сознаюсь, что встретился с Мефистофелем и Фаустом не без смущения,

как виноватый. И, чувствуя себя не приставшим ни к тому, ни к другому берегу, как бы в поле между двумя враждебными лагерями, я еще менее, нежели накануне, мог проявить себя веселым товарищем, и уже с того времени, в замке, прослыл между всеми за человека чрезвычайно мрачного и нелюдимого. Впрочем, я подметил, что в данном обществе мы всегда остаемся в той самой маске, в какой случайно появляемся там первый раз, причем каждому из нас приходится в разных кругах носить множество самых разнообразных личин.

Тот второй день, проведенный нами в замке, весь ушел на охоту, данную в честь гостей графом, но которую описывать я не буду, чтобы не блуждать слишком часто в своем рассказе окольными путями. Скажу только, что, несмотря на раннее время года, охоту можно было считать вполне удавшейся, так как она доставила немало веселья ее участникам и был затравлен кабан, зверь в той местности редкий. Фауст, как и вчера, был предметом всяческих нападок, на которые опять отвечал большею частью Мефистофелес, порою метко,

порою довольно грубо, выставив себя тем, что испанцы называют *chocarrero*[218], и снискав несомненную благосклонность дам.

В замок вернулись мы уже поздно, с тем бодрым и как бы огненным утомлением, какое дают труды на открытом воздухе, и нас опять ждал щедрый ужин, приготовленный в том же зале, где вчера. Однако на этот раз граф не хотел откладывать своего замысла и, едва голод был удовлетворен, сам обратился к доктору с такой речью:

– Нам известно, уважаемый доктор, что в области магии вы достигли успехов блистательных, так что неуместно даже равнять с вами кого-либо из современных магов, ни даже испанца Торральбу[219] (да будет мир несчастной душе его!). Известно нам также, что на просьбы других лиц явить свое искусство вы не отвечали отказом, и, например, князю Ангальтскому дали возможность воочию увидеть Александра Великого Македонского и его супругу, вашими заклинаниями возвращенных из теней Орка[220] под свет Гелиоса. Теперь же все общество присоединяет к моим свои просьбы, умоляя вас показать



и нам хотя бы частицу вашего чудодейственного искусства.

Я с напряженным вниманием ожидал, что доктор Фауст ответит, так как в просьбе графа ясно различил пружины и диски западни, и мне хотелось, чтобы доктор резкими словами прервал лицемерную речь. Но, к моему удивлению, доктор Фауст, державшийся до того времени чрезвычайно сдержанно, теперь ответил так, с некоторым высокомерием:

— Любезный граф, в благодарность за ваше гостеприимство я, пожалуй, согласен показать вам то немногое, что позволят мне скромные мои познания, и полагаю, что князю Ангальтскому нечем будет хвастаться перед вами.

Как теперь я истолковываю, Фауст, оскорбленный отношением к нему графа и его приближенных, хотел доказать им всем, что действительно он обладает силами, им неизвестными, и ради такого не совсем достойного тщеславия решился унижить магию до публичного опыта. Но в тот час, под влиянием подозрений графа, мне представилось, что доктор, согласясь на просьбу, обличил себя,

как продажного шарлатана, ибо только они одни способны в любой час и в любом месте вызывать призраки, – так что готов я был поставить его на одну доску с плутами, разъезжающими по деревням для распродажи разных амулетов, целебных пластырей, волшебных пилюль, неразменных талеров и прочего. Между тем Мефистофелес, встав, подошел к Фаусту и начал что-то говорить ему убедительно на ухо, но тот гневно пожал плечами, как бы говоря: «Я так хочу», и Мефистофелес отошел, недовольный.

Так как все в это время шумно поднялись из-за стола и окружили доктора, изъявляя ему благодарность за решение, я, воспользовавшись общим движением, покинул комнату и ушел гулять по пустынной галерее, сердясь на себя, что не привел в исполнение своего вчерашнего решения, и вообще чувствуя свою душу, как расстроенную виолу. Однако любопытство, или, точнее, жажда исследования, которой я не стыжусь нимало, не позволило мне провести тот вечер отдельно от общества, так что спустя полчаса времени я вернулся в общую залу и все-таки был свидетелем

лем магического опыта, совершенного доктором Фаустом, который и опишу здесь, с тем же беспристрастием, как раньше описывал все остальное, стараясь не прибавить ни одной черты к тому, что отпечаталось в моей памяти.

В зале стол и кресла были отодвинуты в угол, а все общество расселось на скамьях, поставленных поперек комнаты, и, перешептываясь и пересмеиваясь, ожидало начало опыта, словно представления веселой пастурели. Для графа и графини были выдвинуты вперед два кресла, Мефистофелес, стоя около, давал им какие-то объяснения, а доктор Фауст, очень бледный, поодаль отдавал последние распоряжения слугам. Я поместился на самом краю скамьи второго ряда, откуда удобно мне было наблюдать за всем происходившим.

Когда присутствующие несколько успокоились, доктор Фауст сказал:

– Милостивые граф и графиня, любезные дамы и славные рыцари! Сейчас я заставляю явиться перед вами воочию царицу Елену, супругу царя Менелая, дочь Тиндара и Леды, сестру Кастора и Поллукса, – ту, которую в

Греции звали – прекраснейшей. Царица явится перед вами в том самом виде и образе, какой она имела при жизни, и обойдет ваши ряды, позволяя вам смотреть на себя, и останется в вашем обществе около пяти минут, после чего должна будет исчезнуть снова[221].

Доктор Фауст говорил эти слова твердо, но мне в его голосе послышалась какая-то напряженность, и взгляд его глаз был слишком остр, так что можно было подумать, что сам он не очень верит в успех предпринятого им дела. Но как только он кончил говорить, Мефистофелес строго и приказательно добавил:

– Я очень предупреждаю вас, милостивые господа, что, пока явление будет среди нас, вы не должны произносить ни слова, тем более не обращаться к нему с речью, не должны его касаться и вообще вставать с места, – в этом вы должны нам дать обещание.

Граф за всех ответил, что они согласны на такие условия, и тогда Мефистофелес распорядился погасить все факелы и свечи, бывшие в комнате, кроме одной отдаленной свечи, так что настала почти полная темнота. Понемногу в жуткости этого мрака и в волне-

нии ожидания стали стихать еще раздававшиеся порой шепоты и шелесты платьев, и все общество, как бы в черную глубину, опустилось в молчание. Еще после, в разных углах комнаты, вдруг слышались те самые потрескивания и постукивания, которые мне уже доводилось слышать с Ренатою и которые мое сердце встретило тоскливым биением. Потом медленно поплыли через всю комнату светящиеся звезды, исчезая внезапно, и, несмотря на то, что тогда я уж не был новичком в явлениях магических, невольная дрожь овладела мною.

Наконец, в отдаленном углу белесоватое облако отделилось от полу и, зыблясь и колыхаясь, стало подыматься, расти и вытягиваться, принимая форму человеческой фигуры. Спустя несколько мгновений проступило из облака лицо, пряди тумана сложились в складки одежды, и словно живая женщина поплыла к нам, смутно видимая в глубоком сумраке комнаты. Сначала призрак приблизился к графу и некоторое время, колеблясь, стоял перед ним неподвижно; потом столь же медленно, как по воздуху, двинулся влево и

стал приближаться ко мне. И, как ни был я потрясен зрелищем, однако не забыл собрать все свое внимание, чтобы рассмотреть видение во всех подробностях.

Елена, сколько я мог запомнить, была не высока ростом и одета в мантию темно-пурпурную, в том роде, какие изображал художник Андреа Мантенья; волосы ее, цвета золотистого, были распущены и столь длинны, что падали ей до самых колен; были у нее черные как уголь глаза, очень яркие губы маленького рта, белая, изгибчивая, как у лебедя, шея, и весь облик вовсе не царственный, но пленительный до крайности. Мимо меня она проскользнула чрезвычайно быстро и, продолжая свой путь среди зрителей, приблизилась к доктору Фаусту, который, насколько то можно было рассмотреть в полумраке, в величайшем волнении бросился вперед и простер руки к призраку. Это движение меня поразило очень, так как давало заключить, что для самого Фауста явление было неожиданно.

Но я не успел еще обсудить вполне это изображение, когда вдруг произошло нечто та-

кое, что сразу прервало наш опыт, начавшийся так заманчиво. А именно, когда Елена, отстраняясь от доктора, приблизилась к кузену графа, сидевшему на левом конце второго ряда, он внезапно вскочил, отважно схватил призрак в свои руки и громким голосом крикнул: «Огня!» Фауст в ту же минуту устремился к нему с восклицанием горя и негодования, все тоже стремительно поднялись с мест, а слуги, заранее к тому подготовленные, выхватили факелы, которые до того времени укрывали где-то, и вся зала озарилась их желтоватым светом.

Некоторое время в суматохе ничего нельзя было различить, словно бы здесь между изящными гостями произошла боевая схватка, но решительное вмешательство графа скоро заставило всех успокоиться. Мы увидели рыцаря Роберта, в руках которого был шелковый лоскут темно-пурпуровой материи и который упрямо повторял:

– Она вырвалась из моих рук, ищите ее в замке, она должна быть здесь!

Однако для всех было очевидно, что живому существу невозможно было ускользнуть

от внимания стольких глаз, и приходилось признать, что призрак Елены Греческой растаял в руках схватившего его рыцаря, обратившись вновь в то облако, из которого образовался. Доктор Фауст горько жаловался графу, что не были выполнены данные обещания, но Мефистофелес залил спор холодными словами:

– Мы все должны быть довольны, – сказал он, – доктор – вызвав видение столь обольстительное, что рыцарь не смог сдержать своего порыва, а рыцарь – тем, что он ничем не заплатился за свою попытку овладеть Еленой Греческой; Деифоб, как известно, был менее счастлив: ему за то же самое отрубили нос и уши.

Конечно, такая речь была дерзка, и Мефистофелес мог бы ответить за нее, если бы рыцарь, как и сам граф, не чувствовали себя несколько пристыженными и не были рады уладить все недоразумение. Граф начал какую-то путаную речь, наполовину извиняясь, наполовину благодаря Фауста, а я, под общий говор, тихо вышел из залы и удалился в свою комнату, так как мне вдруг показалось стыд-



ным участвовать во всей этой неумной истории. Чем бы ни было виденное мною явление, действительно ли магическим воскрешением личности, жившей во времена незапамятные, или новой проделкой, на какие таким мастером показал себя Мефистофелес, — мне показалось, что мы, зрители, играли в нем роль унижительную, и мне захотелось поскорее стряхнуть с себя, как дождевую воду с плаща, все тяжелые впечатления этого вечера.

Я бросился в постель и, когда, несколько времени спустя, доктор Фауст, проходя мимо, постучал в мою дверь, намеренно не откликнулся, делая вид, что уже сплю.

## Глава тринадцатая

### **Как поступил я на службу к графу фон Веллен, как прибыл в наш замок архиепископ Трирский и как мы отправились с ним в монастырь Святого Ульфа**

#### I

Заклинание Елены Греческой было последним приключением из моей общей жизни с доктором Фаустом, ибо уже на следующий день я разлучился с ним, на что, кроме общего отношения ко мне моих спутников, побудило меня еще одно отдельное обстоятельство.

Именно, проснувшись внезапно среди ночи, расслышал я в соседней комнате, представленной двум моим дорожным товарищам, смутный говор и, невольно напрягши внимание, различил голос Мефистофеля, который говорил:

– Благодарю святого Георга и меня, что тебе удался сегодняшней опыт, но есть вещи, на которые не следует посягать дважды. Не вооб-

ражай, что вся вселенная, все прошлое и будущее – твои игрушки.

Голос Фауста, повышенный и гневный, отвечал:

– Излишни споры! Я хочу ее видеть еще раз, и ты мне поможешь в этом. А если суждено мне сломать шею в таком предприятии, что за беда!

Насмешливый голос Мефистофеля возражал:

– Смертные любят ставить на кон свою жизнь, как бедняки последний талер. Но сломать себе шею сумеет каждый дурак, умного же человека дело – сообразить, стоит ли затея пота.

Гневный голос Фауста говорил:

– Если ты отказываешься помогать мне, мы расстаемся с тобой завтра же!

Послышался смех Мефистофеля, странный и неприятный, потом его ответ:

– У тебя не бывает других сроков, кроме как завтра! Подумай хотя бы, что раньше надо тебе сбыть с рук этого кельнского молодчика, который так покорно хлопает глазами на твои рассказы. Вчера я подметил, как он час

целый шептался с графом, и, думаю, можно от него ждать любого предательства.

Меня в ту минуту оскорбительный отзыв Мефистофеля не затронул нисколько, ибо лучшего я и не ждал от него, а, напротив, я вслушивался с большим любопытством, ожидая, что в пылу увлечения спорщики обличат передо мною тайну своих странных отношений. Вдруг, не знаю сам как, неодолимый сон охватил меня и замкнул мой слух, словно бы Мефистофелес, угадав чутьем, что я подслушиваю, навел на меня такое оцепенение неким наговором. Слышанного мною, однако, было достаточно, чтобы утром, как только ночные впечатления распрямились в моей памяти, задал я себе вопрос, уместно ли мне оставаться с доктором Фаустом, которому я, по-видимому, в тягость, и чтобы, после краткого раздумия, я порешил, что мне приличнее с моими попутчиками расстаться.

Зная, что наш отъезд назначен на тот день, в часы после полудня, я тотчас же отправился разыскивать графа, чтобы попросить у него позволения провести в замке хотя бы еще сутки, и, не без некоторого труда, до-

бился аудиенции.

Граф встретил меня весьма нелюбезно, что было разительным противоречием с его поведением накануне, но что немедленно и нашло свое толкование, ибо едва я объяснил цель своего посещения, как он переменялся вмиг, вскочил с кресла, пожал мне руку и воскликнул:

– Итак, вы разлучаетесь с вашими спутниками, милый Рупрехт! Но это совсем другое дело! Разумеется, вы можете не просить, а требовать у меня гостеприимства именем Афины Паллады. Мы, новые люди, образуем некоторое братство, хотя бы парки и выпряли нам различные нити судеб, и обязаны друг другу оказывать всевозможные услуги.

Когда же я, удивленный, спросил графа, почему его так радует мое решение, он, после некоторого колебания, сообщил мне, что передо мною был у него Мефистофелес, который при заявлении об отъезде спросил, как плату за вчерашний опыт магии, сто рейнских гульденов, и граф негодовал на мое поведение, почитая и меня участником в дележе этих денег. Признаюсь, это известие поразило меня

как удар здоровой палицей по голове, ибо хотя я понимал, что магия не имеет ничего общего с алхимией и что самые искусные некроманты все равно нуждаются в крове и пропитании, но все же поступок Мефистофеля показался мне неблагородным. Если и были у меня какие-либо сомнения, хорошо ли я поступаю, расставаясь с доктором Фаустом, то сообщение графа развеяло их, как ветер развеивает туман, и я в самых учтивых словах выразил графу благодарность за гостеприимство.

Тогда граф, видимо, сам растроганный своей добротой, сказал мне еще следующее:

– Зачем вам вообще торопиться с отъездом из моего замка? Разве у вас столь неотложные дела в городе Трире? Оставайтесь в моем замке, и я позабочусь, чтобы вам не было у меня плохо. К тому же мне нужен человек, хорошо умеющий писать по-латыни, так как намерен я составить один трактат о звездах.

Такое предложение было крайне для меня неожиданно и даже показалось мне, давно привыкшему к независимости, немного обидным, но, быстро окинув умственным взглядом

дом свое положение, порешил я, что нет причин мне отказываться. С одной стороны, у меня тогда не было никакого определенного намерения, как повести дальше свою жизнь, а с другой – я никогда не брезгал никакой должностью, быв за свою жизнь и простым ландскнехтом, и сподручником купеческих домов. Итак, я ответил согласием, и таким образом, подчиняясь прихоти жизненного течения, влекшего меня извилистой рекой мимо островов и мелей, вдруг превратился из спутника сомнительного чародея в писца у сомнительного гуманиста.

В тот же день доктор Фауст и Мефистофель действительно покинули замок.

Перед их отъездом я зашел к доктору Фаусту проститься и имел с ним разговор, из которого некоторые части хочу передать здесь. Естественно, что обсуждали мы вчерашний опыт магии, и доктор Фауст произнес целый панегирик красоте Елены Греческой, в таких восторженных выражениях, что вряд ли с большей страстностью прославлял ее в Илионе, перед отцом и братьями, сам похититель Александр. Потом заговорили мы вообще о

некромантии, и доктор Фауст в параллель своим попыткам указал мне на вызывание тени прорицателя Тирезия Улиссом и пророка Самуила Аэндорской волшебницей. В конце беседы я, в выражениях очень уклончивых, намекнул доктору Фаусту на истинные причины моего с ним разлучения, именно на народную молву, приписывающую ему поступки неблагоприятные и объясняющую его могущество самым недостойным образом. Доктор Фауст, по-видимому, понял мои осторожные намеки и, помолчав, ответил мне такой речью:

– Никогда не верьте, любезный Рупрехт, если кто-либо скажет вам, будто истинный маг заключил пакт с демоном! Может быть, иной несчастный недоучка и отрекается от вечного блаженства в обмен на несколько пригоршней краденых монет, предлагаемых ему мелкими бесами, но справедливость божия, конечно, не карает за такую сделку, в которой больше невежества, чем греха! А чем могут соблазнить демоны человека, познавшего их природу и пределы их сил? Правда, демоны обладают некоторыми способностями, чело-



веку не дарованными: быстро переносятся с места на место, растворяют свой состав до легкого дыма или сгущают его в любые образы, возносятся в воздушные и иные сферы. Но разве желания человека ограничены тем, что можно удовлетворить помощью таких средств? Разве не жаждет человек познать все тайны всей вселенной, до самого конца, и обладать всеми сокровищами, безо всякой меры? Истинный маг всегда смотрит на демонов как на силы низшие, которыми можно пользоваться, но подчиняться которым было бы неумно. Не забудьте, что человек сотворен по образу и подобию самого творца и поэтому есть в нем свойства, непонятные не только демонам, но и ангелам. Ангелы и демоны могут стремиться лишь к своему благу, первые – во славу божию, вторые – во славу зла, но человек может искать и скорби, и страдания, и самой смерти. Как господь вседержитель сына своего едиnorodного принес в жертву за сотворенный им мир, так мы порою приносим в жертву нашу бессмертную душу и тем уподобляемся создателю. И вспомните слова евангельские: кто хочет душу свою сберечь,

потеряет ее, а кто потеряет, тот сбережет!

Эту свою прощальную и как бы напутственную речь ко мне доктор Фауст произнес с большим одушевлением, и я ею был искренно затронут, ибо многое в ней было словно мои собственные мысли, так что душа моя, слыша их, дрожала, как дрожит струна при звуке другой, настроенной ей в лад. Однако едва собрался я ответить доктору, как раздался голос Мефистофеля, который подкрался к нам неслышно во время нашей беседы и вдруг воскликнул:

– Прекрасно, доктор, превосходно! Вы рождены, чтобы с церковной кафедры доводить своими проповедями до слез толстеющих прихожанок. Время еще не ушло, у меня много добрых знакомых в папской курии, и я могу устроить вас прелатом на доходное место! Особенно же я люблю, когда вы приводите в доказательство тексты Святого писания: это – лучший способ доказать что угодно. Ведь только глупость односторонняя, а истину можно повернуть любой гранью!

Присутствие Мефистофеля всегда словно связывало все мои движения прочными ве-

ревками, и в замешательстве я решительно не знал, что сказать; он же, обратившись ко мне, добавил:

– А вы, господин Рупрехт, вероятно, находите, что мы затмеваем ваши достоинства и что без нас вам легче будет выдвинуться. Мы будем великодушны и уступим вам место.

Вступать в единоборство на копьях остроумия у меня совсем не было охоты, и, молча, я поклонился доктору, повернулся и вышел из комнаты, что, конечно, вовсе не было учтиво и могло быть истолковано как обида. Поэтому на тот случай, если бы эти записки попали в руки самого доктора Фауста или кого-либо из его друзей, я спешу здесь засвидетельствовать, что все дурное в поступках двух моих спутников всецело отношу я на счет Мефистофеля одного. Что же касается самого доктора Фауста, то в разное время думал я об нем разное, но в конце концов должен признать, что мой испытательный лот не измерил всех глубин его жизни и его души и что в моей памяти его образ стоит поныне, словно на горизонте тень Голиафа.

При самом отъезде доктора я присутство-

вал уже как зритель, в числе обитателей замка, и опять в этой сцене прощания допущено было много шутовства над приезжими гостями. Рыцарь Роберт произнес насмешливую речь, благодаря доктора за посещение, а дамы увенчали Мефистофеля венком из цветов, выращенных ими в комнатах, и надо сознаться, что монах был достаточно смешон в таком неподходящем украшении. Что до меня, то я, всматриваясь в моих недавних спутников, старался теперь уловить в них черты, создавшие народную молву об них, и должен был сознаться, что пищи для разных догадок давали они немало. Утомленное спокойствие доктора нетрудно было истолковать безучастностью человека, знающего свою участь заранее; в быстрых движениях Мефистофеля фантазия легко могла усмотреть нечто нечеловеческое, бесовское, и даже нашего угрюмого, чернобородого кучера при желании можно было принять за простого черта, загоревшего от адского пламени и привыкшего не к вожжам, а к кочерге, которой мешают уголья в адских кострах. И когда повозка, все толчки которой недавно передавались моим ребрам,

застучала по мощеному двору замка, медленно прокатилась через подъемный мост и быстро замелькала вдоль Вишеля, я, под влиянием своих раздумий, чуть ли не ожидал, что вот-вот, на каком-нибудь повороте, она, как то рассказывается в народных сказках, обратится в скорлупку ореха, а четверка дюжих лошадей – в белых мышей.

В тот же день, к вечеру, разъехались и остальные гости графа, рыцари и дамы, так что остались в замке только обычные его обитатели, которых, впрочем, было немало. С одной стороны стояло общество замка: сам граф, графиня Луиза, две ее дамы, рыцарь Роберт, сенешал, капеллан и другие подобные лица, а с другой – многочисленная челядь, начиная со стрелков и ловчих и кончая простыми слугами. Я, конечно, продолжал оставаться в обществе, на что давало мне право мое образование, и был приглашаем как к общему столу, так и на вечеровые беседы у графини, но должен признаться, что все же положение мое в замке стало двусмысленным. Один граф обращался со мною неизменно по-дружески, да порою затеивал со мною споры наш

капеллан, но графиня и рыцарь Роберт старались делать вид, что не обращают на меня никакого внимания. Что до меня, я и не искал сближения ни с кем, сохранял на лице ту маску суровости, с какой появился в замке, и даже за обедом предпочитал молчать, тем более что граф и его кузен любили спорить о вопросах политических, мне малознакомых, например, о желании и попытках императора возобновить Швабский союз[222], о делах в Виттенберге, по возвращении туда герцога Ульриха, о предстоявшем Вормском сейме по поводу осады города Мюнстера и подобном.

Вспоминая теперь дни, проведенные мною в замке в этом положении полудруга, полуслуги, я не очень удивляюсь, что в свое время так мало чувствовал их гнет над собой, объясняя это тем, что после полугода мучительной жизни с Ренатою, после страстного напряжения моего краткого общения с Агнессою и после многообразнейших приключений за четыре дня путешествия с доктором Фаустом, — душа моя впала в сонное оцепенение, как впадают на зиму некоторые гусеницы.

Поселили меня, после отъезда доктора Фа-

уста, в другой комнате, также весьма удобной и пристойной, в Западной башне замка, с окнами, выходящими на отдаленные линии Арских возвышенностей, и так как граф дал мне разрешение пользоваться книгами из его библиотеки, то большую часть дня я и проводил в этом уединении, у окна, с книгой в руках, тотчас возвращая себя к начатой странице, едва случайные мечты увлекали мое воображение вдаль. Так прочел я несколько замечательных, ранее неизвестных мне сочинений, преимущественно из путешествий, и в том числе прекрасный труд Петра Мартира Ангиериуса[223], описавшего в своих декадах, живо и занимательно, открытие Нового Света, первые завоевания в Новой Испании и впечатление, ими произведенное при Кастильском дворе. Но, несмотря на широкий досуг, которым я пользовался, почти не предавался я мечтаниям о своей любви, ибо страшно мне было бередить раны сердца, которые, как тогда казалось, подживали, и, предпочитал закрываться от воспоминаний, как от отравленных стрел, щитом безраздумия.

Те мои занятия, исполнять которые я принял на себя, нисколько не оказались обременительными, ибо граф больше любил мечтать о своем ученом трактате, нежели истинно трудиться над его составлением. Каждый день приглашал он меня к себе в кабинет, и я, очинив новое перо, разворачивал лист бумаги, чтобы писать под диктовку, но редко приходилось мне вывести черным по белому больше одной или двух строк, так как граф или начинал, увлекаясь, объяснять мне дальнейшие главы своего трактата, или просто заговаривал со мной о вещах посторонних, причем эти беседы были вовсе не утомительны, а часто и весьма для меня поучительны. Что же касается до того небольшого, что все-таки было мною записано после многообещающего заглавия: «Tractatus mathematicus de firmamento septentrionali» [224], то я умолчу о содержании этого, ибо граф во многом оказал мне услуги неоценимые и во многих других областях проявил себя человеком образованным и с умом острым.

О самом графе еще придется мне говорить подробнее, здесь же укажу я только, что лю-



бил он похвалиться крайним своим неверием и часто смеялся над моим, из опыта почерпнутым, убеждением в реальности магических явлений. Так, во время одной из наших бесед он, между прочим, спросил меня, что думаю я об опыте заклинания Елены Греческой, которого оба мы были свидетелями. Я откровенно объяснил, что опыт этот мне показался очень замечательным и что я очень жалел, когда рыцарь Роберт не позволил довести его до настоящего конца. Граф, рассмеявшись, сказал мне:

– Ты очень легковерен, Рупрехт! Разве так трудно было найти сообщницу среди девушек замка? За два гульдена любая согласилась бы разыграть роль царицы Елены, да к тому же столь неискусно! Я даже почти наверное знаю, кого должно нам подозревать.

Хорошо помня, что нет хуже слепого, как тот, кто закрывает глаза, я не сделал попытки образумить графа и промолчал.

Другой раз граф спросил меня, что я думаю об астрологии, и я привел в ответ общеизвестные слова: «*Astra non mentiuntur sed astrologi bene mentiuntur de astris*» [225]. Однако граф

возразил с негодованием:

– Me hercule![226] Не ожидал я подобного суждения от поклонника Пико делла Мирандола! Выискивать предсказания в расположении планет – все равно, что выводить свою судьбу из смены лета осенью, ибо и то и другое равно подчиняется законам физики.

Здесь уместно будет также заметить, что граф, хотя говорил о «братстве» всех «новых людей» и почитал себя учеником Поджо Браччолино и Энея Сильвия[227], однако упорно стал обращаться ко мне на «ты», после того как я стал от него в некоторую зависимость, чему не почел я нужным придавать значение.

## II

Такая моя жизнь в замке графа фон Веллен длилась около полумесяца, причем к концу этого малого промежутка времени уже начал я ощущать весьма определенно тяготу своего положения и смутную жажду перемен, которая всегда управляла моей жизнью. Должно быть, в согласии с моими темными желаниями была и моя судьба, которой пора было вести меня к заключительным и страш-

ным событиям пережитой мной истории. Когда, однажды, был я, по своей должности, за столом в комнате графа и выслушивал длинное его объяснение относительно расстояния сферы звезд от солнца, внезапно в комнату вошел вестовой, которого впустили без предупреждения, ввиду важности привезенного им письма. То было известие от архиепископа Трирского Иоанна, что он предпринял поездку в монастырь Святого Ульфа, где проявилась новая ересь, и что ближайшую ночь намерен он провести в замке фон Веллен.

Граф с учтивыми словами отпустил посланца, но когда мы вновь остались вдвоем, пришлось мне выслушать целый поток жалоб и пеней.

– *Nei mihi!*[228] – говорил граф. – Кончилась моя свобода, когда я мог вволю наслаждаться служением музам! Ах, почему я не простой поэт, не знающий других обязанностей, кроме жертв Аполлону, или не нищий ученый, знающий только свои книги!

При этом граф осыпал желчными обвинениями своего сюзерена, насмешливо сравнивая его с другим духовным князем, нашим

благородным современником, архиепископом Магдебургским и Майнцским Альбрехтом[229], которого выставил почти как образец человека. Особенно удручало графа, что он, имея звание советника, непременно должен был сопровождать архиепископа, по крайней мере, на протяжении нескольких дневных переходов, и тут же объявил, что мне придется ехать с ним, так как ни за что не хочет он прерывать своей работы над трактатом. Я, разумеется, согласился весьма охотно, потому что меня нисколько не привлекала мысль остаться в замке без графа, но я не подозревал в ту минуту, что эта поездка должна быть роковой и что самое прибытие архиепископа Иоанна лишь шахматный ход в руках судьбы, которая и князем-курфюрстом империи играет, как простой пешкой, для достижения своих таинственных целей.

В тот же час начались в замке приготовления для приема высокого гостя, и по всем коридорам и проходам замечались слуги и работницы, словно муравьи в потревоженном муравейнике. Я, конечно, нисколько не вмешивался в эту суетню и предпочел остаться в

обычной для меня уединенности, так что даже, когда на склоне дня второй вестовой известил, что поезд архиепископа приближается, не принял никакого участия в его встрече и потому не могу описать ее подробностей. Правда, сидя в своей комнате, занимался я ребяческой игрой: по звукам, смутно доносившимся ко мне, старался угадывать, что именно совершается на дворе, у входа, в большой зале, какие произносятся речи, чем прием сюзерена отличается от шутовского приема, оказанного доктору Фаусту, — но эти праздные мечты не могут предъявлять никаких притязаний на внимание благосклонного читателя.

В том состоянии бездействия, в каком я тогда находился, может быть, провел бы я, не выходя из комнаты, время до ночи, если бы сам граф не прислал звать меня к ужину, и я, принарядившись сколько мог, спустился в Троянскую залу. Этот раз она была убрана с действительной пышностью, ибо число зажженных восковых свеч и длинных факелов было огромно, а в глубине залы воздвигнуты были хоры для музыкантов, уже ожидавших сигнала, с трубами и дудками в руках. Я тот-

час различил среди приезжих фигуру архиепископа, который показался мне довольно представительным в темно-лиловой сутане, с золотой, осыпанной драгоценными камнями пряжкой на груди и в торжественной инфуле[230]. Зато люди его свиты, прелаты, каноники и другие, все произвели на меня впечатление отталкивающее, и, обзревая эти толстые животы и жирные самодовольные лица, невольно вспоминал я незабвенные страницы бессмертной сатиры Себастиана Бранта[231].

Всего тогда, я думаю, собралось в той зале более сорока человек, для угощения которых уже было заготовлено три отдельных стола, чтобы разместить всех сообразно с их правами и достоинствами. За главным столом сели с архиепископом и его приближенными граф, его супруга и рыцарь Роберт, а всем другим были точно указаны их места, куда каждого тотчас и провожали наши пажы, одетые в яркие костюмы и с салфетками, повешенными на шею, по старинному обычаю. Мне был назначен прибор за маленьким столом в стороне, за которым оказался также наш капеллан,

сенешал замка и человек десять из свиты нашего гостя, и я был очень рад, что в этом кругу мог запрятаться как бы совсем незаметно.

Не знаю, что делалось за столом архиепископа, ибо на этот раз у меня не было рвения к наблюдениям, но за нашим все накинудись с истинной алчностью на те блюда, коими постарались щегольнуть наши повара, и пока проходили мимо всевозможные кушанья, среди которых преобладала, конечно, рыба: щуки, карпы, лини, угри, раки, форели, минюги, лососи, пока пажи усердно разливали всякие сорта прирейнских вин, – слышно было только щелканье челюстей и видны были только оттопыренные при жевании щеки. Лишь в конце ужина образовалась некоторая беседа между мною, нашим капелланом и моим соседом за столом, низеньким и толстеньким монахом-доминиканцем, – которую первое время я вел небрежно, но к которой приложил потом все старание, что, может быть, принесло мне свою пользу впоследствии.

Доминиканец начал с жалоб на те утеснения, каким в сей век подвергается в Германии и во всем мире святая католическая цер-

ковь, ибо, по его словам, в жестокости преследований уподобились протестанты готам и гетам в Европе, вандалам в Африке, арианам тут и там, и даже превзошли их. Он рассказал потом несколько случаев, как протестанты хватали верных католиков, мирян и священников, принуждая их отречься от истинной веры, тех же, кто упорствовал, убивали мечом, вешали над кострами, распинали в церквях на святых распятиях, топили в реках и колодцах, подвергали всяким истязаниям, нестерпимым и постыдным, например, заставляя лошадей поедать у них, живых, внутренности, или женщинам набивая срамные части порохом и поджигая такую мину. Отец Филипп, наш капеллан, изъявил все свое негодование при таких рассказах; я же, удивившись на сладострастный восторг, с каким наш собеседник передавал происшествия, если и не невозможные, ибо при разграблении Рима был я сам свидетелем сходных случаев, то все же редкие и исключительные, – осведомился, с кем имеем мы честь беседовать. Тогда доминиканец, с ласковой улыбкой, назвал себя.



– Я – смиренный служитель алтаря, – сказал он, – брат Фома, а в миру Петр Тейбенер, инквизитор его святейшества, имеющий полномочие разыскивать и искоренять пагубные заблуждения еретиков по всем прирейнским землям: Бадену, Шпейеру, Пфальцу, Майнцу, Триру и другим[232].

Признаюсь, что при слове «инквизитор» нечто вроде ощутительной дрожи пробежало по моему телу, от шеи до лодыжек, особенно при совпадении имени нового знакомого с именем знаменитого Фомы де Торквемада [233], полвека тому назад ужасом своих преследований потрясавшего Кастилию и Арагонию. Я знал, что инквизиторы, со времени папской буллы «*Summis desiderantes*» [234], объезжают города и местечки, выискивая лиц, виновных в сношениях с дьяволом, вывешивают на дверях церкви или ратуши объявления, требующие под страхом отлучения от церкви доносить о подозрительных людях, хватают их, пользуются правом подвергать их пытке и позорной казни. Очень быстро, как в минуту, когда захлебываешься, припомнились мне, в последовательном ряде, и ло-

бызание, данное мною мастеру Леонарду, и мое заклинание демона Анаэля, и общение с чернокнижником Агриппою, и недавнее дружество с доктором Фаустом, и мгновенно порешил я быть с моим застольным собеседником сколько можно предупредительнее и обезоружить в нем все сомнения относительно чистоты моей веры.

Поэтому, также назвав себя, принялся я с такой яростью поносить проклятых лютеранцев и самого Мартина Лютера, что наш капеллан, прежде слыхавший от меня рассуждения, непохожие на эти, чуть не онемел от изумления, но тотчас, от всей души, присоединился ко мне. Конец ужина в том и прошел, что, осушая один за другим стаканы бахараха, мы старались перецеголять друг друга в нещадной брани, обращенной к Виттенбергскому пророку.

Брат инквизитор спрашивал гневно:

– И какой он философ? Он – ни скоттист, ни альбертист, ни фомист, ни оккамист[235]. Как не вспомнить предреченного Иисусом Христом: восстанут лжепророки, дадут великие знамения, которыми прельстят и избран-

НЫХ!

Наш капеллан вторил этой речи так:

– Разумеется, что помогал ему дьявол. Не случайно в катехизисе Лютера имя Христа упоминается лишь шестьдесят три раза, а имя нечистого – шестьдесят семь раз.

А я добавлял еще:

– Прав был славный Томас Мурнер[236], когда назвал Мартина Лютера просто большим дураком!

Несмотря на такое единодушие, я был очень рад, когда дело дошло до десерта, лимонного сока и вишен в сахаре, и его высокопреподобие возгласило благодарственную молитву: «*Agimus tibi gratias, omnipotens Deus*» [237], так что можно было наконец встать и начать прощаться. Во всяком случае, я не промахнулся, бросая пригоршнями семена в душу своего собутельника, ибо впоследствии, с ужасом и отчаяньем, пришлось мне увериться в силе этого брата Фомы, который после первого знакомства усердно жал мне руку и даже выпрашивал у меня, не служу ли и я тайно святой инквизиции.

На следующий день я проснулся с радост-

ной мыслью, что сегодня покину замок, невольно сравнивал себя с рыбой, которой из сети вдруг открылся выход в речные струи, и действительно, выйдя на внутренний двор, застал я все приготовления к отъезду. Глядя, как запрягают и седлают лошадей, как навьючивают мулов, как размещают тюки по повозкам и телегам, вообще – при виде оживленной человеческой деятельности, я почувствовал такую бодрость, какой не испытывал уже давно. Исчезла даже та упорная молчаливость, которая держала меня в своих лапах последнюю неделю, и я с большой охотой заговаривал с незнакомыми людьми, давал советы и помогал сборам. Было во мне такое ощущение, словно снаряжаю я некий караван, с которым отправляюсь на поиски нового света и новой жизни.

Сборы заняли не менее двух часов, потому что хлопот было не меньше, как если бы в поход выступала маленькая армия. Не считая того, что в путь отправлялся теперь граф с несколькими людьми из замка, с архиепископом ехала немалая свита из монахов и прелатов, а также вся его походная канцелярия с

несколькими писцами, медик и аптекарь с аптекою, цирюльник и несколько слуг. Кроме этого, отдельные телеги везли съестные припасы, вина, посуду, принадлежности для спанья, белье, походную библиотеку и еще немало тюков, набитых мне не ведомо чем. Думаю, что когда Моисей выводил народ еврейский из Египта, не многим больше было количества вещей и запасов, увозимых ими на многолетнее странствие в пустыне, чем брал с собою архиепископ Трирский в дорогу, где каждую ночь мог проводить под кровом то замка, то монастыря.

Наконец в полдень наш сенешал дал сигнал военным рогом, и все стали поспешно занимать назначенные им места, и я в том числе, верхом на доброй лошади, данной мне графом, поместился в арьергарде, где были и все другие люди замка. Потом на балконе показались две фигуры: архиепископа и графа – и с торжественной медленностью спустились по лестнице вниз, где ждали: первого – закрытая, просторная повозка, запряженная восьмериком, а второго – великолепный конь в богатой попоне, с лентами и перьями, словно

для турнира. Дан был второй сигнал – и сразу все пришло в движение: лошадиные копыта стали подыматься, колеса вертеться, повозки перемещаться, и, словно один многочленистый змей, сжимаясь и вытягиваясь, длинный поезд архиепископа пополз, увлекая с собой меня за ворота замка. Переехав подъемный мост, который заметно погнулся под такой тяжестью, мы разлились широкой толпой по той самой дороге, по которой, две недели назад, я прибыл в замок, и возобновилось мое прерванное путешествие, но при условиях, измененных словно Аркалаем-волшебником, ибо, вместо доктора и его друга, было со мной теперь целое шумное и блистательное общество.

Выехав наконец в поле, испытывал я совершенно детскую радость: вдыхал мягкий весенний воздух, как чудодейственный бальзам, любовался разноцветной зеленью дальних лесов и лугов, ловил на лицо, на шею, на грудь теплые лучи солнца и весь ликовал, словно зверь, проснувшийся от зимней спячки. Без душевной боли вспоминал я в тот час и об Ренате, с которой всего восемь месяцев

тому назад, впервые, рядом, ехал через такие же пустынные поля, и Рената казалась мне уже далекой и забытой, и я даже как-то сам удивился, вспомнив те глухие пропасти отчаяния, в которые упал по разлуке с ней, и еще недавние свои слезы на террасе замка. Мне хотелось не то петь, не то резвиться, как школяру, вырвавшемуся за город, на волю, не то вызвать кого-то на поединок и биться шпага о шпагу, когда от сталкивающихся клинков сыплются вдруг голубоватые искры.

Такое бодрое настроение духа продержалось во мне почти весь день и только к вечеру сменилось некоторым утомлением, преимущественно оттого, что ехали мы чересчур медленно, с многочисленными остановками для отдыха и для завтраков. Только в сумерках достигли мы наконец до цели всего пути: монастыря Святого Ульфа, хотя лихой ездок мог бы доскакать до него от замка фон Веллен в два или с половиною два часа всего-навсего. Когда передо мной выступила четверугольная ограда монастыря, обведенного рвом, как рыцарский замок, не подумал я ничего другого, кроме того, что близок ночлег, и никакое

пророческое волнение не предупредило меня о том, что меня ждало за этими стенами. Безо всякого внимания выслушивал я объяснения одного из монахов, что монастырь этот основан три столетия назад, святой Елизаветой [238], соревновавшей святой Кларе, что в ризнице его хранятся святыни единственные, как плат, коим опоясаны были чресла спасителя на кресте, – и никак я не мог вообразить себе, что к этой обители будет навеки, нержавеющими цепями воспоминания, прикована моя душа.

Так как вестовые и здесь предупредили о приближении архиепископа, то все, еще до нашего прибытия, уже было готово, чтобы приехавшие могли не без удобства провести ночь. Сам архиепископ и несколько его приближенных проехали прямо в монастырь; для большинства лиц были очищены и убраны домики ближней деревни Альтдорфа, а для графа Адальберта наши люди тотчас принялись разбивать походную палатку, словно в военном лагере. В нескольких местах были зажжены большие смоляные бочки, от чего вокруг было странно светло, и черные образы



людей и лошадей, колыхавшиеся при этом непокойном свете, казались чудовищными призраками, выходцами из ада, собравшимися в волшебную долину.

Когда, исполнив разные поручения, разыскал я палатку графа, он уже был там и отдыхал, лежа на разостланной медвежьей шкуре. Увидя меня, он спросил:

– Ну что, Рупрехт, не устал ты от похода?

Я возразил, что я – столь же ландскнехт, сколько гуманист, и что если бы все походы совершались с такими удобствами, как этот, не было бы ремесла более приятного, чем воинское.

Граф распорядился, чтобы у меня всегда были наготове чернила и перья, если ему, как Юлию Цезарю, придет в голову диктовать во время пути, но вместо работы, предпочел начать беседу об обстоятельствах нашего путешествия, в течение которой и сказал мне, между прочим:

– Кстати, тебе это будет любопытно, Рупрехт, так как ты любишь все, что касается дьявола и всякой магии. Знаешь ли, какая ересь проявилась в этом монастыре, куда мы

приехали с такой толпой? Мне самому только что рассказали. Дело в том, что в монастырь поступила одна новая сестра, с которой неотлучно пребывает не то ангел, не то демон. Одни из сестер поклоняются ей, как святой, другие клянут ее, как одержимую и как союзницу дьявола. Весь монастырь разделился на две партии, словно синих и зеленых в Византии, и в распре приняла участие вся округа, рыцари ближних замков, мужики ближних деревень, попы и монахи. Мать аббатиса потеряла всякую надежду справиться со смутой, и вот теперь архиепископу и нам предстоит решать, кто здесь действует: ангел или демон? или просто всеобщее невежество.

Только после этого сообщения первое предчувствие вздрогнуло в моем сердце, и сразу смутное волнение окутало мою душу, как окутывает предметы густой дым. Чем-то знакомым подвевало на меня от слов графа, и мне представилось, будто я уже слышал раньше об этой сестре, с которой пребывает неотступно не то ангел, не то демон. С замиранием голоса я спросил, не называли ли имени той новой монахини, с прибытием которой в

монастыре начались эти чудеса.

Немного подумав, граф отвечал:

– Вспомнил: ее зовут Мария.

Этот ответ во внешнем успокоил меня, но где-то в глубине моего духа продолжалась тайная тревога. И, засыпая на своем разостланном плаще, не мог я отогнать воспоминаний о том дне, когда в деревенской гостинице разбудил меня долетавший из соседней комнаты женский умоляющий голос. Доводами разума старался я образумить себя и доказывал, что кругом нет никого, кроме монахов и воинов, но мне все, и сквозь первый сон, казалось, что сейчас я слышу зов Ренаты. И во сне ее образ был снова со мной таким живым и реальным, каким еще ни разу до того не приводил его ко мне бог сновидений.

Эти предчувствия не обманывали меня, потому что на другой день мне предстояло увидеть вновь ту, которую я уже считал невозвратно утраченной.

## Глава четырнадцатая

### *Как архиепископ экзорцизмами боролся с демонами в монастыре Святого Ульфа*

#### I

Утро следующего дня было ясное и яркое, и я, вышедши рано в поле, присел на пригорке, спускавшемся к маленькой речке, отделявшей наш лагерь от монастыря, и стал прилежно его рассматривать. То был весьма обыкновенный монастырь, каких много воздвигали в старину, безо всякой заботы о красоте постройки, обнесенный толстыми стенами, заключавшими в свой квадрат грубые строения для келий и один храм, первобытно-стрельчатой архитектуры. Хотя видны были мне, с моего возвышения, и двор, содержащий весьма чисто, и кладбище, с посыпанными песком дорожками вокруг могил, и крыльца отдельных домов, но час был еще столь ранний, что все было пустынно и первая обедня еще не начиналась. И довольно долго так сидел я, словно соглядатай, высматриваю-

щий путь в неприятельский город, но преданный мыслям и смутным и невыразимым, как впечатления от позабытого сна.

Мечтания мои прервал брат Фома, приблизившийся неслышно и приветствовавший меня как давнего друга, и я, как ни тягостно мне было, что потревожили мое уединение, почти обрадовался этой встрече, подумав тотчас, что от инквизитора можно узнать подробности о сестре Марии: ибо темное беспокойство не покидало моей души. Однако брат Фома, вместо ответа на все мои вопросы, повел длинную и лицемерную речь о развращении века сего и начал пространно жаловаться, что потакают протестантам сами князья церкви. Так, понизив голос, словно мог нас кто услышать, сообщил он мне, что архиепископ кельнский[239], Герман, состоит в дружбе с Эразмом, и притом долго щадил еретиков Падерборнских, и что даже наш архиепископ Иоанн, в свите которого мы оба состоим, не погнушался заключить союз с Филиппом Гесенским, отъявленным лютеранцем. Очень может быть, что такие клеветы рассчитаны были на то, чтобы услышать, в свою очередь,

от меня доносы на других лиц, хотя бы на нашего графа, но я был очень осторожен в ответах и постоянно старался перевести разговор на то событие, ради которого было предпринято все наше путешествие.

В конце концов брат Фома сказал мне:

– Сестру Марию многие славят как святую и уверяют, что обладает она даром исцелять больных одним наложением рук, как благочестивейший король французский. Мне, однако, скромная моя опытность подсказывает, что сестра эта состоит в сношениях с дьяволом, который снискал ее доверие, являясь к ней по ночам в образе инкуба. Такой грех, к сожалению, все чаще проникает в святые обители, и недаром в Писании сказано о грешнике: «Се – ты почиваешь на законе и хвалишься о боге» [240]. Князь-архиепископ надеется изгнать этого духа силою молитвы и экзорцизмов, но я так полагаю, что придется, с прискорбием, прибегнуть к допросу и пытке, чтобы обличить порочную душу и найти соучастников преступления.

Большого я не мог добиться от инквизитора, да и беседа наша вскоре прекратилась, так

как раздался в монастыре звон, призывающий во храм. С нашей высоты видно было, как сестры выходили из дверей отдельных строений и вереницами тянулись через двор к церкви; но тщетно всматривался я в маленькие фигурки, которые, за дальностью расстояния и одетые в одинаковые серые одежды клариссинок, все были похожи друг на друга и казались марионетками уличного театра. Когда последнюю из них поглотила пасть церковных дверей и к нам стали доноситься звуки органа, мы с братом Фомою попрощались: он направился слушать мессу, а я пошел разыскивать графа.

Графа застал я уже совершенно одетым и в настроении духа самом веселом, чем и постарался искусно воспользоваться, чтобы проникнуть с его помощью в монастырь. Зная, на какую приманку легче всего его поймать, я напомнил ему о взглядах на демонов знаменитейшего Гемиста Плетона[241], веровавшего в реальность демонов, полагая их богами третьего порядка, которые, получив благодать от Зевса, ею охраняют, укрепляют и возвышают людей. Также указал я графу на воз-

возможность, что некоторые боги древности, пережив столетия, достигли нашего времени и что не кто другой, как Поджо Браччолино, повествует о древнем боге Тритоне, изловленном на берегу Далмации, где местные прачки заколотили его насмерть вальками. Этими и подобными соображениями постарался я возбудить в графе интерес к событиям в монастыре, и наконец он, так как и без того подобало ему быть близ архиепископа, объявил мне, наполовину смеясь:

– Ну, что ж, Рупрехт! Если так тебя занимают эти ангелы и демоны, вселившиеся в бедных монашенок, пойдем и исследуем это событие на месте. Только заметь, что ни Цицерон, ни Гораций никогда не повествуют ни о чем подобном[242].

Не медля, вышли мы из нашей палатки, спустились в долину речки, перешли ее по двум качающимся жердям, танцуя, как гауклеры, и скоро были уже у монастырских ворот, где сторожившая монашенка почтительно встала при нашем приближении и поклонилась знатному рыцарю чуть не земно. Граф приказал ей отвести нас к настоятель-



нице монастыря, с которой был несколько знаком, и она проводила нас через двор и садик в отдельный деревянный домик, в его второй этаж, по шаткой лестнице, и, юркнув первая в дверь, потом отворила ее, снова низко кланяясь и приглашая нас войти. Весь этот маленький переход, путь от палатки графа до кельи настоятельницы, почему-то запомнился мне необыкновенно, словно бы врезал мне в память его картину некий гравер, так что сейчас выступают передо мной отчетливо все изгибы дорожек, все виды, менявшиеся при поворотах, все кусты по сторонам.

Келья настоятельницы была невелика и вся была заставлена мебелью, старинной и тяжелой, со множеством святых изображений везде: статуй Девы Марии, распятий, четок, повешенных на стене, различных благочестивых картинок. При входе нашем настоятельница, женщина уже весьма пожилая, имя которой в монашестве было Марта, но которая происходила из знатного и богатого дома, сидела, словно вся ослабнувшая, в глубоком кресле, причем близ нее была только ее келейница, но напротив уже стоял как до-

кладчик брат Фома, успевший втереться сюда. Граф, очень почтительно, назвал себя, напомним прежнее знакомство, и настоятельница, несмотря на преклонные годы, следуя, вероятно, уставу монастыря, приветствовала его тоже весьма низким поклоном.

Наконец, после разных других учтивостей, требуемых тем, что итальянцы называют *bella parlare*[243], все мы заняли свои места, граф сел в другое кресло против настоятельницы, а я и брат Фома стали сзади него, как бы люди его свиты. Только тогда наконец обратился разговор на свою истинную тему и граф начал расспрашивать мать Марту о сестре Марии.

– Ах, высокочтимый граф! – отвечала мать Марта. – То я пережила за последние две недели, что никогда, по милосердию божию, не чаяла испытать во вверенном мне монастыре. Вот скоро пятнадцать лет, по мере своих слабых сил, пасу я стадо моих овец, и наша обитель была до сих пор украшением и гордостью страны, ныне же стала соблазном и предметом раздора. Скажу вам, что иные теперь даже боятся приближаться к стенам на-

шего монастыря, уверяя, что в него вселился дьявол или целый легион злых духов.

После таких слов граф стал вежливо настаивать, чтобы настоятельница рассказала нам подробно все события последнего времени, и она, не сразу и неохотно, приступила наконец к подробному рассказу, который передам я здесь в изложении, ибо речь ее была слишком пространной и не во всем искусной.

Месяца полтора тому назад, по словам матери Марты, пришла к ней неизвестная девушка, назвавшая себя Марией, и просила, чтобы позволили ей остаться при монастыре хотя бы на должности самой последней служанки. Пришедшая понравилась настоятельнице своей скромностью и разумностью своей речи, так что, пожалев бездомную скиталицу, не имевшую с собой решительно никаких вещей, она позволила ей жить при монастыре. С первых же дней новая послушница Мария проявила ревность необыкновенную в исполнении всех церковных служб и усердие неистовое в молитве, часто всю ночь до первой обедни проводя на коленях перед распятием. Вместе с тем заметили вскоре, что мно-

жество чудесных явлений сопровождало Марию: ибо то под руками ее несвоевременно распускались на зимних стеблях цветы; то видели ее в темноте осиянной неким светом, словно нимбом; то, когда молилась она в церкви, раздавался близ нее нежный голос, исходивший из незримых уст, которые пели святую кантику; то на ладонях ее выступали святые стигматы, словно от пригвождения ко кресту. В то же время открылся у сестры Марии дар чудотворения, и она стала исцелять всех больных одним прикосновением, и стало их стекаться в монастырь все больше и больше из окрестных селений. Тогда настоятельница спросила у Марии, какой силой творит она эти чудеса, и она призналась, что неотступно сопровождает ее один ангел, который дает ей наставления и поучает подвигам веры, причем объяснила это все столь чисто-сердечно, что трудно было усомниться в ее исповеди. Сестры же монастыря, восхищенные ее дивными дарованиями, соединенными к тому же с крайней скромностью и почитательностью ко всем, — были исполнены пламенной к ней любовью, радуясь, что де-

вушка, столь святая, вошла в их союз, и, конечно, не почитали уже ее послушницей, но равной себе или даже первой среди других.

Все это длилось более трех недель, и за это время слава сестры Марии возрастала как в округе, так и в самом монастыре, где явились у нее поклонницы преданнейшие, не покидавшие ее ни на шаг, славившие ее добродетели громогласно и почти поклонявшиеся ей, как новой преподобной. Но среди остальных сестер нашлись понемногу и недоброжелательницы, которые стали высказывать сомнения, подлинно ли божеским наитием творит свои исцеления сестра Мария и не есть ли все происходящее в обители новые козни древнего врага рода человеческого – дьявола? Обратили внимание, что явления, везде сопровождающие сестру Марию, не всегда подобали ангельской воле, ибо порой слышались близ нее как бы удары невидимым кулаком в стену, или при ней некоторые предметы сами собой вдруг падали, словно брошенные, и тому подобное. Потом некоторые из сестер, приблизившихся к сестре Марии, на исповеди покаялись духовнику, что с недавних пор нача-

ли их бороть странные соблазны, а именно: ночью в их кельях стали им являться образы прекрасных юношей, как бы сияющих ангелов, которые уговаривали вступить с ними в плотскую любовь. Когда обо всем этом сказали сестре Марии, она весьма опечалилась и просила удвоить молитвы, усилить посты и ревность иных монашеских подвигов, говоря, что там, где близко святое, всегда рыщут и духи коварства, ища погубить хорошие семена.

Однако, хотя сестра Мария и ее приверженницы действительно молились неустанно и подвергали себя всякого рода благочестивым испытаниям, проявления злой силы в монастыре стали усиливаться с каждым днем. Таинственные стуки в стены, в пол, в потолок слышались везде, как в присутствии сестры Марии, так и без нее; проказливые руки по ночам опрокидывали мебель и даже святые предметы, путали содержимое в ящиках, производили всякого рода беспорядок в комнатах и храме; порой неизвестно кто метал с поля в монастырь тяжелые камни, словно осыпая его ядрами, что было весьма страшно; в темных проходах сестры ощущали прикоснове-

ния незримых пальцев или вдруг попадали в чьи-то темные и холодные объятия, что наполняло их трепетом несказанным; затем демоны стали показываться воочию, в виде черных кошек, являвшихся неведомо откуда и забиравшихся смиренным сестрам под одежду.

Первое время настоятельница пыталась бороться с грехом и наваждением уговорами и молитвами; после монастырский священник читал достодолжные молитвы и кропил все покои святой водой; еще после пригласили известного заклинателя из города, который двое суток творил экзорцизмы, заговаривал хлеб и воду, сор и пыль, но смятение только все возрастало. Видения стали являться во все часы дня и ночи и во всех углах: призраки показывались сестрам во время молитвы, во время обеда, на постели, там, куда шли они за своей нуждой, в кельях, на дворе, в церкви. Стали раздаваться неизвестно откуда звуки арф, и сестры не имели сил одолеть искушение и начинали плясать и кружиться. Наконец, демоны стали входить в сестер и одержать их, так что, повергнув на пол, под-

вергали всяким спазмам, корчам и мучениям. Сестра Мария, хотя она тоже не избегала таких припадков, продолжала уверять, что это лишь натиски злого воинства, с которыми должно бороться всеми силами, следуя указаниям ее ангела, и оставались сестры, которые продолжали верить ей и чтить ее. Но зато тем яростнее кляли ее другие, говоря, что это она напустила порчу на монастырь, и обвиняя ее в пакте с дьяволом, так что совершилось великое разделение в обители и распря постыдная и губительная. Тогда-то, в такой крайности, решено было обратиться к князю-архиепископу, коему, по преемству от святых апостолов, дано в сем мире вязать и разрешать грехи наши[244].

Вот что рассказала нам мать Марта, в длинной и запутанной речи, хотя она повторяла ее, по-видимому, не первый раз, и, пока она говорила, узнавал я с несомненностью черты из образа Ренаты, так что страх и отчаяние разом вселились в мою душу, тоже как демоны, и я слушал повествование, как осужденный чтение смертного приговора. Когда настоятельница кончила рассказ, граф, про-



явивший к нему неожиданное для меня внимание, спросил, нельзя ли призвать сюда сестру Марию, чтобы задать ей несколько вопросов.

– Несколько дней, – отвечала настоятельница, – я запретила ей выходить из кельи, ибо присутствие ее возбуждает волнение – и за трапезой, и в часы святой мессы. Но тотчас я пошлю за ней и прикажу привести ее.

Мать Марта сказала вполголоса несколько слов своей келейнице, и та, поклонившись, вышла, а я, при мысли, что сейчас увижу Ренату, едва мог стоять на ногах и принужден был опереться на стену, как человек совсем пьяный. А между тем, как послушница ходила за сестрой Марией, настоятельница сказала графу следующее:

– Высокочтимый граф! Я, что бы ни было, но должна сказать вам, что, со своей стороны, обвинить бедную Марию не могу ни в чем. Не знаю, верно ли, что сопровождает ее ангел божий, но убеждена, что по своей воле не вступала она ни в какой союз с демоном. Вижу, что она очень несчастна, и сегодня жалею ее столь же, как в день, когда она, неимущая и

голодная, пришла просить у меня приюта.

За эти благородные слова я готов был пасть на колени перед почтенной женщиной, но тут отворилась дверь, и вслед за келейницей, тихой поступью, с глазами опущенными, в одежде монахини, с покрытой головой, вошла – Рената и, сделав низкий поклон, остановилась перед нами. Я не мог не узнать ее, хотя бы и в несвойственном ей сером одеянии клариссинки, не мог не узнать ее лица, любимого всеми силами моего сердца, знакомого, как самый дорогой в жизни образ, – хотя и побледневшего, изможденного страданиями последних недель. Рената была все та же, какой я знал ее, то иступленно-страстной, то в последнем бессилии отчаянья, то в необузданном гневе, то спокойно-рассудительной среди книг, то милой, доброй ласковой, нежной, кроткой, как дитя, с детскими глазами и с детскими, чуть-чуть полными губами, – и я, в тот миг, потеряв последнее обладание собой, невольно воскликнул, обращаясь к ней:

– Рената!

Все, бывшие в комнате, невольно обернулись ко мне, ибо до той минуты я не вымол-

вил ни слова, а Рената, не сделав ни движения, только подняла на меня свои ясные глаза, одно мгновение смотрела мне прямо в лицо и потом произнесла тихо и раздельно:

– Отойди от меня, сатана!

Граф, изумленный, спросил меня:

– Разве ты, Рупрехт, знаешь эту девушку?

Но я уже поборол свое волнение, поняв, что вся надежда для меня заключается в соблюдении тайны, и ответил:

– Нет, милостивый граф, я вижу теперь, что ошибся: этой я не знаю.

Тогда граф сам обратился с вопросом к сестре Марии:

– Скажите мне, милая девушка: знаете вы, в чем вас обвиняют?

Своим обычным, очень певучим, голосом, в котором теперь было, однако, необычное смирение, Рената отвечала:

– Господин! Я пришла сюда искать мира, потому что измучилась слишком, и не обращаясь ни к кому с мольбой, кроме как к всевышнему богу. Если враги мои ищут погубить меня, может быть, у меня и не останется сил с ними бороться.

Подумав, граф спросил еще:

– Видали ли вы сами когда-либо демонов?

Рената отвечала с гордостью:

– Я всегда от них отворачивалась!

Тогда граф задал свой третий вопрос:

– А вы верите в существование злых духов?

Рената возразила:

– Я верю не в злых духов, но в слово божие, которое об них свидетельствует.

Граф улыбнулся и сказал, что больше ему спрашивать пока не об чем, и Рената, снова низко поклонившись, покинула келью, не взглянув на меня вторично, а я остался, потрясенный этой встречей более, чем самым страшным видением. Не помню я, о чем после того говорили между собой граф и мать Марта, но, впрочем, разговор их вскоре прервался, ибо прибежала сестра-ключница, говоря, что его высокопреподобие приказывает немедленно всем сестрам и всем приехавшим с ним собраться в церкви. Настоятельница, конечно, торопливо встала, отдавая приказания, а граф обратился ко мне и сказал:

– Пойдем и мы, Рупрехт. Да почему же ты

так бледен?

Последнее замечание показало мне, что я не сумел утаить от других своего смущения, и потому я сделал все усилия, чтобы сохранить спокойный вид, сжимая зубы до боли и напрягая всю свою волю.

Когда выходили мы из домика, где жила настоятельница, брат инквизитор, идя сзади графа, спросил меня, по-видимому, не без коварства:

– Что вы теперь думаете о сестре Марии: не были ли слова мои, вам сказанные утром, истиною?

Я возразил:

– Думаю, что тут нужно еще подробное исследование, ибо многие стороны дела для меня темны.

Брат инквизитор радостно подхватил мою мысль и стал распространять ее так:

– Вы, конечно, правы, и мы оба с вами видим, что истинного следствия произведено еще не было. Прежде всего должно установить, что здесь имеет место (ибо влияние дьявола сомнению уже не подлежит): одержание или овладение, *possessio sive obsessio*. В пер-

вом случае эти обсерватинки[245], и особенно, эта сестра Мария, грешны союзом с демонами, коих допустили они в самое свое тело; во втором виноваты они лишь слабостью духа, что позволили бесам извне управлять собою. Много существует средств к открытию этого, как, например: у одержимых не идет кровь, если порезать тело ножом, благословив его; они могут держать красный уголь в руке, не обжигаясь; также не тонут в воде, если туда бросить их связанными, и тому подобное[246]. Затем необходимо выяснить, причиняли ли виновные ущерб лишь своей душе или также и окружающим: изводили ли они наговорами скот и людей, делали ли женщин бесплодными, напускали ли дожди и туманы, подымали ли бури, выкапывали ли трупы младенцев, и подобное[247]. Наконец, надлежит установить точно, какие именно демоны проявили здесь свою богомерзкую деятельность, их имена, их излюбленные внешние облики и те заклятия, коим они подчиняются, – дабы впоследствии легче было противостоять их губительному влиянию.

Брат инквизитор говорил еще многое дру-

гое, но я постарался не слушать его диалектики, ибо казалось мне, что каждое его слово обрызгано омерзительной, ядовитой слюной. Стараясь обрести уединение среди своих спутников, я начал про себя шептать молитвы, ибо не к кому было обратиться, кроме всевышнего, и говорил так: «Господи, если хочешь ты, чтобы я в тебя веровал, сделай так, чтобы сегодня все обошлось благополучно!» И поистине, от сердца была моя молитва, и мне хочется вспомнить слова божественного спасителя об отце нашем небесном: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?»»

## II

**М**едленно подвигаясь вперед, дошли мы все же до дверей храма, где уже толпилось немало народа, ибо собрались не только все приехавшие с архиепископом, но и многие из окрестных жителей, а, конечно, было бы любопытных, желающих видеть своего князя и его борьбу с демонами, и гораздо больше, но по его собственному приказанию простых крестьян в монастырь не пропуска-

ли, и они толпились за воротами. Для нас, которые шли с графом, проход в церковь был, разумеется, свободен, и тотчас оказались мы под крестовыми сводами старинного храма, темного, угрюмого, гулкого, но не лишнего своего величия, и я стал всматриваться в ряды серых монашенок, жавшихся, как испуганная стая голубей, *seu tempestate columbae* [248], как говорит Вергилий Марон, все в одной стороне; но Ренаты среди них не было. Граф, а близ него и я с братом Фомою заняли места на первой скамье, и на несколько минут, пока длилось общее молчаливое и томительное ожидание, углубился я в горестные воспоминания о тех днях, когда в других церквах, таясь за колоннами, так же выискивал я глазами Ренату. Я знал, что сейчас она войдет сюда, что я вновь увижу ее, и от этого сознания мое сердце в груди колотилось, как сердце робкой ящерицы, которую схватила грубая рука человека.

Скрип двери заставил меня поднять глаза, и я увидел, как из сакристии, с двумя келейницами, вышла сначала мать Марта, за ней, потупив глаза, но поступью твердой – Рената,



а сейчас же после них, едва прошли они к другим сестрам, – князь-архиепископ, в сопровождении двух прелатов и монастырского священника. Архиепископ был в торжественном облачении, шитом золотом, с эпитрахилью на плечах, с богатым епископским посохом в руке, в инфуле, еще более роскошной, нежели на вечере в замке, по рубцам унизированной драгоценными камнями, сверкающими при свете зажженных, несмотря на полдень, восковых свеч, и все, при его входе, пали на колени. Архиепископ с прелатами прошел прямо к алтарю, где, также став на колени, прочел молитву «*Omnipotens sempiternus Deus*» [249], и, когда кончил, вся церковь в один голос ответила: «*Amen*», в том числе и Рената, которая, одиноко от других, впереди скамеек, стояла на коленях, на виду у всех. Потом, встав и обратившись к нам, архиепископ голосом громким и четким воззвал: «*Te invocamus, te adoramus*» [250] и далее, и мы все отвечали ему тем же. Наконец, благословив воду, он этой освященной водой брызнул на все четыре страны света и, сев на архиепископское кресло, приказал Ренате прибли-

зиться.

Взоры мои были связаны с образом Ренаты так прочно, что, думаю я, никакая сила в ту минуту не могла бы повернуть мою голову в другую сторону, и я видел каждое малейшее колебание одежды Ренаты, когда, медленно поднявшись, она сделала несколько шагов вперед и вновь, перед самым креслом архиепископа, опустилась наземь. Архиепископ сделал знак креста на ее челе, возложил благословляюще руки на ее голову и произнес новую молитву «*Benedicat te omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus*» [251], которую выслушала Рената в тихой покорности и на которую все мы вновь отвечали «*Amen*». У меня же, пока длились все эти обряды, так как видел я, что во всем Рената проявляла себя верной дочерью святой церкви и что не было никаких следов присутствия злой силы, – возникла радостная надежда, что все может обойтись благополучно, словно первая полоска ясной зари, проглянувшая во тьме моей души.

После второй молитвы архиепископ опять встал и обратился к нам всем с такой речью:

– Возлюбленные братья и сестры! Достаточно ведомо, что дух тьмы принимает часто облик ангела света, чтобы тем вернее соблазнить и погубить слабые души. Но на то и дан нам духовный меч, чтобы отсечь в таком случае ему постыдную морду, и мы призываем вас не страшиться более. Ты же, любезная дочь наша, ответь нам: какое имеешь ты свидетельство, что видения твои от господа, а не от дьявола?

Тут вновь услышал я голос Ренаты, тихий, сдержанный, но ясный, и она сказала:

– Высокочтимый отец! Я не знаю, от кого мои видения, но тот, кто является мне, говорит мне о боге и о добре, призывает меня к жизни непорочной и клянет мои прегрешения, – как же я ему не поверю?

Но едва только Рената кончила эти слова, как вдруг, кругом нее, в пол, словно бы изнизу, раздались быстрые и порывистые удары, те самые, о которых говорила она, что это стучат «маленькие» [252]. В тот же миг в церкви произошло великое смятение: среди сестер послышались вскрики, все зашевелились, и я сам не мог преодолеть внезапного ужаса, по-

трясшего меня, а архиепископ, гневно и мощно ударив посохом, воскликнул:

– Чьи это козни? Отвечай!

Мне лица Ренаты не было видно, но по дрожи ее голоса я понял, что она – в величайшем волнении, и голосом очень тихим она произнесла:

– Отец! Это – враги мои.

Архиепископ, не теряя обладания собой, начал заклинание, говоря сначала на нашем языке:

– Выступи вперед, темный дух, ежели обрел ты себе пристанище в этом святом месте! Ты – отец лжи, и разрушитель истины, и выдумщик неправоты; узнай же, какой приговор произнесет ныне наша простота твоим исхищрениям! Разве же ты, осужденный дух, не подчинишься воле нашего создателя? Ты впал в смертный грех и низвержен был со святой горы в темные пропасти и в бездны преисподней. Ныне же, гнусное создание, кто бы ты ни был, к какой адской иерархии ни принадлежал, но если, по попущению божию, ты обманом вторгся в доверие сих благочестивых женщин, мы называем отца всемогу-

щего, мы умоляем сына-искупителя, мы призываем благословенного духа святого против тебя! О, древний змий! тебя анафемствуем, тебя изгоняем, тебя проклинаяем, от твоих деяний отрицаемся, это место тебе воспрещаем, да бежишь, устыженный, униженный, изгнанный, в места странные и безводные, в пустыни ужасные, людям недоступные, и там, прятаясь и грызя узду своей гордости, да ожидаешь ты страшного дня последнего Суда! Не насмеешься ты над служительницами Иисуса Христа, не обманешь никого из них, беги поспешно, уходи скоро, оставь их поклоняться богу в мире!

Но пока архиепископ произносил эти проклинания и заклинания, стуки не только не прекращались, но все возрастали, и начали раздаваться уже не только в полу, но в скамьях, в стенах церкви и даже доносились с ее высоких крестовых сводов, причем сила их увеличивалась, и уже казалось, что ударяют со всего размаха могучим молотом. Вместе с тем увеличивалось и смятение в церкви, ибо многие из зрителей в страхе искали выхода, а среди сестер поднялся крайний переполох:

одни из них трепетно прижимались друг к другу, как овцы при появлении волка, другие же, не выдержав, кричали Ренате проклятия и укоры. А сама Рената оставалась неподвижной, как статуя, вырезанная из дерева, не подымаясь с колен, но и не наклоняя голову, словно бы все, происходившее вокруг, ее не касалось.

Наконец, из рядов сестер, одна монахиня, юная и красивая, сколько мог я разглядеть, вдруг вырвалась вперед, выбежала на середину церкви, делая странные движения и что-то крича непонятное, а потом поверглась на пол и начала биться в том припадке одержания, какие случалось мне наблюдать у Ренаты. Тут, в страхе и смущении, все повскакали со своих мест, и я тоже устремился к упавшей девушке, и видел, как она страшно вытягивалась, причем живот ее выпучивался под одеждой, словно бы она вдруг становилась беременной. Но архиепископ властным голосом приказал всем оставаться неподвижными. Потом, приблизившись к несчастной, он велел прелатам крепко связать ее святыми эпитрахиями, чтобы она не могла биться, и,

брызнув в лицо ей святой водою, спросил громко, обращаясь к ней:

– Здесь ли ты, проклятый сеятель смуты?

И связанная сестра отвечала, причем устами ее говорил вошедший в нее демон, так: «Я здесь!»

Этим ответом мы были поражены больше, чем всем предшествовавшим, а архиепископ спросил снова:

– Заклинаю тебя именем бога живого, отвечай: ты злой дух?

Сестра отвечала: «Да!»

Архиепископ спросил:

– Ты тот, который соблазнил сестру Марию под обликом ангельским?

Сестра отвечала: «Нет, ибо нас здесь много».

Архиепископ спросил:

– Отвечай, с какой целью измыслили вы сей обман и ложными ликами обольстили служительниц бога?

Ответа не последовало, и архиепископ спросил снова:

– Имели ли вы постыдное намерение погубить вечное блаженство сих благочестивых

сестер и все общежитие от святости обратить в нечестие?

Сестра отвечала: «Да!»

Архиепископ спросил:

– Отвечай: имели ли вы сообщниц среди сестер этой обители?

Сестра отвечала: «Да!»

При этом ответе все, толпившиеся вокруг, содрогнулись, а архиепископ спросил:

– Кто же был такой сообщницей? Не та ли, в теле которой ты сейчас обретаешься?

Сестра отвечала: «Нет!»

Архиепископ спросил:

– Тогда не сестра ли, именующая себя Мария?

Сестра ответила: «Да!»

Я понял в эту минуту, что то был произнесен смертный приговор Ренате, а архиепископ, вновь брызнув святой водой на поверженную и связанную сестру, начал заклинать одержавшего ее демона, чтобы он вышел из ее тела.

– Дух лукавый и порочный, – говорил архиепископ, – приказываю тебе – покинь это тело, которое неправо избрал ты своим место-



пребыванием, ибо оно есть храм духа святого. Изыди, змея, поборник хитрости и мятежа! Изыди, хищный волк, полный всяческой скверны! Изыди, козел, страж свиней и вшей! Изыди, ядовитый скорпион, проклятая ящерица, дракон, рогатая гадина! Повелеваю тебе именем Иисуса Христа, ведущего все тайны, иди вон!

При этом последнем заклинании связанная сестра стала особенно сильно биться и стонала уже от своего лица:

– Он идет! Он идет! Он в моей груди! Он в моей руке! Он у меня в пальцах!

По мере того как она говорила, вздутие ее живота переходило сначала на грудь, потом на плечо, потом она приподняла вверх связанные руки и, наконец, осталась неподвижной, как больной, обессиленный страшным приступом болезни. Брат Фома говорил после, что он, и некоторые другие с ним, видели демона, вылетавшего из пальцев несчастной, в виде маленького человечка, бесформенного и безобразного, который и унесся на дымном облаке в церковную дверь, оставив по себе зловоние, но я, хотя наблюдал все происхо-

дившее пристально, не видел такого видения и такого запаха не заметил. Когда же бесновавшаяся сестра утихла и стало явно, что одержавший демон ее покинул, архиепископ приказал ее унести, ибо она идти не могла, а сам направился вновь к Ренате, и мы все вслед за ним.

Рената, во все время заклинания бесновавшейся сестры, оставалась в стороне от нас, стоя по-прежнему на коленях и не делая даже попытки обернуть к нам лицо. Несколько раз влекло меня подойти к ней и заговорить с ней, но удерживала мысль, что этим я выдам свою близость к ней, тогда как помочь ей и, может быть, спасти ее мог я только в том случае, если меня будут считать ей чужим и даже враждебным. Поэтому, преодолевая страстное влечение, я оставался вдали от нее, вместе со всеми, и, тоже вместе со всеми, приблизился к ней лишь тогда, когда вновь к ней подошел архиепископ. На этот раз я постарался стать так, чтобы я мог видеть лицо Ренаты и чтобы она меня видела, но выражение ее лица, столь мною изученного, не предвещало мне ничего доброго, ибо тотчас заметил я, что

выражение кротости сменилось на нем выражением суровости и упорства, – и новый томлящий страх ущемил мне сердце. Должен я прибавить к этому, что таинственные стуки, хотя несколько притихли на время беседы архиепископа с демоном, однако не смолкали совершенно и порою все еще раздавались то в стенах, то в полу, то под сводами.

Вернувшись к алтарю, архиепископ приказал, в знак печали, погасить восковые свечи, потом, обратившись к Ренате, ударил сурово посохом по каменной плите и воззвал:

– Сестра Мария! Один из врагов наших, кого, с помощью господней и данной нам свыше властью, понудили мы покинуть тело одной из сестер твоих, сообщил нам, что ты находишься в греховном пакте с дьявольскими силами. Кайся перед нами в богоотступничестве своем.

Рената подняла голову и ответила твердо:

– Неповинна я в грехе, который ты назвал.

Чуть она это сказала, вдруг раздались такие потрясающие удары кругом, словно бы все стены храма расседались и рушились, или словно бы пушки своими ядрами и стено-

битные орудия своими таранами громили нас со всех сторон. В гуле и грохоте ударов, быстро следовавших один за другим, минуту ничего нельзя было слышать, и все присутствующие пали ниц вокруг архиепископа, простирая к нему руки, как к единственному человеку, способному спасти их. Он же, все-таки не утратив силу духа, устремил вперед посох, как магический жезл, и, обращаясь уже не к Ренате, но к демону, которого полагал вселившимся в нее, воскликнул повелительно:

– Злой дух! Тем, кто приведен был перед Каиафу, первосвященника иудейского, был спрашиваем и давал ответ, заклинаю тебя, отвечай мне: ты ли – противник божий и слуга антихристов?

Тогда Рената вдруг встала с колен и, смотря прямо на архиепископа, отвечала, от чьего имени, не знаю:

– Святым и таинственным именем бога, Адонаи, клянусь и свидетельствую: я – служитель всевышнего, предстоящий у трона его!

И снова ответ ее сопровождался страшным грохотом, но в то же время несколько сестер,

вырвавшись из рядов, бросились к Ренате, приникли, став на колени, к ее ногам, и восклицали в безумии:

– И мы! и мы! свидетельствуем! Сестра Мария – святая! Ессе ancilla Domini! Ora pro nobis!  
[253]

В крайней ярости архиепископ, весь красный от напряжения, с лицом, по которому струился пот, воззвал:

– Прочь, коварный дух! Vade retro![254] Дети, опомнитесь!

Но девушки продолжали вопить, обнимая колени Ренаты, которая стояла, со взорами, устремленными ввысь; страшные стуки продолжались кругом, и волнение всех достигло такого напряжения, что никто уже не мог владеть собой, но все кричали, плакали или хохотали исступленно. Я видел, что сам архиепископ наконец потрясен, но, еще раз возвысив голос, начал он один из самых сильных экзорцизмов в таких выражениях:

– Per Christum Dominum, per eum, qui venturus est iudicare vivos et mortuos, obtemperare! Spiriti maligni, damnati, interdicti, exterminati, extorsi, jam vobis impero et

praecipio, in nomine et virtute Dei Omnipotentis et Iusti! In icti oculi discedite omnes qui operamini iniquitatem! [255]

Однако он был еще далек от конца, когда сначала одна сестра, потом другая, с хохотом и рыданием, поверглись на пол, так как ими овладели сторожившие тут духи, и тотчас многие другие тоже не могли устоять от приступа на их тела злых сил. Несчастные девушки, одна за другой, вдруг со стоном падали и страшно бились о каменные плиты пола, выкрикивая или богохуления, называя самого архиепископа служителем дьявола, или речи нечестивые, величая сестру Марию невестою ангела небесного. Крики, стоны, хохот, богохульства, жалобы, проклятия – все смешивалось с таинственными стуками незримых рук и со смятением других зрителей, которые, потрясенные ужасом, шатаясь, как пьяные, старались бежать к выходу, и не было в этой толпе ни одного человека, который удержал бы обладание собой: так велика была сила демонов, бесспорно, заполнивших весь храм. Я тоже почувствовал, что голова моя кружится, что горло мое сжато, что в глазах у меня по-

темнело, и мне тоже хотелось кинуться к Ренате, стать перед ней на колени, обнять ее ноги и кричать в лицо архиепископу, что она – святая, и, может быть, продлись такое положение еще минуту, я бы это исполнил.

Два было человека, которые в этом исступлении сохраняли некоторое спокойствие: архиепископ, все еще повторявший, хотя и дрогнувшим голосом, слова экзорцизмов, уже неслышные в общем шуме, и Рената; обнимая руками своих верных привержениц, среди криков и стонов, среди славословий и проклятий, стояла она прямо против архиепископа, устремив глаза ввысь, и неподвижность лица ее казалась крепостью гранитной скалы среди ярости взбушевавших волн, – но в тот самый миг, когда я, забыв все свои расчеты, уже готов был также кинуться к ней, вдруг в ее глазах произошла разительная перемена. Я увидел, что черты ее дрогнули, что губы ее искривились сначала чуть заметно, потом мгновенная судорога свела ее лицо, во взорах ее вдруг отразился несказанный ужас, – и в один и тот же миг и я понял, что произошло с ней, и она воскликнула отчаянным голосом:

– Боже мой! Боже мой! Почто ты меня оставил!

Вслед за тем и она в припадке одержания рухнула в грудь приникавших к ней сестер, которые, словно подчиняясь приказанию, тотчас же все начали также метаться, и биться, и кричать. Тогда последний порядок нарушился в этом собрании, и кругом, куда бы ни кинуть взор, видны были только женщины, одержимые демонами, и они то бегали по церкви, исступленно, кривляясь, ударяя себя в грудь, размахивая руками, проповедуя; то катались по земле, в одиночку или попарно, изгибаясь, в корчах, сжимая друг друга в объятиях, целуя одна другую, в ярости страсти, или кусаясь, как звери; то, сидя на одном месте, дико искривляли лица гримасами, выкатывали и закатывали глаза, высовывая языки, хохотали и смолкали неожиданно, и вдруг опрокидывались навзничь, ударяясь черепом о камень; одни из них вопили, другие смеялись, третьи проклинали, четвертые богохульствовали, пятые пели; еще одни свистели по-змеиному, или лаяли по-собачьи, или хрюкали, как свиньи; – и это был ад, более



страшный, чем тот, который явлен был взорам Данте Алигиери.

В это самое время увидел я между собой и архиепископом, стоявшим в оцепенении, вдруг вынырнувшую, словно из-под пола, фигуру доминиканца брата Фомы, который и воскликнул голосом резким и властительным, ему несвойственным:

– Женщины эти повинны в крайней ереси и явных плотских сношениях с дьяволом! От имени его святейшества заявляю, что подлежат они суду святой инквизиции.

Я слышал, как стукнул об пол посох, который выпал из рук архиепископа, пораженного этими простыми словами, в хаосе совершающегося, более, чем трубным звуком с неба, – но ответа на речь брата Фомы я уже не слышал. Как зигзажная молния, прорезала мне голову мысль, что это – последняя минута, чтобы спасти Ренату, и что, может быть, еще доступно мне вырвать ее отсюда, унести, хотя бы против ее воли, как уносят умалишенных из пылающего дома. Не думая о последствиях, о способах выйти из монастыря, охраняемого стражей, кинулся я к Ренате, содрогавшейся

на полу и еще оплетенной руками своих подруг, и уже коснулся ее так любимого, так мне дорогого тела, когда увидел я, что брат Фома осторожно отстраняет меня и что около уже хлопочут несколько стрелков, в церкви не присутствовавших, а приведенных теперь, конечно, инквизитором и сохранивших все спокойствие воинов.

Брат Фома сказал мне:

– Святая ревность обольщает вас, брат Рупрехт! Успокойтесь. Эти люди исполняют все как должно.

Я видел, как стрелки архиепископа бесстрастно связывали руки бесчувственной Ренате и подымали, чтобы нести ее куда-то. Еще не помнящий себя, я, не слушая слов инквизитора, снова бросился вперед и готов был вступить в рукопашную схватку с этими людьми, чтобы вырвать у них драгоценную ношу. Но тут почувствовал я, что кто-то взял меня за руку, и то был граф Адальберт, который сказал мне строго:

– Рупрехт, ты теряешь рассудок!

Властно и почти насильно повел он меня прочь, через всю церковь, к выходным две-

рям; я повиновался ему безвольно, как ребенок старшему, и мы вдруг вышли на свежий воздух и на свет солнца, а за нами еще слышались и вопли, и стоны, и визг, и хохот несчастных, одержимых демонами.

## **Глава пятнадцатая**

### ***Как Ренату судили инквизиционным судом под председательством архиепископа***

#### **I**

**П**родолжая держать меня за руки, граф провёл меня через весь монастырский двор, вывел в ворота, и мы, перейдя небольшой лужок с несколькими поседелыми ветлами, рядом сели, словно по уговору, на склоне обрыва, надо рвом, которым были обведены стены монастыря. Здесь граф сказал мне:

– Рупрехт! Волнение твое необычно. Клянись Гиперионом, ты в этом деле затронут более всех нас! Объясни мне все, как товарищу.

У меня в тот час воистину во всем мире не было другого товарища, а опасения и надежды, теснившиеся в душе, искали выхода, по-

добно птицам, запертым в тесной клетке, и я, как тонущий, который хватается за последнюю опору, – рассказал графу все: как встретил Ренату, как мы прожили с ней зиму, словно муж и жена, причем только причудливость ее характера помешала нам закрепить этот союз перед алтарем, как Рената внезапно меня покинула и как я узнал ее теперь в сестре Марии; умолчал я только об истинных причинах побега Ренаты, объяснив его ее сокрушением о грехах и желанием покаяния, – а закончил свое повествование просьбой, обращенной к графу, помочь мне в моем страшном положении.

– Последние недели, – говорил я, – как вы сами, милостивый граф, могли заметить, я как-то примирился или, лучше сказать, свыкся с мыслью, что разлучился с Ренатою навсегда. Но едва я увидел вновь ее лицо, как вся любовь в моей душе ожила, как Феникс, и я опять понимаю, что эта женщина мне дороже собственной жизни. Между тем безжалостная судьба, вернув мне Ренату, в то же время бросает ее в руки инквизиции, и все улики этого дела говорят мне, что я так чудесно обрел по-

терянную лишь затем, чтобы потерять ее окончательно! Что могу я предпринять для спасения своей возлюбленной, – я, один, против власти инквизитора, против воли архиепископа и против силы его стрелков и стражи? Если в вас, граф, не найду я поддержки и защиты, если в вас нет ко мне сострадания, не останется мне ничего другого, как разбить себе голову о стену той тюрьмы, где заключена Рената!

Приблизительно так говорил я графу, и он слушал меня с большой чуткостью и отдельными вопросами, которые задавал мне, показывая, что старается вникнуть в мою историю. Когда же я кончил, он сказал мне:

– Дорогой Рупрехт! Твоя судьба трогает меня живо, и я даю мое рыцарское слово, что окажу тебе всякое содействие, какое будет в моих силах.

Последовавшие события доказали, что граф своей рыцарской честью не шутил, ибо, пытаясь оказать мне помощь против инквизитора, смело подверг он опасности свое высокое положение, но все же я вовсе не уверен, что действовал он так по расположению или

участию ко мне. Обдумывая теперь поведение графа, я полагаю, что руководило им, во-первых, желание проявить себя истым гуманистом, защищая сестру Марию от изуверства инквизитора, ибо в реальность одержания он никак не хотел верить; во-вторых, — давняя неприязнь к архиепископу, его ленному господину, намерения которого приятно ему было разрушить; в-третьих, наконец, юношеская любовь к приключениям и всякого рода проказам, та самая, которая подсказала ему сложную и не дешевую шутку с доктором Фаустом. Однако, само собой разумеется, эти соображения не мешают мне поныне отдавать должное тому участию, которое граф проявил по отношению ко мне, и вспоминать об нем, как о человеке если и не совершенном, то, во всяком случае, благородном и с душой чуткой.

С часа того разговора граф принял на себя руководство моими поступками и начал держать себя со мною, как старший брат с младшим. Когда, после нашего объяснения, мы пошли обратно в лагерь, я дорогою строил десятки планов, как нам скорее выручить Рена-

ту, причем все эти планы сводились к тому, что должно нам узницу вырвать из темницы насилием. Граф благоразумно указывал мне, что средства с другой стороны гораздо значительнее наших, что, если даже все люди графа будут повиноваться нам беспрекословно, все же против окажется вся сила многочисленной стражи архиепископа, его же власть, как князя, власть и влияние инквизитора и, вероятно, все население местности, относящееся враждебно к колдуньям, так что предпочтительнее было для нас действовать хитростью, приберегая шпаги для последней крайности. Остаток разумного смысла не мог не подтвердить мне, что граф в этом споре держался за стремя правоты, и мне не оставалось ничего другого, как уступить этим доводам, склонив под них душу, как вол голову под ярмо.

Приведя меня в свою палатку, граф велел мне там дожидаться его, и я остался несколько часов в вынужденном и тягостном для меня бездействии, отданный на добычу хищным мыслям и беспощадным мечтам. Большую часть этого времени провел я, лежа нич-

ком на разостланной медвежьей шкуре, слушая биение своего сердца и не стараясь объединить в строй те образы, которые, один за другим, возникали в моем воображении, словно всадники на косогоре, и исчезали, проблестев минуту в свете солнца. То мне представлялось, как Рената лежит на грязном и холодном полу в темном подземелье, то – как палачи подвергают ее истязаниям и хитрым мукам, то – как несут ее труп, чтобы зарыть за кладбищенской оградой, то, напротив, – как я вывожу ее из тюрьмы, скачу с нею на коне по полю, еду с ней за океан, начинаю новую жизнь в Новом Свете... Порой охватывал меня такой страх от моих видений, что я вскакивал на ноги, порывисто, готов был куда-то бежать, чтобы что-нибудь предпринять, но силою воли и доводами логики я опять приковывал себя к своему ложу и заставлял себя вновь, как праздного зрителя, смотреть на сцены, разыгрываемые передо мною на подмостках мечты.

Было уже далеко за полдень, когда ко мне, уже почти изнемогшему от одиночества и неизвестности, вошел наконец граф, но он не



захотел отвечать мне на мои страстные вопросы, не узнал ли он чего нового о судьбе сестры Марии, и полушутливо, полунаставительно заявил, что раньше необходимо нам пообедать, ибо с утра мы не прикасались к пище. Тягостная была та трапеза, когда наш слуга из замка, Михель, подавал нам незатейливые блюда, изготовленные на привале, которые мы могли запивать лучшим красным арблейхертом из монастырских погребов, и когда граф, делая вид, что не замечает моего уныния, упорно вызывал меня на разговор о разных древних и современных писателях. Но, насилуя свою мысль, я все же невольно путал имена авторов и названия книг, чем возбуждал веселый смех графа, мне казавшийся в тот час как бы кощунственным. Когда же наконец наш обед пришел к концу, граф, моя после еды руки, сказал мне:

– А теперь, Рупрехт, бери свою чернильницу, и идем в монастырь: сейчас начнется допрос твоей Ренаты.

Я явно почувствовал, как щеки мои от этого сообщения побелели, и в силах был только повторить последние слова:

– Допрос Ренаты?

А граф, внезапно став совершенно серьезным, – печальным и участливым голосом рассказал мне, что инквизитор и архиепископ решили начать следствие безотлагательно, ибо дело представлялось важным и сложным; что сам граф будет присутствовать на этом суде по своему званию, а что меня предложил он, как писца, чтобы записывать вопросы судей и ответы обвиняемых, ибо, по новому Имперскому Уложению[256], все суды должны быть непременно письменные.

– Как! – вскричал я, выслушав такое объяснение. – Ренату будут судить здесь же, в монастыре, без представителей императора, не давая ей защитника, без соблюдения всех законных форм судопроизводства!

– Ты, кажется, воображаешь себя, – ответил мне граф, – живущим в счастливые времена Юстиниана Великого, а не во дни Иоганна фон Шварценберга[257]! Я должен тебе напомнить, что, по мнению наших юристов, ведомство есть преступление совсем исключительное, *crimen exceptum*[258], преследуя которое нечего сообразоваться, строго и боязливо

во, с законом. In his, – говорят они, – ordo est ordinem non servare[259]. Они так боятся дьявола, что в борьбе с ним полагают правым всякое беззаконие, и нам с тобой не оспорить такого обыкновения!

Я действительно понял тотчас бесполезность юридического спора, но все же сначала чудовищной показалась мне мысль – принять участие в суде над Ренатою, сидя в числе ее судей, и в первую минуту я решительно от того отказался. Понемногу, однако, частью под влиянием доводов графа, частью сам обдумав положение, я пришел к выводу, что неразумно мне уклоняться от присутствия на этом суде, ибо там, в последней крайности, все же я могу ей прийти на помощь. И, давая наконец свое согласие, я все же заявил твердо, что, если бы дело дошло до пытки, я не допущу такого надругательства над дорогим мне телом, но, выхватив шпагу, смертью освобожу Ренату от страданий, а другим ударом – себя от возмездия за такое самоуправство. Позднее узнал я, что не следовало мне этого решения высказывать вслух, но в тот миг граф не стал возражать мне, но сказал

ТОЛЬКО:

– В случае крайнем ты поступишь, как найдешь нужным, хотя мы постараемся до пытки дела не допустить. Но вообще помни, что затеваем мы игру опасную и что ты погубишь себя наверное, если выдашь чем-либо свое сочувствие и свою близость к обвиняемой. Самое лучшее, не показывай ей своего лица, а если бы она сама захотела назвать тебя своим сообщником, отрекись решительно. Теперь идем, и да поможет нам Гермес, бог всех хитрецов.

После такого договора мы вторично направились в монастырь.

У ворот дожидался нас, по приказу архиепископа, монах, который, угрюмо и непочтительно заметив нам, что мы опоздали, повел нас к восточной стене храма, где, близ двери в сакристию, оказалась другая, низкая, вросшая в землю дверь, ведущая в церковные подземелья. При свете смоляного факела, имевшегося у нашего проводника, мы темным, скользким проходом, с затхлым воздухом, спустились на глубину более чем одного этажа, потом прошли два сводчатых покоя и, на-

конец, через боковую арку, вступили в подземную залу, освещенную скудно, так что все в ней было в полумраке. В том углу залы, где к стене прикреплен был длинный факел, стоял тяжелый дубовый стол, может быть, ровесник самому подземелью, и за этим столом на скамье уже сидело двое, в которых скоро мы признали архиепископа и инквизитора, тогда как в некотором отдалении виднелись темные фигуры и сверкало вооружение стражей. Когда же граф, в изысканных выражениях, извинился в том, что промедлил, и мы тоже заняли места на ветхих, изъеденных вековой сыростью скамьях, я различил в другом углу неопределенный призрак шеста с перекладиной и веревкой и, поняв, что это – дыба, невольно нащупал эфес своей верной шпаги. Замечу еще, что граф поместился рядом с другими судьями, а я предпочел сесть на самом конце стола, во-первых, потому, что этого требовало мое почтительное отношение к сану архиепископа, а во-вторых, потому, что туда едва достигал свет факела и я, по справедливости, мог рассчитывать, что мое лицо останется в тени и не будет узно Ренатою.

После прихода графа и видя, что я достал свою походную чернильницу, вынул перо и разложил бумагу, архиепископ обратился к инквизитору с приглашением:

– Брат Фома, приступите к своему делу.

Тут, однако, между архиепископом и инквизитором произошли любезные пререкания, относительно того, кому из них вести этот процесс, ибо каждый предупредительно уступал почет другому. Архиепископ ссылался на точный смысл папской буллы[260], по которой наместник Петра, своей апостольской властью, давал инквизиторам, от него непосредственно поставленным, право творить суд над лицами, обвиненными в преступлениях магии, в сношениях с демонами, в полетах на шабаш и подобном, заключать их в тюрьму, подвергать пытке и назначать им наказание. Но брат Фома, лицемерно унижая себя, признавал за собой такое право лишь по поручению князя той области, где открыт преступник, притом указывал, что ведовство есть преступление смешанное, *crimen fori mixtum*[261], подлежащее и суду духовному, как ересь, и светскому, ибо нано-

сит вред и ущерб людям, так что уместнее всего ведать его именно архиепископу, как соединяющему в своем лице обе власти. Вмешавшись в это бесплодное прение, граф порешил его, предложив архиепископу председательствовать на предстоящем следствии, как сеньору Трирского курфюршества, а инквизитору вести самый допрос, как лицу, имеющему на то прямое полномочие его святейшества, – каковое постановление я и записал во главе своего скорбного отчета.

Тем, однако, подготовительные рассуждения не были закончены, но брат Фома, вытащив из своих глубоких карманов некую бумагу и приблизив ее к самому носу, так как было недостаточно светло для чтения, сообщил нам следующее:

– Возлюбленные братия! Следуя указаниям доблестных и ученых мужей, вот какой вызов будет мною прибит сегодня, ежели вы его одобрите, к вратам сего монастыря[262]: «Мы, имеющие на то разрешение и поручение Его Святейшества, наместника Христова, Павла III[263], и с дозволения Его Высокопреподобия Архиепископа Трирского Иоанна, ордена До-

миниканцев смиренный брат инквизитор Фома, – одушевленные живой любовью к христианскому народу и подстрекаемые жаждой поддержать его в единстве и чистоте католической веры и охранить его ото всякой заразы еретического заблуждения, в силу власти, коей мы облечены, убеждаем и повелеваем, во имя святого повиновения Церкви, под страхом губительного от Нея отлучения, чтобы в течение двенадцати дней, если кто знает или слышал о ком-либо, что тот еретик или предается волшебству, пользуется такой известностью или в том подозреваем, в частности, что он употребляет различные тайные средства, дабы вредить людям, животным, земным плодам и всей стране, – он бы нам донес о таковом, а если в течение двенадцати дней он не подчинится нашему убеждению и приказанию, пусть он знает, что сам, как еретик и грешник, подлежит он отлучению».

В этом месте своей речи брат Фома сделал остановку, обвел своих сотоварищей торжествующим взглядом и, не слыша возражений, продолжал:

– Но в данном случае не нуждаемся мы,



как полагаю я, ни в доносе, ни в какой-либо inscriptio[264], ибо сами были свидетелями страшного нечестия, в какое впала несчастная сестра Мария, поддавшись соблазнам врага, и потому можем мы повести дело в порядке инквизиции. Ежели при допросе обнаружатся улики против других сестер сей святой обители, будем мы уже иметь свидетеля против них, ибо в таком страшном деле, как колдовство, не должно пренебрегать никаким показанием. И будем помнить слова, данные нам в наставление самим Спасителем: если око твое соблазняет тебя, вырви его.

Ныне я думаю, что человек влиятельный и опытный мог бы опровергнуть соображения доминиканца и отнять, хотя бы временно, у него из пасти добычу, подобно тому как, по рассказам, из рук другого инквизитора спас разумными доводами одну женщину, обвиненную в колдовстве, в городе Метце, Агриппа Неттесгеймский[265], лет пятнадцать назад. Но кто же из нас троих мог принять на себя роль великого ученого: архиепископ не менее брата Фомы преисполнен был рвением одолеть козни дьявола и, потрясенный, по-ви-

димому, тем, что довелось ему видеть в монастыре, был рад, что кто-то другой взял руководство этим делом; если бы граф стал говорить, вряд ли другие судьи пожелали бы его слушать, ибо он сам был под подозрением, как еретик и друг гуманистов; а мог ли возвысить здесь свой голос я, жалкий писец из замка, лишь случайно попавший в роль судебного делопроизводителя? И потому никто не возражал инквизитору, который чувствовал себя в этом деле суда над ведьмой, как щука в рыбном садке, и который, закончив свое объяснение, отдал приказание, словно полководец воинам:

– Введите сюда подсудимую!

Опять мое сердце упало, как подстреленная белка с высокой сосны, а двое стражей поспешно удалились в глубину подземелья, словно нырнув в его сырой сумрак, а потом, через некоторое время, показались вновь, не столько ведя, сколько волоча за собой женщину: это была Рената, со спутанными волосами, в разорванном монашеском платье, с руками, скрученными веревкой за спиной. Когда Ренату подвели ближе к столу, я мог

различить, при неясном свете факела, ее совершенно бледное лицо и, хорошо зная все особенности его выражения, понял тотчас, что она находится в том состоянии изнеможения и бессилия, которое всегда наступало у нее после припадка одержания и при котором всегда господствовали в ее душе сознание своей греховности и неодолимое желание смерти. Когда стражи отпустили ее, она едва не повалилась на пол, но потом, овладев собою, осталась стоять перед судилищем, сгибаясь, как стебель под ветром, почти не подымая глаз и только изредка обводя всех присутствующих мутным взором, словно не понимая того, что видит, – и я думаю, что ею так и не было замечено мое участие в коллегии ее судей.

Несколько мгновений брат Фома безмолвно рассматривал Ренату, как кот, наблюдающий пойманную мышь, и затем задал он свой первый вопрос, прозвучавший резко, словно лезвием разрезавший наше молчание[266]:

– Как тебя зовут?

Рената чуть-чуть подняла голову, но не посмотрела на допросчика и промолвила в от-

вет тихо, почти шепотом:

– У меня отняли мое имя. У меня нет имени.

Брат Фома обернулся ко мне и сказал:

– Запишите: она отказалась назвать свое христианское имя, данное ей во святом крещении.

Потом брат Фома вновь обратился к Ренате с таким назиданием:

– Любезная! Ты знаешь, что мы все были свидетелями того, что ты находишься в сношении с дьяволом. Кроме того, благочестивая настоятельница этого монастыря изъяснила нам, какое здесь водворилось нечестие с того самого дня, как ты здесь поселилась, конечно, движимая преступною мыслью совратить и погубить праведные души сестер этой обители. Все твои сообщницы уже покаялись перед нами и обличили твои постыдные козни, так что тебе отпирательство не поможет. Ты лучше признайся чистосердечно во всех своих грехах и помышлениях, и тогда я, по власти самого святого отца, обещаю тебе милость.

Я посмотрел искоса на монаха, и мне показалось, что он улыбнулся, ибо, как я знал, сло-

во «милость» всегда означало в таких обещаниях «милость для судей» или «милость для страны», как слово «жизнь» означало обычно в обещаниях инквизиторов – «жизнь вечную». Но Рената не заметила коварства в речи допросчика, или, может быть, ей все равно было, пред кем ни каяться, но только со всею искренностью, с какой иногда делала она свои признания мне, в счастливые часы нашей близости, она отвечала:

– Я не ищущу никакой милости. Я хочу и ищущу смерти. Верую в милосердие божие на последнем суде, если здесь искуплю свои прегрешения.

Брат Фома посмотрел на меня, осведомился: «Записано?» – и опять спросил Ренату:

– Итак, ты сознаешься, что заключила пакт с дьяволом?

Рената отвечала:

– Страшны мои преступления, и не могла бы я исчислить их все, если бы говорила с утра до вечера. Но я отреклась от злого и думала, что господь принял мое покаяние. Не ищущу я оправдания в грехах моих, богом живым клянусь вам, что в эту обитель пришла

искать мира и утешения, а не вносить раздор! Но попустил господь, чтобы и здесь не могла я укрыться от врага моего, которому сама дала власть над собой. Сожгите меня, господа судьи, жажду огня, как избавления, так как вижу, что нет мне на земле места, где бы могла я жить спокойно!

Преодолев свою слабость, Рената эти слова произнесла страстно, и хорошо было, что сидел я в стороне от других судей, ибо у меня глаза наполнились слезами, когда услышал я такие страшные признания, но никакого впечатления не оказали они на доминиканца, и он прервал Ренату, сказав:

– Ты погоди, любезная. Мы тебя будем спрашивать, а ты отвечай.

После этого брат Фома достал из кармана книжечку, в которой, по различным признакам, узнал я «Malleus Maleficarum in tres partes divisus» Шпренгера и Инститора, и, справляясь с этим руководством, стал задавать Ренате обстоятельные вопросы, которые я, равно как и следовавшие за ними ответы, должен был записывать, хотя порою сжимал зубы от отчаяния. Весь этот допрос я и передам здесь

именно так, как записал его, ибо каждый губительный вопрос присасывался к моей душе, как щупальце морского спрута, и каждое горестное признание Ренаты оставалось в моей памяти, как слова молитвы, вытверженной с детства. Думаю, что не изменю я ни одного слова из моей записи, воспроизводя ее на страницах этого правдивого рассказа.

Замечу при этом, что на первые вопросы Рената отвечала с промедлением, отрывочно и кратко, голосом обессиленным, словно бы ей было чересчур тяжело выговаривать слова, но постепенно она как-то оживилась, даже увереннее стояла на ногах, а голос ее окреп и приобрел всю его обычную звучность. На последние вопросы она отвечала с каким-то увлечением, покорно разъясняя все, что только у нее ни спрашивали, охотно и пространно говоря даже о многом постороннем, входя в ненужные подробности, не стыдясь, по своему обыкновению, касаться вещей позорных и словно намеренно выискивая все более и более страшные обвинения против себя. Вспоминая примеры из нашей совместной жизни с Ренатою, склонен я ду-

мать, что далеко не все было правдой в ее исповеди, но что многое она тут же измыслила, беспощадно клеветца на себя с непонятной для меня целью, если только некий враждебный демон в то время не владел ее душой и не говорил ее устами, чтобы вернее погубить ее.

Замечу еще, что, по мере того как развивался допрос, брат Фома становился, по видимости, все довольнее и довольнее, и я наблюдал, как раздувались его ноздри, когда он слушал бесстыдные признания Ренаты, как напрягались жилы его рук, на которые он опирался, привставая, как колыхалось все его тело от избытка радости, когда видел он, что его предположения и надежды оправдываются. Архиепископ, напротив, очень скоро после начала допроса уже казался утомленным и нисколько не проявлял стойкости, которой он изумил меня утром, – страдая, вероятно, от смрадного воздуха подземелья, тяготясь сидеть на деревянной скамье и, должно быть, не находя ничего занимательного в откровениях сестры Марии. Наконец, граф все время сумел остаться строгим и степенным, причем



лицо его не обнаруживало никаких движений души, и лишь порою он останавливал меня многозначительным взглядом, когда я, теряя при ужасном зрелище обладание собой, готов был крикнуть вдруг неосторожные слова или даже совершить какой-либо безумный поступок, который, разумеется, не повел бы ни к чему иному, как к немедленному задержанию и меня, как соучастника преступницы.

Итак, я перейду теперь к точному воспроизведению всего допроса.

## II

**В**от что было записано моею собственною рукою в протоколе инквизиционного суда и будет, вероятно, еще долго сохраняться в собрании каких-либо дел.

*Вопрос.* Кто научил тебя колдовству, сам дьявол или кто из его учеников?

*Ответ.* Дьявол.

– Кого ты сама научила тому же?

– Никого.

– Когда и в какое время дьявол с тобой справил свадьбу?

– Три года назад, в ночь под праздник бо-

жьего тела.

– Заставил ли он тебя, в пакте с собой, отречься от Бога Отца, Сына и Святого Духа, от Пречистой Девы, всех святых и от всей христианской веры?

– Да.

– Получила ли ты второе крещение от дьявола?

– Да.

– Присутствовала ли ты на танцах шабаша, три раза в год или чаще?

– Гораздо чаще, много раз.

– Как ты туда переносилась?

– Вечером, под ночь, когда собирался шабаш, мы натирали свое тело особой мазью, и тогда нам являлся или черный козел, который переносил нас по воздуху на своей спине, или сам демон, в образе господина, одетого в зеленый камзол и желтый жилет, и я держалась руками за его шею, пока он летел над полями. Если же не было ни козла, ни демона, можно было сесть на любой предмет, и они летели, как самые борзые кони.

– Из чего состояла мазь, которой в этих случаях натирала себя?

– Мы брали разных трав: поручейника, петрушки, аира, жабника, паслена, белены, клали в настой от борца, прибавляли масла из растений и крови летучей мыши и варили это, приговаривая особые слова, разные для разных месяцев.

– Присоединяла ли ты к этому составу жир умерщвленных тобою младенцев, притом топлёный или поджаренный?

– Нет, в этом не было нужды.

– Видала ли ты на шабаше Злого Духа, восседающего в виде козла на троне, должна ли была поклоняться ему и целовать его нечистый зад?

– Это мой грех. Притом мы приносили ему наши дары: деньги, яйца, пироги, а некоторые и украденных детей. Еще мы кормили своими грудями маленьких демонов, имевших образ жаб, или, по приказанию Мастера, секли их прутьями. Потом мы плясали под звуки барабана и флейты.

– Участвовала ли ты также в служении богопротивной черной мессы?

– Да, и дьявол как сам причащался, так давал и нам причастие, говоря «сие есть тело

мое».

– Было ли то причастие под одним видом или под двумя?

– Под двумя, но, вместо гостии, было нечто твердое, что трудно было проглотить, а вместо вина, – глоток жидкости, ужасно горькой, наводящей холод на сердце.

– Вступала ли ты на шабаше в плотские сношения с дьяволом?

– Дьявол выбирал среди женщин ту, которую мы называли царицею шабаша, и она проводила время с ним. А другие все, в конце пира, соединялись, как случится, кто к кому приблизится, женщины, мужчины и демоны, и только иногда дьявол вмешивался и сам устраивал пары, говоря: «Вот кого тебе нужно», или: «Вот эта подойдет тебе».

– Случалось ли тебе быть таковой царицей шабаша?

– Да, и не один раз, чем я и бывала очень горда, – господи, помилуй мою душу!

– Скажи нам, доставляло ли тебе соитие с дьяволом большую усладу, нежели с мужчиною?

– Гораздо большую, безо всякого сравне-

ния.

– Бывало ли при этом у него извержение семени?

– Да, но семя это было холодное.

– Были ли у тебя дети от сожительства с демоном?

– Родилась маленькая белая мышь, очень хорошенькая, но я ее задушила и закопала в саду, над рекой. Ах, если бы у меня были дети, многих грехов не совершила бы я!

– Доставляло ли тебе удовольствие посещать празднества шабаша?

– Крайнее, так что отправлялись мы на шабаш, как на свадьбу. Дьявол в то время держал прикованными наши сердца так крепко, что в нас не могло войти никакое другое желание. Мне тогда казалось, что каждый раз на шабаше видела я сотни новых и чудесных вещей, что музыка шабаша приятнее всякой другой и что там как бы земной рай.

– Учил ли тебя дьявол, как производить грозу, град, крыс, мышей, кротов, как перекидываться в волков, как лишать коров молока, как губить урожай и как делать мужчин неспособными к брачному сожитию?

– Учил всему этому и многому другому, в чем я признаю себя грешной пред господом богом и пред людьми.

– Скажи, как умеешь ты производить грозу?

– Для этого надо в поле, в том месте, где растет трава паслен, сделать ямку в земле, присев над ней, омочить ее и сказать: «Во имя дьявола, дождись!» – и тотчас найдет туча и будет дождь.

– А как лишать мужчин их силы?

– Для этого есть больше пятидесяти средств, например, взять части самца у только что убитого волка, пойти на порог того, кого хочешь испортить, назвать его по имени, и когда он ответит, оплести то, что в руках, белой тесьмой, – а впрочем, я не хочу вам рассказывать!

– Причиняла ли ты этими средствами, а также в образе волчихи или иного оборотня, вред полям, животным и людям?

– Страшный вред, которого нельзя и исчислить, ибо мы пожирали множество ягнят, истребляли посевы и плодовые сады, наводили на деревни полчища крыс, и многих женщин

делали неспособными иметь потомство, и, думаю я, если бы не пришло к нам раскаянье, вся та местность погибла бы от неурожаев и бедствий! Но к чему спрашиваете вы меня далее, если я все равно не в силах пересказать вам всех моих грехов! Ах, возведите меня скорей на костер, потому что и здесь враг мой не покидает меня, – он сейчас схватит меня! Убейте меня, скорее! скорее!

При последних своих восклицаниях Рената заметалась, готовая броситься на судей, но двое дюжих стражей снова взяли ее за руки и удержали от такого намерения. Тогда архиепископ, может быть, обеспокоенный поведением подсудимой, а может быть, просто утомленный следствием, обратился к инквизитору с такими словами:

– Не достаточно ли с нас, если обвиняемая сама признала себя виновною и достойною костра?

Брат Фома, который в допрос кидался, как веселая выдра в воду, возразил:

– Я полагаю, что должно сначала узнать имена демонов, с которыми эта негодница вступала в сношения, точные условия ее пак-

та с ними, а также выпросить у нее, кто были ее сообщники во всех этих богопротивных деяниях. Ибо говорит апостол: они вышли от нас, *ex nobis egressi sunt*[267]!

Рената, расслышав слова инквизитора, воскликнула сдавленным голосом:

– Не надо меня больше спрашивать! Я ничего не скажу больше! У меня не было сообщников! С кем я встречалась на шабаше, те далеко. То было не здесь, в другой стране! Милостивый Господи Христе, приди мне на помощь!

Брат Фома возразил ей:

– Э, голубушка, поверь, у нас найдутся средства, чтобы развязать тебе язык!

После этих слов он крикнул, обращаясь к кому-то, в темноту:

– Эй, мастер, покажи-ка ей, какие есть у нас игрушки!

Из глубины подземелья, со стороны страшной дыбы, выступил человек, плечистый, бородатый, в котором нельзя было не признать палача. Я опустил руку на эфес шпаги, но тотчас встретил пристальный взгляд графа, который молчаливо убеждал меня сохранять спо-



койствие до последней возможности.

Брат Фома продолжал свою речь, обращаясь к Ренате:

– Погляди, любезная, на наши запасы. Лучше тебе добровольно рассказать нам все, что ты знаешь, и назвать имена всех своих подлых соучастниц и всех тех, кого встречала ты на шабашах. Ведь все равно придется тебе говорить, когда приладим мы тебе к рукам или ногам всякие такие штучки.

Тем временем палач, не произнося ни слова, показывал, одно за другим, разные орудия пытки, совершая тот обряд, который в нашем судопроизводстве называется «устрашением» [268], а брат Фома, смакуя свои слова, объяснял назначение показываемых вещей, говоря:

– Вот это, милая моя, – жом; им ущемляются большие пальцы, и, когда винты подвинчиваются, из-под ногтей течет кровь. А это – шнур; когда зашнуруем мы тебе в него руки, запоешь ты иным голосом, так как входит он в мясо не хуже ножа. А это еще – испанский сапог; мы положим твою ножку между двумя пилами и будем сжимать ее, хоть до тех пор,

пока не распилился кость и не потечет мозг. А там вот – стоит дыба; как подтянем мы тебя на нее, так руки и вывернутся из суставов [269].

Рената слушала все эти слова с таким видом, как если бы они не относились к ней и как если бы она не видела перед собою страшных орудий пытки. Но мое волнение достигло последнего предела, и я готов был вскочить и броситься на доминиканца, когда граф, конечно, поняв мое состояние, нашел возможным вмешаться, сказав так:

– Я тоже, как и его высокопреподобие, думаю, что для первого раза мы узнали достаточно. Должно заседание прервать, так как мы утомлены, и предстоит нам еще допросить свидетелей, мать Марту и сестер.

Брат Фома принял эту речь с таким видом, как хищный зверь, у которого кто-то пытается отнять его добычу, и решительно возразил:

– Совсем напротив, господин граф! Надо торопиться с допросом, пока эта женка не успела получить советов от дьявола, и я полагал бы, что сейчас же надо приступить к допросу с пристрастием. Вы, верно, забыли, что запре-

щено только *повторять* пытку, если не явится новых улик, но все авторитеты согласны, что при преступлении особо важном, *crimen exsertum*, пытку можно *продолжать* на следующий день или еще на следующий[270], и умы, достойные уважения, приглашают в таких случаях *ad continuandum tormenta, non ad iterandum*[271]. Итак, сегодня мы начнем, а завтра будет у нас случай продолжить...

Однако, когда архиепископ, возвысив голос, заявил уже решительно, что он, как председатель трибунала, находит нужным допрос остановить, брат Фома вдруг оборвал свою речь, как пряжа засучившуюся нить, и сказал совсем другим голосом:

– Я, впрочем, вполне согласен с его высокопреподобием, потому что действительно в таких важных и трудных делах спешить подobaет всего менее. Мы допрос приостановим, но все-таки, думаю я, вы согласитесь, что не следует нам отсылать эту женку, не осмотрев предварительно, есть ли у нее на теле знаки ведьмы[272].

При этом брат Фома прибавил, говоря к палачу:

– Ну-ка, обыщи ее хорошенько.

Я вторично схватился за рукоять шпаги, и снова настойчивый взгляд графа удержал мою руку, и, преодолевая себя, я смотрел, как воплощалась моя страшная мечта, как палач срывал одежду с Ренаты, не сопротивлявшейся нисколько, и как в сырой полумгле подземелья он обшаривал грубыми руками ее тело, которое когда-то я покрывал богомольными поцелуями. Наконец внимание палача остановилось на маленькой родинке на левом плече, хорошо мне знакомой, и, достав из кармана небольшое шило, он острием коснулся в этом месте тела Ренаты, которая не шелохнулась. Тогда палач воскликнул грубым и угрюмым голосом, словно бы он кричал внутрь трубы:

– Есть! Кровь не идет!

Для инквизитора и для архиепископа заявление палача, ими даже не проверенное, показалось последним и решающим доказательством, потому что брат Фома тотчас возопил, как некогда первосвященник иудейский:

– Каких еще свидетельств нам нужно! Не ясно ли, как божий день, что она – ведьма!

Затем он добавил:

– Теперь же надо подпалить огнем все волосы на ее теле, ибо в них может скрывать она какие-либо чары[273].

Однако граф, ясно видя, что более я не потерплю никакого оскорбления, вступился решительно, напомнив инквизитору, что сам архиепископ, который председательствует на нашем следствии, постановил прервать его до завтрашнего утра, и брат Фома, засуетившись, как пойманная мышь, отдал приказание отвести Ренату обратно в темницу. Думаю, что Рената в ту минуту не была в сознании, ибо стражи, неловко натянув на нее монашеское ее платье, подняли ее, как ребенка, на руки и потащили вновь в темноту, между тем как я, не имея возможности следовать за ней, почти падал, мучимый своим бессилием.

Вероятно, несмотря на все свои старания, я не мог вполне скрыть то участие, которое принимал в судьбе подсудимой, потому что, когда наше маленькое общество, пройдя вновь подземные проходы, вышло на свежий воздух, которого была лишена Рената, и когда архиепископ, благословив нас, удалился, брат

Фома спросил меня, не без подозрительности:

– Вы, господин Рупрехт, должно быть, в первый раз присутствуете на преследовании этих злодеев: такой у вас удрученный вид, словно вам жалко эту девку.

Я, только что вытерпевший гораздо более тяжкие испытания, не мог снести таких слов и, вдруг утратив власть над собою, метнулся на инквизитора, схватил его за ворот рясы и закричал ему:

– Ты первый заслуживаешь костра, проклятый патер!

Такое мое поведение могло бы повести к очень дурным для меня последствиям, но граф, быстро поспешив на помощь к монаху, освободил его из моих рук и сказал мне строго:

– Тобой тоже овладел какой-то демон, Рупрехт, или ты потерял рассудок!

Брат Фома, лицо которого все искривилось было от страха, когда я устремился на него, – очень быстро оправился и, хотя старался держаться от меня на расстоянии, также стал меня успокаивать:

– Или вы меня не узнали, любезный брат

Рупрехт? Это – я, ваш смиренный брат Фома. Как же вы так даете над собой власть нечистому? Враг силен, но должно ограждать себя молитвой. Борьба с дьяволом – дело трудное, ибо он рыщет кругом своих судей и, где завидит незащищенное место, спешит проникнуть: будь то через рот, или уши, или иное какое отверстие в теле.

Я через зубы пробормотал какое-то извинение, а граф, чтобы рассеять нехорошее впечатление, вступил с инквизитором в разговор о деле сестры Марии и спросил, несомненно ли, что она будет приговорена к костру. Брат Фома сейчас же оживился и, с величайшей готовностью, стал объяснять нам законы.

– В уголовном Уложении, – говорил он, – изданном по воле его величества императора для всей империи два года назад и коим мы теперь руководствуемся, статья сто девятая гласит: «Item[274], если кто колдовством причинит другому зло или бедствие, то должен он быть наказан смертию, и казнь должно совершить через огонь. Когда же кто употреблял колдовство и никому тем зла не причинил, должен он быть наказан, смотря по об-

стоятельствам дела». Сестра Мария повинилась сама, что причиняла вред людям, и скоту, и посевам, а потому подлежит она смерти.

Граф спросил еще, должно ли подвергать подсудимую пытке, если сама она во всем уже созналась, и брат Фома без промедления дал ответ и на это.

– Непременно, – сказал он, – ибо статья сорок четвертая той же Конституции императора Карла говорит прямо: «Item, если кто прибегает к сомнительным вещам, действиям и поступкам, которые в себе заключают волшебство, и если это лицо в таковом также обвиняется, этим дается явное указание на волшебство и достаточное основание для применения пытки». Кроме того, вы, верно, не знаете, что нет другого способа против этих извергов, каковы ведьмы, чтобы заставить их говорить правду, ибо дьявол всегда присутствует на суде и порой помогает им переносить жесточайшие мучения. При столь тяжелых преступлениях поневоле приходится прибегать и к самым сильным средствам.

У меня не было охоты выслушивать дальнейшие соображения инквизитора, и, уско-



рив шаги, я почти побежал прочь от разговаривающих, не имея перед собой никакой цели и только желая остаться наедине. Однако вскоре нагнал меня граф, который спросил меня, куда я убегаю, и я ему ответил:

– Дорогой граф! Должно нам приступить к нашему делу немедленно, ибо каждый час промедления может стоить Ренате жизни. До сих пор я воздерживался ото всякого решительного поступка только потому, что вы обещали мне свое содействие. Умоляю вас не откладывать долее, или же скажите мне прямо, что помочь мне не в силах. Тогда я буду действовать сам, хотя бы попытки мои и повели меня на верную смерть.

Граф ответил мне:

– Я дал тебе рыцарское слово, мой Рупрехт, и сдержу его. Ступай в нашу палатку и жди моего зова, а я буду работать за тебя.

Голос графа был столь убедителен, а лично себя признавал я столь бессильным, что мне не оставалось ничего, как повиноваться, но у меня не хватило духу вторично войти в эту палатку, словно в ров львиный, где стерегли меня с алчными челюстями и острыми зубами

те же горестные мысли, как утром, и, может быть, многие другие, не менее ожесточенные. Я сказал графу, что буду ждать его на берегу речки, и, избегая всяких встреч, пробрался в густой ивняк, росший вдоль ее русла, и затаился в полутьме и сырости, расположившись так, чтобы мне, сквозь прорывы в листве, виден был монастырь. Здесь, опять в вынужденном бездействии, провел я еще сколько-то часов, дыша свежим веяньем текучей воды и зная, что Рената, больная, изнеможенная, проводит это время на липкой земле, среди плесени, пауков и мокриц.

Я боялся, что потеряю способность действовать разумно, если отдамся всем волнам отчаянья, напиравшим на меня, и потому упорно вынуждал себя не терять ясности мысли. Как бы решая некоторую задачу, обдумывал я все возможные способы спасти Ренату, но все же не находил иного, кроме как силою овладеть монастырем, разбить двери ее тюрьмы и увезти ее далеко, прежде чем архиепископ успеет собрать значительный отряд. Увлечшись такими мечтами, я даже представлял себе все подробности предстоящей

битвы между приверженцами графа и сторонниками архиепископа, воображал точно, как буду я ломать ворота монастыря, сочинил, от начала до конца, ту речь, с какой обращусь к испуганным монахиням, убеждая их не сопротивляться освобождению сестры Марии, и со слезами в горле повторял те слова, какие скажу спасенной Ренате.

Уже вечерело, и я опять дошел до крайнего томления, когда наконец услышал я близ себя шум шагов и, обернувшись, увидел, что ко мне приближается граф, тогда как в некотором отдалении стоит наш Михель, держа за поводья двух лошадей. Лицо графа было столь сумрачно, каким я его не видел еще никогда, и, в первую минуту подумав, что все кончено, что Рената уже осуждена и казнена, я невольно воскликнул:

– Неужели мы опоздали?

Граф отвечал мне:

– Нам должно сейчас ехать, Рупрехт. Я убедился, что тех сил, какие у меня здесь есть, недостаточно для нашего предприятия. Надо искать союзников, чего не стыдились и римляне. Поблизости отсюда я знаю один замок,

владелец которого в дружестве со мной. Едем – и привезем с собой десяток добрых молодцов.

Этот призыв так удивительно согласовался с моими мечтами, что ни на минуту не усомнился я в искренности слов графа и не пришло мне в голову соображение, что неразумно нам обоим оставлять монастырь, – напротив, со всей готовностью поспешил я к лошади, и скоро оба мы были уже верхом. Я спросил графа, далек ли наш путь, он же ответил мне только, что надо торопиться, но что первую часть дороги лучше сделать по руслу реки, дабы наш отъезд не был замечен в лагере. Все это было очень правдоподобно, и в ту минуту я согласен был шпагою прокладывать себе дорогу вслед за графом.

Проехав около четверти часа глубиью долины, мы выбрались наверх и поскакали по плохой, деревенской дороге прямо на запад. Глаза мои слепило заходящее в тот час солнце, строившее передо мной, игрою своих лучей, причудливые замки из вечерних облаков и тут же разрушавшее их, и мне представлялось, что в этих-то призрачных дворцах мы

и обретем ту помощь, которой ищем. Я подгонял коня, словно в самом деле надеялся доскакать до страны, где Аврора отворяет огненные ворота Фебу, и ветер свистел мне в уши не то ободряющие крики, не то безнадежные предсказания. Постепенно запад все более тускнел, красное солнце зашло за самое нижнее облако, и кругом посвежело; местность становилась более суровой, но никакого признака человеческого жилья не показывалось, и тщетно искал я на кругозоре – башен обещанного замка. Несколько раз спрашивал я графа, далеко ли нам еще ехать, но все не получал ответа, и, наконец, видя, что лошадь моя утомлена, что дорога совершенно исчезает среди беспорядочно сваленных камней, я внезапно натянул узду и вскричал так:

– Граф! Вы обманули меня! Никакого замка нет! Куда вы меня завели?

Тогда и граф остановил лошадь и отвечал мне тихим, задумчивым голосом, который порою он умел находить в себе:

– Да, я тебя обманул. Замка нет.

Все мое тело похолодело, руки задрожали, и, бросая свою лошадь прямо на графа, гото-

вый схватиться с ним на поединке, в этой глухой, безлюдной долине, в час первых теней, я закричал:

– Зачем ты это сделал? Что тебе было надо? Отвечай, потому что иначе я убью тебя!

Граф возразил мне очень спокойно:

– Ruprechte, insanis! Ты безумствуешь, Рупрехт! Сначала выслушай, а потом угрожай. Я узнал, что Фома назначил второй допрос на этот вечер. Сколько я ни старался, я не мог изменить такого решения! Я не сомневался, что ты, если бы остался в монастыре, совершил бы какой-нибудь безумный поступок и тем погубил бы все дело. Я решил увезти тебя на время, чтобы спасти и тебя, и твою возлюбленную.

– Как! – переспросил я. – Второй допрос назначен на этот вечер? Значит, он совершается сейчас? Но ведь этот допрос – с пристрастием! Значит, Ренату пытаются сейчас, а я от нее далеко, здесь, здесь, здесь, – в поле, и не могу даже откликнуться на ее стоны!

Тут порыв ярости покинул меня, и я, соскочив с коня, бросился ничком на влажные от вечерней росы камни, прижался к ним ще-

кою, и еще раз слезы полились из моих глаз неудержно, так как у меня, как у женщины или ребенка, не было в ту минуту другого оружия для борьбы с судьбою. Мне представился весь ужас, какой должна была переживать в тот миг Рената, представилось, как грубый палач мнет, терзает и калечит драгоценное для меня тело Ренаты, представились ее беспомощные стоны и отчаянные взоры, тщетно ищущие помощи или сочувственных глаз и встречающие лишь зверские лица судей, – и у меня от ужаса и скорби захватило дух. Лежа на темной земле, я рыдал безнадежно, и в тот миг искренно хотел одного: быть с Ренатою рядом, предать свое тело всем истязаниям, каким подвергали ее, – и мне казалось чудовищным и нелепым, что я не испытываю боли, когда она изнемогает от страданий.

Между тем граф спешился также, сел близ меня на землю и, тоже видя во мне как бы дитя, стал ласково меня успокаивать. Он самым убедительным образом уверял меня, что я не должен так пугаться пытки, отвратить которой мы не могли, так как очень многие люди переносят ее без вреда для своего здоровья.

Сам граф знавал одного алхимика, которого неверные, в Мостаре, подвергали пытке тридцать раз и даже сажали на кол, надеясь выведать от него тайну философского камня, будто бы ему известную, и который, однако, дожил до глубокой старости. Притом, по словам графа, в этот первый день не могло угрожать Ренате никаких особых истязаний; самое большее, чему могла она подвергнуться, это – вывиху на дыбе ручных суставов, которые палач сам сумеет немедленно вправить. Не забыл граф привести мне в утешение и несколько цитат из Аннея Сенеки – философа, указывающего, как благодетельно для человека переносить физические страдания.

Разумеется, такие речи графа несколько не могли меня успокоить, но порою были как бы горючим материалом, подбрасываемым в огонь моего отчаяния, и, наконец, граф, замечая, что все его рассуждения и разумные доводы бессильны против моего чувства, сказал мне еще следующее:

– Ну, слушай, Рупрехт, я открою тебе мой план, чтобы ты не считал меня за врага, но истинным другом. Знай, что я уже все приго-



говил для спасения твоей возлюбленной. Мать Марта к сестре Марии очень расположена и не верит в ее виновность. Кроме того, будучи клариссинкой и, следовательно, принадлежа к франсисканскому ордену, она рада чем бы то ни было досадить доминиканцу. Ты знаешь, что монашеские ордена грызутся между собой, как собаки. Короче говоря, мать Марта согласилась, после разных моих убеждений, помочь нам и устроить побег твоей Ренаты. Но ты понимаешь, что такое дело можно совершить лишь ночью, *per amica silentia lunae*[275]. Мы сейчас вернемся к монастырю. На страже у ворот и у темницы будут монахини, настоятельница вполне преданные и к тому же поклоняющиеся сестре Марии, как святой. Они отопрут нам все затворы. Ты спустишься в подземелье и выведешь свою Ренату или вынесешь ее на руках, если она окажется не в силах идти. У ворот будет тебя ждать Михель и пара свежих лошадей: скачите прямо в мой замок. После мы посмотрим, что делать, но я уверен, что не только все другие, но сам Фома, несмотря на свое апостольское имя, поверит, будто сестру Марию осво-

бодил дьявол. Итак, подай мне руку, и не  
moremur![276]

В плане графа больше было причудливости юного воображения, которое обычно руководило его поступками, нежели опытности и знания людей; однако то была последняя веревка, держась за которую я мог выбраться из бездны моих неудач. Мы снова сели на коней и опять погнали их, на этот раз в противоположном направлении, с трудом распознавая дорогу в наступавших сумерках. По счастью, мы не сбились с пути и, при слабом свете молодого тощего месяца, достигли нашего лагеря.

# Глава шестнадцатая и последняя

## *Как умерла Рената и обо всем, что случилось со мною после ее смерти*

### I

Когда я вновь увидел перед собою стены монастыря, за которыми были заключена Рената, – я почувствовал в себе, несмотря на усталость от бессмысленной скачки, прилив бодрости и отваги, ибо решительные часы всегда напрягали мою душу, как твердая рука – арбалет.

Около нашей палатки мы соскочили с коней и отдали их Михелю, который дожидался нас, проявляя явное нетерпение, потому что на вопрос графа, все ли готово, отвечал так:

– Давно готово, и медлить больше нельзя. Ян со свежими лошадьми стоит у северной стены: копыта их я обернул шерстью. А этот проклятый патер Фома все шныряет кругом и, того гляди, что-нибудь выследит.

Втроем мы направились к монастырю, выбирая дорогу там, где было темнее, и всячески стараясь пройти незамеченными, хотя

все кругом, по-видимому, уже спало, – ибо на пути не повстречалось нам никого, и в деревне не залаяла ни одна собака. Михель шел впереди, как бы указывая дорогу, за ним – граф, которого, как кажется, очень забавляли наши необычные приключения, а я – позади всех, так как мне не хотелось, чтобы на меня смотрели. Мысль, что сейчас я останусь с Ренатою наедине и что через несколько минут она будет вновь свободна и под моей защитой, – заставляла мое сердце дрожать радостно, и я, не колеблясь, пошел бы один на троих, только бы осуществить мечту.

Взобравшись на косогор, оказались мы у ворот монастыря, в черной тени его стены, и Михель показал мне вдалеке смутные образы двух лошадей, которых стерег кто-то из наших людей, сказав:

– Туда, господин Рупрехт, несите вашу добычу, – я уже буду там и знаю прямую дорогу в замок. Верьте: ястребы нас не догонят.

Между тем граф осторожно ударил по железу двери рукоятью шпаги, так что раздался в лунной тишине звук короткий и жалобный, словно плач. Из-за ворот послышался жен-

ский голос, тоже приглушенный, спросивший:

– Кто здесь?

Граф ответил условным паролем:

– Земля Иудина ничем не меньше воеводств Иудиных.

Тотчас ворота, как по волшебству, растворились, тихо простонав, и в ту минуту я так твердо верил в успех нашего предприятия, словно уже был с Ренатою под надежной защитой бойниц замка фон Веллен. Сестра, отворившая нам ворота, смотрела на нас со страхом и была очень бледна, – или это так казалось от света месяца, – но не произнесла ни слова. Слабо освещенный монастырский двор был совершенно пустынен, но мы прошли его, крадясь вдоль стены, как три привидения, и, подойдя к задней стороне собора, оказались близ страшной двери, через которую был ход в подземелье к Ренате. Здесь на плоском камне, в полудремоте, сидела на страже другая монахиня, которая при нашем приближении вскочила и вся затрепетала.

Граф повторил пароль, и сестра, упав на колени, воскликнула сдавленным голосом:

– Благословен грядый во имя господне! Придите, придите! выведите из темницы жертву невинную, в узы ввергнутую кознями врага! Сестра Мария – святая, и постыдятся враги ее! Христос Иисус – непорочный жених ее!

Михель грубо прервал эти причитания, сказав сестре шепотом:

– Будет болтать, мы не на птичнике! Открывай дверь!

Монахиня, достав большой железный ключ, попыталась отпереть дверь, но руки ее дрожали, так что она не могла наметить бородкой в скважину замка, и Михель, отняв у нее ключ, отпер сам. Когда раскрылось черное отверстие входа в подземелье, Михель осторожно высек огня, зажег принесенный с собою маленький факел и передал его мне, а граф сказал:

– Рупрехт, иди вниз. За той залой, где мы вели допрос сегодня утром, есть дверь, запертая засовом. Отопри ее: за ней темница твоей Марии. Торопись, Михель будет ждать тебя, и да поможет тебе мать любви, Киприда Книдская! Прощай.

Я, от волнения, не мог ничего ответить графу, но, сжав в руке факел, устремился в темную глубину и, спотыкаясь, спешил вперед по ступеням скользкой лестницы, пока не очутился в зале допроса. Наш стол, за которым я записывал гибельные ответы Ренаты, был пуст и казался громадной гробницей; сумрачный станок дыбы с поднятой лапой попрежнему возвышался в глубине, и я содрогнулся, взглянув на него; шаги мои звучали в пустоте гулко, и тени метались кругом, – быть может, то были летучие мыши. Пройдя еще несколько шагов по указанию графа, я наткнулся на деревянную, окованную железными брусьями дверь, которая была заперта тяжелым засовом, и, не без труда отодвинув его, оказался в маленьком сводчатом покое, низком и удушливо-сыром.

Проведя факелом, я постепенно осветил все углы тюрьмы и в дальнем ее конце различил груду соломы, а на ней простертое тело, едва прикрытое лохмотьями одежды; я понял, что это – Рената, с упавшим сердцем приблизился, стал на колени перед бедственным ложем. При качающемся свете факела я мог

ясно различить лицо Ренаты, бледное, как лицо трупа, с закрытыми, словно неживыми глазами, ее вытянутые, неподвижные, ослабшие руки, ее чуть поднимаемую дыханием грудь, – и около минуты длилось молчание, потому что я долго не осмеливался произнести ни слова в священном месте. Наконец, напомним себе, что все мгновения на счету, я шепнул тихо:

– Сестра Мария?

Ответа не было, и я повторил громче:

– Рената!

На этот зов Рената открыла глаза, слегка обратила ко мне голову, посмотрела на меня пристально, узнала меня и, как будто совсем не удивляясь, что я близ нее, слабым, едва различимым голосом произнесла:

– Уйди, Рупрехт. Я тебе все прощаю, но ты уйди.

Первый миг я был такими словами ошеломлен, но, подумав, что замученная пыткой и заключением Рената бредит, я возразил, влагая в свои слова всю нежность, на какую был способен:

– Рената! дорогая моя Рената! любимая!



единственная! Я принес тебе избавление и свободу. Двери открыты, мы уйдем отсюда, нас ждут лошади. После мы уедем в Новую Испанию, где начнется для нас новая жизнь. Я буду служить тебе, как раб, и ни в чем не буду противоречить твоим решениям. Ибо я по-прежнему люблю тебя, Рената, люблю больше себя самого, больше спасения души. Если можешь, встань, дай мне руки, иди со мной. Или дозвожь, я понесу тебя, у меня достанет сил. Но должно нам торопиться.

Сказав эти слова с крайним волнением, я ждал ответа, наклонясь к самому лицу Ренаты, а она, не шевельнувшись, тем же тихим, без ударений, без повышений, голосом заговорила так:

– Я не пойду за тобой, Рупрехт! Однажды ты едва не погубил меня, но я спасла свою душу из твоих рук! Они меня мучили, они меня распинали, – ах! они и не знали, что это повелел им Иисус Христос! Кровь, кровь! я видела свою кровь, как хорошо, как сладко! Она омыла все мои грехи. Он опять прилетит ко мне, как большая бабочка, и я спрячу его в своих волосах. Нет, нет, это, право, просто бабочка,

и ничего больше. Как ты смеешь быть здесь, со мною, Рупрехт?

Эта странная и несвязная речь окончательно убедила меня, что Рената потеряла от страданий ясность мысли, но все же я сделал попытку образумить ее, сказав ей:

– Рената! Услышь меня, попытайся понять меня. Ты – в тюрьме, в монастырской тюрьме. Тебя судят инквизиционным судом, и тебе грозит страшная казнь. Чтобы спасти жизнь, тебе надо бежать, и я все устроил для твоего бегства. Вспомни, ты мне говорила когда-то, что меня любишь. Доверься мне, и ты будешь освобождена. Потом я предоставлю тебе свободу сделать все, что ты захочешь: остаться со мной, или меня покинуть, или вновь войти в монастырь. Я не прошу у тебя ничего, не прошу любви, я только хочу вырвать тебя у палачей и спасти от костра. Неужели же ты хочешь пытки и мучений огня?

Рената воскликнула:

– Да! Да! Я хочу пытки и огня! Сейчас я видела моего Мадиеля, и он сказал мне, что смертью я искуплю всю жизнь. Он – весь огненный, глаза у него голубые, как небо, а во-

досы словно из тонких золотых ниток. Он мне сказал, что примет мою душу в свои объятия и что в вечной жизни мы не разлучимся с ним никогда. Я прощаю, я все прощаю, и тебе и Генриху, потому что Мадизель все простил мне. Мне хорошо, мне больше ничего не надо. Но оставь меня одну; дай мне быть с ним; ты испугал его; уйди, – он вернется.

С последним упорством я воскликнул:

– Рената, клянусь всем для меня святым, я не могу оставить тебя здесь! Бог и совесть приказывают мне вывести тебя отсюда. Ты измучена, ты больна, ты не можешь рассуждать здраво. Послушайся меня, как друга, как старшего! Не искупительная смерть ждет тебя здесь, – но ты отдаешь себя во власть грубым монахам и тупым невеждам. Только выйди отсюда, только вдохни свежего воздуха, взгляни на солнце, и если через три дня ты скажешь мне: я хочу вернуться в тюрьму, – клянусь, я сам отведу тебя сюда.

Рената с трудом приподнялась и, смотря прямо мне в лицо, сказала, как будто с полной сознательностью:

– Я говорю тебе, что от тебя я не желаю ни-

чего! От твоего присутствия испытываю только отвращение. Ступай, вернись в жизнь, целуйся со своей Агнессой, а меня пусть опять подымут на дыбу. Ты хочешь, чтобы я куда-то бежала с тобою! Ах, милый, милый Генрих, он никогда бы не оскорбил меня так! Я бы ему сказала, что хочу умереть, и он бы понял меня. А ты как был ландскнехт, так им и остался, и знаешь одно, как бы убить врага. Ну, убивай меня, я не в силах защищаться!

В этих жестоких и несправедливых словах я узнал прежнюю Ренату, ту, которая, бывало, заставляла меня падать на пол от бессильного отчаянья или скрежетать зубами от неожиданной обиды, но я не позволил себе поддаться впечатлению и забыть, что Рената сейчас не ответственна за то, что говорит, как больной, который бредит, или как несчастный, одержимый злым духом. Итак, я произнес твердо:

– Рената! Клянусь всевышним, я люблю тебя! И потому спасу тебя даже против твоей воли!

Сказав так, я осторожно прислонил факел к выступу стены, а сам, сжав губы и стараясь

не смотреть в лицо Ренаты, решительно наклонился к ней и, охватив ее руками, хотел поднять с ее соломенной постели. Поняв мое намерение, Рената пришла в страшное волнение, откинулась назад, прижалась к углу своей тюрьмы и, голосом громким и отчаянным, закричала:

– Мадизель! Мадизель! защити! спаси меня!

Не слушая этого крика, я не уклонялся от намеченной цели, и между нами двумя началась бессмысленная борьба, причем Рената, которая едва могла владеть руками, изможденными пыткой, отбивалась всем телом, изгибаясь неистово, бросаясь во все стороны, употребляя все средства, чтобы высвободиться из моих объятий. Она не брезгала и тем, что пыталась свалить меня, толкая ногами, а также тем, что злобно впивалась зубами в мои руки, и в перерывах борьбы кричала мне в лицо яростные оскорбления:

– Проклятый! Проклятый! Ты пользуешься моей слабостью! Ты мне омерзителен!пусти, я разобью себе голову о стены! Все лучше, только бы не быть с тобой! Ты – дьявол! Мадизель! Мадизель! защити!

Внезапно, когда я уже сознавал себя победителем, сопротивление Ренаты вдруг ослабло, и, испустив пронзительный и ужасный крик боли, она вся повисла на моих руках без движения, как висит сломанный стебель цветка. Догадавшись, что с Ренатой что-то случилось, я быстро опустил ее обратно на солому, освободив от своих рук, но она уже была как мертвая, и мне казалось, что она не дышит. Метнувшись по камере, нашел я немного воды в глиняном кувшине и смочил виски Ренаты, после чего она слабо вздохнула, но для меня, много раз видевшего смерть раненых после боя, уже не оставалось сомнения, что наступал последний миг. Я не знаю, повлияли ли на Ренату губительно те усилия, какие она сделала, сопротивляясь мне, или вообще не могло ее хрупкое существо перенести тех немилосердных испытаний, какие выпали на ее долю, но все признаки явно указывали на приближение конца, ибо у нее выражение лица вдруг приобрело особую торжественность, все тело ее странно вытянулось и скорченными пальцами она жалостно хваталась за солому.

Никакой помощи Ренате я оказать не мог и продолжал стоять на коленях около ее ложа, всматриваясь в ее лицо, но вдруг, на краткий миг, она очнулась, увидела меня, улыбнулась мне нежной улыбкой и прошептала:

– Милый Рупрехт! Как хорошо – что ты со мной!

Никакие проклятия, которыми перед тем осыпала меня Рената, не могли так подействовать на меня, как эти кроткие слова, произнесенные над самой гранью смерти, – слезы полились у меня из глаз безудержно, и, приникнув губами к похолодевшей руке Ренаты, как приникают верные к чтимой святыне, я воскликнул:

– Рената! Рената! Я люблю тебя!

В ту минуту мне казалось самым важным запечатлеть в ее душе только эти слова, чтобы именно с их отзвуком пробудилась она к иной жизни, но Рената, вероятно, уже не слышала моего горестного восклицания, потому что, шепнув свой последний привет, она вдруг откинулась навзничь и страшно затрепетала, словно в последней борьбе со смертью. Три раза приподнималась она на ложе,

дрожа и задыхаясь, не то отстраняя какое-то страшное видение, не то устремляясь навстречу кому-то желанному, и три раза она падала обратно, и в груди ее слышалось предсмертное хрипение, уже непохожее на звуки жизни. Откинувшись в третий раз, она осталась в полной неподвижности, и я, приложив ухо к ее груди, не услышал больше биений сердца и понял, что из этого мира, где могли ожидать ее только преследования и страдания, ее душа перешла в мир духов, демонов и гениев, к которому всегда она порывалась.

Когда я убедился, что Ренаты более нет, я закрыл ей глаза и тихо поцеловал ее лоб, покрытый холодным потом, и, – хотя в ту минуту любил ее со всем напряжением чувства, любовью, ничем не меньшей, чем та, которую воспели поэты, – ото всей души сотворил молитву, чтобы исполнилась ее надежда и она повстречала бы своего Мадизеля и после смерти узнала бы мир и счастье. Потом, чтобы обдумать свое положение, я сел на полу тюрьмы рядом с телом Ренаты, ибо ее смерть не только не лишила меня способности рассуждать, но даже вернула мне хладнокровие,



нарушенное зрелищем ее страданий, так что слезы на моих глазах высохли. После недолгого размышления неоспоримым представилось мне, что безрассудно было бы подвергать опасности свою жизнь и честь графа, так великодушно помогшего мне, ради бездушного тела, и что самое разумное, что мог я сделать, – это удалиться тайно. После такого решения я в последний раз прикоснулся поцелуями к губам мертвой Ренаты, потом сложил ей руки на груди, еще раз остановился взглядом на ее неподвижном лице, чтобы впитать в себя его черты навеки, и, взяв свой факел, направился прочь из рокового подземелья.

Сознаюсь, что, пока я шел темными залами и переходами, несколько раз мне приходила в голову мысль вернуться, чтобы умереть рядом с Ренатою, но доводами логики я сумел успокоить себя и, пройдя весь обратный путь, вышел к ночному небу из двери, около которой ждал Михель. Этот, увидя меня, воскликнул:

– Наконец-то, господин Рупрехт! Давно пора! Каждую минуту могли нас захватить, как

мышей в мышеловке. А где же девушка?

Не успел я ответить, как стремительно приблизилась к нам та монахиня, которая сторожила вход, и задыхающимся голосом повторила вопрос:

– Где сестра Мария?

Я сказал в ответ обоим:

– Сестра Мария умерла.

Но едва я произнес эти слова, как благочестивая сестра кинулась на меня, словно взбесившаяся кошка, схватила меня за ворот одежды и закричала несдержанно, так что могла разбудить весь монастырь:

– Это ты убил ее, подлый!

Со всей силой я оторвал от себя эту женщину, зажал ей рот рукой и сказал:

– Клянусь тебе пречистым телом Христовым – сестра Мария умерла не от моей руки, но тебя я убью подлинно, если ты будешь кричать!

После этого я отшвырнул ее от себя, и монахиня, упав наземь, начала тихо плакать, а мы с Михелем поспешно пошли через пустынный двор к выходным воротам, которые нам другая придверница открыла молча и без

промедления. Когда же мы оказались вне монастыря, Михель спросил меня:

– Стало быть, дело наше не удалось?

Я ответил:

– Да, дело не удалось, но в лагерь я не вернусь. Скажи графу, что я еду в замок и буду его ждать там.

Михель не возразил мне ни слова, но проводил меня до косогора, где нас ждали лошади, и помог мне сесть в седло, а я на прощание дал ему золотой пистоль, сказав:

– Ты знаешь, Михель, я не богат, но мне хочется наградить тебя, так как из-за меня ты подвергался смертельной опасности. Если бы нас застали в монастыре, идти бы нам обоим на костер.

Только после этого я мог наконец дать коню шпоры, погнать его в ночь и снова быть без людей, наедине с собой, что тогда было мне так же нужно, как дельфину дышать на поверхности воды. Точного пути в земли графа я не знал, но, направив лошадь приблизительно по направлению к замку, я бросил поводья и позволил ей бежать по лугам, оврагам и буеракам. Ни о чем определенном я не

думал в тот час, но одно сознание со всей полнотой владело моей онемевшей душой: что на всей земле, со всеми ее странами, морями, реками, горами и селениями, – я снова одинок. Порой еще вспоминалось мне ярко лицо Ренаты, искаженное предсмертным борением, и при мысли, что уже наверное мне не видеть его никогда больше, я стонал горестно в молчании темных полей, и птицы, испуганные внезапным звуком, взлетали вдруг со своих гнезд и кружились около меня.

## II

Когда стало светать, я разобрался в дорогах и, выехав на настоящий путь, к часу ранней обедни добрался до замка Веллен. Люди замка были удивлены моим неурочным появлением, притом отдельно от графа, и заподозрили меня в каком-то преступлении, хотя мое возвращение и противоречило такому нелепому предположению, – но в конце концов меня впустили и позволили мне занять мою комнату. Там, истомленный двадцатью четырьмя часами, проведенными без сна, в течение которых я пережил целую жизнь надежд, отчаянья, ужаса и скорби, я бросился в

постель и проспал до поздних сумерек. Вечером сама графиня, преодолев свое ко мне пренебрежение, призвала меня в свою комнату и расспрашивала о нашей поездке с архиепископом и о поводах к моему возвращению, но я чувствовал себя еще так плохо, что не мог сочинить правдоподобной истории, и графиня, кажется, сочла меня за человека, потерявшего рассудок. На следующий день все в замке обращались со мной с какой-то опасливой осторожностью и, может быть, в конце концов сочли бы необходимым посадить на цепь, если бы на склоне дня не приехал граф.

Графу я обрадовался как родному и, когда мы остались наедине, откровенно рассказал ему все, что пережил в подземелье, — он же сообщил мне, что произошло в монастыре после моего отъезда. По его словам, когда Ренату нашли в тюрьме мертвой, никто не усомнился, что ее умертвил дьявол, и это послужило новой уликой против нее и ее подруг. Брат Фома, нисколько не считая дело поконченным, тотчас привлек к допросу многих других сестер, которых, на его взгляд, можно было заподозрить в сношениях с демонами, и

все они, подвергнутые первой пытке, поспешили взвести на себя самые гибельные обвинения. По показаниям сестер, весь монастырь и сама благочестивая мать Марта грешны были в страшных преступлениях, в пакте с дьяволом, в полетах на шабаш, в служении черной мессы и всем подобном. Словно многокольчатый змей, стало разворачиваться обвинение, и легко можно было ожидать, что наши имена, графа, мое и Михеля, будут впутаны в это следствие.

– Я нарочно поспешил сюда, чтобы предупредить тебя, Рупрехт, – сказал в заключение граф. – Конечно, может грозить обвинение и мне, но вряд ли этот презренный Терсит, Фома, посмеет угрожать мне прямо. Во всяком случае, обо мне не беспокойся и знай, что я, помня заветы Цицерона в его рассуждении «De amicitia» [277], не раскаиваюсь нисколько, что пришел к тебе на помощь. Ты же можешь поплатиться жестоко за наши ночные похождения, тем более что твой побег служит против тебя важной уликой. Итак, я советую тебе немедленно покинуть этот край и на время переменить имя.

Я, разумеется, не замедлил поблагодарить графа за его постоянные заботы обо мне и ответил, что его совет совпадает с моим решением, как в действительности и было. Тут же граф предложил мне некоторую сумму денег, как в вознаграждение за мои труды секретаря, так и просто в виде дружеского подарка, но я предпочел отказаться, так как без того во многом стоял в зависимости от графа и это меня тяготило. Тогда граф, заплакав, обнял меня и поцеловал, и хотя этот поцелуй был дан мне не как от равного равному, но как милость или как любезность, однако я вспоминаю его с радостью, ибо все свои поступки граф совершал без лукавства, с простодушием, как дитя.

Рано утром на следующий день я окончательно покинул замок фон Веллен и до Аденнау ехал на лошади графа. Дальше я отправился пешком и на вопросы о том, кто я, стал отвечать, что я – бывший ландскнехт, пробираюсь на родину, а что зовут меня Бернард Кнерц. Путь свой я направлял на юг, потому что хотелось мне непременно посетить свой родной Лозгейм, от которого я был уже так

близко, и после трехдневного путешествия я добрался до хорошо мне знакомых с детства зеленых склонов Гохвальда.

Ночь я провел в гостинице «Halber Mond», лежащей под самым Лозгеймом, и воспользовался этим, чтобы осторожно, не называя себя, расспросить хозяина о своих родителях и о всех когда-то близких мне лицах, окружавших мое детство и юность. Я узнал, возблагодарив за то создателя, что мой отец и моя мать живы, что мои сестры и братья живут счастливо и зажиточно и что меня все считают погибшим во время Итальянского похода. Услышал я также и печальную новость, что друга моей юности, милого Фридриха, уже нет в живых, но, впрочем, во всем другом, судя по рассказам хозяина гостиницы, жизнь в нашем Лозгейме изменилась так мало, что порою мне казалось, будто и не проходило десяти долгих лет и я всего несколько дней как расстался с аптекарем, местным патером, хлебником и кузнецом.

На заре, тропинкой, изученной мною еще мальчиком, пошел я к родному городу, которого не видал столько лет, о котором вспоми-



нал, как о сказке, слышанной в детстве, но который представлял я с такой отчетливостью, словно накануне еще обошел его весь. Если сильно было мое волнение, когда вновь, после бродяжничества за океаном, увидел я издали, с барки, очертания города Кельна, то теперь облик родных стен, сызмала знакомых черепитчатых крыш был для моей измученной, не защищенной никаким щитом души – ударом слишком мощным, и я должен был, присев на одном из дорожных камней, переждать, пока успокоится мое сердце, ибо одно время не в силах был ступить шагу.

Я не хотел входить в город, потому что не хотел явиться перед родителями, как блудный сын в Евангелии, нищим и несчастным: для меня это было бы мучительным стыдом, а им лишь принесло бы лишнюю скорбь, так что лучшим было оставить их в уверенности, что меня нет в живых, с чем они давно примирились. Но мне настоятельно хотелось видеть наш дом, в котором я родился, прожил детство и годы юности, – и мне казалось, что вид этого старого домика будет для моей души как некое укрепляющее питье, которое

даст мне силы начать новую жизнь. Поэтому, уклонившись с большой дороги, взобрался я на крутой косогор, поднимающийся сзади селения, – место, куда по вечерам ходят влюбленные пары, но которое было совершенно пустынно в тот ранний час и откуда я мог видеть и весь Лозгейм, и особенно наш домик, стоящий у самой горы.

Прилегши на землю, я, с жадностью пьяницы, глядящего на вино, всматривался в безлюдные улицы, в дома, хозяев которых мог перечислить по именам, в домик аптекаря, где прежде жил мой Фридрих, в густые сады, в строгие линии большой церкви, – и потом вновь переводил глаза на родной дом, на эту кладку камней, дорогую мне, как живое существо. Я разбирал подробно все изменения, какие причинили годы нашему жилищу: видел, что широко разрослись деревья в нашем саду; отметил, что покривилась крыша и чуть-чуть покосились стены; усмотрел, что в окнах переменились занавески; я восстанавливал в памяти расположение мебели в комнатах и старался угадать, что там стоит нового и что из старого исчезло; и я не замечал, что прохо-

дило время, что по селению задвигались люди и что солнце, поднявшись над горизонтом, уже начало палить меня сильно.

Вдруг растворилась дверь нашего дома – на пороге появилась сначала сторбленная старушка, а за ней дряхлый, но еще бодрящийся старик: то были отец и мать, которых я не мог не узнать, несмотря на расстояние, и по чертам лица, и по походке. Сойдя с крыльца, говоря о чем-то друг с другом, они сели на скамеечке у дома, грея свои старые спины в тепле восходящего солнца. Я – бродяга, прячущийся за окраинами города, я – неудачный ландскнехт, неудачный моряк и искатель золота, избородивший леса Новой Испании, я – грешник, продавший душу дьяволу, коснувшийся несказанного счастья и впавший в бездну последнего отчаянья, я – сын этих двух стариков – смотрел на них украдкой, воровски, не смея стать перед ними на колени, поцеловать их сморщенные руки, просить их благословения. Никогда в жизни не испытывал я такого наплыва сыновней любви, как в ту минуту, сознавая, что отец и мать – это два единственных в мире человека, которым есть

до меня дело, которым я не чужой, – и все время, пока две маленькие, сторбленные фигурки сидели у крыльца, о чем-то беседуя, может быть, обо мне, я не отрывал от них глаз, насыщая свой взгляд давно не виданной мною картиной домашнего счастья. А когда старики поднялись и, тихо двигаясь, вернулись в дом, когда затворилась за ними наша старая, покосившаяся дверь, – я поцеловал, вместо них, родную землю, встал и, не оборачиваясь, пошел прочь.

В тот же день я был уже в Мерциге.

Целью моей было вернуться в Новую Испанию, но у меня не было достаточно денег, чтобы совершить на свой счет это далекое путешествие. Поэтому в имперском городе Страсбурге поступил я, все под именем Бернарда Кнерца, в один торговый дом, который рассылал своих служащих по разным странам и охотно принял меня на службу за мое знание нескольких языков и умение владеть шпагой. Как купеческий приказчик прожил я около трех месяцев, и рассказ о двух встречах, случившихся со мною за это время, необходимо еще присоединить к этой правдивой повести.

Мы посланы были в Савойю покупать шелка, и путь нам лежал через Западные Альпы на город Женеву. Как известно, на альпийских дорогах встречается множество затруднительных переправ через горные потоки, которые нам причиняли особенно много хлопот по причине сильных дождей, что прошли незадолго до нашего приезда, обратив ручьи в свирепые реки и снеся во многих местах мосты. Перед одним из таких потоков довелось нам особенно долго промешкать, так как его невозможно было взять вброд и нам с нашими проводниками пришлось наводить легкий мост.

Одновременно с нами о том же хлопотали проводники двух других путешественников, ехавших в противоположном направлении и стоявших перед нами на другом берегу потока. Тогда как мы были одеты весьма просто, что и подобало купцам, едущим по торговым делам, плащи и шляпы тех двух путешественников обличали их знатное происхождение, и, сообразно с этим, они не вмешивались в работу, гордо ожидая в стороне ее окончания.

Однако, когда переход был устроен, знат-

ные сеньоры, по крайней мере, один из них, непременно хотели переехать первыми, и по этому поводу произошел гневный спор между ними и моими товарищами, хотя я и уговаривал их не придавать значения такому мелочному обстоятельству. Спор мог перейти в вооруженную стычку, но, по счастью, второй из рыцарей убедил своего спутника уступить нам, и наш маленький караван первый, с победными кликами, перешел сам и перевел лошадей по положенным бревнам. Оказавшись на другой стороне, я счел уместным поблагодарить рыцаря, который своей учтивостью и благоразумием избавил нас от неуместной битвы, но, когда я приблизился к нему, с изумлением и волнением узнал я в нем графа Генриха, а в его сотоварище – Люциана Штейна.

Первую минуту показалось мне, что вижу я перед собой выходца из могилы, – так далеко от меня была моя прошлая жизнь, и я не мог ни говорить, ни двигаться, как зачарованный.

Граф Генрих тоже всматривался несколько мгновений в мое лицо молча и наконец ска-

зал:

– Я узнал вас, господин Рупрехт. Верьте, я был от души рад, что удар моей шпаги тогда не был для вас смертельным. У меня не было причин убивать вас, и мне было бы тяжело носить на душе вашу смерть.

Я ответил:

– А я должен сказать вам, граф, что во мне нет ни малейшего злого чувства против вас. Это я вызвал вас и принудил к поединку; нанося мне удар, вы только защищались, и бог не поставит вам его в счет.

После этого один миг мы молчали, а потом, с внезапным порывом, даже весь качнувшись в седле, граф Генрих вдруг сказал мне, как говорят лишь человеку близкому:

– Скажите ей, что я жестоко искупил все, в чем виноват перед ней. Все страдания, какие я ей причинил, бог заставил испытать и меня. И я верно знаю, что страдаю за нее.

Я понял, кого граф Генрих не хотел назвать по имени, и ответил строго и тихо:

– Ренаты более нет в живых.

Граф Генрих снова вздрогнул и, уронив поводья, закрыл лицо руками. Потом он поднял

на меня свои большие глаза и спросил возбужденно:

– Она умерла? Скажите мне, как она умерла?

Но, вдруг прервав самого себя, он возразил:

– Нет, не говорите мне ничего. Прощайте, господин Рупрехт.

Повернув лошадь, он направил ее на временный мост и скоро уже был на другой стороне ревучего потока, где его ждали проводники и Люциан, а я поскакал догонять своих сотоварищей, ушедших далеко вперед по горной, вьющейся дороге.

В Савойе пробыли мы три недели и, закупив товару, сколько нам было нужно, решили возвратиться через Дофинэ, где можно было сходно приобрести бархат, которым его города славятся, и с этой целью из Турина мы поехали в Сузу, а из Сузы в Гренобль, направляясь к Лиону. В Гренобле, небольшом, но миллом городке на Изере, где мы провели больше суток, ждало меня последнее приключение, имеющее связь с рассказанной мною историей. Ибо, когда утром, без особого дела, бродил я по городу, осматривая его церкви и просто



виды его улиц, внезапно кто-то окликнул меня на нашем языке по имени, и я, обернувшись, долго не мог признать заговорившего со мной, потому что его менее всякого другого ожидал я повстречать в этой стране, и только когда он себя назвал, увидел я, что это точно ученик Агриппы Неттесгеймского, Аврелий.

Когда я спросил Аврелия, по какой причине он находится здесь, в ответ он высыпал передо мной целый короб жалоб.

– Ах, господин Рупрехт, – говорил он, – для нас настали очень плохие дни! Учитель, покинув город Бонн, думал было поселиться в Лионе, где он и прежде жил и где у него есть родственники и покровители. Но внезапно там его схватили и бросили в тюрьму, пятидесятилетнего старика, без объяснения причин, безо всякой вины с его стороны, кажется, потому только, что в его сочинениях есть нападки на Капетов! Правда, по ходатайству влиятельных друзей, его скоро выпустили, но многого из имущества ему не возвратили, да и сам он, как человек старый и хворый, занемог. Из Лиона переехали мы налегке сюда, но учитель совсем слег в постель, вот не встает

который день, и ему очень худо. Еще благодарение господу, что принял в нас участие один из здешних видных людей, господин Франсуа де Вашон, президент парламента, – он дал нам приют и пропитание, а то у нас решительно хлеба не на что было бы купить!

Я спросил, можно ли мне посетить Агриппу, и Аврелий ответил:

– Разумеется, можно, да и пора мне вернуться, так как боюсь я надолго покидать учителя.

Аврелий повел меня по направлению к Изеру, по пути продолжая жаловаться на несправедливость и неблагодарность людей и, между прочим, горько упрекая моего приятеля Иоганна Вейра, который перед отъездом Агриппы в Дофинэ покинул учителя и в настоящее время жил благополучно в Париже. На углу набережной и другой улицы стоял невысокий, старинный дом, украшенный, впрочем, каким-то гербом, высеченным из камня, – и это было жилище, которое занимал теперь, из милости, Агриппа Неттестгеймский. Едва мы вошли в сени, как навстречу нам вышел Августин, весь в слезах, что мало соот-

ветствовало его широкому, круглому лицу, и, забыв даже поздороваться со мной, известил, что учителю совсем плохо.

На цыпочках прошли мы в комнату, где на широкой супружеской кровати, под балдахинном, в неудобном положении, лежал неподвижно, протянув руки вдоль тела, великий чародей, уже похожий на мертвеца, ибо черты лица его обострились, а борода была давно не брита и казалась отросшей после смерти. Вокруг кровати в скорбном молчании стояли ученики, слуги и сыновья Агриппы, а также и два-три лица, мне незнакомых, так что всего, я думаю, было тут, считая со мной, человек десять или одиннадцать. Около самой постели сидела на задних лапах, положив уныло морду на одеяло, большая черная собака, с мохнатою шерстью, та, которую Агриппа называл Monseigneur. Вся обстановка комнаты производила впечатление временного привала, потому что среди мебели, оставленной, по-видимому, владельцем дома, везде виделись вещи Агриппы, и, между прочим, повсюду были разбросаны книги.

Собравшиеся шепотом обменивались меж-

ду собой различными замечаниями, но я не мог понять, что говорили люди, мне незнакомые, так как они беседовали на французском языке. Я слышал только, как Эммануэль сказал Аврелию, что во время его отсутствия был приглашен священник, что Агриппа был тогда в сознании, исповедался и причастился Святых Тайн, и вел себя при этом таинстве, по словам духовника, «как святой», – что меня поразило очень. С своей стороны, я спросил у Эммануэля, навещал ли Агриппу медик, и он ответил мне, что неоднократно и что все меры, предписываемые врачебным искусством, были своевременно приняты, но что никакой надежды на спасение больного сохранять невозможно и что смерть уже поставила свою косу у изголовья этой постели.

Я думаю, более получаса провели мы в томительном ожидании, причем Агриппа не изменял своего положения и не двинулся ни одним членом, и только хриплое его дыхание свидетельствовало, что он еще жив, и я уже собирался, хотя бы временно, вернуться к своим сотоварищам и сообщить им, где я нахожусь, – как вдруг совершилась сцена ужасная

и для меня непонятная. Умиравший внезапно открыл глаза и, обведя нас всех взглядом тусклым, как бы ничего не видящим, от которого все мы оцепенели, остановил его на собаке, сидевшей около кровати. Потом костлявая, совершенно пожелтевшая и у краев пальцев даже почерневшая рука отделилась от одеяла, некоторое время колыхалась бессильно в воздухе, как если бы она уже не повиновалась воле человека, и медленно опустилась на шею собаки. Замерев в непонятном ужасе, видели мы, как Агриппа силился расстегнуть ошейник, исписанный кабалистическими письменами, как наконец достиг этого, и звяканье ошейника, упавшего на пол, потрясло нас содроганием, как самая страшная угроза. В ту же минуту склеенные губы Агриппы, во всем подобные губам трупа, разделились, и сквозь тяжкий хрип умирающего мы отчетливо услышали произнесенными следующие слова:

– Поди прочь, проклятый! От тебя все мои несчастья!

Проговорив это, Агриппа снова остался неподвижен, сомкнув уста и закрыв глаза, а

рука его, которой он расстегнул ошейник, свисла с постели, как восковая, но мы еще не успели сообразить смысла услышанных слов, как другое удивительное явление привлекло наше внимание. Черная собака, с которой хозяин снял магический ошейник, вскочила, низко наклонила голову, опустила хвост между ног и побежала прочь из комнаты. Несколько мгновений мы не знали, что делать, но потом некоторые, и я в том числе, повинувшись неодолимому любопытству, бросились к окну, выходящему на набережную. Мы увидели, что Monseigneur, выбежав из двери дома, продолжал бежать, сохраняя свою униженную повадку, по улице, добежал до самого берега реки, со всего разбега кинулся в воду и более не появлялся на поверхности.

И я, и все другие свидетели этого единственного самоубийства не могли, конечно, не вспомнить таинственных рассказов, которые ходили об этой собаке, а именно, что это не кто иной, как домашний демон, услугами которого Агриппа пользовался, уступив в обмен дьяволу спасение своей души. Меня

особенно поразили предсмертные слова Агриппы и все его поведение ввиду того сурового осуждения магии, которое он когда-то произнес передо мною, осмеивая лжемагов, занимающихся гойетейей, и называя их фокусниками и шарлатанами. На краткий миг, словно при беглой вспышке молнии, увидел я Агриппу, хотя на смертном одре, тем таинственным чародеем, живущим иной жизнью, нежели другие люди, каким изображает его народная молва. Но в ту минуту мне не было времени задумываться над такими вопросами, потому что горестные восклицания лиц, оставшихся близ постели умирающего, известили нас, что его страдания кончились [278].

Тотчас вокруг началось обычное волнение, какое создает в нашей жизни смерть, всегда падающая словно тяжелый камень в стоячую воду, – и одни из учеников, плача, целовали руки почившему учителю, другие заботились закрыть ему глаза, третьи спешили позвать каких-то женщин, чтобы омыть и убрать тело покойного. Скоро комната стала наполняться множеством людей, пришедших взглянуть на умершего мага, и я воспользовался общей су-

етней и незаметно удалился из дома, в котором был теперь лишним.

Своим спутникам, знавшим меня за доброго товарища Бернарда, я, конечно, ничего не сказал о виденном мною, и в тот же день вечером мы выехали из города Гренобля.

Вернувшись в Страсбург, я получил на свою долю сумму денег, достаточную, чтобы на свой страх предпринять путешествие в Испанию, и совершил его в глухую зиму, без особых происшествий, через всю Францию. На испанской земле почувствовал я себя словно на второй своей родине и в Бильбао без особого труда нашел лиц, которым мое имя было не совсем незнакомо и которые согласились присоединить меня, как человека опытного и дельного, к замышленной ими экспедиции в Новый Свет, – а именно на север от страны Флориды, вверх по течению реки Святого Духа[279], где счастливым искателям удавалось открыть целые россыпи золота. Таким образом, мои скромные планы осуществились, и весной, с первыми отплывающими каравелами, наше судно отправится за океан.

Месяцы вынужденного бездействия, пока



наш корабль грузится, пока собирается для него экипаж и зимние ветры делают опасным плавание в открытом море, я посвятил составлению этих правдивых записок, – мучительный труд, в который вкладываю я ныне последнюю скрепу. Не мне судить, с каким искусством удалось мне пересказать тебе, благосклонный читатель, все те жестокие мучительства и те тягостные испытания, в какие вовлекла меня неудержная страсть к женщине, и не мне оценивать, могут ли эти записки быть полезным предостережением для слабых душ, которые, подобно мне, захотят почерпать силы в черных и сомнительных колдовцах магии и демономантии. Во всяком случае, я писал свою повесть со всей откровенностью, выставляя людей такими, каковыми они мне представлялись, и не щадя себя самого, когда надо было изобразить свои слабости и недостатки, а также не утаивал я ничего из тех знаний, какие получил о тайных науках из прочитанных мною книг, из своего несчастного опыта и из речей ученых, с которыми сближали меня случайности моей судьбы.

Не желая лгать в последних строках своего рассказа, скажу, что если бы жизнь моя вернулась на полтора года назад и вновь на Дюссельдорфской дороге ждала меня встреча со странной женщиной, – может быть, вновь совершил бы я все те же безумства и вновь перед троном дьявола отрекся бы от вечного спасения, потому что и поныне, когда Ренаты уже нет, в душе моей, как обжигающий уголь, живет непобедимая любовь к ней, и воспоминание о неделях нашего счастья в Кельне наполняет меня тоской и томлением, ненасыщенной и ненасытимой жаждой ее ласк и ее близости. Но со строгой уверенностью могу я здесь дать клятву перед своей совестью, что в будущем не отдам я никогда так богохульственно бессмертной души своей, вложенной в меня создателем, – во власть одного из его созданий, какой бы соблазнительной формой оно ни было облечено, и что никогда, как бы ни были тягостны обстоятельства моей жизни, не обращусь я к содействию осужденных церковью гаданий и запретных знаний и не попытаюсь переступить священную грань, отделяющую наш мир от темной области, где

витают духи и демоны. Господь бог наш, видящий все и глубины сердечные, знает всю чистоту моей клятвы. Аминь.

## Программа

**Г**лава 1. Моя автобиография до 1535 г.

2. Приключение в трактире. М-ъ, Вейер, Велли.

3. Бегство. Лютеране и сионисты. Первая ночь вдвоем.

4. Дальнейшее бегство. Кельн. Объяснение.

5. Бонн. Розыски Агриппы. Католицизм.

6. Свидание с Агриппой.

7. Решение умереть.

8. «Я дрожа сжимаю труп».

9. Дни перед смертью. Меня посещает Агриппа.

Гуманисты.

10. Новая угроза. М-ъ. Бегство из Бонна.

11. Встреча с Л.

12. Вызов на дуэль.

13. Перед дуэлью. Свидание с Л.

14. Дуэль.

15. «Из ада изведенные».

16. Счастье. Опять М-ъ.

17. Второе лицо. Шабаш.
  18. Ведьма! Непокойный дух.
  19. Исчезновение. Поиски. Маги и колдунны.
  20. У доктора Фауста. Мефистофель.
  21. В монастыре. Нечистая сила.
  22. Заклинание дьявола. Арест.
  23. Допрос. пытка. Приговор суда.
  24. Тюрьма. Смерть.
  25. У моего отца. Последняя встреча с Л.
  26. Смерть Агриппы.
- 1904—1905

**Набросок плана,  
в котором действие расписано по  
дням: 1534**

- 16** авг. Ночь. Встреча с Рен.  
17 авг. Путь через Геердт (и ночлег в Дюссельд).
- 18 авг. Отъезд из Д. Ночлег в бар.
- 19 авг. Вечером приезд в Кельн. Ночлег 1-й в К.
- 20 авг. Искания в Кельне. Стуки. Ночь в К.  
Утро в К.

21 авг. Ожидания приезда Генр... Ночь 3 в  
К. Утро 2.

22 авг. Больна.

23, 24, 25, 26, 27 – Болезнь.

28, 29, 30, 31, 1 сент. – Прогулки.

2 сент. День прог. Вечер ласк слова.

3 сент. Утро. *То же*, переменна.

4, 5, 6, 7, 8. Посещ. церкви.

Воскресенье.

7 понед.

8 вторн.

Сент. 9 среда – шабаш.

По одному из планов видно, что одно время Брюсов думал показать в романе расправу инквизиции с «ведьмами» – сожжение на костре: 17. Допрос. Пытка. Приговор. 18. В тюрьме. Двое. Сожжение на костре.

# Предисловие русского издателя

Предлагаемая читателям повесть XVI века дошла до нас в единственной рукописи, находящейся ныне в частных руках. Ее владелец, – благодаря любезности которого мы имеем возможность обнародовать русский перевод ранее появления в печати подлинника, – намерен предпослать немецкому изданию обстоятельное критическое вступление. Отсылая любопытных к его работе, где дано будет всестороннее описание рукописи и подробно рассмотрены вопросы о ее подлинности, времени написания, историческом значении и т. под. – мы ограничимся здесь по этому поводу лишь несколькими словами.

Рукопись представляет собою тетрадь in 4°, в 208 страниц синеватой бумаги, из которых 4 последних – без текста, переплетенную в пергамент, с застежками. Писана она готическим шрифтом, на том «общенемецком» языке, не чуждом, однако, диалектических особенностей, на котором печатались книги в Герма-

нии в самом конце XV и начале XVI века; только посвящение составлено по-латыни. Рукопись ни в каком случае не автограф руки автора, который сам говорит, что писал свою исповедь в конце 1535 года, но – список, сделанный значительно позднее, по-видимому, уже в самом конце XVI века, неизвестным нам лицом, как можно догадываться, – католиком. <Есть явные следы, что язык повести несколько подновлен переписчиком. Им же, вероятно, дано повести и ее витиеватое заглавие, несколько противоречащее тону всего рассказа, в общем простого и безыскусственного. На корешке переплета поставлено чернилами заглавие сокращенное: «Правдивая повесть» (Eine wahrhaffte Geschichte), может быть, принадлежащее автору.>[280] Сохранность рукописи почти не оставляет желать ничего лучшего, так как все строки могут быть прочитаны, а немногие попорченные места легко восстанавливаются по контексту.

Добросовестность автора, его строгое намерение беспристрастно и верно описать то, что он пережил, – могут быть поставлены вне сомнения. В XVI и XVII столетиях колдовство и

ведовство были не столько народными суевериями, сколько определенными доктринами, развиваемыми в книгах самых выдающихся естествоиспытателей и юристов. Неопределенные колдования и гадания Средних веков выросли в эпоху Возрождения и Реформации в стройно разработанную дисциплину наук, которых ученые насчитывали свыше двадцати (см., напр., сочинение Агриппы: «De speciebus magiaе»). Лучшие умы тех веков не только верили в сношения с дьяволом, но и посвящали этому вопросу отдельные работы. Так, Жан Бодэн, знаменитый автор «De republica», которого Бокль признавал одним из замечательнейших историков, написал обширное сочинение, доказывающее существование ведьм; Амбруаз Парэ, преобразователь хирургии, описал природу демонов и виды одержания; Кеплер защищал свою мать от обвинения в ведовстве, не возражая против самого обвинения, и т. д. Папы издавали специальные буллы против ведьм, и во главе известного «Malleus maleficarum» стоит текст: «Haeresis est maxima opera maleficarum non credere», то есть: «Не верить в деяния ведьм –



высшая ересь». Число этих не верящих было очень невелико, и среди них на видное место должно поставить упоминаемого в нашей «Повести» Иоганна Вейера (или, по другой транскрипции его имени, Жана Вира), который первый признал в ведовстве особую болезнь. <Таким образом нисколько не удивительно, что автор «Правдивой повести» рассказывает о разных сверхъестественных явлениях с тем же спокойствием летописца, как и о всех иных происшествиях своей жизни.>

При передаче «Повести» на русский язык мы имели в виду, что ее автор уделял значительное внимание художественности рассказа. Поэтому мы не считали нужным воспроизводить мелкие особенности в стиле подлинника, и наш перевод должен быть назван свободным. В конце «Повести» будут приложены необходимейшие объяснения переводчика.

# В. Брюсов

## Оклеветанный ученый

Потомство оклеветало Агриппу. Из всех его сочинений оно запомнило лишь одно, трактат «О сокровенной философии», которому он сам не придавал большого значения. Народная молва сделала из Агриппы черно-книжника, мага и связала с его именем множество фантастических легенд, одна другой нелепей. Ученые, изучая знаменательную эпоху немецкого Возрождения, как-то сторонятся Агриппы, так как он не принадлежал непосредственно ни к одному из кружков гуманистов. Его образ до сих пор не получил надлежащей оценки, и до сих пор он не занял в истории Просвещения того места, на какое имеет право.

Надо сознаться, что сам Агриппа не совсем неповинен в таком к себе отношении. Конец XV и начало XVI века разделили людей, особенно население Германии, резко на два круга: проповедников нового, сторонников Эразма и Рейхлина, «гуманистов», и защитников

старого, «темных людей», «обскурантов». Агриппа не сумел или не захотел определенно выбрать свое место в одном из двух лагерей. Многими чертами своего характера и своей деятельностью он примыкал к гуманистам. Свои профессорские чтения он начал с толкования одного сочинения Рейхлина. С Эразмом он был в переписке и отзывался о нем с величайшим почтением. Всю жизнь он боролся с монахами, естественными защитниками всякого обскурантизма, и не раз подвергался преследованиям с их стороны. При всем том Агриппа был хорошо и разносторонне образован, прекрасно знал древних, легко и правильно писал по-латыни. Но много было в Агриппе и «от старого». Он никогда не мог освободиться от чисто схоластической манеры излагать свои мысли. Он как-то чуждался тех тем, которые привлекали особое внимание гуманистов. Предметом его первого большого сочинения была магия. Само по себе это еще не могло восстановить против Агриппы сторонников нового; в силу магии верили многие образованнейшие умы того времени: Пико делла Мирандола написал сочинение,

доказывающее существование ведьм, Гемистос Плето изъяснял природу демонов и т. д. Но трактат Агриппы был весь основан на старых сочинениях такого рода, не был свободным исследованием магических явлений, но был переполнен изложением традиционных мнений. Второе большое сочинение Агриппы трактовало о недостоверности познания, тогда как гуманисты выше всего ставили именно просвещение и науку. В жизни Агриппа, замкнутый и суровый, держался особняком и не хотел признавать над собой никаких авторитетов. Он писал к Эразму как равный равному и требовал к себе отношения как к учителю (*magister*), а гуманисты не считали его притязания обоснованными. Все это отделяло, обособляло его от «новых людей».

В жизни Агриппа был типический представитель людей Возрождения. Как все выдающиеся люди той эпохи, он обладал познаниями энциклопедическими, брался за все, от военного дела до магии, от должности инженера до места историографа, был то юристом, то медиком, то теологом и, не имея на то никаких официальных прав, писал на заглавии

своих книг, после своего имени «доктор обоих прав и медицины». Непоседливый, тоже как все люди Возрождения, он не мог ужиться по долгу ни в одном городе, исколесил всю Европу в поисках счастья, поочередно избирал местами своей деятельности то Италию, то Францию, то Англию, то Швейцарию, то разные города Германии. Родившись в сентябре 1486 года, в Кельне, он рано вступил на военную службу, в австрийскую армию, совершил походы в Испанию, Италию и Голландию. Потом слушал лекции в Париже, вновь участвовал в испанском походе, а в 1509 году уже сам выступил как профессор в университете в Доле. В эпоху, когда Меланхтон читал лекции 17 лет от роду, это вовсе не было рано. Вскоре Агриппе, по обвинению в ереси, пришлось укрываться в Англии; затем он был профессором теологии в Кельне, придворным в свите императора Максимилиана в Италии, участником церковного собора в Пизе, вновь профессором в Павии и в Турине. Несколько спокойных лет провел он в Меце, на службе у города, как синдик, адвокат и оратор. От преследований монахов ему пришлось укрыться в

Женева; после того он с успехом практиковал как врач в Фрейбурге, перешел на службу к французскому двору и был лейб-медиком королевы-матери в Лионе, в то же время занимаясь изобретением каких-то военных машин; оставив государственную службу, вновь практиковал как частный врач в Антверпене, но был принужден отказаться от медицинской практики за неимением диплома. Получив звание придворного историографа императора Карла V, он поселился в Милане, но должен был вскоре бежать из этого города. Потеряв почти всех своих покровителей, он вел после того довольно несчастное существование, дважды был брошен в тюрьму кредиторами, в Брюсселе и в Лионе, и умер, почти одиноким, в Гренобле, в 1535 году. За все время этой тревожной, походной жизни он не переставал учиться и писать, издавал и маленькие памфлеты и большие ученые трактаты, вел огромную переписку со всеми видными людьми своего времени и был постоянно окружен группой учеников, которым расточал свои многообразные познания. Остается добавить, что не бедна была и лич-

ная жизнь Агриппы: он был трижды женат, имел несколько человек детей, испытал и в семейной жизни немало тяжелых огорчений.

Сочинения Агриппы столь же разнообразны, как и его жизнь. В собрании его сочинений, вышедшем после его смерти в Лионе, в двух больших томах очень убористой печати, мы находим трактаты по магии, демонологии, каббале, рассуждения теологические (о таинстве брака, о первородном грехе и т. п.), историческое исследование о коронации Карла V, книгу о пиромахии (огнестрельном оружии), маленький парадоксальный «опыт» о превосходстве женского пола над мужским, комментарии к сочинениям Раймонда Люлия, комментарии к сочинениям Плиния Младшего, немало других «маленьких трактатов» (так их озаглавил сам Агриппа) и, наконец, сочинение «О недостоверности и тщете наук и искусств», в котором разбираются и критикуются положительно все отрасли знания того времени. В сущности говоря, большинство из них не что иное, как остроумно развитые парадоксы. Бесспорный парадокс — сочинение о превосходстве женского пола

(между прочим, имевшее наибольший успех среди всех сочинений Агриппы и много раз переведенное на разные языки в течение XVI—XVII веков), парадоксы и многие «маленькие трактаты»; но также парадоксальны и два основных сочинения Агриппы: «О сокровенной философии» и «О недостоверности наук». Дело в том, что в обоих этих сочинениях Агриппа защищал тезисы, которые сам не разделял. Он, как это видно по его позднейшим письмам, не верил в силы «оперативной магии», считал веру в возможность вызывать демонов и овладевать их силами – предрассудком, а магические церемонии – шарлатанством[281]. Это не помешало ему написать подробное изложение всех знаний, связанных с магией, и постараться привести их в стройную систему, строго по методам науки своего времени. Изложению предпослан род философского вступления, излагающего предпосылки оккультного знания (те самые, на которые, с малыми изменениями, опираются и современные оккультисты): учение о всемирном соответствии, связывающем между собой все явления Вселенной и позволяющем через



самое малое влиять на самое великое. С другой стороны, Агриппа был убежден, как сам говорит в письме к Эразму, в пользе и высоком значении науки. Однако он постарался добросовестно выискать все доводы, какие только мог найти, против знания вообще и против каждой науки в частности. Его занимала в этом деле борьба с очевидностью, как бы некоторый *tour de force* ума и остроумия. И надо сознаться, что иные доводы Агриппы (к сожалению, далеко не все) берут вопрос глубоко и готовят почву для будущего критицизма.

Бесспорно, личность Агриппы, его сочинения, его взгляды заслуживают внимания историков культуры и историков философии. Но долгое время личность Агриппы оставалась не освещенной наукой: историки, как бы унаследовав вражду гуманистов к «черно-книжнику», проходили мимо его характерной и далеко не заурядной личности. Бейль был первым, кто в своем знаменитом «Историческом и критическом словаре» (1696 г.) попытался выставить образ Агриппы в истинном свете. В XIX веке были изданы два боль-

ших труда, специально посвященных Агриппе, один английский, другой французский: Г. Морлея (1856 г.) и О. Про (1882 г.), в которых сделаны попытки выяснить действительное значение Агриппы для своего времени. Но с появления последней из этих работ прошло уже 30 лет, и громадное количество вновь опубликованных с тех пор исторических материалов настоятельно побуждает пересмотреть многие выводы обоих авторов.

Биографический очерк, предлагаемый теперь в переводе вниманию читателей и принадлежащий перу молодого ученого Жозефа Орсье, не имеет притязания исполнить эту работу. Он почти исключительно основан на сохранившейся переписке Агриппы, которую автор считает «истинной автобиографией» великого авантюриста, – хотя Ж. Орсье и привлек к исследованию некоторые архивные материалы. Но все же Орсье дает яркую и, при всей сжатости очерка, полную картину жизни Агриппы, попутно разъясняя многие темные пункты его биографии. Для русского читателя издаваемая книжка окажется единственным источником для знакомства с од-

ним из значительнейших людей знаменательной эпохи: начала Реформации в Германии.

Мы сочли нужным дополнить биографический очерк Орсье несколькими примечаниями (которые все помечены буквами В. Б. в отличие от примечаний *Автора*), присоединить к нему очерк о легендах, сложившихся вокруг имени Агриппы (которые Орсье обходит молчанием), и дать краткую библиографию сочинений самого Агриппы и об нем. Добавим еще, что все цитаты из сочинений и писем Агриппы, приводимые Орсье, нами проверены по подлиннику, и довольно свободный перевод, сделанный Орсье, заменен более точным.

# В. Брюсов

## Легенда о агриппе

Современники знали Агриппу преимущественно как чародея. С ранней юности за ним утвердилось имя «мага», и надо сказать, что он и сам не старался разрушить такого представления. Хотя в своих серьезных сочинениях он решительно восставал против «оперативной магии», но эти его книги были мало кому доступны. Большинство продолжало считать его чародеем, и даже короли обращались к нему с просьбами о предсказаниях. Изданием «Сокровенной Философии», в истинный смысл которой не легко было проникнуть, окончательно было утверждено такое мнение.

Это обстоятельство, в связи с особенностями жизни Агриппы, замкнутой, непоседливой, исполненной самыми разнообразными приключениями, повело к тому, что личность Агриппы оказалась окруженной целым роем самых фантастических легенд. Об нем рассказывали удивительные вещи, к нему относили

басни, сложенные про всех других черно-книжников, и не было такой нелепой истории, которой не дали бы веры, если она была применена к Агриппе. Агриппа, в народном представлении, долгое время оставался олицетворением чародея, и только слава Фауста (бывшего, кстати сказать, младшим современником Агриппы) несколько поколебала авторитет Агриппы как мага.

Старые биографы Агриппы заполняли свои сочинения преимущественно этими фантастическими легендами, приурочивая их, с большей или меньшей возможностью, к различным эпохам жизни философа.

Вот некоторые из этих рассказов:

Генрих Говард, граф Шерри, даровитый поэт, придворный Генриха VIII, короля Английского, оплакивал смерть своей горячо любимой жены, прекрасной Жиральдины, дочери лорда Кильдара. Говард обратился к Агриппе с просьбой вызвать ему дух умершей. Чародей не отказался и показал Говарду лик его жены в магическом зеркале[282].

Во время испанского похода Антонио де Лейва Агриппа, участвуя в его войске, чаро-

действием способствовал будто бы успеху всех предприятий имперской армии. Антонио де Лейва после того представил Агриппу Карлу V, и чародей осмелился предложить императору снабдить его большими средствами с помощью магических операций. Конечно, Карл V с негодованием отверг это предложение, и Агриппа должен был спастись бегством от справедливого гнева императора.

Часто, во время своих переездов, Агриппа расплачивался в гостиницах деньгами, которые имели все признаки подлинных. Конечно, по отъезде философа монеты превращались в навоз. – Одной женщине Агриппа подарил корзину золотых монет; на другой день с этими монетами произошло то же самое: корзина оказалась наполненной лошадиным навозом[283].

Во время пребывания Агриппы в Лувене, один из учеников философа проник, с помощью его жены, в его кабинет. Там, пользуясь книгой магических заклинаний, он вызвал демона. Но ученик не имел никакой власти над демоном, и тот в ярости бросился на юношу и задушил его. В эту самую минуту Агрипп-

па вернулся. Поняв, что ему грозит обвинение в убийстве юноши, Агриппа немедленно приказал демону войти в тело убитого и, выйдя из дому, отправиться на людную площадь. Там демон покинул тело ученика, и оно пало на землю бездыханным. Многочисленные же свидетели этого явления могли подтвердить с полным убеждением, что бедный юноша умер скоропостижно и что Агриппа в его смерти не повинен[284].

Рассказывали, что однажды Агриппа читал лекцию во Фрейбурге в 10 час. утра, и в тот же самый час он же начал чтение другой лекции в Понт-а-Муссоне (Pont-a-Mousson, в латинизированной форме Pontimussi), на расстоянии многих миль[285].

Агриппе приписывали способность вычитывать на диске луны о событиях, совершавшихся на всех концах света, или получать об них сведения через своих домашних демонов. Жан Вир, ученик Агриппы, объясняет эту осведомленность гораздо проще: обширной перепиской, которую вел Агриппа с учеными всех стран. Смерть Агриппы также окружена легендой. Павел Иовий рассказывал, что у

Агриппы была собака с кличкой Monsieur, которая была не что иное, как демон, обращенный чародеем в образ собаки. Чувствуя приближение смерти, Агриппа подзвал собаку к своей постели, снял с нее ошейник, на котором были каббалистические знаки, и сказал: «Поди прочь, проклятое животное, из-за тебя я погиб!» Собака тотчас выбежала из дома, бросилась в реку и утонула. Вир объясняет, что Monsieur был самым обыкновенным псом, так же как и другая любимая собака Агриппы с кличкой Madame.

О смерти Агриппы исторические известия современников расходятся. Есть, напр., совершенно недостоверное известие (Thevet), будто он умер в Лионе. Оно опровергается категорическим свидетельством Вира. Другие биографы Агриппы (Jovius) говорят, что он умер в Гренобле, в гостинице. Согласно исследованиям Ги Аллара (Guy Allard, р. в 1645 г., ум. 1716 г.) Агриппа умер (с чем согласен и Орсье) в Гренобле, в доме Франсуа де Вашона. По исследованиям же некоего Шорье, жившего одновременно с Алларом, Агриппа скончался в Гренобле, но в другом доме, на улице des



Clercs, принадлежавшем тогда члену парламента Феррану, где в 1457 г. умер известный юрист Ги Пап[286].

Легенда об Агриппе с течением лет все разрасталась. Рабле изобразил своего современника в злой карикатуре, в лице шарлатана Her Tripra. Сирано де Бержерак, в одном из своих писем, заставлял даже дух Агриппы творить чудеса[287]. Отголоски этих сказаний доходят до начала XIX века.

Благодаря трудам новых историков, личность Агриппы начинает выходить из тумана долго окружавшей его легенды. Прочтя хотя бы биографический очерк Орсье, уже нельзя видеть в Агриппе ни чародея, всю жизнь проведенного в общении с нечистой силой, ни только шарлатана, тридцать лет морочившего и простой народ, и королей хитрыми проделками и искусными фокусами. Мы знаем теперь не того Агриппу, которым пугали детей в XVI веке, не чернокнижника, водящего на привязи дьявола в виде собаки, но Агриппу, неутомимого трудолюбца, энциклопедически образованного ученого, бесстрашного и честного мыслителя, прекрасного стилиста и

язвительного памфлетиста. Агриппа не был чужд предрассудков своего времени, – но кто же в силах вполне от них освободиться? – Агриппа вел жизнь искателя приключений, был неуживчив, надменен, любил споры и не уступал своим противникам ни в чем, – но таков был дух эпохи, той славной эпохи, когда конквистадоры завоевывали Новый Свет, когда создавались новые империи, когда жили Кортес и Бенвенуто Челлини. Желчность Агриппы, непримиримость его ненависти искупались его нежной любовью к жене, к «ангелоподобной» Жанне-Луизе, и к семье; некоторое лицемерие, которое случалось проявлять Агриппе, его некоторая неразборчивость в выборе покровителей, оправдывается тяжелыми условиями его жизни, постоянной нуждой, доходившей порой до нищеты, гонениями со стороны сильных врагов, черной неблагодарностью, какой ему платили люди, пользовавшиеся его услугами. А все «чародейства» Агриппы, право, искуплены его беспощадной критикой шарлатанства современных ему магов и тем благородством, с каким он, рискуя собственным благополучием, – а, мо-

жет быть, и жизнью, — бросился на защиту бедной крестьянки из деревни Войпи, обвиненной в колдовстве.

В ночь на 23 февраля 1928 года в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская. Писательницей называли ее по этому поводу в газетных заметках. Но такое прозвание как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное — все и не хотела «истратить» на литературу. Однако в жизни литературной Москвы, между 1903—1909 гг., она сыграла видную роль. Ее личность повлияла на такие обстоятельства и события, которые с ее именем как будто все не связаны. Однако, прежде чем рассказать о ней, надо коснуться того, что зовется духом эпохи. История Нины Петровской без этого непонятна, а то и незанимательна.

\* \* \*

Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от

личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощались в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции.

Процент этой «утечки» в разных случаях был различен. Внутри каждой личности боролись за преобладание «человек» и «писатель». Иногда побеждал один, иногда другой.

Победа чаще всего доставалась той стороне личности, которая была даровитее, сильнее, жизнеспособнее. Если талант литературный оказывался сильнее – «писатель» побеждал «человека». Если сильнее литературного таланта оказывается талант жить – литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, «жизненного» порядка. На первый взгляд, странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить» расценивались почти одинаково.

Выпуская впервые «Будем как солнце», Бальмонт писал, между прочим, в посвящении: «Модесту Дурнову, художнику, создавшему поэму из своей личности». Тогда это были совсем не пустые слова. В них очень запечатлен дух эпохи. Модест Дурнов, художник и стихотворец, в **искусстве** прошел бесследно. Несколько слабых стихотворений, несколько неважных обложек и иллюстраций – и конечно. Но о жизни его, о личности слагались легенды. Художник, создающий «поэму» не в искусстве своем, а в жизни, был законным явлением в ту пору. И Модест Дурнов был не оди-

нок. Таких, как он, было много – в том числе Нина Петровская. Литературный дар ее был не велик. Дар жить – неизмеримо больше.

*Из жизни бедной и случайной  
Я сделал трепет без конца —*

она с полным правом могла бы сказать это о себе. Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет, из творчества – ничего. Искуснее и решительнее других создала она «поэму из своей жизни». Надо прибавить: и о ней самой создалась поэма. Но об этом речь впереди.

\* \* \*

Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 г. Мы познакомились в 1902 г. Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубоврачебные курсы. Была невестой одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождались драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала «литературной эпохи» в ее жизни. Прошлое казалось ей бед-

ным, жалким. Она нашла себя лишь после того, как очутилась среди символистов и декадентов, в кругу «Скорпиона» и «Грифа».

Да, здесь жили особенной жизнью, не похожей на ее прошлую. Может быть, и вообще ни на что больше не похожей. Здесь пытались претворить искусство в действительность, а действительность в искусство. События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались как **только** и **просто** жизненные; они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратное: написанное кем бы то ни было становилось реальным, жизненным событием для всех. Таким образом, и действительность, и литература создавались как бы общими, порою враждующими, но и во вражде соединенными силами всех, попавших в эту необычайную жизнь, в это «символическое измерение». То был, кажется, подлинный случай коллективного творчества.

Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке.

Жили разом в нескольких планах. В конце концов, были сложнее запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных. Вскоре Нина Петровская сделалась одним из центральных узлов, одною из главных петель той сети.

Не мог бы я, как полагается мемуаристу, «очертить ее природный характер». Блок, приехавший в 1904 г. знакомиться с московскими символистами, писал о ней своей матери: «Очень мила, довольно умная». Такие определения ничего не покрывают. Нину Петровскую я знал двадцать шесть лет, видел доброй и злой, податливой и упрямой, трусливой и смелой, послушной и своевольной, правдивой и лживой. Одно было неизменно: и в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи – всегда, во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же. «Все или ничего» могло быть ее девизом. Это ее и сгубило. Но это в ней не само собой зародилось, а было привито эпохой.

О попытке слить воедино жизнь и творчество я говорил выше как о правде символизма. Эта правда за ним и останется, хотя она не



ему одному принадлежит. Это – вечная правда, символизмом только наиболее глубоко и ярко пережитая. Но из нее же возникло и великое заблуждение символизма, его смертный грех. Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме «саморазвития». Он требовал, чтобы это развитие совершалось; но как, во имя чего и в каком направлении – он не предугадывал, предугадывать не хотел да и не умел. От каждого вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом) требовалось лишь непрестанное горение, движение – безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью – идти как можно быстрее и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь **полнота одержимости**.

Отсюда: лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все «переживания» почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь, отсюда вытекало безразличное отношение к их

последовательности и целесообразности. «Личность» становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались накопленные без разбора эмоции, – «миги», по выражению Брюсова: «Берем мы миги, их губя».

Глубочайшая опустошенность оказывалась последним следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода – на мешках накопленных «переживаний». Но это было именно **последнее** следствие. Ближайшим, давшим себя знать очень давно, почти сразу же, было нечто иное: непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свой по императиву очередного «переживания» влекло символистов к непрестанному актерству перед самими собой – к разыгрыванию собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций. Знали, что играют, – но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. «Истекаю клюквенным соком!» – кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящей кровью.

Декадентство, упадничество – понятие от-

носительное: упадок определяется отношением к первоначальной высоте. Поэтому в применении к искусству ранних символистов термин декадентство был бессмыслен: это искусство само по себе никаким упадком по отношению к прошлому не было. Но те грехи, которые выросли и развились **внутри** самого символизма, – были по отношению к нему декадентством, упадком. Символизм, кажется, родился с этой отравой в крови. В равной степени она бродила во всех людях символизма. В известной степени (или в известную пору) каждый был декадентом. Нина Петровская (и не она одна) из символизма восприняла только его декадентство. Жизнь свою она сразу захотела **сыграть** – и в этом, по существу ложном, задании осталась правдивою, честною до конца. Она была истинной жертвою декадентства.

\* \* \*

Любовь открывала для символиста иль декадента прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть влюбленным – и человек становился обеспечен всеми предметами первой лириче-

ской необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т. д. Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены; малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували изо всех сил. Недаром воспевались даже такие вещи, как «любовь к любви».

Подлинное чувство имеет степени от любви навсегда до мимолетного увлечения. Символистам самое понятие «увлечения» было противно. Из каждой любви они **обязаны** были извлекать максимум эмоциональных возможностей. Каждая должна была, по их нравственно-эстетическому кодексу, быть роковой, вечной. Они во всем искали превосходных степеней. Если не удавалось сделать любовь «вечной» – можно было разлюбить. Но каждое разлюбление и новое влюбление должны были сопровождаться глубочайшими потрясениями, внутренними трагедиями и даже перекраской всего мироощущения. В сущности для того все и делалось.

Любовь и все производные от нее эмоции должны были переживаться в предельной на-

пряженности и полноте, без оттенков и случайных примесей, без ненавистных психологизмов. Символисты хотели питаться крепчайшими эссенциями чувств. Настоящее чувство лично, конкретно, неповторимо. Выдуманное или взвинченное лишено этих качеств. Оно превращается в собственную абстракцию, в идею о чувстве. Потому-то оно и писалось так часто с заглавных букв.

Нина Петровская не была хороша собой. Но в 1903 году она была молода – это много. Была «довольно умна», как сказал Блок, была «чувствительна», как сказали бы о ней, живи она столетием раньше. Главное же – очень умела «попадать в тон». Она тотчас стала объектом любвей.

Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой, и главное – уже воспринятое учение о «мигах». Пора было начать «переживать». Она уверила себя, что тоже влюб-

лена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок – нечто вроде похмелья. Нина решила «очистить душу», в самом деле несколько уже оскверненную поэтовым «оргиазмом». Она отреклась от «Греха», облачилась в черное платье, каялась. В сущности, каяться следовало. Но это было более «переживанием покаяния», чем покаянием подлинным.

В 1904 году Андрей Белый был еще очень молод, золотокудр, голубоглаз и в высшей степени обаятелен. Газетная подворотня гоготала над его стихами и прозой, поражавшими новизной, дерзостью, иногда – проблесками истинной гениальности. Другое дело – как и почему его гений впоследствии был загублен. Тогда этого несчастья еще не предвидели.

Им восхищались. В его присутствии все словно мгновенно менялось, смещалось или озарялось его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все, даже те, кто ему завидовал, были немножко в него влюблены. Даже Брюсов порой попадал под его обаяние. Общее восхищение, разумеется, передалось и Нине Петровской. Вскоре перешло во влюб-

ленность, потом в любовь.

О, если бы в те времена могли любить просто, во имя того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности и во имя ее. Нина обязана была в данном случае любить Андрея Белого во имя его мистического призвания, в которое верить заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед нею не иначе, как в блеске своего сияния – не говорю поддельного, но... символического. Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь они рядили в одежды правды неизмеримо большей. На черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый...

О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но он не разлюбил, а он «бежал от соблазна». Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой, у которой имя и отчество и даже имя матери так складывались, что было символически очевидно: она – пред-

вестница Жены, облеченной в Солнце. А к Нине ходили его друзья, шепелявые, колченогие мистики, – укорять, обличать, оскорблять: «Сударыня, вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны».

Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Впоследствии исковеркали жизнь и самой Жене, облеченной в Солнце, и мужу ее, одному из драгоценнейших русских поэтов.

Тем временем Нина оказалась брошенной да еще оскорбленной. Слишком понятно, что, как многие брошенные женщины, она захотела разом и отомстить Белому, и вернуть его. Но вся история, раз попав в «символическое измерение», продолжала и развиваться в нем же.

\* \* \*

Осенью 1904 г. я однажды случайно сказал Брюсову, что нахожу в Нине много хорошего.

– Вот как? – отрезал он: – Что же, она хорошая хозяйка?

Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас



переменился, как наметился ее разрыв с Белым, потому что по своему положению не мог оставаться нейтральным.

Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой, облеченной в Солнце, «томиться и скрежетать». Следовательно, теперь Нина, ее соперница, из «хорошей хозяйки» превращалась в нечто значительное, облакалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз – против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же, все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним – способа «отомстить» Белому.

Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черною магией, – не веруя, вероятно, во все это по существу, но веруя в самые занятия, как в жест, выражающий определенное душевное движение. Думаю, что и Нина относилась к этому точно так же. Вряд ли верила она, что ее магические опыты, под руководством Брюсова, в самом

деле вернут ей любовь Белого. Но она переживала это как подлинный союз с дьяволом. Она хотела верить в свое ведовство. Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова: из новейших научных источников (он всегда уважал науку) он ведь знал, что в «великий век ведовства» ведьмами почитались и сами себя почитали – истерички. Если ведьмы XVI столетия «в свете науки» оказались истеричками, то в XX веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку в ведьму.

Впрочем, не слишком доверяя магии, Нина пыталась прибегнуть и к другим средствам. Весной 1905 года в малой аудитории Политехнического музея Белый читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из браунинга в упор. Револьвер дал осечку; его тут же выхватили из ее рук. Замечательно, что второго покушения она не совершила. Однажды она сказала мне (много позже):

– Бог с ним. Ведь, по правде сказать, я уже убила его тогда, в музее.

Этому «по правде сказать» я нисколько не

удивился: так перепутаны, так перемешаны были в сознаниях действительность и воображение.

То, что для Нины стало средоточием жизни, было для Брюсова очередной серией «мигов». Когда все вытекающие из данного положения эмоции были извлечены, его потянуло к перу. В романе «Огненный Ангел», с известной условностью, он изобразил всю историю, под именем графа Генриха представив Андрея Белого, под именем Ренаты – Нину Петровскую, а под именем Рупрехта – самого себя [288].

В романе Брюсов разрубил все узлы отношений между действующими лицами. Он придумал роману развязку и подписал «конец» под историей Ренаты раньше, чем легшая в основу романа жизненная коллизия разрешилась в действительности. Со смертью Ренаты не умерла Нина Петровская, для которой, напротив, роман безнадежно затягивался. То, что для Нины еще было жизнью, для Брюсова стало использованным сюжетом. Ему тягостно было бесконечно переживать все одни и те же главы. Все больше он стал от-

даляться от Нины. Стал заводить новые любовные истории, менее трагические. Стал все больше уделять времени литературным делам и всевозможным заседаниям, до которых был великий охотник. Отчасти его потянуло даже к домашнему очагу (он был женат).

Для Нины это был новый удар. В сущности, к тому времени (а шел уже примерно 1906 год) ее страдания о Белом притупились, утихли. Но она сжилась с ролью Ренаты. Теперь перед ней встала грозная опасность – утратить и Брюсова. Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин; она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с «прохожими», как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. «Прохожих» она презирала и оскорбляла. Однако все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв го-

лову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы, бросая их, «подобно ядрам из баллисты», как сказано в «Огненном Ангеле» при описании подобной сцены.

Она тщетно прибегала к картам, потом к вину. Наконец, уже весной 1908 года, она испробовала морфий. Затем сделала морфинистом Брюсова, и это была ее настоящая, хоть не сознаваемая месть. Осенью 1909 года она тяжело заболела от морфия, чуть не умерла. Когда несколько оправилась, решено было, что она уедет за границу: «в ссылку», по ее слову. Брюсов и я проводили ее на вокзал. Она уезжала навсегда. Знала, что Брюсова больше никогда не увидит. Уезжала еще полубольная, с сопровождавшим ее врачом. Это было 9 ноября 1911 года. В прежних московских страданиях она прожила семь лет. Уезжала на новые, которым суждено было продлиться еще шестнадцать.

Ее скитания за границей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжа-

ла в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется, в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой.

Война застала ее в Риме, где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарии для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения. Перешла в католичество. «Мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San-Pietro – Рената», – писала она мне.

Брюсова она возненавидела: «Я задыхалась от злого счастья, что теперь **ему** меня не достать, что теперь другие страдают. Почему я знала – **какие** другие, – Львову он уже в то время прикончил... Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением».

Сюда, в Париж, она приехала весной 1927 года, после пятилетнего нищенского суще-

ствования в Берлине. Приехала вполне нищей. Здесь нашлось у нее немало друзей. Помогали ей, как могли, и, кажется, иногда больше, чем могли. Иногда удавалось найти ей работу, но работать она уже не могла. В вечном хмелю, не теряя рассудка, она уже была точно по другую сторону жизни.

\* \* \*

В дневнике Блока, под 6 ноября 1911 года, странная запись: «**Нина Ивановна Петровская „умирает“**». Известие это Блок получил из Москвы, но почему слово «умирает» он написал в кавычках?

Нина в те дни действительно умирала: это была та болезнь, перед отъездом из России, о которой я говорил выше. Но Блок слово «умирает» поставил в кавычки, потому что отнесся к известию с ироническим недоверием. Ему было известно, что еще с 1906 года Нина Петровская постоянно обещалась умереть, покончить с собой. Двадцать два года она жила в **непрестанной** мысли о смерти. Иногда шутила сама над собой:

*Устюшкина мать  
Собиралась помирать.*

*Помереть не померла —  
Только время провела.*

Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 1925: «Кажется, больше не могу». 7 апреля 1925: «Вы, вероятно, думаете, что я умерла? Нет еще». 8 июня 1927: «Клянусь Вам, иного выхода не может быть». 12 сентября 1927: «Еще немного, и уж никаких мест, никакой работы мне не понадобится». 14 сентября 1927: «На этот раз я скоро должна скончаться».

Это в письмах последней эпохи. Прежних у меня нет под рукою. Но всегда было то же – и в письмах, и в разговорах.

Что же удерживало ее? Мне кажется, я знаю причину.

Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь применяясь к таким же импровизациям других персонажей, она старалась создать нечто целостное – «пользу из своей личности». Конец личности, как и конец поэмы о ней, – смерть. В сущности поэма была закончена в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно обрывается «Огненный Ангел». С тех пор и в Москве, и в заграничных



странствиях Нины длился мучительный, страшный, но ненужный, лишенный движения эпилог. Оборвать его Нина не боялась, но не могла. Чутье художника, творящего жизнь, как поэму, подсказывало ей, что конец должен быть связан еще с каким-то последним событием, с разрывом какой-то еще одной нити, прикреплявшей ее к жизни. Наконец это событие совершилось.

С 1908 года, после смерти матери, на ее попечении осталась младшая сестра, Надя, существо недоразвитое умственно и физически (с нею случилось в детстве несчастье: ее обварили кипятком). Впрочем, идиоткой она не была, но отличалась какой-то предельной тихостью, безответностью. Была жалка нестерпимо и предана старшей сестре до полного самозабвения. Конечно, никакой собственной жизни у нее не было. В 1909 году, уезжая из России, Нина взяла ее с собой, и с той поры Надя делила с ней все бедствия заграничной жизни. Это было единственное и последнее существо, еще реально связанное с Ниной и связывавшее Нину с жизнью.

Всю осень 1927 года Надя хворала безро-

потно и неслышно, как жила. Так же тихо и умерла, 13 января 1928 года, от рака желудка. Нина ходила в покойницкую больницы, где Надя лежала. Английской булавкой колола маленький труп сестры, потом той же булавкой – себя в руку: хотела заразиться трупным ядом, умереть **единою** смертью. Рука, однако ж, сперва опухла, потом зажила.

Нина бывала у меня в это время. Однажды прожила у меня три дня. Говорила со мной на том странном языке девятисотых годов, который когда-то нас связывал, был у нас общим, но который с тех пор я почти уже разучился понимать.

Смертью Нади была дописана последняя фраза затянувшегося эпилога. Через месяц с небольшим, собственной смертью, Нина Петровская поставила точку.

*Версаль, 1928*

# Андрей Белый «Огненный ангел»

«*Огненный Ангел*» останется навсегда образцом высокой литературы для небольшого круга истинных ценителей изящного; «*Огненный Ангел*» – избранная книга для людей, умеющих мыслить образами истории; история – объект художественного творчества; и только немногие умеют вводить исторические образы в поле своего творчества.

История для Валерия Брюсова не является материалом для эффектных сцен; она вся для него в мелочах; но эти мелочи умеет он осветить неуловимой прелестью своего творчества. Валерий Брюсов здесь сделал все, чтобы книга его была проста; творчество его выглядит скромной, одетой в черное платье, девушкой с гладкой прической, но с дорогой камеей на груди; нет в «*Огненном Ангеле*» ничего кричащего, резкого; есть даже порой «*святая скука*», какой веет на нас, когда мы читаем повести Вальтер Скотта; и я благодарю автора за растянутость; за то, что своим спокойным

тоном он отвлекает меня от фабулы, описывая быт, мелочи этого быта; широкой волной течет предо мной река прошлого, и в медленном течении этой реки отражается кроткий лик его Музы – девушки с гладкой прической. Нет здесь кричащих перьев модернистического демимонда; нет косметики выкриков и страшных псевдосимволических зубовных скрежетов; нет здесь шелестящих шелков импрессионизма, ни брызжущих в нос дешевых духов современных словечек, то есть всего того, чем жив модернизм; несовременен, в высшей степени несовременен Валерий Брюсов в своем романе. Но за это-то и оценят его подлинники любители изящной словесности.

История говорит с нами: Брюсова мы не видим; но в этом умении ступать высоко изыществу того, кто в нужное время говорил своим языком; ведь теперь язык его присвоили все; десятки новоявленных брюсовцев черпают свой словарь из его словаря.

В «*Огненном Ангеле*» Брюсов, тем не менее, оригинален; опытной рукой воскрешает он историю; и мы начинаем любить, понимать его детище – историю кельнской жизни 1534

года; будь здесь модернистические перья, мы не увидели бы старинную жизнь Кельна, которую душой полюбил Брюсов; эта жизнь отражается в зеркале его души:

*Помню вечер, помню лето,  
Рейна полные струи,  
Над померкшим старым Кельном  
Золотые нимбы света...*

И далее:

*Где-то пели, где-то пели  
Песню милой старины.  
Звуки, ветром тиховейным  
Донесенные, слабели  
И сливались, там, над Рейном,  
С робким ропотом волны.  
Мы любили! Мы забыли,  
Это вечность или час!  
Мы тонули в сладкой тайне,  
Нам казалось: мы не жили,  
Но когда-то Heinrich Heine  
В стройных строфах пел про нас!*

Я привожу нарочно это стихотворение Брюсова, чтобы яснее выразить свою мысль; как перекликается песня Брюсова с песней Шумана на слова Рейнике; я хочу сказать, что

настроение музыки Шумана и слов Брюсова из одного корня – романтизма.

С эпохи «Венка» в Брюсове все слышней песнь романтизма; и «Огненный Ангел» – порождение этой песни; золотым сияньем романтизма окрашен для Брюсова Кельн; эпоха, эрудиция, стремление воссоздать быт старого Кельна – только симптомы романтической волны в творчестве Брюсова; и потому-то не утомляют в романе тысячи отступлений, и потому-то не останавливаемся мы на длиннотах, на некотором схематизме фабулы; не в фабуле – не в документальной точности пленяющая нас нота «Огненного Ангела», а в звуках, которые

*...ветром тиховейным  
Донесенные, слабели.  
И сливались, там, над Рейном,  
С робким ропотом волны.*

Эти звуки – звуки «милой старины»; вот эти-то звуки своей души стыдливо прячет Брюсов под исторической амуницией, в которой он выступает перед нами; но пленительно отражают душу Брюсова «Рейна тихие струи»; но пленительно сияют на историче-

ской амуниции «золотые нимбы света».

Эти тихие звуки – их забыли; они не слышны на базаре псевдосимволических зубовных скрежетов; тяжелогрохотный модернист, тяжелогрохотно загрохотавший Брюсовским стихом, сел верхом на символического коня; тяжелогрохотный скакун символизма тяжело грохочет; и не лицам, покинувшим келью творчества, под стыдливой маской истории расслушать «*песню милой старины*»: в демимонде ведь все просто; ежели ты пролагаешь новые пути, так греми, труби и взывай; коли хочешь щеголять в импрессионистическом шелку, так шелести им на всю русскую литературу; коли у тебя нет слов о «*провалах, безднах и прочем многом*», так ты и не символист.

Где же демимонду понять «Огненного Ангела»!

Неспроста вернулся Брюсов к песням о «*милой старине*»; из старины он вызвал образ Агриппы; он вводит нас в атмосферу того освободительного движения в мистике, которое в лице Агриппы и Парацельса, учеников Тридгейма, породило, быть может, интерес-

нейшее течение; течение это, правда, погасло в Иоанне Вейере, но оно продолжалось в учениках Парацельса – Боденштейне, Кунрате, ван Гельмонте и других до начала XIX столетия; течение это, быть может, и теперь живо и по-своему воскресает в современности; то, о чем заговаривает Стриндберг, стыдливо встанет в образах Брюсова, намеренно завуалированных «археологической пылью»; нужно быть глухим и слепым по отношению к заветнейшим устремлениям символизма, чтобы не видеть в образах «*милой старины*», вызванных Брюсовым, самой жгучей современности. Брюсов не остался в символической толкучке; и толкучка решила, что Брюсов устарел; но вчитайтесь в Брюсова, разглядите героев его романа, – и вы увидите, что они символы, быть может, близкого будущего, о котором и не подозревает толкучка.

«Огненный Ангел» – произведение извне историческое («*звуки милой старины*»), изнутри же оккультное. Фабула, так неожиданно, даже механически оборванная, есть рассказ о том, о чем нельзя говорить, не закрываясь историей.



Брюсов является в своем романе то скептиком, то, наоборот, суеверно верующим оккультистом; из-под маски Локка и Юма выглядывает лицо Агриппы; но едва вы поверите в это лицо, оно становится маской; из-под маски над вами уже смеется ученик английской психологии; и так далее, и так далее. Но в этой игре с читателем мы усматриваем во все не хитрость...

Впрочем, не будем распространяться: все это демимонду останется до конца непонятным; демимонд увлекается тяжелогрохотным грохотом символических эпигонов и мировым разумом, стоящим на сцене с бутафорским мечом в руке.

# Валерий Брюсов

## Последние страницы из дневника женщины

I

**15 сентября**

Событие совершенно неожиданное. Мужа снашли убитым в его кабинете. Неизвестный убийца разбил Виктору череп гимнастической гирей, обычно лежащей на этажерке. Окровавленная гиря валяется тут же, на полу. Ящики стола взломаны. Когда к Виктору вошли, тело его еще было теплым. Убийство совершено под утро.

В доме какая-то недвижная суетня. Лидочка рыдает и ходит из комнаты в комнату. Няня все что-то хлопочет и никому не дает ничего делать. Прислуги считают долгом быть безмолвными. А когда я спросила кофе, на меня посмотрели как на клятвопреступницу. Боже мой! Что за ряд мучительных дней предстоит! Говорят: пришла полиция.

**В тот же день**

Кто только не терзал меня сегодня!

Чужие люди ходили по нашим комнатам, передвигали нашу мебель, писали на моем столе, на моей бумаге...

Был следователь, допрашивал всех, и меня в том числе. Это – господин с проседью, в очках, такой узкий, что похож на собственную тень. К каждой фразе прибавляет «тэк-с». Мне показалось, что он в убийстве подозревает меня.

– Сколько ваш муж хранил дома денег?

– Не знаю.

– Где был ваш муж вчера вечером перед возвращением домой?

– Не знаю.

– С кем ваш муж чаще встречался последнее время?

– Не знаю.

– Тэк-с.

Откуда я все это могла бы знать? В дела мужа я не вмешивалась. Мы старались жить так, чтобы друг другу не мешать.

Еще следователь спросил, подозреваю ли я кого.

Я ответила, что нет, – разве только полити-

ческих врагов мужа. Виктор по убеждению был крайний правый, во время революции, когда бастовали фармацевты, он ходил работать в аптеку. Тогда же нам прислали анонимное письмо, в котором угрожали Виктора убить.

Моя догадка, кажется, разумная, но следователь непристойно покачал головой в знак сомнения. Он мне дал подписать мои ответы и сказал, что еще вызовет меня к себе, в свою камеру.

После следователя приехала татап.

Входя ко мне, она почла долгом вытирать глаза платком и раскрыть мне объятия. Пришлось сделать вид, что я в эти объятия падаю.

– Ах, Nathalie, какое ужасное происшествие.

– Да, татап, ужасное.

– Страшно подумать, как мы все близки от смерти. Человек иногда не предполагает, что живет свой последний день. Еще в воскресенье я видела Виктора Валериановича живым и здоровым!

Произнеся еще должное число восклицаний, татап перешла к делу.

– Скажи мне, Nathalie, у вас должно быть хорошее состояние. Покойный зарабатывал не менее двадцати тысяч в год. Кроме того, в позапрошлом году он получил наследство от матери.

– Я ничего не знаю, маман. Я брала те деньги, которые мне давал Виктор на дом и на мои личные расходы, и больше ни во что не вмешивалась.

– Оставил покойный завещание?

– Не знаю.

– Почему же ты не спросила его? Первый долг порядочного человека – урегулировать свои денежные дела.

– Но, может быть, и завещать было нечего.

– Как так? Вы жили гораздо ниже своих средств. Куда же Виктор Валерианович мог расходовать суммы, поступавшие к нему?

– Может быть, у него была другая семья.

– Nathalie! Как можешь ты говорить так, когда тело покойного еще здесь, в доме!

Наконец, мне удалось дать понять маман, что я устала, совершенно изнемогаю. Маман опять стала вытирать глаза платком и на прощание сказала:

– Такие испытания нам посылаются небом как предостережение. О тебе дурно говорили последнее время, Nathalie. Теперь у тебя есть предлог изменить свое поведение и поставить себя в обществе иначе. Как мать, даю тебе совет воспользоваться этим.

Ах, из всего, что мне придется переживать в ближайшие дни, самое тяжкое – это визиты родственников и знакомых, которые будут являться, чтобы утешать и соболезновать. Но ведь «нельзя же нарушать установившиеся формы общежития», как сказала бы по этому поводу моя мать.

### **Еще в тот же день**

**П**оздно вечером приехал Модест. Я велела никого не принимать, но он вошел почти насильно, – или Глаша не посмела не впустить его.

Модест был, видимо, взволнован, говорил много и страстно. Мне его тон не понравился, да и я без того была замучена, и мы почти что поссорились.

Началось с того, что Модест заговорил со мною на «ты». В нашем доме мы никогда «ты» друг другу не говорили. Я сказала Модесту,

что так пользоваться смертью – неблагородно, что в смерти всегда есть тайна, а в тайне – святость. Потом Модест стал говорить, что теперь между нами нет более преграды и что мы можем открыто принадлежать друг другу.

Я возразила очень резко:

– Прежде всего я хочу принадлежать самой себе.

Под конец разговора Модест, совсем забывшись, стал чуть не кричать, что теперь или никогда я должна доказать свою любовь к нему, что он никогда не скрывал ненависти своей к моему мужу, и многое другое, столь же ребяческое. Тогда я ему прямо напомнила, что уже поздно и что в этот день длить его визит совершенно неуместно.

Я достаточно знаю Модеста и видела, что, прощаясь со мной, он был в ярости. Щеки его были бледны, как у статуи, и это, в сочетании с пламенными глазами, делало его лицо без конца красивым. Мне хотелось расцеловать его тут же, но я сохранила строгий вид и холодно дала ему поцеловать руку.

Разумеется, наша размолвка не будет долгой; мы просто встретимся следующий раз,

как если бы никакой ссоры не было. Есть в существе Модеста что-то для меня несказанно привлекательное, и я не сумею лучше определить это «что-то», как словами: ледяная огненность... Крайности темпераментов причудливо сливаются в его душе.

## II

### 18 сентября

**Т**ри дня вспоминаю как самый тягостный кошмар.

Следователь, судебный пристав, пристав из участка, соболезнующие родственники, нотариус, похоронное бюро, поездки в банк, поездки к священнику, бессмысленные ожидания в приемных, не менее бессмысленные разговоры, чужие лица, отсутствие своего свободного времени, – о, как бы поскорее забыть эти три дня!

Выяснились две вещи. Во-первых, додумались, что убийство было совершено из мести, так как муж дома денег никогда не хранил (теперь и я это вспомнила). К тому же и бумажник его, бывший у него в кармане, остался цел. Но как убийца проник к нам в кварти-



ру, в бельэтаж, понять никак не могут.

Во-вторых, стало известным, что существует духовное завещание мужа. Ко мне приезжал нотариус, чтобы сообщить это. Он намекал, что главная наследница – я и что предстоит мне получить немало.

Похороны, ввиду вскрытия тела, отложены. Я предоставила всеми делами распоряжаться дядюшке. Конечно, он наживет на этом деле не меньше как тысячи полторы, но, право, это цена не дорогая за избавление от таких хлопот.

Модест не заезжал ко мне ни разу, но не обращаюсь же я к нему первой!

Зато я не отказала себе в маленьком развлечении и на час поехала к Володе.

Милый мальчик обрадовался мне страшно. Он стал предо мною на колени, целовал мне ноги, плакал, смеялся, лепетал.

– Я думал, – говорил он, – что не увижу тебя много, много дней. Какая ты добрая, что пришла. Так ты любишь меня на самом деле!

Я ему клялась, что люблю, и действительно любила в ту минуту за наивность его радости, за настоящие слезы в его глазах, за то,

что весь он – слабый, тонкий, гибкий, как стебель.

Что-то давно я не была у Володи, и меня удивило, как он убрал свое помещение. Все у него теперь подобрано согласно с моим вкусом. Темные портьеры, строгая мебель, нигде никаких безделушек, гравюры с Рембрандта на стенах.

– Ты переменял мебель, – сказала я. Он ответил, краснея:

– Прошлый раз, после твоего ухода, я опять нашел сто рублей. Я ведь дал слово, что не возьму себе ни копейки твоих денег. Я истратил их все на то, чтобы тебе было хорошо у меня.

Разве это не трогательно?

Конечно, и он заговорил о перемене в моей судьбе, но робко, сам пугаясь своих слов.

– Ты теперь свободна... Может быть, мы будем встречаться чаще.

– Глупый, – возразила я, – время ли думать об этом? Мой муж еще не похоронен.

У Володи были припасены фрукты и ликер. Я села на диван, а он стал подле на колени, смотрел мне в глаза и говорил:

– Ты – прекрасна. Я не могу придумать лица красивее. Мне хочется целовать каждое твоё движение. Ты пересоздала меня. Только узнав тебя, я научился видеть. Только любив тебя, я научился чувствовать. Я счастлив тем, что отдал себя тебе – совсем, безраздельно. Мое счастье в том, что все мои поступки, все мои мысли и желания, самая моя жизнь – зависят от тебя. Вне тебя – меня нет...

Такие слова нежат, как ласка любимой кошки с пушистой шерстью. Он говорил долго, я долго слушала. Детские интонации его голоса меня гипнотизировали, убаюкивали.

Вдруг я вспомнила, что пора ехать. Но Володя пришел в такое отчаяние, так умолял меня, так ломал руки, что я не в силах была ему отказать...

Быть может, дурно, что я изменяю праху моего мужа.

У меня в душе осталось какое-то темное чувство неловкости. Я никогда не испытывала этого, изменяя живому. Есть таинственная власть у смерти.

### III

**19 сентября**

Люблю ли я Володю?

Вряд ли. В нем мне нравится мое создание. Какой он был дикий, когда мы встретились с ним в Венеции! Он ни о чем не умел ни думать, ни говорить, кроме тех политических вопросов и дел, из-за которых ему пришлось укрываться за границей. Я в его душе угадала иной облик, совсем как скульптор, который угадывает свою статую в необделанной глыбе мрамора.

Ах, я много потрудились над Володей! Положим, какое единственное было место для воспитания души: золото-мраморный лабиринт города Беллини и Сансовино, Тициана и Тинторетто! Мы вместе слушали с гондолмайские «серенады», мы ездили в «дом сумасшедших», навсегда освященный именами Байрона и Шелли, мы, в темных церквях, могли вволю насыщать глаза красочными симфониями мастеров Ренессанса! А потом я читала Володе стихи Фета и Тютчева.

Говорят, можно видеть, как растет трава. Я

воочию видела, как преображалась душа юноши и в то же время преображалось его лицо. Его чувства становились сложнее, его мысли – тоньше, но изменились и его речь, и его глаза, и его голос! До меня был «товарищ Петр» (как его звали «в партии»), неловкий, грубый; я создала Володю, моего Володю, утонченного, красивого, похожего на юношу с портрета Ван-Дика.

А потом! Ведь он мне сознался, – да и не трудно было догадаться, – что я была первая женщина, которой он отдался. Я взяла, я выпила его невинность. Я для него – символ женщины вообще; я для него – воплощение страсти. Любовь он может представлять лишь в моем образе. Одно мое приближение, веянье моих духов его опьяняет. Если я ему скажу: «пойди – убей» или «иди – умри», он исполнит, даже не думая.

Как же мне отдать кому-нибудь Володю? Он – мой, он – моя собственность, я его сделала и имею все права на него...

В нем я люблю опасность. Наша любовь – тот «поединок роковой», о котором говорит Тютчев. Еще не победил ни один из нас. Но я

знаю, что может победить он. Тогда я буду его рабой. Это – страшно, и это – соблазняет, притягивает к себе, как пропасть. И стыдно уйти, потому что это было бы трусостью.

Модест для меня загадка, я не распутала еще нитей его души, да и распутал ли их кто-нибудь до конца? Как для него характерно, что он – художник, и сильный художник, – никогда не выставлял своих вещей. Ему довольно сознания, что после его смерти любители будут платить безумные деньги за его полотна и разыскивать каждый его карандашный набросок. Таков он во всем: он довольствуется тем, что сам знает о себе, и ему не нужно, чтобы это знали о нем другие. Он действительно презирает людей, всех людей, может быть, и меня в том числе, хотя клянется мне в любви.

В Володе я люблю его любовь ко мне. В Модесте – возможность моей любви к нему. Только возможность, потому что я употребляю все усилия, чтобы эта любовь в моей душе не разгорелась.

## IV

### 23 сентября

**П**охороны состоялись вчера. Описывать их было бы скучно. Все говорили, что в трауре я была очень эффектна.

Во время последней панихиды с Глашей сделался истерический припадок. Такая чувствительность странна. Не была ли она влюблена в Виктора или даже не были ли они в близких отношениях? Я всегда старалась не вникать в эти дела.

Стало известно и завещание Виктора. Он был очень мил и, за исключением мелких сумм, завещанных его родственникам, отказал все мне. Выяснилось, что у него было процентными бумагами и акциями разных предприятий около 250 000 рублей. Я не предполагала, что у нас так много денег.

Признаюсь, ощущение себя женщиной если не богатой, то состоятельной было мне очень приятно. В деньгах есть сила, и, узнав размеры наследства, я испытала такое ощущение, словно некоторое войско, мне подвластное, стало на мою защиту. Как это ни

смешно, и даже как это ни позорно, но в душе я почувствовала прилив самоуверенности и гордости... Перед самыми похоронами у меня было объяснение с Модестом. Он кротко просил у меня прощения за свое нелепое поведение в день убийства и просил провести с ним целый день. По его словам, ему надо мне сказать нечто очень важное и он не в силах сделать это в обычной обстановке. Мы поедем за город.

Как могла я ему отказать? Да и мне самой, после целой недели всевозможных тягот, завершившихся бесконечным похоронным обрядом, так будет сладостно на день перенестись в другой мир! Я обещала.

### **В тот же день**

Где есть деньги, там всегда появляются разные темные личности. Вот почему сегодняшнее посещение меня несколько не удивило.

Глаша доложила мне, что меня, по важному делу, хочет видеть какой-то Сергей Андреевич Хмылев, – «очень добиваются». Я велела его пустить.

Вошел человек гнусного вида, худой и



низенький, с лицом безбородым, в сером обтянутом пиджаке. Поклонился он с почти-тельностью преувеличенной, сел на самый кончик стула и долго говорил, голосом неприятным, в нос, какую-то окоlesiцу. Когда я уже начала терять терпение, он заговорил осмысленнее.

– Вам, сударыня, так будет покойнее. Где же вам самой хлопотать обо всем: это дело не женское. Я потому, что знал еще покойного родителя вашего, всегда мне удовольствие заслужить вам. Выдадите вы мне эти двадцать тысяч, и все останется вполне благородно. Со мной, вы мне можете поверить, всякая тайна – как ко дну ключ.

Я его спросила:

– Это вам я должна дать двадцать тысяч рублей? По какой же причине?

– А насчет убийства покойного вашего мужа.

– Что же, это вы его убили?

Спросила я это нарочно, чтобы заставить своего собеседника прямо перейти к сути, но его мой вопрос не удивил нисколько.

– Никак нет-с, я не убивал. А только вы са-

ми изволите знать, какое беспокойство, если затянется следствие, пойдут допросы, кто, да что, да как. Опять же, иногда и в виде меры пресечения – тюрьма-с. Наконец, если будут докапываться, мало ли до чего дознаются...

Мне надоели намеки и недомолвки, и я сказала:

– Послушайте, мне некогда. Говорите прямо, что вам нужно. Вы не хуже меня знаете, что даром денег не дают. Объясните, что вы мне предлагаете и за что я вам должна, по вашему мнению, заплатить двадцать тысяч.

Или мне это показалось, или лицо Хмылева стало наглым до чрезвычайности. Он отвечал мне, смотря в сторону, но уже в душе определенно:

– Я, сударыня, предлагаю вам дело покончить. Вы ничего знать не будете, и от вас ничего не потребуется, только все будет сделано. Убийца сам объявится и повинится, и следствие будет прекращено. Так что никаких обстоятельств более не откроется. Лишнего я с вас ни копейки не спрошу. В ту сумму все включено-с, и кого надо подмазать, и что надо заплатить главному лицу, и наше возна-

граждение-с...

После таких слов я встала и спросила:

– Итак, это – шантаж?

– Поверьте, сударыня, – возразил мне Хмылев, – что мне достанется самая малая толика. Мы люди маленькие. Нас тут четверо работает, и я, почитай, все должен буду другим отдать. Разве я посмел бы с вас такие деньги спрашивать? Особливо, как я честь имел вашего покойного папеньку знать...

Я позвонила и приказала Глаше:

– Проводите этого господина.

Хмылев тоже встал и без всякого смущения добавил:

– Тысчонку-другую мы, может быть, и скинули бы.

– Пойдемте, дяденька, нехорошо, – сказала Глаша. Когда дверь за Хмылевым была закрыта, я спросила Глашу:

– Вы знаете этого г. Хмылева?

– Как же-с, он мой дядя...

– Ну, извините, Глаша, не слишком хороши ваши родственники. Потрудитесь больше его никогда не допускать ко мне.

– Простите, барыня, – сказала Глаша, – он

точно человек не совсем при своей чести состоящий...

Кажется, я довольно точно записала обороты речи Хмылева. Думается мне, что он юродствовал нарочно, так как не хотел говорить прямо. Но что скрывается за его двусмысленными словами? Только ли угроза обличить мои отношения с Модестом или большее?

## V

### 25 сентября

**Н**адо описать мою поездку с Модестом. Прежде всего вмешалась почему-то Лидочка.

Когда я приказала заложить лошадь и сказала, что поеду в Любимовку, Лидочка стала упрашивать взять ее с собой.

– Милая, хорошая Наташа, позволь мне ехать тоже. Мне так хочется. Я буду такая счастливая с тобой.

Я ответила, что хочу отдохнуть, хочу быть одна. Тогда Лидочка вдруг приняла вид серьезный, сдвинула маленькие брови, даже побледнела и сказала:

– Ты – в трауре, тебе неприлично уезжать

одной на целый день из дому.

– В уме ли ты, Лидочка? Это не твое дело.

– Нет, мое! Ты – моя сестра, и я не хочу, чтобы о тебе плохо отзывались.

Конечно, я сделала Лидочке выговор за ее неуместное вмешательство, она расплакалась и ушла в свою комнату. Но, должно быть, тапан была права и обо мне «дурно говорят», если это уже замечают дети...

Во всяком случае все *convenances*[289] были соблюдены, так как мы с Модестом ехали в разных поездах. Я два часа проскучала одна в пустом вагоне, и Модест встретил меня уже на нашей деревенской платформе. Он был в охотничьей куртке и в маленькой шапочке, что очень ему шло.

Мне, после двухчасового молчания, хотелось говорить и смеяться, и свежий воздух открытых, опустелых полей опьянил меня, как шампанское. Но Модест, как, впрочем, все последние дни, был молчалив, сдержан. Он молчал почти всю дорогу от станции до имения, и мне оставалось только любоваться осенним простором и синим, синим, синим небом.

В усадьбе Никифор встретил меня почти-

тельно: видно, до него уже долетела весть, что я – наследница после Виктора.

Когда мы остались одни, за самоваром, Модест сказал мне:

– Мне надо сказать тебе, Талия, нечто очень важное. Самое важное изо всего, что я говорил тебе в жизни.

– Говори.

– Не здесь. После. В лесу.

После чая мы пошли в лес. День был ясный. «Тютчевский», «как бы хрустальный». В безоблачности неба была непобедимая крохотность. Казалось, природа говорила подступающей зиме: распинай меня, убивай меня, прииму муки покорно, умру без жалобы...

Я бегала по поблеклой траве, как Мария Стюарт в третьем акте трагедии Шиллера. Я пела песенки, как бывало в пятнадцать лет, гуляя с влюбленными в меня гимназистами. Увидев белку, спасшуюся от меня на самую вершину сосны, я обрадовалась, как дитя. Ах, в каждом человеке таится жажда первобытной жизни, и сквозь краткие тысячелетия культурной жизни порою проступает дух долгих миллионов лет, когда человек бродил

вместе со зверями по девственным лесам и укрывался вместе с медведями в пещерах!

Мы дошли до Марьиного обрыва и сели там на скамейке над речкой. Я ждала обещанного важного разговора. Модест, против обыкновения, не находил, по-видимому, слов. Потом, как-то с трудом произнося слова, спросил:

– Ответь мне со всей откровенностью и со всей решимостью: любишь ли ты меня и любишь ли меня одного?

Эти слова были таким диссонансом в гармонии осеннего дня и моей радости! Но я давно знаю, что говорить правду мужчинам нельзя, и ответила покорно:

– Да, Модест, я люблю тебя одного.

После нового молчания Модест опять спросил меня что-то подобное же, и я опять, не споря, дала ему условный, стереотипный ответ.

Мне казалось, что Модест не смеет сказать мне то, ради чего позвал меня сюда. Когда уже мне стало холодно и пора было уходить, Модест, как бы решившись, заговорил:

– Талия! когда, в тот день, я начал говорить

с тобой о перемене, произошедшей в нашей жизни, ты мне приказала замолчать. Но я должен тебе сказать, что я думаю, потому что от этого зависит для меня все. Я знаю, что ты любила многих до меня и что я для тебя был просто новой, интересной игрушкой. (Я хотела возразить, но Модест сделал мне знак молчать.) Но я тебя люблю не так, а по-настоящему, любовью ожесточенной и неограниченной. Скажи мне, что мои чувства дики и примитивны, я не откажусь от них. Люблю тебя, как любит простой человек, не мудрствующий над любовью; как любили в прежние века и как сейчас любят всюду, кроме нашего, так называемого культурного общества, играющего в любовь. Со всей наивностью я хочу обладать тобою вполне, иметь над тобой все права, какие можно. До сих пор мысль, что нас что-то разделяет, что к тебе прикасается другой мужчина, что мы нашу любовь принуждены прятать, приводила меня в ярость и в отчаянье. Теперь, когда вдруг все переменялось, у меня не может быть другого желания, как взять тебя совсем, увериться, что отныне ты – моя, и моя навсегда. И если ты, как толь-



ко что ты сказала, меня любишь (он сделал ударение на этом слове), у тебя не может быть другого желания, как сказать мне: хочу быть твоей навсегда, возьми меня.

– Ты мне делаешь предложение, Модест? – спросила я.

– Да, я тебе предлагаю быть моей женой.

– Не слишком ли рано, через десять дней после смерти мужа?

Модест встал и сказал сурово, жестко, почти деловым тоном:

– Если все это было игрой в любовь, скажи мне откровенно, Талия. Я уйду. Если же ты хочешь моей любви, я требую – слышишь! – требую, чтобы ты стала моей женой...

Я попыталась обратить разговор в шутку. Модест настаивал на ответе. Я попросила несколько дней на то, чтобы обдумать ответ. Модест подхватил мои слова и в выражениях формальных предложил мне месяц... Я, смеясь (но, сознаюсь, деланным смехом), согласилась.

Когда мы шли обратно к усадьбе, я сказала, стараясь шутить:

– Какая тебе корысть, Модест, что я стану

твоей женой? Если я обманывала Виктора с тобой, почему я не буду обманывать тебя с другим?

– Тогда я убью тебя, – сказал Модест.

– Полно! – возразила я. – Убить может дикарь, пьяный мужик, прежде могли рыцари и итальянские синьоры. Ты убить не способен.

– Современный человек, – ответил Модест очень серьезно, – должен все уметь делать: писать стихи и управлять электрической машиной, играть на сцене и убивать.

Больше мы не говорили ни о чем важном. Мне показалось, однако, что предложение, сделанное мне Модестом, было не все то, ради чего он звал меня провести с ним день за городом. Чего-то он так и недоговорил.

Я вернулась домой с последним поездом, поздно ночью. В дверях мелькнуло мне заплаканное и гневное личико Лидочки. Я предпочла не объясняться с ней и прямо прошла к себе.

## VI

**26 сентября**

**П**оездка с Модестом оставила в моей душе неприятное впечатление. Сегодня я уже думала о том, что его требования не то дерзки, не то смешны. Я жалела, что не сказала ему это тогда же. Но мне было слишком хорошо на воле, в лесу, и я была с ним добрее, чем следовало.

Когда сегодня ко мне пришел Володя, я ему обрадовалась искренно. Насколько милее, подумала я, этот ласковый мальчик, для которого блаженство один мой поцелуй и который отдает всего себя, не требуя ничего. На что мне Модест, серьезно говорящий о том, как он убьет меня, если можно так легко, так просто быть счастливой с Володей! Трагедии прекрасны на сцене и в книгах, но в жизни Мариво куда приятнее Эсхила!

Оказалось, однако, что и Володя – тоже мужчина и что все мужчины на один лад. (Давно бы пора мне в этом убедиться!)

Уже по одному тому, что Володя отважился прийти ко мне, я могла догадаться, что слу-

чилось нечто особенное. При жизни мужа Володя никогда не бывал у меня в доме. Когда же Володя вошел в гостиную, я увидела, что он расстроен до последнего предела. Такой он был грустный и жалкий, что я, если бы не боялась, что Лидочка подсматривает, тут же схватила бы его за подбородок и расцеловала бы в заплаканные глаза.

Сначала Володя уверял, что ничего не случилось.

– Просто я не видал тебя слишком долго (в самом деле я не была у него целую неделю!). Мне стало не хватать тебя, как в подземелье не хватает воздуха. Дай мне подышать тобой.

Я постаралась так обласкать его, что он признался. Впрочем, он всегда в конце концов признавался мне во всем.

Объяснилось, что он получил анонимное письмо, написанное не без грамматических ошибок (может быть, намеренных?), в котором сообщалось, что я – любовница Модеста. Передав мне конверт, Володя, конечно, начал рыдать и уверял, что сейчас же пойдет и убьет себя, так как существовать он может лишь в том случае, если я принадлежу ему

одному.

– Глупый! – сказала я ему. – Как же ты существовал до сих пор, пока был жив мой муж?

– Ведь ты же его не любила, ведь это была случайность, что ты его встретила раньше, чем меня.

Что было делать? Мне так хотелось, после суровости Модеста, вновь увидеть счастливое лицо Володи, услышать его детские, восторженные клятвы, что я сказала ему все то, чего он втайне ждал от меня. Сказала ему, что письмо – вздорная клевета, что я люблю его одного, что до встречи с ним не знала, что такое истинная любовь, что после этой встречи переродилась, нашла в глубине своей души другую себя, что не быть верной ему мне столь же невозможно, как не быть верной себе самой, что это не моя обязанность, а мое желание, и так далее, без конца...

Володя утешился быстро, поверил безусловно и робко заговорил о будущем.

– Теперь ты свободна. Почему бы нам не уехать за границу? Здесь у тебя столько дел, связей, отношений. Я понимаю, что тебе здесь

невозможно открыто признаться в твоей любви ко мне. Я – еще мальчик, тебя могли бы осудить (это он сказал совершенно наивно). Но где-нибудь в Италии, где нас никто не знает, мы могли бы жить друг для друга. Наша жизнь стала бы осуществленной сказкой. День, ночь, дождь, солнце – все было бы для нас счастьем...

Ах, глупый, глупый! Он очень мил, как маленькая подробность жизни, но если бы мне опять пришлось провести с ним вдвоем несколько недель, я бы зачахла от тоски и однообразия. Он бы замучил меня и своей невинностью, и своей экзальтацией. Лимонная вода и шипучий нарзан приятны между двумя блюдами, но смысл ужину придают густое нюи и замороженное ирруа.

Я отговорила тем, что на полгода у меня хватит хлопот по наследству. Месяц – Модесту, шесть месяцев – Володе; что я отвечу, когда сроки истекнут? Не брошу ли просто-напросто и маленького ревнивца, и художника-дьявола? Любовь и страсть прекрасны, но свобода – лучше вдвое!

Впрочем, должна была обещать Володе,

что приеду к нему нынче вечером.

## **В тот же день**

**С**транная сейчас была встреча.

Я вернулась от Володи (который, право, растрогал меня своей восторженной нежностью) довольно поздно, за полночь. Мне почудилось, что дверь мне отперли с каким-то промедлением и что у Глаши лицо было совсем заплаканное. Не успела я ее спросить, что с ней, как она доложила:

– Модест Никандрович вас дожидаются.

Действительно, Модест встретил меня в дверях.

– Excusez-moi, mon ami, – сказала я ему, – mais jugez vous meme: est ce qu'il me convient de recevoir des visites, le premier mois de veuvage, apres minuit. Vous me mettez dans une fausse position.[290]

Модест извинился и стал объяснять свое неперемное желание увидеть меня сегодня. К нему явился Хмылев, требовал денег и угрожал сделать нам какой-то скандал. Опасаясь, что завтра Хмылев придет ко мне, Модест поспешил меня предупредить, чтобы я не поддавалась на шантаж этого мошенника.

– Вы опоздали, – сказала я в ответ. – Хмылев уже был у меня, и я ему указала на дверь.

– Поступили умно, как всегда, – сказал Модест.

– Но я совершенно не понимаю, чем он грозит нам, – продолжала я. – Еще при жизни Виктора он мог причинить нам разные мелкие неприятности. Но теперь...

– Конечно, конечно! Вижу, что предупредить вас не было надобности. Вы все понимаете сами.

Модест поцеловал мне руку и уехал.

Он был явно смущен. Не потому ли он не спросил меня, откуда я возвращалась так поздно? Вообще предлог его ночного визита не показался мне убедительным.

Изумительный человек! Все его поступки, большие и малые, необъяснимы. Никогда не знаешь, зачем он делает то или другое. Быть его женой! Да это так же страшно, как быть женой Синей Бороды!



## VII

**29 сентября**

**М**одест, по-видимому, понял, что произвел на меня в деревне неприятное впечатление, и постарался его загладить. Он упросил меня приехать к нему.

В первый раз я ехала к Модесту без лживого предлога, прямо, только не в своем экипаже, а на извозчике. При жизни Виктора, когда у меня было свидание с Модестом, с Володей или еще с кем-нибудь, мне приходилось выдумывать объяснения своего долгого отсутствия из дому. Виктор, конечно, знал, что я ему изменяю, и молчаливым согласием допускал это; когда, возвращаясь, я ему говорила иной раз, что была у портнихи или доктора, он был уверен, что я говорю неправду. Все же мы считали нужным сохранять эту условную ложь и почувствовали бы себя очень неловко, если бы она была изобличена... Теперь же мне никому не надо было давать отчета – разве только Лидочке, которая все последнее время ревниво следит за моими поступками.

Квартира Модеста оказалась словно преображенной, только потому, что по стенам он развесил свои картины, которые раньше все были собраны в его студии, куда и меня он допускал с великой неохотой. Теперь на входящего со всех сторон глядят странные женщины, созданные Модестом: со спутанными белокуроыми волосами, с глазами гизехского сфинкса, с алыми губами вампира. Они то кружатся в пляске вокруг дерева с гранатовыми плодами, то лежат, обессиленные, на мраморных ступенях гигантской лестницы, осененной кипарисами, то, бесстыдные, ждут на широких, тоже бесстыдных, ложах своих жертв... И взоры этих женщин, или этих призраков (не знаю, как точнее назвать), отовсюду обращаются на посетителя, фиксируют его, гипнотизируют его.

Модест, с моего первого шага у него, окружил меня всеми проявлениями ласки и поклонения. Отворив мне дверь, он стал предомной на колени; полушутя, он поцеловал подол моего платья. Он смотрел на меня влюбленными глазами и называл меня своей царицей. Вкрадчивым голосом он читал мне

любовные стихи каких-то провансальских поэтов: смысла стихов я не понимала, но чувствовала, что все хвалы трубадуров своим дамам Модест относил ко мне.

Модест, когда хочет, умеет быть нежным, как никто другой. Его пальцы прикасаются с набожной ласковостью; его поцелуи становятся богомольно страстны; он словам, почти непристойным, придает все благоговение молитвы... Или, по крайней мере, таким он мне кажется... В конце концов я ведь – женщина, и когда мне исступленно клянутся в любви, когда меня целуют восторженно, когда кто-то предаст меня страсти – я уже не могу рассуждать и анализировать. Для каждой женщины, все равно – исключительной или обыкновенной, утонченной или простой, в наши дни или десятки тысячелетий тому назад, – мужчина, обладающий ею, в минуту страсти кажется владыкою, достойным изумления и поклонения...

Модест, пока я была у него, ни разу не напомнил мне о нашем разговоре в Любимовке. Только потому, что он решительно избегал малейшего упоминания о перемене, проис-

шедшей в моей судьбе, видно было, что в его душе ничего не изменилось с того дня. Но когда мне пора уже было уезжать, Модест достал из книжного шкафа прекрасный географический атлас и стал его перелистывать. Я с некоторым недоумением разглядывала великолепно литографированные карты...

Дойдя до карты Южной Италии, Модест показал мне маленький островок, оторвавшийся от всякой земли, Устику, и сказал:

– Если через месяц ты скажешь мне, что быть со мною не хочешь, я уеду сюда и буду здесь жить до моего конца.

– Что за нелепая мысль, Модест! – возразила я. – Зачем тебе жить на какой-то Устике! Почему не на острове Святой Елены, или не на Яве, или просто не в Париже?

– Я еще мальчиком читал об этой Устике, не помню уже где. Меня описание поразило, и в детстве я часто мечтал, что поеду на эту Устику. Как-то незаметно Устика стала для меня символической страной красоты и счастья, какими-то Гесперидами садами... После того я много раз бывал в Италии, но никогда не попадал на Устику; туристам делать

там нечего, да мне и жаль было разрушать мои детские иллюзии. Но теперь, когда я подумал, что, может быть, мне придется выбрать на земном шаре одну точку, на которой доживать свою неудавшуюся жизнь, – я решил бесповоротно, что лучше Устики не найду ничего. Там, конечно, синее небо, шумный прибой, красивые скалы, стройные люди; мне ничего другого и не будет надо.

Мне показалось обидно, что Модест хочет запугать меня, как шестнадцатилетнюю барышню, и я ответила не без сухости:

– Полно, Модест! Лесть твоя изысканна, но ты не убедишь меня, будто я занимаю в твоей жизни важное место. Если в самом деле я от тебя уйду, брошу тебя, как говорится, ты очень спокойно уедешь в Париж, будешь писать свои картины и переживешь еще десяток романов. Не повторяй только своим будущим возлюбленным тех слов, что сказал мне: они не поверят им также.

Модест внезапно принял очень серьезный вид и сказал:

– Милая Талия! Я человек немного не такой, как все. И я оставляю за собою право лю-

бить не так, как все. Мне надо, чтобы моя любовь к тебе получила в полном объеме все, чего она хочет. Без этого я жить не хочу и не могу. Я сожгу все мои картины, я раздаю свою библиотеку, я не возьму больше кисти в руки, и если останусь жить, то лишь потому, что презираю самоубийство. Ты понимаешь сладость крупной игры, когда игрок рискует всем своим состоянием? Так вот и я на карту моей любви к тебе поставил всю свою жизнь...

Верил ли сам Модест в свои слова? Сомневаюсь. Он – человек слишком сильный, слишком многогранный, чтобы в любви видеть весь смысл жизни. Угрозами и лестью он просто думал вырвать у меня мое согласие...

Но даже если бы то, что говорил Модест, и было правдой! Неужели только затем, чтобы он не совершил над собой «художественного самоубийства» (так это придется назвать?), я должна выйти за него замуж? Боже мой! я молода, хороша собой, богата – зачем же я отдам все это в чужие руки? Почему о Модесте я должна больше думать, чем о себе самой?

Ну да, Модест мне нравится; вернее, меня

восхищает в нем редкое сочетание ума и таланта, силы и изысканности. Но разве я могу быть уверенной, что он мне будет нравиться всегда, что не изменится он или не изменюсь я? Я испытала, что значит жить с мужем, который ненавистен. Но Виктор, по крайней мере, оставлял мне полную свободу, а Модест требователен, жесток, ревнив...

Я хочу сохранить себе Володю надолго, на несколько месяцев, кто знает, может быть, на несколько лет. Я хочу иметь и право, и все возможности любить того, кто еще мне понравится и кому я понравлюсь. Как бы ни была глубока и разнообразна любовь одного человека, он никогда не заменит того, что может дать другой. Иногда один жест, одно слово, одна интонация голоса стоят того, чтобы ради них кому-то «отдаться».

### **В тот же день**

Сейчас получила анонимное письмо. Неизвестный автор, подписавшийся, как это водится, «ваш доброжелатель», пишет, что ему известно, кто убил моего мужа, и предлагает мне, если я желаю «проникнуть в эту тайну», вступить с ним «в соответствующие перегово-

ры». Адрес дан на poste-restante, на какие-то литеры. Сначала я подумала передать письмо судебному следователю, но потом предпочла разорвать и бросить в корзину. Нет сомнения, что это письмо писала та же рука, что и донос Володе.

Но странно все же, что меня лично несколько не занимает вопрос, кто убил мужа. Виктор как-то совершенно бесследно исчез из моей души. Словно с аспидной доски тщательно стерли влажной губкой то, что было на время написано. Порой, задумавшись, я совсем забываю, что почти шесть лет жила с мужем, что у нас был ребенок, что несколько раз вдвоем ездили мы за границу, что вообще множество моих воспоминаний должно быть тесно связано с Виктором. Положим, я его не любила, но каким же все-таки был он ничтожеством, если так легко оказалось вынуть его и из моего настоящего, и из памяти о прошлом, и из мечтаний о будущем! Впрочем, это ничтожество Виктора было для меня, при его жизни, благодеянием!



## VIII

### 1 октября

Приезжала мама, чтобы, по ее словам, «серьезно говорить со мной». Объяснение вышло тяжелое и скучное, но принять его во внимание приходится.

Вот приблизительно наш разговор:

– Ты ведешь себя невозможно, Nathalie! Месяца не прошло со дня смерти твоего мужа, человека достойнейшего, который обожал тебя, а ты уже заставляешь говорить о себе всю Москву. Тебя по целым дням не бывает дома. Ты принимаешь у себя мужчин в час ночи. Ты бог весть куда едешь на открытом извозчике, когда у вас есть лошадь. Это все прямо неслыханно.

– Откуда вы все это знаете, мама?

– Заметь себе, что всегда бывает гораздо больше известно, нежели ты думаешь.

– Во всяком случае я вышла из возраста, когда водят за руки. Я – совершеннолетняя и могу жить как мне нравится.

– Я – мать. Предупредить тебя – это моя обязанность. Ты сейчас бравируешь мнением

общества. Но позднее ты очень пожалеешь, что восстановила его против себя. Ты думаешь, что весь свет в одном окошке, что можно всю жизнь прожить с одним художником...

– Матап, вы касаетесь личностей, это неуместно.

– Когда мать говорит с дочерью, все уместно. Ты полагаешь, что о твоей связи не говорят кругом. Совершенно не понимаю, зачем ты ее афишируешь. Никто не требует от тебя ангельской добродетели, но все вправе ждать, что приличия будут соблюдены.

В конце концов, чтобы кончить, я сказала:

– Позвольте вам объявить, матап, что по прошествии года траура я выхожу замуж за Модеста Никандровича Илецкого.

Матап, кажется, не притворяясь, побледнела.

– Но ты с ума сошла, Nathalie! Он бог знает из какой семьи, без роду, без племени, без всякого состояния, притом он сумасшедший!

Последнее слово она произнесла с расстановкой: су-ма-сшед-ший!

– Неужели вам больше нравится, чтобы

мы жили в незаконной связи?

– Ты меня не понимаешь. К этому я могу отнестись снисходительно. Я допускаю порывы молодости. Но есть ошибки непоправимые. Никогда не надо делать последнего шага. Зачем доводить что бы то ни было до последней черты? Благовоспитанность состоит в том, чтобы ничем не отличаться от других.

Мамап читала мне свои наставления часа два. Когда она наконец уехала, у меня сделалась мигрень. Меня мучили не то мысли, не то сны, не то видения. Мне представлялось, что мы с Модестом в каком-то парке, чуть ли не в Булонском лесу, ищем уголок, чтобы свободно остаться вдвоем. Но едва он меня обнимает, появляется толпа знакомых, предводимых мамап, и все указывают на нас со смехом. Мы убегаем на другой конец парка, но там случается то же. Так повторяется много раз, причем всегда нас застают в особенно неожиданных, постыдных позах. Этот кошмар измучил меня до полусмерти.

Мамап – злой гений всей нашей семьи. С раннего детства она учила меня и сестер лицемерию. Воспитание она нам дала самое по-

верхностное. Развратила она нас с ранних лет, чуть не подсовывая откровенные французские романы, но требовала, чтобы мы прикидывались наивными дурами. Сама она по своему девичьему паспорту дочь коломенского мещанина, а выйдя замуж за отца, мелкого чиновника из захудалой дворянской семьи, стала играть роль аристократки и нас учила гнушаться людьми «низкого» происхождения. С пятнадцати лет она начала нас тренировать и натаскивать (иначе не умею называть) на ловлю женихов и двоих старших устроила превосходно; устроит и Лидочку...

Если теперь татап приходит ко мне и заботится о моей нравственности, то потому только, что мне досталось от Виктора состояние. Мать боится, что эти деньги попадут в руки какого-нибудь сильного мужчины. Она предпочитает, чтобы ими владела я, у которой она, конечно, сумеет выманить и вытребовать все, что ей себе желательно получить. Она предпочтет, чтобы у меня были десятки любовников, только бы я не вышла замуж за Модеста.

А для меня нет ничего столь ненавистного,

как понятие – мать. Проклинаю свое детство, проклинаю первые впечатления жизни, проклинаю все свое девичество – балы, гуляния, дачные романы, обмен любовными записочками! Все или было обманом, подстроенным матерью, или было отравлено ее клеветой на жизнь и на людей. Мать готовила меня к одному: к разврату и к торговле собой. О! как еще я не захлебнулась в той грязи, куда вы заботливо кинули меня на ловлю житейского благополучия, мать!..

А все же о словах матери надо подумать. По-видимому, добровольных шпионов больше, чем мы предполагаем, и у наших добрых знакомых достаточно досуга, чтобы следить, куда и на каком извозчике мы едем. Придется, пожалуй, скрепя сердце, затвориться на время траура, как в монастыре; я вовсе не хочу, чтобы на меня показывали пальцами. Только не лучше ли, по совету Володи, уехать в Италию, да и его прихватить с собой?

## IX

**6 октября**

**П**очти неделю просидела я дома и чуть с ума не сошла от тоски. Больше сил моих нет выдерживать этот траур.

Сначала я занялась было тем, что отдала визиты родственникам и более близким знакомым, посетившим меня с изъяснениями соболезнования. Разговор о модах предстоящего сезона интересовал меня в первом доме, у Мэри, уже томил во втором, у Катерины Ивановны, и из себя вывел, когда с ним же ко мне обратилась сухопарая Нина, искренно воображающая себя красавицей и наивно говорящая: «у нас, у красивых женщин...»

Потом я попробовала разобраться в делах, оставшихся после мужа. Мне передали ворох счетов, меморандумов, заявлений, отношений и бог знает еще чего. Надо было уяснить себе, какие бумаги переменены, какие нет, по каким проценты получены, по каким нет, какие застрахованы, какие вышли в тираж, сколько рублей лежит на текущем счете и сколько на вкладе, – я во всем этом безнадеж-

но запуталась. В конце концов дала полную доверенность дядюшке Платону: пусть и здесь он, еще раз, наживет с меня...

По вечерам, когда делать было нечего, я заставляла Лидочку читать мне вслух романы, которые подобает читать и ей (хотя тайком она, конечно, давно прочла и Мопассана, и Катюля Мендеса, и Вилли, и, вероятно, еще кое-что посильнее). Она читает тоненьким голоском, временами поглядывая на меня влюбленными глазами (она меня очень любит), а я думаю о Володе и жалею, что читает мне не он. Так прочли мы длинейший роман Троллопа, нашедшийся в нашей библиотеке, «Малый дом», который да отпустит ему господь в ряду всех других его прегрешений!

Единственная польза, какую принесло мне мое заточение, это та, что у меня оказалось достаточно свободного времени – обдумать свое положение. Первые дни по смерти Виктора я жила как сумасшедшая, как-то не думая, что надо начинать новый период жизни. Теперь же я обсудила все внимательно и осторожно, и вот мой окончательный вывод.

За Модеста замуж я ни в каком случае не

выйду. Совершит ли он после моего отказа самоубийство или не совершит, мне до того дела нет. Модест – зверь опасный, от него можно всего ожидать, и я не хочу каждый вечер класть голову в пасть тигру, хотя бы до поры до времени и ласковому. Но как только кончатся хлопоты по введению в наследство, я уеду за границу, на Ривьеру или в Швейцарию, и год или другой отдохну от своей замужней жизни. Мне надо стряхнуть и смыть с себя всю эту грязь, что пристала ко мне за годы вынужденного разврата... Что дальше делать, это будет видно.



# Х

## 7 октября

Сегодня ожидало меня объяснение совсем неожиданное.

Я давно замечала, что Лидочка как-то невесела, расстроена, бледна. Но за всеми моими делами, денежными и личными, у меня времени не было вникнуть в ее жизнь. Да и что удивительного, если девушка в 18 лет бледна и грустна: в эти годы такой быть и подобает.

Но сегодня, войдя нечаянно в комнату Лидочки, я застала ее в слезах над каким-то альбомом. Я вовсе не собиралась пользоваться своими правами старшей и, наверное, молча вышла бы из комнаты, если бы Лидочка, заметив меня, не разразилась вдруг рыданиями отчаянными, перешедшими в форменную истерику. Лидочка упала со стула, а когда я ее уложила на кушетку, билась в судорогах, смеялась и плакала вместе, и все ее лицо кривилось и перекашивалось.

Едва придя в себя, Лидочка с ужасом стала спрашивать:

– Ты прочла? Ты прочла?

– Успокойся, – возражала я, – я никогда не читаю ни чужих писем, ни чужих бумаг. Я ничего не прочла.

Лидочка твердила: «Нет, ты прочла, прочла», и рыдала безнадежно. Наконец, с помощью разных капель и воды, я до какой-то степени Лидочку успокоила. Я предпочла бы ее ни о чем не расспрашивать, но всем своим поведением она как бы говорила мне: расспроси меня. Я покорилась с неохотой, настаивала против воли, а Лидочка сопротивлялась моим настояниям, хотя в глубине души ей хотелось уступить. Впрочем, я уверена, что свою роль она играла бессознательно, что ей самой в самом деле казалось, что она не хочет ничего говорить мне...

– Ты влюблена, Лидочка, не так ли? – говорю я. – Признайся мне, я твоя сестра.

– Да! да! да! – рыдает Лидочка.

– Что ж в этом страшного? Любовь всегда счастье. Если тот, кого ты любишь, также любит тебя – это счастье радости. Если нет – это счастье горя. И я не знаю, которое из двух выше, прекраснее, благороднее. Второе – глуб-

же и острее, но первое – шире и лучезарнее...

Лидочка рыдает.

– Потом, тебе 18 лет, Лидочка. «Сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты». Тебе не верится сейчас, что твои мечты – «легкие», тебе кажется, что они тяжелее всей вселенной и раздавят тебя. И мне так казалось, когда я любила в первый раз. Но поверь опыту жизни: всякая любовь проходит, всякое чувство сменяется другим... Лидочка рыдает.

– Ну скажи мне, девочка моя, кого ты любишь.

Лидочка молчит.

Я отнимаю ее маленькие руки от ее заплаканных глаз, целую ее в губы и говорю, стараясь придать голосу величайшую нежность:

– Скажи мне, твоей сестре, кого ты любишь.

И вдруг Лидочка вскрикивает:

– Тебя!

И опять падает ничком на кушетку, уронив руки, как плети, и опять рыдает.

– Опомнись, Лидочка! – говорю я. – Как ты можешь плакать от любви ко мне. Я твоя сестра, я тоже тебя люблю, нам ничто не ме-

шает любить друг друга. О чем же твои слезы?

– Я люблю тебя иначе, иначе, – кричит Лидочка. – Я в тебя влюблена. Я без тебя жить не могу! Я хочу тебя целовать! Я не хочу, чтобы кто-нибудь владел тобою! Ты должна быть моя!

– Подумай, – говорю я, стараясь придать всему оборот шутки. – Сестрам воспрещено выходить замуж за братьев. А ты требуешь, чтобы я, твоя сестра, женилась на тебе. Так, что ли, дурочка?

Лидочка скатывается с кушетки на пол и на полу кричит:

– Ничего не знаю! Знаю только, что люблю тебя! Люблю твое лицо, твой голос, твое тело, твои ноги. Ненавижу всех, кому ты даешь себя целовать! Ненавижу Модеста! Затопчи меня насмерть, мне будет приятно. Убей меня, задуши меня, я больше не могу жить!

Лежа на полу, она хватает меня за колени, целует мои ноги сквозь чулки, плачет, кричит, бьется.

Я провозилась с Лидочкой часа два. Чтобы ее успокоить, я дала ей десяток разных клятв

и обещаний, какие она с меня спрашивала. Поклялась ей, между прочим, что, по смерти Виктора, не люблю никого, и в частности не люблю Модеста.

– Он – противный, он – злой, – твердила Лидочка сквозь слезы. – Ты не должна его любить. Если ты будешь его целовать, я брошусь из окна на тротуар.

Я поклялась, что не буду целовать Модеста.

В общем, нелепое приключение! Быть предметом страсти своей родной сестры – это ситуация не из обычных. Но отвечать на такую любовь я не могу никак. Всегда связи между женщинами мне были отвратительны.

## 11 октября

Только что вернулась из камеры следователя, куда меня вызвали повесткой. До сих пор я вся дрожу от негодования. Это был не допрос, а сплошное издевательство. Не знаю, как должно мне поступить.

Меня раньше всего раздражил самый вид этого господина следователя. Едва войдя в камеру, я почувствовала, что его ненавижу. Он так худ, что мог бы служить иллюстрацией к сказке Андерсена «Тень». Лицо у него цвета землистого и голос надтреснутый: он производит впечатление живой пародии. И при всем том он нагл и груб.

Сначала следователь добивался, чтобы я разъяснила ему характеры наших прислуг. Но, право, если я и знаю кое-что о Глаше, о Марье Степановне, то ничего не могу сказать о черной горничной, о поварихе, о кучере; я даже их имен хорошенько не знаю.

— Скажите, у вашей горничной, Глафиры Бочаровой, есть возлюбленные?

— Спросите это у нее. Это ее частное дело, в

которое я не вмешиваюсь.

– Тэк-с.

После длинного ряда таких пустых вопросов, очень меня утомивших, следовательно вдруг, очевидно, чтобы поразить неожиданностью, спросил меня:

– Ска-ажите, а вам случалось принимать кого-либо у себя дома, ночью, без ведома вашего мужа?

Как говорится, кровь бросилась мне в голову от такого вопроса. Я отвечала, буквально задыхаясь:

– Не знаю, имеете ли вы право задавать мне такие вопросы. Я вам на них отвечать не буду.

Следователь стал перебирать какие-то бумаги, а в это время, не смотря на меня, говорил деловым тоном приблизительно следующее:

– Извините, сударыня. Правосудию все должно быть известно. Нам чрезвычайно важно установить, как убийца мог проникнуть в вашу квартиру. Вот тут у меня есть сведения, что в прошлом году вы были в близких отношениях с поручиком Александром Вор-

синским и, во время отъезда вашего мужа в Варшаву, неоднократно принимали г. Ворсинского у себя, причем он оставался в вашем доме до позднего часа. Затем, сблизившись с свободным художником Модестом Никандровичем Илецким, вы также...

Тут я не выдержала, вскочила, кажется, даже заплакала, сказала следователю, что он не смеет так обращаться со мной, что я буду жаловаться и т. п. Он же очень хладнокровно попросил меня успокоиться, подал мне грязными руками стакан воды, которой я, конечно, не стала пить, и, переждав несколько секунд, продолжал:

– Так вот, сударыня, правосудию очень важно знать, был ли кто-либо из ваших, гм... из ваших хороших знакомых вполне ознакомлен с расположением вашей квартиры.

– Вы что же думаете, что мужа убил мой любовник? – спросила я, преодолевая отвращение.

– Мы ничего не думаем – мы ищем.

После этого он допрашивал меня еще с полчаса, но я уже не помню, что ему отвечала; больше отказывалась отвечать. По той



развязности, с какой следователь задавал мне свои наглые вопросы, я вижу, что он подозревает меня если не в самом преступлении, то в соучастии. Недостает только, чтобы меня арестовали и посадили в тюрьму: вот будет неожиданная развязка всех моих запутанных отношений!

## XII

**15 октября**

**П**оследнее время Модест, или лично, или по телефону, ежедневно осведомлялся о моем здоровье, и Глаша ежедневно отвечала ему, по моему приказу, что я не совсем здорова. Я не хотела видеть Модеста, боясь, что при личном свидании опять поддамся его влиянию. Сегодня Глаша передала мне карточку Модеста, на которой было написано:

J'ai a vous dire des choses tres importantes. Je vous supplie de m'accorder quelques minutes d'entretien. M.[291]

Я наконец решилась принять Модеста.

Он вошел мрачный, поцеловал мне руку, несколько времени ходил молча взад и вперед по комнате, потом сказал:

– Талия, помнишь ты, что говорит у Шекспира Антоний Клеопатре после ее бегства из сражения?

Когда я откровенно призналась, что в этом отношении моя память изменяет мне, Модест продекламировал по-английски:

*I found you as a morsel, cold upon  
Dead Caesar's trencher! nay,  
you were a fragment  
Of Gneius Pompey's! [292]*

Смысл этих стихов я вполне поняла только потом, когда разыскала их в Шекспире (кстати сказать: в нашей жизни не так-то много Цезарей и Помпеев!), но и тогда, по самому тону Модеста, поняла, что он меня оскорбляет. Сердце у меня забилося, я сложила руки и сказала ему:

– Говорите прямо, в чем вы меня обвиняете.

– Я всегда знал, – продолжал Модест, как бы не услышав моего вопроса, – что истинная любовь женщине недоступна. Мужчина любви может пожертвовать всей своей жизнью, может погибнуть ради любви и будет счастлив своей гибелью. А женщина или ищет в

любви забавы (и это еще самое лучшее!), или привязывается бессмысленно к человеку, служит ему, как раба, и счастлива этой своей собачьей привязанностью. Мужчина в любви – герой или жертва. Женщина в любви – или проститутка, или мать. От любви убивают себя или мужчины, настоящие мужчины, зрелые люди, понимающие, что они делают, или девчонки в шестнадцать лет, воображающие, что они влюблены. Это говорит статистика самоубийств. Требовать от женщины любви так же смешно, как требовать зоркости от крота!

Я повторила свой вопрос... Модест обернулся ко мне и произнес отдельно:

– Я вас обвиняю в том, что вы – лицемерка. Вы клялись мне в любви и со мной обманывали вашего мужа. А у меня есть несомненные доказательства, что с другим вы обманывали меня. Зачем вы это делали?

Когда на меня нападают открыто, я чувствую в себе силы неодолимые и готова идти на все. На минуту мне показалось, что желанный разрыв с Модестом, разрыв, который распутает все мои отношения, близок. И гордо я

сказала Модесту:

– Не хочу отвечать вам. Это было бы недостойно меня.

Еще минуту я думала, что Модест, не сказав ни слова, повернется и выйдет из комнаты. Он страшно побледнел. Но вдруг весь он изменился, как-то осунулся, опустился в кресло и заговорил совсем другим, надломленным голосом:

– Талия! Талия! Зачем ты это сделала! Я знал многих женщин, многие меня любили безумно, вот с той собачьей преданностью, о которой я только что говорил. Но только в тебе, в твоём протитутиторованном теле, в твоей эгоистической душе (записываю слово в слово) нашёл я что-то такое, без чего уже не могу жить! Талия! Я готов отдать тебе всецело, тебе одной; только и ты отдайся мне так же! Мы уедем с тобой отсюда куда-нибудь на край света, в Капштадт, в Мельбурн, на Лабрадор. Мы будем жить только друг для друга, я буду поклоняться тебе как божеству и буду счастлив, потому что буду с тобой.

– Модест, – возразила я, – дело ведь не только в том, чтобы был счастлив ты, но что-

бы и я была счастлива.

После этих моих слов Модест ниже опустил голову и уже совсем тихим голосом договорил свою речь:

– Все кончено. Ты меня не любишь. Значит, я побежден. Ах, я слишком понадеялся на свои силы. Я думал, что все могу снести, даже разрыв с тобой! Нет! Есть вещи, которые ломают меня, как ветер сухие стебли... Что ж, произноси мой приговор!

С последними словами Модест совсем уронил голову на грудь, и мне показалось, что он плачет. Так было непривычно видеть Модеста растроганным, притом до слез, что весь гнев у меня пропал. Растаяла моя твердость и обратилась в нежную снисходительность. Я села рядом с Модестом и ласковым голосом стала его успокаивать...

Так прошло то мое свидание с Модестом, которого я так боялась. Модест вошел ко мне как судья, как господин, а уходил от меня как ребенок, которого приласкала старшая сестра. Он даже благодарил меня за все те клятвы и обещания, какие я ему дала, не заметив, что за ними была пустота!

Уф! Я чувствую, словно какие-то вериги спали у меня с тела! Модест плачущий, Модест, просящий у меня утешения, не страшен мне! Я победила. Я свободна. Мне хочется ликовать и петь пэан – так, кажется, называются победные песни?

## XIII

**16 октября**

**П**очувствовав новую внутреннюю свободу, я поехала сегодня к Володе, которого последнее время забрасываю на целые недели. Я думала, что это мое посещение будет для него неожиданным подарком, которому он безумно обрадуется. Вышло совсем не так.

Встретил меня Володя угрюмо, сначала ничего не хотел говорить, потом плакал, еще после стал осыпать упреками, совсем как Модест. Причина? Сперва мальчик придумывал разные предлоги своего гнева, вроде того, что я румянюсь (глупый, он воображал, что мы употребляем румяна, как наши бабушки!), но наконец признался: он получил новое подтверждение того, что у меня связь с Модестом.

Как это скучно! Мужчины не довольствуются тем, что мы им отдаемся, и даже тем, что мы их любим. Каждому из них надобно, чтобы мы отдавались только одному ему и любили его так, как ему того хочется. Володя не понимает, что ему даже взять нечем того, что я отдаю в себе (душевно и телесно) Модесту, как и Модесту нечем взять того, что я отдаю Володе. Все твердят: я хочу тебя всю, но ни один не подумает, достаточно ли глубока и широка для того его душа!

Я очень резко сказала это все Володе, – конечно, не признаваясь в своей близости к Модесту, – и ушла от него, не сняв шляпы. Мне очень нравится этот мальчик, губы его пахнут как земляника в июле, и всего его хочется искусать до крови, но больше я не допущу никаких уступок! Я преодолела в своей душе чувство к Модесту, преодолею и нежность к Володе. Если они оба идут к тому, чтобы я их бросила, тем лучше: я не испугаюсь остаться одна!

От Володи я заехала к Вере. Ее все называют моей подругой, и я, правда, люблю ее больше других. Мне только не нравится, что оде-

вається она злишком дорого и крикливо – в этом дурной вкус. Я думала, что этот визит меня успокоит, но совсем напротив.

Прежде всего Вера опять облепила меня изъявлениями пошлых соболезнований, словно бумажками от конфет. Потом повела меня смотреть своего сына, показывала мне его новые игрушки и весьма искренно радовалась, когда я безразлично хвалила и игрушки и сына. Еще после, за кофе, она пересказала мне все сплетни за то время, что я не бывала в нашем «свете». Я узнала, какие из наших дам переменили любовников, но так как действующие лица все одни и те же, то можно заранее вычислить по формуле, которую мы учили в алгебре, число возможных *combinaisons*[293] из данного числа мужчин и женщин.

Наконец Вера перешла к интимным признаниям и рассказала мне, как ее бросил ее француз, о чем я знала только смутно. При этом рассказе лицо Веры перекосилось, она стала некрасивой, слова стала выбирать грубые и вообще произвела на меня впечатление отвратительное. Говоря о Лидочке Вере-



теневогой, которая оказалась ее счастливой соперницей, она сказала мне буквально следующее:

– Знаешь, Nathalie, я не могу ручаться за себя, что когда-нибудь в театре, в фойе, не кинусь на нее и не изобью ее, как простая прачка.

Я уверена, что она говорила искренно. О ревность! «Чудовище с зелеными глазами», сказал Шекспир. Нет, слепой зверь!

## XIV

### 18 октября. Поздно ночью

Уверяют, что бывают решения бессознательные. Наш мозг, незаметно для нас самих, вырабатывает суждения, которые руководят нашими поступками. Конечно, сегодня я подчинялась такому бессознательному решению.

Самой мне казалось, что я просто хочу вечером пройтись по улицам. Но почему я оделась как можно проще, надела свой старый, вышедший из моды костюм, прошлогоднюю шляпку, опустила на лицо белую вуаль, позаботилась, чтобы меня не узнали? Лидочка,

видя, что я уйду вечером, выбежала ко мне с испуганными, широко открытыми глазами: должно быть, она подумала, что я собираюсь к Модесту.

- Милая девочка, я устала, хочу пройтись.
- Возьми меня с собой.
- Нет, мне хочется быть одной.
- Позволь заложить коляску.
- Не надо.

Я вышла. Был час сумерек. Зажигали фонари. На улице было серо, страшно, неприятно. Люди проходили мимо, торопливо, занятые.

Я шла без цели, вернее, без сознательной цели, и незаметно вышла на бульвары.

Ко мне «пристал» какой-то старичок, предлагая «прокатиться». Он был низенький и противный. Я перешла на другой тротуар.

Потом заговаривало со мной еще несколько уличных завсегдатаев, из которых один соблазнял меня пятью рублями. Я отмалчивалась, они отставали.

Так я прошла до самого храма Христа Спасителя. Устала страшно. Около храма было причудливо. Каменное строение, прозрачно-белое, среди теней, казалось призрачным.

А качающиеся тени электрических фонарей казались реальными и живыми.

Я постояла у каменного парапета сада; потом пошла назад. Минутами мне хотелось взять извозчика и ехать домой. Четверть часа спустя я, конечно, так и поступила бы.

На уровне Никитского бульвара меня догнал какой-то молодой человек. Он был в шляпе с большими полями и одет хорошо. Явно он был пьян.

Он мне сказал:

– Мадонна! Позвольте мне быть вашим пажем.

Я посмотрела на его лицо с рыжеватой бородкой и ответила:

– Для пажа вы слишком стары.

– Тогда вашим рыцарем.

– А посвящены ли вы в рыцари?

– Меня посвятил славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский.

Все это было глупо, но разве можно рассчитывать, что повстречаешь на улице «Помпея» или «Цезаря».

Я покорно шла рядом с незнакомцем, а он продолжал пьяную болтовню:

– Мадонна! На эту ночь я избираю вас дамой своего сердца. И своего портмоне, если вам угодно. Разве чувство измеряется фунтами и аршинами? Я буду вам верен одну ночь, но моя верность будет тверже, чем рыцаря Тогенбурга. У меня не будет времени вызвать на бой для прославления вашего имени великанов и волшебников, но я вызываю сон, всепобедный сон, и всяческую усталость и клянусь вам сражать этих демонов дотопле, доколе вам будет угодно делить со мной ваши часы. Для прославления вашего имени, сказал я, но я еще его не знаю.

– Как и я вашего.

– Меня зовут дон Хуан Фердинанд Кортец, маркиз делла Балле Оахаки. Я – новое воплощение завоевателя Мексики. Если же имя мое кажется вам слишком длинным, вы можете называть меня просто Хуаном.

– Позвольте называть вас Жуаном, потому что мое имя донна Анна.

– О, мадонна! Едем на наш пир, и да явится в свой час к нам статуя твоего покойного мужа. Командор! Приглашаю тебя, приди и стань на страже у дверей нашей спальни.

– Вам приходится передавать приглашение лично за неимением Лепорелло?

– Лепорелло ждет нас. Но, подобно божественной Дульцинее, превращенной в Альдонсу, злыми чарами обращен он в ресторанного официанта. Едем, и вы его увидите!

Незнакомец сделал знак лихачу и предложил мне садиться в пролетку. Я повиновалась. Мы полетели вдоль бульвара, продолжая шуточный разговор.

Через несколько минут мы были в отдельной комнате гостиницы. На столе стояло шампанское. Так как оказалось, что мой спутник одет изысканно и, по всему судя, принадлежит к высшим слоям общества, я стала бояться, что впоследствии он меня где-нибудь встретит и узнает. Я усердно наливала ему вина, и он пьянел.

Был страшный соблазн в том, что мы не знали друг друга, что мы, один для другого, вышли из тайны и должны были вернуться в тайну.

Незнакомец стал на колени передо мной и стал говорить:

– Донна Анна! Ты – прекрасна. Ты – пре-

краснее всех женщин, каких я видел на свете. Хочешь, я с сегодняшнего вечера порву свою жизнь пополам и отныне останусь с тобой навсегда. Буду твоим рыцарем, твоим пажом, твоим служителем. Мы уедем на твою истинную родину, в Севилью, или куда хочешь. Брось свою жизнь, отдайся мне, и я буду поклоняться тебе, как божеству.

В словах незнакомца было столько совпадений с речами Модеста, что мне стало жутко. Я постаралась стряхнуть с себя этот кошмар и повернуть наше свидание в другую сторону. Сделать это было нетрудно...

Но когда незнакомец, немного спустя, восторженно целовал мне колени, жуткое чувство вторично овладело мной: мне представилось, что меня целует Володя.

Мы расстались под утро. Незнакомец настойчиво требовал, чтобы я дала ему свой адрес. Я назвала какие-то фиктивные буквы, предложив писать *poste-restante*.

Но я более никогда в жизни не хочу увидеть моего Дон-Жуана.

Прощаясь, он, не без колебания, вложил мне в руку бумажку в двадцать пять рублей.

Я взяла. Вот первая плата, которую я получила за продажу своего тела. Впрочем, нет: раньше мне за то же платил мой муж.

## XV

**19 октября**

**У** меня голова кружится от тех открытий, которые я сделала. В первый раз в жизни я боюсь окончательных выводов. Мне страшно мыслить.

Сегодня я проснулась поздно и медлила вставать. Сознаюсь, мне страшно было встретиться с Лидочкой. Лидочка знала, что я вернулась домой поздно ночью, и могла думать, что ночь я провела у Модеста.

Вот почему мне стало очень не по себе, когда в столовой, где я пила кофе, ко мне подошла Лидочка.

– Наташа, мне надо говорить с тобой.

– После, моя девочка, я утомлена очень, у меня голова болит.

– Нет, нет, теперь.

Допивая кофе, я рассматривала Лидочку. Лицо ее было бледно, без следов слез, выражение глаз какое-то сухое и решительное.

Мы перешли в маленькую гостиную, и Лидочка здесь спросила меня:

– Знаешь, кто здесь был вчера?

– Где здесь?

– У нас.

– Кто же?

– Модест Никандрович.

– Что ж такого. Он не застал меня дома.

Приедет другой раз.

Мне пришло в голову, не хочет ли Лидочка дать мне понять, что Модест, не застав меня дома, так сказать, уличил меня в неверности себе. Но Лидочка, с расчетом на свое торжество, продолжала, прямо глядя мне в лицо:

– Он был не у тебя. Он был у нас в доме тайно.

– Ты говоришь глупости. У кого же он был?

– У Глаши.

Это было абсурдно. Я стала расспрашивать. Лидочка рассказала, что она давно подметила какие-то странные отношения между Модестом и Глашей. Вчера, когда меня не было дома, Лидочка по разным признакам догадалась, что Глаша в своей комнате не одна. Лидочка стала следить и около полуночи виде-



ла, как Глаша черным ходом выпускала Модеста. Оба они что-то говорили очень оживленно, но вполголоса, и, уходя, Модест поцеловал Глашу в губы.

– Видишь, – с усилием сказала Лидочка, – ты его любишь... а он... обманывает тебя... с твоей горничной.

Рассказ Лидочки взволновал меня сильно, так что сердце начало у меня в груди колотиться, как соскочившее с пружины. Кое-как успокоив Лидочку, я ее отослала и позвала к себе Глашу.

С Глашей говорить пришлось недолго. Она после первых вопросов созналась и, по какому-то атавистическому влечению, повалилась мне в ноги.

Да, она любовница Модеста. Он ее уверил, что любит ее, а за мной ухаживает из чести (как не стыдно ему было повторять молчалинские слова!). Он обещал взять ее жить к себе и делал ей дорогие подарки. Возил ее кататься за город и поил шампанским, и потом «пользовался ее слабостью и доверчивостью». А я ничего не знала и не замечала!

Но вот что самое важное. Модест был у

Глаши в ночь на 15 сентября, т. е. в ночь убийства. Правда, она сама проводила Модеста и закрыла за ним дверь еще раньше полночи и, возвращаясь к себе, слышала шаги Виктора Валерьяновича, который ходил взад и вперед по кабинету. Следовательно, убийство совершилось после того, как Модест вышел из нашей квартиры. Но разве не мог он переждать несколько времени на лестнице и вернуться с помощью заранее подобранного ключа? Эта мысль сразу явилась мне и засела у меня в мозгу, словно отравленная стрела.

«Современный человек должен уметь все: писать стихи и управлять электрической машиной, играть на сцене и убивать», – припомнились мне слова Модеста, записанные в этом дневнике.

Что до Глаши, то ей, кажется, такие подозрения не приходили в голову. Но, по ее словам, Модест был очень напуган, узнав об убийстве, тотчас вызвал ее и строго запретил ей говорить кому бы то ни было о том, что был у нее накануне... Глаша исполнила его требование, но совесть ее мучит и ей хочется пойти все «открыть» следователю.

Разумеется, Глаша рассказывала мне все это длинно и сбивчиво, прерывая слова всхлипываниями и рыданиями. Я поняла теперь, почему Глаша все время, со дня убийства, ходит расстроенной и подавленной. Чтобы хранить большую тайну, надо иметь душу воспитанную: простым существам это не под силу.

Что я могла ответить Глаше? Я ей сказала, что доносить на Модеста, конечно, не надо. Что он поступил дурно, соблазнив бедную девушку, но к убийству, во всяком случае, не причастен, и было бы зло впутывать его в это дело. В заключение я обещала Глаше, что поговорю об ней с Модестом и заставлю его позаботиться об ней как должно. С Глашей мы расстались друзьями.

О Модесте мне еще надо будет думать, и много думать. Но чего же теперь стоят все его слова о верности и об изменах? Как негодовал он на то, что я ему «изменяю». Ах, люди!

*Кто жил и мыслил, тот не может  
В душе не презирать людей!*

## XVI

21 октября

Я получила ужасное письмо от Володи. Было в его словах столько отчаянья, что я поехала к нему тотчас. Но последнее время все мои свидания кончаются плохо.

Неудачи начали меня преследовать еще на улице.

Я, разумеется, не могла взять нашей лошади и вышла пешком. Через несколько шагов догнал меня какой-то человечек и стал, кланяясь, что-то говорить.

– Я вас не знаю, – сказала я, – что вам надо?

– Помилуйте-с, – возразил человечек, – я дяденька горничной вашей, Глаши, Сергей Хмылев, изволили припомнить?

Узнав, с кем я имею дело, я сказала твердо:

– Я вас просила меня оставить. Если вы не отстанете, я позову городского.

– К чему тут полиция, – возразил Хмылев, – это дело деликатное, его надо без посторонних свидетелей проводить.

Я чувствовала, что в руках этого человека конец нити из запутанного клубка событий.

Многое ли ему известно, я не знала, но была убеждена, что что-то известно. Я медленно шла по тротуару, а Хмылев семенил за мной и говорил:

– Напрасно вы нами презираете, Наталья Глебовна. Мы люди маленькие, но на маленьких людях мир стоит. Что я у вас прошу: позволения явиться и представить некоторые документики и соображения, – всего только. Вы то и другое рассмотрите и решите, стоит ли оно, чтобы заплатить следуемую нам сумму.

– Один раз я уже отказала вам наотрез, – произнесла я отрывочно. – Почему же вы не представили ваших документов в другое место? Видно, они не многого стоят!

– Эх, барыня! Представить документики не долго. И будет то, может быть, кому-нибудь и очень неприятно. Но ведь мне-то никакой из того прибыли не будет, или самая малая... А что я с вас прошу? При вашем капитале двадцать тысяч для вас гроши-с, не заметите, если отдадите...

Я сказала медленно:

– Хорошо, я подумаю. Приходите через неделю.

– Нет-с, – возразил Хмылев, – через неделю поздно-с будет. Дольше трех дней ждать никакой возможности не имею.

– Как угодно, – сказала я.

Тотчас я села в пролетку ближайшего извозчика и приказала ехать, не слушая, что мне еще говорил Хмылев. Но в душе я досадовала сама на себя и не знала, хорошо ли я поступила, отказав Хмылеву. Может быть, следовало рассмотреть его «документики». Я, впрочем, надеялась, что он еще раз явится ко мне.

Вдруг на повороте из Настасьинского переулка какой-то человек прыгнул с тротуара, замахал руками и остановил моего извозчика. Я узнала своего рыжего Дон-Жуана.

– Донна Анна! Донна Анна! – восклицал он. – Я брошусь под колеса, если вы не отзоветесь. Я помешался с того дня, как встретил вас. Я не могу без вас жить.

Редкие прохожие останавливались и смотрели на скандальную сцену.

– Etez-vous fou, monsieur, je ne vous connais pas[294], – сказала я почему-то по-французски.

Извозчик хлестнул лошадь. Незнакомец

минуты две еще бежал за моей пролеткой, потом отстал.

Настроение мое окончательно испортилось. То была уже не досада, а какая-то злоба на себя и на весь мир...

### **В тот же день**

**П**риезжала Вера, прервала меня, сидела час, говорила глупости. Продолжаю.

Володю я нашла в состоянии крайнего возбуждения. Он исхудал, словно после жестокой болезни. С горящими зрачками он имел вид маленького пророка.

В чем дело? Ах, он узнал все, и окончательно, о моих отношениях к Модесту; ему даже передали мое письмо к Модесту, которое тот ухитрился где-то потерять.

На этот раз сведения Володи оказались столь точными, что мне осталось только удивляться, кто мог ему сообщить их. Одно я могу предположить, это – что в доносе участвовал сам Модест. Чтобы избавиться от соперника, он известил его о самом себе и сам подслал ему одно из моих писем (не могу я поверить, что Модест «потерял» его!). Такой дьявольский план достоин черной души Моде-

ста.

Во всяком случае, отпираться было невозможно. Я сказала Володе прямо, что он мне нравится, но что мне его маленькой души мало. Что слишком много во мне он не может понять. Что во многом он не может быть моим сотоварищем. Он нежен, робок, правдив, добродетелен. Это все мне нравится. Но, кроме того, я люблю мужскую силу, люблю страсть, люблю искищенность и изысканность чувств. Если он хочет ставить точки над *i*, я – развратна. Такой меня создал бог или жизнь, и я хочу оставаться сама собой. Мне как спутник, как друг, как любовник нужен человек, который был бы способен меня понимать всю, отвечать на все запросы моей души. Если нет такого одного, мне нужно двоих, троих, пятерых, почему я знаю сколько! Пусть он, Владимир, усложняет и возвышает свою душу, пусть он дорастает до меня, пусть он одолеет меня в поединке любви – и я буду рада оказаться побежденной. Но поддаваться или притворяться побежденной я не хочу.

Приблизительно так я говорила Володе. Он тихо рыдал. Мне было его очень жалко и хо-



телось поцеловать в его темную голову, в милый, любимый мною затылок. Но я себя преодолела, решив высказать всю правду.

– Итак, вы играли мною, – сказал между рыданиями Володя, – играли, как дети играют плюшевым медведем...

– Я любила тебя, мальчик!

Едва я это сказала, как с Володей сделался настоящий припадок иступления. Он вскочил и стал кричать мне:

– Лжешь! Весь мир знает, что такое любовь, а вы и вам подобные исказили смысл этого слова! Вы обратили любовь в какую-то игру в бирюльки. Вы постоянно твердите о любви, только и делаете, что рассматриваете свое чувство, но все это у вас в голове, а не в сердце! Для вас любовь или разврат, или математическая задача. А любви как любви, как чувства одного человека к другому, вы не знаете.

– Твои слова, – сказала я холодно, но мягко, – только доказывают мне еще раз, как ты от меня далек. Как же ты требуешь, чтобы я всю себя отдала тебе, когда ты меня даже не понимаешь? А если я столь изменна, как ты

говоришь, зачем ты от меня требуешь, чтобы я тебя любила?

Я старалась говорить сдержанно и вообще за все время свидания не позволила себе ни одного резкого или жестокого слова. Но Володей решительно владел какой-то демон, потому что, не слушая моих доводов, он вновь стал кричать на меня. Должно быть, он многое передумал в одиночестве последних дней, и теперь все эти думы беспорядочным потоком вырывались из его души.

– У меня было свое дело, – продолжал Володя. – Я был маленьким колесиком, но в великом механизме, который работал на благо целого народа и всего человечества. Я был счастлив своей работой, и у меня было удовлетворение в сознании, что жизнь моя нужна на что-то. Ты меня вырвала из этого мира, ты меня, как сирена, зачаровала своим голосом и заставила сойти с моего корабля. Что же ты мне дала взамен? Жизнь, которая любовь ставит в центр мира как божество, а потом самую эту любовь подменивает лицемерием, фальшью, притворством! Ты научила меня жить одним чувством, а сама вместо

чувства давала мне искусную ложь! Ты постепенно коварством и ласками довела меня до того, что я стал твоим альфонсом. Мне страшно встречаться с прежними друзьями. Я стыжусь своей жизни, своего лица, своих рук!

Володя кричал долго, беснуясь. Я пыталась возражать, он не давал мне вымолвить слова. Я сложила руки и молча смотрела на него. Наконец, в слепой ярости, Володя схватил с этажерки томик Тютчева, бросил его на пол и стал топтать. Мне удалось сказать:

– Научись тому, что первый признак культурного человека – уважение к книге.

– Проклинаю ваши книги, – закричал в ответ Володя. – Все вы книжные, и чувства ваши книжные, и поступки книжные, и говорите так, словно читаете книгу. Не хочу я вас больше! Хочу на волю, к жизни, к делу!

Конечно, в том, что говорил Володя, было немало правды (потому-то я и записываю здесь его слова), но я не могла уступить ему. Надо было раз навсегда отстоять свою свободу. Я сказала Володе все с прежней холодностью:

– Ты молод. У тебя вся жизнь впереди. Вер-

нись к своим друзьям-революционерам. Вероятно, они примут вновь в партию заблудшего товарища.

Поправив шляпу, я пошла к выходу.

Видя, что я ухожу, Володя побледнел смертельно, загородил мне дорогу, стал на колени. Задыхаясь, не договаривая слов, он начал умолять меня не покидать его. Он просил прощения во всем, что говорил, и назвал себя безумцем.

Я готова была заключить мир. Но когда понемногу между нами начали устанавливаться добрые отношения, Володя вдруг поставил такое требование:

– Но ты поклянешься мне, что отныне будешь принадлежать мне одному? Ты тому пошлешь тотчас письмо, что все между вами кончено?

– Ты опять сумасшествуешь, – сказала я.

– Я требую, – повторил Володя, вновь побледнев. Тогда я ответила решительно:

– Своими поступками я хочу распоряжаться сама. Не могу допустить, чтобы кто-либо с меня что-либо требовал. Бери меня такой, какова я, или ты меня не получишь вовсе.

Я вновь направилась к двери. Володя вновь загородил мне дорогу. Весь бледный, он стоял, простерев руки, словно распятый.

– Ты не уйдешь, – проговорил не он, а его губы. Покачав головой, я попыталась отстранить его от двери. Володя упал на пол и охватил мои ноги.

– Если ты уйдешь, я убью себя.

Я с силой растворила дверь и вышла.

Что удивительного, что после такого вечера я сегодня показалась Вере неинтересной. То есть она мне сказала, что я выгляжу нездоровой. Но я знаю, что значит это слово в устах женщины.

## XVII

23 октября

**И**так, свершилось.

Моя судьба решена, и решена неожиданно.

Всю ночь меня преследовал образ юноши, распятого у двери. Я просыпалась от кошмаров, и мне слышались слова Володи: «Если ты уйдешь, я убью себя». Утром я встала в такой тоске, сносить которую не было сил.

– Да ведь это же любовь! – вдруг сказала я самой себе. – Ты любишь этого мальчика, гибкого, как былинка.

Зачем же ты отказываешься от любви: разве в этом свобода?

Едва я это подумала, как мне показалось, что все решается очень легко. Я тотчас села к столу и без помарок, сразу, написала два письма: Володе и Модесту.

Володю прежде всего я просила простить меня. Я писала ему, что отказалась вчера послать то письмо, которое он требовал, только ради отвлеченного принципа, чтобы сохранить свою свободу. Но что на деле я вполне и

окончательно порвала все с «тем другим» (т. е. с Модестом). Я писала еще, что твердо решила в самом скором времени уехать надолго, на несколько лет в Италию и хочу, чтобы он, Володя, ехал со мной...

Модесту письмо я написала гораздо более короткое и сухое, всего несколько фраз. Я напоминала, что Модест дал мне месяц срока, чтобы ответить на его предложение. Но, говорила я, уже теперь мой ответ мне вполне известен, и я могу ему сказать, что никогда его женой я не буду. В заключение я писала, что, согласно со словами Модеста, считаю, после моего письма, все наши отношения конченными и прошу более не пытаться видаться со мной. Хотела было я прибавить просьбу – вернуть мои письма, которыми Модест, по видимому, не дорожит, так как они попадают в чужие руки, но это показалось мне слишком банальным.

Сначала я думала послать оба письма одновременно, но какой-то инстинкт предосторожности удержал меня. Я отправила только одно письмо – Модесту.

Тотчас же я получила и ответ. Модест пре-

клонялся перед моей волей, но просил последней милости: приехать к нему проститься. После некоторого колебания я согласилась.

Все, что случилось на этом свидании, было для меня и непредвиденно и чудесно. И чувства, которые я пережила за эти часы, проведенные с Модестом, принадлежат к числу самых сильных, какие я испытывала когда-либо.

Непредвиденное ждало меня тотчас за дверью квартиры Модеста. Он встретил меня не в своем обычном костюме, но в странной восточной хламиде, расшитой золотом. Обстановке комнат тоже был придан восточный, древнехалдейский характер. Картины со стен были сняты.

Я вспомнила слова татан, что Модест сумасшедший, и испугалась.

– Модест, ты не помешался? – спросила я.

– Нет, царица! Но эти священные часы нашего с тобой прощания я хочу провести вне ненавистной и нестерпимой стихии современности. Тебя, как и меня, равно мучит пошлость нашей жизни, и я не хочу, чтобы в на-



ши последние воспоминания врывалось что-нибудь из нее: звонки телефона или свистки автомобиля. Я хочу на несколько часов погрузить тебя и себя в более благородную атмосферу.

Комнаты Модеста оказались преобразженными: они были все убраны в древнеассирийском стиле. Модест откуда-то достал множество статуй и барельефов, изображающих ассирийских богов и царей, увесил стены странным, древним оружием, лампочки превратил в факелы, весь воздух напоил какими-то сильными, пряными духами и курениями. Я себя чувствовала не то в музее, не то в храме, мне было странно и не по себе, но действительность как-то отошла от меня, и я почти забыла, зачем я здесь.

Модест долгое время ни словом не напомнил ни о моем, ни о своем письме. Он совершенно серьезным тоном, словно только за этим приглашал меня, рассказывал мне мифы о герое Издубаре и о схождении богини Истар в Ад. На какой-то странной дудке он играл мне простую, но своеобразную мелодию, которую назвал гимном Луне. Потом он шеп-

тал мне нежные признания в своей любви, превращая их почти в псалмы, говоря кадансированной прозой, употребляя пышные, чисто восточные выражения.

От аромата курений у меня кружилась голова. Одно время я плохо сознавала, что я делаю и говорю. И о цели своего приезда я почти совсем забыла. Мне было хорошо с Модестом, и я не спешила уезжать.

Мы перешли в спальню. Вместо постели в ней было сооружено высокое ложе, поставленное на изображении четырех крылатых львов. В глубине комнаты на треножнике курились легким дымом какие-то сильно пахнущие снадобья.

– Может быть, ты хочешь меня усыпить и убить? – спросила я.

– Нет, моя царица, – возразил Модест, – я хочу убить воспоминания только. Это жертва бескровная. И еще я хочу молить древних богов, чтобы они послали нам ту полноту страсти и то самозабвение, какое знали люди их времен. Хочу молить, чтобы меня поддержал герой Мардук, а тебе дала силы богиня Эа.

Без малейшей черты шутки или игры Мо-

дест бросил на жаровню какие-то зерна и палниц. Длинная его одежда распростерлась на полу, и черная его голова коснулась самого пола. Ему так шла эта жреческая поза, что я почти почувствовала себя в древнем Вавилоне, ночью, в башне, отроковицей, ждущей сошествия бога Бэла... Я на время забыла все свои мучительные мысли и самую свою жизнь, помнила только, что я наедине с ним, с мужчиной, с тем, кому я должна принадлежать...

Обычно я во все минуты, даже в самые интимные, сохраняю полное обладание своим сознанием. Но этот раз час, прошедший на ассирийском ложе, в полутемной комнате, в запахе пряных курений, показался мне каким-то слиянием яви и сна, чем-то, стоящим на границе действительности и мечты. Я говорила что-то, слушала какие-то речи, но не сумела бы записать их здесь, пером по бумаге, в грамматически правильных предложениях: то было нечто иное...

Понемногу словно из редящего тумана стали выступать передо мной слова Модеста:  
– Все же я тебя любил, царица, любил всей

полнотой чувства, не знающего предела и не  
хотящего границ. Что бы ни совершала ты,  
что бы ни совершал я, отвечала ли ты мне на  
любовь или оскорбляла меня, отваживался  
ли я на великий подвиг или на низкое пре-  
ступление, эта любовь оставалась неизмен-  
ной. И что ни ждет нас в будущем, жизнь или  
смерть, существование или небытие, в этом  
мире и в других мирах, я буду любить тебя.  
Уеду ли я на свой далекий итальянский ост-  
ров или направлю себе прямо в сердце асси-  
рийский клинок, я буду любить тебя. Буду из-  
немогать от ненужной жизни, благословляя  
твое имя, и в минуту смерти позову тебя, по-  
тому что, кроме любви к тебе, нет, не было и  
не будет у меня божества!

Долго я слушала эти ласкательные речи,  
полузакрыв глаза, убаюкиваясь нежными  
словами, как милой музыкой, но вдруг села  
на ложе и, смотря Модесту в лицо, спросила:

– Модест, это ты убил моего мужа, Викто-  
ра?

Никогда не видела я, чтобы люди так блед-  
нели, как побледнел Модест при моем вопро-  
се. При слабом свете завуалированных элек-

трических лампочек, изображавших факелы, лицо Модеста показалось мне белее белого цвета. Его глаза остановились на мне с тем выражением ужаса, какое можно видеть лишь на картинках. Должно быть, с полминуты длилось молчание, и в этой комнате, похожей на склеп, стояла такая тишина, что треск пламени на треножнике производил впечатление страшного грохота.

Медленно Модест также сел рядом со мной и произнес тихо:

– Я.

И снова мы молчали сколько-то времени. Потом я опять спросила:

– Зачем ты это сделал?

– Я люблю тебя, – ответил Модест.

– Неправда, – грубо возразила я, – ты все требовал, чтобы я вышла за тебя замуж. Ты хотел тех денег, которые достались мне после мужа!

С сильным подъемом Модест ответил мне:

– Клянусь тебе всеми святынями, которые мы с тобой признаем, клянусь Искусством, клянусь Любовью, клянусь Смертью (эти большие буквы были в его голосе) – это

неправда! Я совершил свой поступок, чтобы обладать тобой безраздельно. Если ты знаешь мою душу, ты должна понять, что деньги сами по себе не могут быть для меня соблазном. Да, я – убил. Убил затем, чтобы в своей любви пройти до последнего предела. Убил затем, чтобы сознавать, что из любви к тебе я пожертвовал всем: своим именем, своей жизнью, своей совестью. Я хотел убедиться в своей силе и узнать, достоин ли я обладать тобой. И вот я побежден, увидел, что я бессилен, как все другие, увидел, что тебя я недостоин, и ты отвергла меня – и я покорно принимаю свой приговор. Теперь казни меня – ты имеешь на то право, но не оскорбляй подозрениями, которых я не заслужил.

Модест, произнося эту речь, был прекрасен. С обнаженной грудью и шеей он был похож на ассирийского героя. И вдруг какое-то совершенно новое чувство выросло в моей душе, сразу – в одну минуту, как, говорят, вырастает чудесное деревцо в руке факиров. Вдруг Модест предстал предо мной во весь свой рост, и я наконец поняла, какая таится в нем сила, схватила его за плечи, наклонила свое

лицо к его лицу и воскликнула с последней искренностью:

– Нет, Модест, нет! Не называй себя побежденным! Все, что я говорила и писала тебе, – неправда. Я тебя люблю, и я буду твоей – твоей женой, рабой, чем хочешь. И ты будешь жить, и мы будем счастливы!

Модест смотрел на меня, словно не понимая моих слов, потом проговорил угрюмо:

– Итак, ты меня прощаешь... Но знаешь ли ты, что я сам не могу простить себе? Больше мне ничего не должно таить от тебя, и я тебе сознаюсь: мне страшно того, что я совершил. Я думал, что моя душа выдержит испытание, что она – иная, чем у других. Что же! Я мучусь, как самый обыкновенный преступник, чуть ли не угрызениями совести!

Мне бывает страшно оставаться одному ночью в комнате! Вот почему я говорю, что я побежден. И ты должна оставить меня, Талия, потому что я оказался недостоин тебя... Ты была права в своем письме...

Но во мне уже было только одно чувство – безмерный, неодолимый восторг перед этим человеком, который посмел совершить и со-

вершил то, на что современный человек не смеет отважиться. В ту минуту Модест мне казался истинным «*ubermensch*» [295], и я хотела лишь одного – спасти его. Я ему сказала:

– Полно, Модест! Твои страхи – временное расстройство нервов, которое ты сумеешь одолеть. Иди же до конца, если ты уже совершил решительный шаг. Теперь тебе говорить об отступлении, о бегстве – стыдно. Будь тем, каким я тебя хочу видеть, – и в награду я тебе отдаю себя, всю, вполне, как ты этого всегда хотел.

Я не лгала, я именно так чувствовала в те минуты. Я ободряла Модеста, я напоминала ему его прежние слова, я обращалась к его уму и к его гордости... Понемногу мрачное выражение сошло с лица Модеста, он поддался моему влиянию, он вновь стал самим собой, сильным, решительным...

И вот исчезли два любовника, которые за полчаса перед тем были в этой комнате: на их месте оказались два сообщника. Мы бросили все споры о любви и свободе в любви, которые еще так недавно казались нам важнее всего на свете. Мы стали говорить деловым



тоном о том, что должно теперь делать.

Я доказала Модесту, что он напрасно так полагается на свою безопасность. Слишком много людей замешано в это дело. Я ему напомнила о Глаше и рассказала о последней моей встрече с Хмылевым. Рассказала, каким образом сама разгадала страшную тайну. Теперь одного неосторожного слова достаточно, чтобы поселить в ком не следует подозрение...

В конце концов мы порешили, что Модест должен не медля выехать за границу и жить там под чужим именем. Я же должна дождаться своего утверждения в правах наследства и тотчас обратить все свое состояние в наличные деньги. После этого я присоединюсь к Модесту, и на несколько лет мы уедем куда-нибудь далеко, хотя бы в Буэнос-Айрес...

От Модеста я вышла рано: не надо подавать повода к лишним толкам. Вернувшись домой, я разорвала письмо, написанное Володе.

Боже мой! А что, если эти строки попадут кому-нибудь на глаза? Что из того, что я храню свой дневник в тайном ящике. Есть руки,

которые проникают всюду.

Эти страницы надо вырезать.

## XVIII

**24 октября**

**П**осле того, как я записала здесь признание Модеста, я решаюсь взять этот дневник в руки, только заперев дверь комнаты. Но я должна сохранить для самой себя то, что пережила сегодня.

Утром я получила письмо от Володи. Он прощался со мной и писал, что не может более жить после того, как я, его святыня, для него осквернена... Я тотчас поехала к нему, но было уже поздно. Письмо он велел отнести мне только утром, а сам в полночь выстрелил себе в сердце. Его повезли в больницу, но по дороге, в карете «Скорой помощи», он умер.

Смотреть тело Володи я не поехала: это было бы слишком жестокое испытание для моих нервов.

Несмотря на то, облик Володи преследует меня, как кошмар. Везде вижу его бледное лицо, какой он был, когда, распятый, преграждал мне дорогу к двери. Этот лик мерещится

мне и на подушке, и на белой стене, и в раскрытой книге. Его губы скривлены, словно он хочет проклясть меня. Надо овладеть собой, преодолеть волнение, иначе я помешаюсь...

Его последние слова ко мне были: «Если ты уйдешь, я убью себя». Но сколько раз прежде он говорил мне, что убьет себя. Я тоже уходила, не слушая его угроз, и он не стрелял в себя из револьвера. Могу ли я, по совести, принять его кровь на свою душу?

И все же, если бы я не ушла, если бы еще раз успокоила его нежностью и лаской, еще раз обманула его обещаниями и клятвами...

Что же! Это только отсрочило бы события...

А если бы я совсем не становилась на пути его жизни, не смущала его наивной души, не вовлекала его в мир страстей, для бурь которого оказался он слишком слабым, слишком хрупким?

Господи! Разве я виновата, если люблю и если меня любят! Никогда я не требовала любви. Я искала лишь одного: чтобы те, кто мне нравится, пожелали провести со мной столько-то часов или дней, или недель. Если

мне отказывали, я покорялась, не добиваясь более. Всем я предоставляла свободу любить меня или нет, быть мне верными или покидать меня. Почему же мне не дают такой же свободы, требуют, чтобы я непременно любила такого-то, любила именно так, как ему угодно, и столько времени, сколько ему угодно, т. е. вечно? А если я отказываюсь, он убивает себя, и мне весь мир кричит: ты – убийца!

Я хочу свободы в любви, той свободы, о которой вы все говорите и которой не даете никому. Я хочу любить или не любить, или разлюбить по своей воле или пусть по своей прихоти, а не по вашей. Всем, всем я готова предоставить то же право, какое спрашиваю себе.

Мне говорят, что я красива и что красота обязывает. Но я и не таю своей красоты, как скупец, как скряга. Любуйтесь мною, берите мою красоту! Кому я отказывала из тех, кто искренно добивался обладать мною? Но зачем же вы хотите сделать меня своей собственностью и мою красоту присвоить себе? Когда же я вырываюсь из цепей, вы называ-

ете меня проституткой и, как последний довод, стреляете себе в сердце!

Или я безнадежно глупа, или сошла с ума, или это – величайшая несправедливость в мире, проходящая сквозь века. Все мужчины тянут руки к женщине и кричат ей: хочу тебя, но ты должна быть только моей и ничьей больше, иначе ты преступница. И каждый уверен, что у него все права на каждую женщину, а у той нет никаких прав на самое себя!

Володя, любимый мой Володя, милый мальчик, сошедший с портрета Ван-Дика! Как мне хорошо было с тобой, в черной гондоле, на канале, где-нибудь около Джованни и Паоло, слушать венецианские серенады и смотреть в твои скромные глаза под большими ресницами! Как мне хорошо было с тобой в нашей комнате, которую потом ты убрал гравюрами с Рембрандта, где ты проводил дни и недели, ожидая моего прихода! Какие у тебя были ласковые губы, пахнущие как земляника в июле, какие нежные плечи, как у девочки, которые хотелось искусать в кровь, как умел ты лепетать слова наивные и страстные

вместе... Никогда больше я тебя не поцелую, не обниму, не увижу, мой мальчик!

Прости меня, Володя, хотя я и не виновата в твоей смерти. Я отдавала тебе все, что могла, а может быть, и больше. То, чего ты требовал, я отдать не могла.

Но не надо думать, не надо, а то я помешаюсь. Одолеть волнение, овладеть собой, забыть этот облик распятого у двери юноши! А как тяжело мне сегодня!

## **XIX**

### **Около года спустя**

**С** отвращением беру я в руки эту тетрадь. Мысль, что чужие пальцы перелистывали эти страницы, что чужие глаза читали мои самые интимные признания, делают ее для меня ненавистной. Но, просто и коротко, все же запишу я, о последних событиях в моей жизни, чтобы повесть, начатая здесь, не осталась без окончания.

Через день после самоубийства Володи Модеста арестовали. Арестовали на вокзале, когда он уже готов был ехать в Финляндию, а оттуда за границу. Оказалось, что его подозре-

вали уже давно, только старались собрать больше улик и потому до времени оставляли на свободе. Затем арестовали и меня, так что несколько недель я провела в самой настоящей тюрьме, пока дядя не взял меня на поруки, под залог.

Мой дневник сначала попал в руки полиции, которая, производя у меня обыск, ухитрилась отыскать его в потайном ящике моего письменного стола. Однако дяде Платону, как моему доверенному лицу, удалось добиться, что этот дневник был ему возвращен среди разных «ничтожных» бумаг, а не передан следователю и не приобщен к числу «вещественных доказательств». Иначе были бы все улики для обвинения меня если не в соучастии, то в «недонесении» на преступника, который был мне известен. Всего вероятнее, что присяжные меня оправдали бы, но мне пришлось бы пережить все унижения суда. Теперь же предварительное следствие выяснило мою «непричастность» к преступлению, и мне не пришлось садиться на «скамью» подсудимых, под лорнеты моих прежних подруг...

Так, по крайней мере, изъяснял мне ход де-

ла мой дядя Платон, который взял с меня за хлопоты десять тысяч. Эти деньги, по его словам, пошли на «подмазку» кого следует... Я не очень-то доверяю всему этому рассказу и скорее склонна думать, что мой дневник если был у кого в руках, то не у полицейских, а только у самого дядюшки, и что десять тысяч рублей целиком остались в его карманах. Но, право, не таково было мое положение, чтобы торговаться или спорить, и я с удовольствием отдала бы впятеро больше, только бы избавиться от позора.

Против Модеста улики были подавляющие. Глаша рассказала все и еще припомнила, что после одного посещения Модеста пропал ключ от черного хода, так что пришлось сделать новый. Среди предметов, найденных в комнате мужа после убийства, оказалась пуговица с рукава костюма Модеста: Виктор, защищаясь, схватил Модеста за рукав и оборвал ее. Выяснили определенно, что в ночь убийства Модест вернулся к себе лишь под утро, и т. д.

Впрочем, Модест и не спорил с очевидностью. Когда он увидел, что обстоятельства об-



личают его, он сознался и рассказал подробно, как совершил свое преступление. При этом он со всей твердостью стоял на том, что мне ничего не было известно, ни до убийства, ни после, что никогда, ни одним словом, не давал он мне понять, что убийца – он. Говорят, что эта твердость оказала мне большую услугу. Если бы Модест обмолвился, что признавался мне в своем поступке, не миновать бы мне скамьи с жандармами...

Газетные писаки хорошо поживились около этого скандального дела. Сначала, когда я читала все, что писалось в «прессе» о Модесте, обо мне и моем муже, со мной делались припадки ярости от сознания своего бессилия перед наглыми оскорбителями. Хотелось куда-то побежать, кому-то плюнуть в лицо... Потом – потом я перестала читать газеты и вдруг поняла, что все написанное в них не имеет ровно никакого значения.

Мотивом своего преступления Модест объявил ревность. По его словам, он был ослеплен своей любовью ко мне и не мог переносить мысли, что кто-то другой со мной близок. Модест рассказывал, что, проникнув но-

чью в кабинет к Виктору, он потребовал, чтобы Виктор дал мне добровольно развод. Когда Виктор отказался, Модест в раздражении, не помня себя, схватил лежавшую на этажерке гирю и убил соперника... Конечно, этот рассказ никому не мог показаться правдоподобным, потому что непонятым оставалось, зачем Модесту понадобилось являться к Виктору тайно, ночью, с помощью украденного ключа... Модест объяснял это причудой своей художественной души, но никто не склонен считать позволительным для человека наших дней то, что нас пленяет в Бенвенуто Челлини или Караваджо.

На суде Модест держал себя с достоинством. Так мне рассказывали, так как сама я не присутствовала. Я была вызвана только как свидетельница, но перед судом, от всего пережитого, я заболела нервным расстройством, и найдено было возможным слушать дело без меня. Защитник, по требованию Модеста, всю свою речь основал на том, что обвиняемый был ослеплен аффектом ревности. Это не могло разжалобить присяжных. Модеста приговорили на десять лет в каторжные

работы. Ужасно.

Что до меня, я убеждена, что Модест – одна из замечательнейших личностей нашего времени. Он прообраз тех людей, которые будут жить в будущих веках и соединят в себе утонченность поздней культуры с силой воли и решимостью первобытного человека. Я убеждена также, что Модест – великий художник и что, при других условиях жизни, его имя было бы вписано в золотую книгу человечества и всеми повторялось бы с трепетом восхищения. Но что от этого «среднему» присяжному, серому, международному вершителю человеческих судеб, безликому голосоподавателю, когда-то приговорившему Сократа к чаше с омегой и недавно Уайльда к Рэдингской тюрьме!

В своем «последнем слове» Модест просил передать его картины в один из художественных музеев. Вряд ли его просьба будет уважена.

Я до конца не могла уехать из России: сначала была связана подпиской о невыезде, а потом была больна. Модест, перед тем как его отправляли из Москвы, просил меня увидеть-

ся с ним. Я не решилась отказать ему, хотя и считала, что это свидание должно быть излишней пыткой и для него и для меня.

Лицом Модест изменился мало, но арестантский халат обезображивал его страшно. Я вспомнила его в мантии ассирийского жреца и зарыдала. Модест поцеловал мне руку и сказал только:

– Освобождаю тебя ото всех твоих клятв.

Не помню, что я ему говорила: вероятно, какой-то незначущий вздор.

Через несколько дней я уезжаю на юг Франции. Я не в силах жить в России, где мое имя стало синонимом всего постыдного. Я не смею показаться в общественном месте, потому что на меня будут показывать пальцами. Я боюсь встречать на улице знакомых, так как не знаю, захотят ли они поклониться мне. Никто из моих бывших подруг не приехал ко мне, чтобы выразить мне свое сочувствие. А теперь мне были бы дороги даже их утешения!

Управление своими делами я передаю дяде Платону и маман. Оба они весьма этим довольны и, конечно, поживятся около моих де-

нег.

Лидочка едет со мной. Ее преданность, ее ласковость, ее любовь – последняя радость в моем существовании. О, я очень нуждаюсь в нежном прикосновении женских рук и женских губ.

# Валерий Брюсов

## Обручение Даши

### *Повесть из жизни 60-х годов*

#### I

Пятьдесят лет назад торговая часть Москвы, ее «город», еще сохраняла свой старинный характер, тот, вероятно, какой имела она и «до француза». Там, где теперь узкие переулки обставлены величественными зданиями «из стали и стекла», где непрерывными рядами, заполняя весь проезд, тянутся рессорные подводы, извозчики на резиновых шинах и автомобили, где сквозь зеркальные окна видны одетые по последней моде солидные служащие больших «торговых домов», – полвека назад, в низеньких, местами одноэтажных, домишках и в бесчисленных проходных дворах ютились полутемные «лавки» и «амбары», у дверей которых останавливались жалкие московские «ваньки» и первобытные «полки», а в глубине которых дюжие «молодцы» или «ребята» в картузах и поддевках поджи-

дали покупателей, как охотники зверя. По большей части купцы, торговавшие «в городе», делали в год оборот на сотни тысяч, но продолжали жить «по старине», довольствуясь сырыми и грязными помещениями, держа своих приказчиков в «черном теле» и охотно посещая привычные душевные трактиры с любимыми хриплыми «машинами». Допустить какое-нибудь новшество, хотя бы только переменить закопченную, потемневшую вывеску, хозяевам казалось делом опасным: как бы от того не произошла заминка в торговле и не сократились барыши.

Все же в те часы, когда торговля шла полным ходом, вся местность между Белой стеной и Москвой-рекой имела вид оживления величайшего. На Никольской, Ильинке, Варварке, в переулках, соединяющих эти улицы, на Старой площади, в рядах – движение, шум, говор не прекращались ни на минуту. Тянулись тяжело нагруженные возы; суетился и толкался всякий люд; рабочие тащили кули и ящики; возчики, ругаясь немилосердно, нагружали и разгружали полки; разносчики с лотками выкрикивали свои товары; хлопали

двери менял; из лавок в трактиры шныряли мальчишки то с чайниками, то с судками; степенно проходили, все в черном, монашенки, собирающие «на обитель» и «на построение храма»; мелькали какие-то странные личности в поношенном пальто, пробирающиеся к знакомому «степенству» – посидеть в тепле, выпить стакан чаю и, при удаче, выклянчить «трешницу» или хоть «рубль-целковый». Сцены ежеминутно менялись, как фигуры в калейдоскопе. Брань ломовиков, звонкие крики торгующих вразнос, ропот тысячи голосов, грохот тяжелых колес по скверной мостовой, какой-то скрип, какой-то стук, треск, лязг, визг – все смешивалось в непрерывный гул, который, если бы его услышать издалека, должен был напоминать жужжание огромного улья. А над всем этим миром, застывший и неизменный, стоял характерный, острый, неопределимый точнее запах, в котором словно воплощалась самая сущность местной жизни, – запах дегтя, кожи, рогожи, веревок, свежей мануфактуры, сырости и гниения.

Жизнь в «городе» начиналась рано. Еще до



семи часов утра у растворов лавок собирались молодцы и артельщики в ожидании, когда придет хозяин – «отпираться». С его появлением скрипели ржавые замки, раскрывались обитые войлоком двери, снимались с окон деревянные ставни. Хозяин, наскоро перекрестясь перед закоптелой иконой, посылал мальчишку за утренним чаем; более грамотные читали порой «Ведомости», другие, став за старинную, пузатую, всю залитую чернилами конторку, прямо начинали пересматривать вчерашние счета и распоряжаться отправкой заказанного товара. «Настоящие» покупатели приходили именно по утрам; с ними приходилось вести длинные переговоры, показывать им образцы, долго торговаться о каждой копейке. Завершались сделки, конечно, в трактире, за неизбежным чаем. Если же идти в трактир с покупателем не предстояло, около полудня мальчишка снаряжался с судками за обедом: приносил щи и битки или, когда день был постный, уху с расстегайчиком и рыбу на конопляном масле. Обед съедался в комнатке при лавке, маленькой, полутемной, с запыленным и заклеенным бума-

гой окном. Молодцы полдничали где-нибудь в сторонке, под кипами товара, большею частью всухомятку. Впрочем, и среди хозяев были такие, которые на обеды из трактира смотрели, как на баловство: в лавке они закусывали тем, «что бог послал», в ожидании домашнего обеда – традиционных щей и каши.

После обеда наступало для обитателей «города» самое блаженное время – чаепития и полуотдыха, потому что в эти часы покупатель не ходил. То было время, когда появлялись в лавках всякие темные знакомцы: люди без определенных занятий, согласные играть роль шутов при их степенствах; дельцы, предлагающие выгодно учесть векселек или ловко стребовать деньги с неплатящего должника; случайные приятели из мелких актеров или литераторов, сообщающие политические новости и новости городские; наконец, разного рода просители. С этим народом не особенно церемонились: им говорили «ты», их оставляли часами сидеть в комнатке при лавке, пока хозяин не вернется из трактира или просто заблагорассудит заговорить с ними, при случае и прямо объявляли им: «Ну, ты

что-то слишком часто стал шлаться, приходи завтра, нонче мне недосуг». Но все же эти люди вносили разнообразие в одноцветную жизнь, в которой каждый новый день был похож на предыдущий, развлекали, забавляли, порой приносили нужные вести, и за это их поили чаем, иногда угощали водкой, а в исключительных случаях, когда хозяин был в особо благодушном настроении после выгодной сделки, ссужали и деньгами.

За полдненным отдыхом наступала пора вечерней работы. Опять заходили покупатели, опять отсчитывался товар и упаковывался для отсылки, приказчики бегали по соседству получить маленький должок, писались письма, фактуры, счета. Потом подходило время подсчета дневной выручки по торговле в розницу, подводились итоги дня, деньги из ящика конторки, заменявшей кассу, переходили в толстый бумажник хозяина. Медленно, но ощутимо за окнами утихал дневной гул. Вот бьет семь часов. Молодцы давно уже ждут «запорки», но «сам» все медлит; не то чтобы он надеялся поторговать еще, просто ему приятно показать свою власть; пусть по-

дождут, ведь я же сижу. Наконец произносится давно желанное: «Ну, оно, пожалуй, и запирайте пора». Молодцы поспешно надевают картузы или шапки, на окна наставляются ставни, в лавке сразу наступает темнота. Местная артель, оберегающая ночью амбары, запирает выходную дверь и накладывает на замок печать. Опять крестятся, прощаются, расходятся, чтобы вернуться завтра.

Скоро тишина наступает во всем «городе». «Ряды», улицы и переулки замирают, смолкают, погружаются в сон. На всех дверях и растворах висят большие старомодные замки; ставнями с сердечками задвинуты окна. Узкие тротуары опустели совсем: некому и незачем идти сюда. Кое-где видны будочники и сторожа; порой боязливо пробежит исхудавшая собака; больше – нигде никого. И если извозчик, выбирая более короткий путь в Замоскворечье, случайно завезет сюда москвича, тому покажется, что он попал в сказочный город из «Спящей красавицы»: все кругом создано для жизни – дома, дворы, улицы, – и нигде нет людей, камень и железо царят безраздельно, луна смотрит в узкий просвет между

крышами на городскую пустыню, и странно дребезжание пролетки в этом царстве безмолвия.

## II

В привычном лязге и грохоте торгового дня, в привычной атмосфере, пропитанной характерным запахом «города», в привычной полутьме отцовской лавки, где уже третье поколение торгует бечевой, веревками, канатом, вязкой, Кузьме мечталось легко и привольно. Он стоял за конторкой, тоже пузатой, как большинство таких конторок, высокой, неуклюжей, с ободранной клеенкой, и делал вид, что проверяет товарную книгу, но на самом деле сладостно перебирал в воспоминаниях подробности вчерашнего вечера и вчерашнего знакомства. У приятеля, Лаврентия Петровича Рыбникова, который теперь служит у соседнего менялы, вчера была вечеринка. Кроме «своих», из «города» и Замоскворечья, были студенты и ученые барышни: Лаврентий мечтал о самообразовании и водил знакомство с «интеллигенцией». На вечеринке Кузьма познакомился с двумя подругами,

Фаиной Васильевной Кукулиной и Еленой Демидовной Оржанской, девушками лет по двадцати, и теперь старался вспомнить каждое сказанное ими слово, каждую черту их лица, особенно первой – Фаины.

«Девушки интеллигентные, – говорил себе Кузьма, охотно выговаривая мысленно это, еще новое тогда слово, – много читали, интересуются научными вопросами, мыслят самостоятельно. Недавно приехали из провинции, а так осведомлены обо всем. Нет, Россия явно пробуждается, общество стряхивает с себя спячку, наступает новая пора. Женщина тоже становится равноправным членом общества. Недаром раздавались голоса Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева».

Кузьма опять испытал чувство досады, когда еще раз припомнил, как он был неловок и ненаходчив в разговоре. Фаина спросила его, читал ли он «Отцы и дети» Тургенева. Ну, разумеется, читал и много думал о романе, но сразу не нашел, что сказать. Начал говорить так сбивчиво, что, наверное, Фаина подумала, не хвастает ли он, никогда Тургенева не читав. Даже имени Базарова Кузьма не сумел

назвать, а сколько раз спорил о Базарове и базаровщине с тем же Лаврентием!

«Да и то сказать: откуда мне взять развязности? – думал Кузьма. – С папенькой об чем разговаривать? Он, кроме „жития святых“ да старинного описания Макарьевской ярмарки, ничего не читал, а о Тургеневе, понятно, не слыхивал. Да и один у него сказ на все: „Ты, Кузьма, – дурак, твое дело – бечева, а не книги!“ Дяденька, Пров Терентьевич, хоть и пообразованнее будет, да тоже весь его разговор о Николае Павловиче или о монастырях; а если о политике заведет речь, так Французскую империю республикой назовет. Только и света увидел, что через Лаврентия, а особливо через Аркадия. От них кое-какие книжки получил, кое с какими людьми встретился, да издавна ли? – едва год. Раньше, бывало, с одною Дашей душу отводил. Где же было мне к свободному разговору приучиться?»

Напротив, с завистью вспоминал Кузьма статную фигуру Аркадия Липецкого, не то поэта, не то художника, не то актера, а впрочем, служившего пока в купеческом банке. Высокий, красивый, с нафабранными и завитыми

усами, одетый по моде, Аркадий казался Кузьме образцом изящества. Как умел Аркадий занимать дам! Говорил комплименты и парадоксы, рассказывал чуть-чуть неприличные анекдоты, декламировал стихи своего сочинения, был находчив, остроумен и вместе с тем всегда немного грустен и загадочен. Аркадий намекал, что в его жизни была какая-то тайна: не то несчастная любовь, не то важное политическое дело, только он должен был отказаться от открывавшейся перед ним блестящей карьеры и замуровать себя в должности мелкого служащего в банке. «Да, это – натура талантливая, – в сотый раз повторял про себя Кузьма свое мнение об Аркадии, – и он, разумеется, не на своем месте: он из тех, которые могли бы первенствовать, вести других за собою, но в нашей России еще много сил обречено на то, чтобы пропадать даром, среда еще неблагоприятна для развития дарований, пора более свободной жизни едва начинается». Впрочем, думая так, Кузьма только повторял мысленно слова, сказанные ему однажды самим Аркадием.

Потом мысли Кузьмы перешли на пригла-



шение Фаины. Прощаясь, она позвала его заходить к ним. «Вы мне симпатичны, – сказала она, – и я буду рада познакомиться с вами поближе. Приходите, например, в этот четверг: будут и ваши знакомые, Лаврентий Петрович, Аркадий Семенович, еще кое-кто. Мы справляем новоселье». Кузьма спросил, много ли будет народа, думая о том, что надеть, не сюртук ли (большой спор пришлось ему выдержать с отцом, чтобы добиться позволения заказать себе сюртук: «нам это не к лицу», – упрямо повторял отец). Фаина ответила, что будут «все свои». «Поговорим, поспорим, – добавила она, – может быть, станцуем, мы не против танцев». – «Да, станцуем, – думал по этому поводу Кузьма, – а ежели я танцевать не умею... Стыдно, беспрерменно надобно пойти к танцевальному учителю. Коли бываешь в обществе, нельзя не уметь танцевать». Он представил себе, как было бы приятно обнять стройную фигуру Фаины и закружиться с ней в каком-нибудь таком вальсе... Да, необходимо выучиться танцам, ну, хоть самым обыкновенным: кадрили, лансье, полька, вальс.

Мысли Кузьмы были прерваны криком

отца:

— Что ворон считаешь, Кузьма! За дело взялся, так, того, в дело и смотри. Эдак ты ложку мимо рта пронесешь.

Вздыхнув, Кузьма вернулся к товарной книге. «Четырехшнуровых по двадцати сажен столько-то, шестишнуровых по десяти сажен столько-то, двойных трехшафтовых столько-то пудов, каната просмоленного столько-то пудов, того же столько-то пудов, столько-то фунтов. Такого-то числа через транспортную контору получено четырехшнуровых» и т. д. и т. д.

Внутренняя стена лавки была завалена кипами с товаром. Когда-то, мальчиком, Кузьма любил, шая, лазить по этим тюкам, воображая их Кавказскими горами. Прямо перед конторкой, у боковой стены, стояли ящики и картонные коробки с вязкой и тонкой бечевой для розницы: счет этого товара приходилось производить еженедельно, чтобы молодцы не вздумали утаить лишней четвертак. У окна была старая скамья, вроде тех, что ставят в садах: на ней Кузьме, тоже в детстве, случалось вальяжиться, когда отца не было в лавке. За окном —

все тот же вид, на который Кузьма смотрит изо дня в день: лавка помещалась во дворе, видны были задние входы других магазинов, выходявших в переулок, и непомерно большая вывеска: «Водогрейня». Вот у противоположного окна стоит Флор Никитыч и барабанит пальцами по стеклу: надо полагать, нечего ему делать. Вот через двор бежит мальчишка в громадном картузе, налезавшем ему на уши и на глаза: это – тоже Кузьма, от медника. Как же говорили, что хозяин так оттаскал его за вихры, что он слег? Стало быть, оправился. А вот идет мать Евфимия, и отец ее завидел, достает две копейки: так положено...

Заходили покупатели, так, мелкие, из бумажных магазинов, купить вязки на рубль, на несколько копеек. Кузьма записывал приход в «Общей» книге. Это он завел в деле подобие бухгалтерии, с которой познакомился по «самоучителю в шесть дней», и разносит все по книгам. Раньше только одна книга и была: «Дневник», да и та велась со всякими подчистками и помарками, при надобности и не приняли бы ее как документ. Отец объ-

явил было, что все это одни глупости, немецкие фокусы, но Кузьма настоял на своем, и теперь отец сам доволен, что все сразу видно и можно усчитать... Следовало бы только хороший учебник достать: а то порой Кузьма все же не знает, как с разными книгами справиться...

В полдень обедали. Из трактира принесли щи суточные и телятину; запивали домашним квасом. Отец, недовольный тем, что Кузьма накануне вернулся домой поздно, степенно наставлял сына:

– Вот что я тебе скажу, Кузька. Ты, того, эти всякие штуки брось. Не наше это дело. Дед твой, покойный Терентий Кузьмич, царство ему небесное, грамоте не знал, а мне эво какое дело оставил. Книжками нам, оно, недосуг заниматься. Обучил я тебя грамоте, считать умеешь, и это хорошо: другой не обсчитает. Также, ежели какое прошение написать, сам сумеешь, а мы, бывало, этим самым ходатаям сколько полтин передавали. Ну, а большего нам и не требуется. Книжные-то люди вон без штанов ходят, а у нас, слава богу, каждый день и щи и каша на столе, а здесь, гляди,

телятиной балуемся. Мне от людей везде почет, потому что неоправданных векселей за нами никогда не бывало. Толковали, старостой меня церковным выберут. Помру я, дело тебе налаженное оставлю. Только смотри, было бы оно кому оставлять. А мудрить будешь, вот помяни мое слово, все на монастыри откажу, пропадай хоть с голоду. Не на то батюшка покойный и я горбом наживали, чтобы потом праздношатаям разным рассыпать.

Скучно было слушать давно знакомые слова, которые, с малыми изменениями, отец повторял чуть не ежедневно. Кузьма знал, что отец его крепко любит как единственного сына и, конечно, наследства не лишит, пожалуй, и все простит, что бы он, Кузьма, ни сделал. Втайне отец даже гордился тем, что у него сын – «ученый», читает умные книжки, водится с умными людьми и, главное, сам до всего дошел, так как вся учеба Кузьмы сводилась к урокам приходского дьячка. Но уж таково было положение, что говорить иначе отец не мог: должен был бранить книги и тех, кто их читает. Да и говорил отец без сердца, просто исполняя свой родительский долг, как

он его понимал.

Выслушав проповедь, Кузьма, вспомнив свое решение учиться танцам, не без смущения попросил:

– Папенька, разрешьте мне взять сегодня еще пятнадцать рублей.

Без разрешения отца Кузьма не смел воспользоваться ни копейкой.

– Это на что же? Баловаться, того, хочешь?

Под понятие баловства подходило все, начиная с покупки книг и кончая кутежом. Можно было бы солгать, сказать, что надо угостить товарищей, на что, поворчав, отец, вероятно, согласился бы. Но Кузьме лгать не хотелось.

– Я, папенька, хочу танцевать учиться. Случается, в обществе бываешь. Другие танцуют, так мне неловко, что не умею.

– Танцевать? Да ты что, рехнулся? Ты бы вот покойному деду сказал, он бы тебе показал танцы.

– Вы, папенька, напрасно так рассуждаете. В наше время более не гнушаются танцами. Это теперь относится к числу разумных увлечений. Многие очень образованные люди

танцуют. Опять же, при дворе, сами знаете, бывают балы...

– Нет, ты это оставь. На танцы нет тебе моего разрешения. При дворе там как хотят, а нам это не к лицу. И мать то же скажет.

Отец решительно встал, запахнул полы и крякнул.

– Ну, я пойду, того, чайком побаловаться, с кумом пообещал об одном дельце покалякать. Почитай, дожидает уже. А ты посиди тут, не ровен час, кто и нужный зайдет. Тогда, оно, дошли Мишку. А дурь насчет танцев из головы выкинь.

Влас Терентьевич степенно вышел из лавки. Излюбленный трактир «Михалыча» помещался по соседству, так что хода до него было всего минуты три. Встречные почтительно кланялись купцу Русакову, зная, что у него уже «подкатывает к миллиончику».

Когда хозяина не было в лавке, пришел Аркадий Семенович: он всегда выбирал эти часы, чтобы заглянуть к Кузьме. Хотя уже наступил конец октября и дни стояли довольно холодные, Аркадий был в какой-то фантастической крылатке, в широкополой, скорее летней, шляпе. Но усы Аркадия были лихо закручены, и лаковые ботинки сверкали.

– Кузьма, здравствуй! «Твоего» нет?

– Папенька вышел. Садись, Аркадий.

– «Папенька»! Сколько раз я тебе говорил, что пора оставить эту купеческую манеру выражаться! Говори «отец» – гораздо благороднее и достойнее. Что ты, мальчишка, что ли?

– Привычка, Аркадий. С детства так приобык. У нас все говорят «папенька». Не все ли равно?

– Нет, не все равно. Свое человеческое достоинство надо отстаивать во всем – и в большом, и в малом. Сегодня ты назовешь отца «папенькой», а завтра позволишь ему тебе подзатыльников надавать, потому что с детства к этому «приобык». Ты с каждым должен



говорить как с равным, будь это твой отец или хоть сам государь император.

Аркадий, сев, закурил папиросу.

– Понравилось вчера у Лаврентия?

– Очень было приятно. Сам знаешь, такое общество не часто приходится видеть. Кругом – одна необразованность. А там собрались люди, которые заняты высшими вопросами. Лестно было даже слушать. Какая образованная эта Фаина Васильевна! Она и Дарвина читала...

Аркадий засмеялся.

– Я уже видел, брат, что она в тебе загвоздку оставила. Только берегись, не обожгись на ней. Она сумеет закрутить прочно, так что после и не вырвешься.

– Да что ты, Аркадий! Разве же я... Я и думать себе ничего такого не позволю. Какая же я ей пара? И говорить с ней толком не умею, даже совестно. Я только об том, что приятно было с такой девушкой встретиться.

– Ладно, прикидывайся! Мошна твоего «папеньки» тоже чего-нибудь стоит, всякое образование заменит. Что, за этот год сотнягу тысяч к прежним в банк присовокупите? Или

Влас Терентьич, по старине, деньги в чулке и в печке хранит?

Кузьме стало обидно за насмешки над отцом, и он ответил сухо:

– Отцовские деньги – не мои. Я их не считаю. А у меня, ты сам видал, иной раз лишнего рубля нет.

Последние слова Кузьмы заставили Аркадия поморщиться. Стараясь сохранить беспечный тон, он произнес:

– А кстати, Кузьма, мне как раз нужно лишних рублей десять. Будь другом, выручи, брат. Одну десятку, и я тебе ее верну в субботу.

– Нету, Аркадий, право, нету. Сегодня просил – не дал.

– А в конторке? Ключи-то ведь у тебя.

– Да нешто я могу брать без спросу.

Аркадий посвистел на какой-то мотив, потом, меняя разговор, спросил:

– А что Дарья Ильинишна?

Дарья была двоюродная сестра Кузьмы, дочь родной сестры Власа Терентьевича, Марфы; мать Дарьи умерла вскоре после ее рождения; отец, скорняк, дела которого не пошли,

спился с кругу и пропал где-то на Хитровом рынке; Дарья жила в доме Русаковых как сирота, больше на положении приемыша, чем племянницы. Между Дарьей и Аркадием весны завязался роман, и Кузьма всячески покровительствовал их отношениям. Теперь он ожидал вопроса Аркадия, зная, что и зашел он прежде всего затем, чтобы узнать, когда возможно очередное свидание.

– Что Даша, – отвечал Кузьма, – известно, все то же. Маменька ее шить заставляет, по хозяйству приучает, женихов выискивает. Папенька под сердитую руку каждым куском попрекает. Невеселое ее житье...

Схватив слова «женихов выискивает», Аркадий тотчас начал поучение:

– Как не стыдно сознаваться, что кому-то приискивают женихов! Неужели не прошли те времена, когда женщины сидели у нас в теремах и родители подбирали девке мужа, не спрашивая ее согласия! Русская женщина завоевывает себе свободу, хочет, чтобы брак был свободным актом ее выбора, и пора бы этим элементарным идеям проникнуть и в вашу среду! Дарья Ильинишна должна твердо

заявить свою волю, сказать, что она не допустит, чтобы ею торговали, как кипой вашей бечевы. Именно такие индивидуальные акты личной решимости и двигают общество по пути прогресса. Только в том случае, если каждый из нас в своей личной жизни будет отстаивать свое человеческое достоинство, Россия пойдет вперед к раскрепощению, к сознательной жизни масс, к истинной культурности.

Такие поучения, которые Аркадий очень любил произносить, если только находил почтительных слушателей, пересыпанные иностранными, не всегда понятными Кузьме словами, прежде производили на него впечатление подавляющее. Но с недавнего времени, при всем своем преклонении пред Аркадием, он стал относиться к некоторым его словам критически. Попытался он спорить и теперь:

– Тебе хорошо говорить. Ты свободен, у тебя есть образование. А что будет делать Даша, ежели отец да выгонит ее из дому? Куда она пойдет? Ее ничему не учили, ей останется с голода помирать или выйти на Кузнецкий мост.

Аркадий многозначительно возразил:

– Дарья Ильинишна не так одинока, как ты говоришь. Во-первых, я надеюсь, что ты сам никогда не откажешься протянуть ей руку помощи. Во-вторых, она может смело рассчитывать на меня. Познакомившись с нею ближе, я оценил ее личность. Когда она освободится от предрассудков своего круга, она будет достойным членом общества. Таким лицам надо помогать выбиться из подавляющей их среды...

После маленькой паузы Аркадий добавил:

– А когда я мог бы повидаться с Дарьей Ильинишной? Мне надо было бы с ней поговорить. Да, кстати, может быть, я дам ей полезный совет в ее положении.

Ответ у Кузьмы уже был готов.

– Что ж, Аркадий, я попытаюсь это устроить. Приходи завтра, как прошлый раз, туда, знаешь, к церкви Косьмы и Дамиана, так в половине девятого. Авось Даша на минутку урвется. Там и поговорите.

– Хорошо, – медленно произнес Аркадий, – я приду, это – мой долг.

Заговорили о другом. За беседой не заме-

тили, как вернулся Влас Терентьевич. В его присутствии Аркадий сразу потерял свою развязность, встал со скамейки, снял шляпу.

– Да, брат, – сказал Влас Терентьевич, – шапочку-то снять должно. Икона здесь. Тоже – не басурман, поди. Ну, здравствуй, здравствуй. Токмо у нас теперича дело есть. Может, когда другой раз зайдешь. Кузьме, оно, недосуг.

– Извините, Влас Терентьевич, я зашел на минуту. Мне тоже пора в банк. Я сам – человек работающий.

– Ну это, того, дело. Прощения просим.

– До свидания, Влас Терентьевич. Прощай, Кузьма.

Кузьма стоял, покраснев от смущения.

– До свидания, Аркадий! На днях зайду к тебе.

Когда Аркадий вышел, отец угрюмо посмотрел на Кузьму.

– Не нравится мне, того, этот твой стрекулист. Не дело, оно, в рабочие часы по чужим лавкам шмыгать. И опять же, служит на хорошем месте, а во что одет? Пальтишко ветром подбито. Чай, холодно сердешному.

– Папенька, Аркадий Семенович – человек высокообразованный. А на свой костюм он не обращает особого внимания. Он выше этого.

– Ладно. А усы-то, того, у него нафабрены, и духами, оно, на полверсты от него разит.

У Власа Терентьевича была привычка чуть не в каждую фразу вставлять словечки «того» и «оно», которые в разных случаях приобретали самый разнообразный смысл.

## IV

Когда, после запорки, вернулись домой и сели ужинать, Кузьма тотчас заметил, что Даша чем-то расстроена. За столом она сидела бледная, не поднимая глаз. Мать с особой заботливостью угощала ее:

– Кушай, Дарьюшка, голодна будешь.

– Спасибо, тетенька, мне что-то не хочется.

Ели, по старинному обыкновению, из общей миски. Кашу запивали тем же квасом, что и в лавке, домашним, приготовление которого каждую неделю было целым событием в доме. После ужина в тот день отец не пожелал сыграть со своей «старухой» в дурачки, чем тешился ежедневно, объявив, что устал

сегодня, и прямо пошел спать. «Оно, чем раньше ляжешь, тем сон покойнее», – объяснил он. Орина Ниловна отправилась на кухню – по каким-то хозяйственным надобностям, да, кстати, и посудачить с прислугой, конечно, единственной в доме, молодухой Аннушкой, своей всегдашней собеседницей. Кузьма и Даша остались одни.

У Кузьмы была своя комната, отдельная, где стоял его шкаф с книгами и письменный стол, которым он гордился, как патентом на «интеллигентность», и где на стене висели портреты Герцена и Гарибальди. Даше особой комнаты не дали, хотя и была свободная; пусть все же чувствует, что она – сирота, живет из милости. Спала Даша в проходной комнате, вроде передней, на двух составленных сундуках, впрочем, прикрытых необъятными перинами; в той же комнате хранились банки с вареньем и соленьями, заготавливаемыми летом. А из свободной комнаты сделали что-то вроде приемной, неизвестно для кого, так как гости у Русаковых бывали лишь дважды в году – на именины хозяев.

Даша прошла в комнату брата.



– Мне, Кузя, с тобой поговорить надоть.

– Случилось что?

Даша присела около брата и, понизив голос, заговорила:

– Сегодня сватать меня приезжали.

– Что ты? Кто?

– Да сама Анфиса Андреевна, сваха первейшая. С тетенькой целый час шептались. Потом, значит, тетенька меня позвала, счастье тебе, говорит, выходит.

– Да за кого же?

– А за Степана Флорыча Гужского, знаешь, вдовый, толстый такой, рыбой торгует в нижних рядах, еще на святой заутрене мы, господи прости, с тобой над ним надсмехались.

– Полно тебе, Даша? Да ведь ему за пятьдесят!

Даша, без всякого перехода от спокойного рассказа, начала плакать, всхлипывая.

– То-то оно и есть, Кузя! Да я-то что же могу? Тетенька говорит: у него капитал и дом на Швивой горке. Выдадут меня, вот как бог свят.

Кузьма вспомнил рассуждения Аркадия и заговорил сердито:

– Как же тебя могут выдать против твоей воли? Этого и по закону нельзя. Теперь не такие времена. Скажи прямо, что за старика не пойдешь. Он бить будет, пьет, это все знают.

Даша, плача, уткнулась лицом в старинное кресло, на котором сидела, и отвечала сквозь слезы:

– Легко тебе говорить... Тебя дяденька любит... А меня дармоедкой зовут... Им бы только с рук меня сбыть... Меня и не спросят... Прикажут идти, и все тут...

– Даша, Даша! Подумай, что ты говоришь! Или ты все позабыла? Сколько раз мы с тобой обсуждали вопрос о браке! Ведь ты же соглашалась, что лучше в нищете жить, чем с нелюбимым человеком. А тут не то что нелюбимый, а старик, грубый, еле грамотный, пьяница, двое детей у него. Вот сегодня Аркадий...

При имени Аркадия Даша сразу перестала плакать, подняла свое залитое слезами лицо и сказала с неожиданной решимостью:

– Я, братик, из-за Аркадия и плачу. Я в него влюблена. Не могу идти за другого. Он – такой душка.

Кузьма почти рассердился на легкомыслие сестры и возразил строго:

– Не в том дело, душка Аркадий или нет. Ты объясни мне, есть ли у тебя к нему серьезное чувство. Ежели это просто девичья влюбленность, не об чем и хлопотать. Но ежели ты к нему действительно неравнодушна, надобно это обсудить как следует. Прежде всего скажи, как к тебе относится Аркадий. Отвечает ли он на твое чувство?

Даша испуганно посмотрела на брата: его рассудительный тон смутил ее. Потом она опять начала плакать.

– Почему же я знаю, братик, – причитала она, всхлипывая, – он мне в любви объяснился. Только мужчины ведь обманщики. Что им стоит соблазнить девушку.

– Послушай, Даша, – совсем гневно возразил Кузьма, – ежели хочешь говорить серьезно, давай, а болтать пустяки не стоит. И об Аркадии нельзя выражаться так необдуманно. Аркадий – личность исключительная. Он образован, умен, у него самостоятельные убеждения и честный образ мыслей. Он – не из тех, которые соблазняют. Ежели он сказал те-

бе, что любит тебя, ты можешь ему довериться.

Опять понизив голос, Даша вдруг спросила:

– А кто он такой, ты доподлинно знаешь? Он про себя все чтой-то молчит. Иной раз, право слово, боязно делается: не беглый ли?

– Какие глупости, Даша! В прошлом Аркадия действительно есть какая-то тайна, но, разумеется, благородная. Я так думаю, что он участвовал в политической партии и теперь должен скрываться. Он себя называет Липецким, а я слышал, что его настоящая фамилия – Кургузый.

Даша весело расхохоталась, словно и не плакала минуту назад.

– Как? Кургузый? Повтори, как! Кургузый? Ох, помру со смеха! Дарья Ильинишна Кургузая! Да он вовсе не Кургузый, а жердью вытянулся. Только как же, ведь он на службе: в банке-то должны знать его настоящую фамилию!

– Я не люблю разузнавать об интимных подробностях жизни, – недовольно ответил Кузьма. – Ежели человек сам не говорит о сво-

ем прошлом, значит, у него на то свои причины. Надо уважать волю каждого. И не в том сейчас дело.

Кузьма встал и начал ходить по комнате. Темнело, но тратить свечи даром в доме не позволялось. Брат и сестра давно привыкли вести свои беседы в полумраке, чуть смягченном светом лампы, которую Орина Ниловна неукоснительно каждый вечер затепливала перед образом в комнате сына. Вдруг Даша спросила:

– А что, он в бога верует?

Кузьма нервно пожал плечами.

– Даша! Когда же ты освободишься от предрассудков! Вера есть интимное дело каждого человека. Тебя никто не принуждает отказываться от религии, если она дает тебе утешение. Но пора понять, что мыслящий индивидуум не может верить в сказки попов. Ведь я же давал тебе прочитать. Наука знает законы природы и больше ничего. Ни в телескопы, ни в микроскопы не было усмотрено божества. А первобытный человек, пугаясь грома и молнии и других непонятных ему явлений, обожествлял их. Запомни это раз навсегда.

– Как же, Кузя, вовсе без бога-то? Кому же молиться?

Кузьма остановился перед Дашей, поглядел на нее с сожалением, помолчал и, наконец, вместо длинной речи, которая складывалась в его голове, сказал коротко:

– Мне некогда сегодня, в сотый раз, объяснять тебе то, что я уже объяснял девяносто девять раз. Молись, сколько хочешь, но не срами себя, спрашивая про других, верят ли они в бога. А затем вот что. Я твое поручение исполнил. Завтра Аркадий будет тебя ждать, где ты наказала. Папенька с маменькой завтра на именинах, так что тебе можно будет выбраться. Воспользуйся этим случаем и для того, чтобы понять хорошенько его советы. Ежели уже дошло до того, что тебя сватают, тянуть больше нечего. Так ли, сяк ли, а надобно что-то порешить. Теперь ступай к себе: я хочу делом заняться, и некогда мне твою болтовню слушать.

Даша торопливо вскочила с кресла: она привыкла повиноваться и во всем считать себя виноватой. Робко, как пристыженная, она пробормотала:

– Да что ж, Кузя, я пойду... Я только думала, что не мешаю... Я к тетеньке пойду...

Даша тихонько вышла из комнаты. Кузьма же сел за свой письменный стол и из ящика, всегда запертого на ключ, достал заветную тетрадь, на первой странице которой, среди росчерков, было написано французскими буквами, но по-русски: «Moi Journale ili Dnevnik Kosmi Vlasievitcha Roussakova». Не зажигая свечи, при свете лампадки, Кузьма стал записывать мелким, старательным почерком – также французскими буквами по-русски – впечатления сегодняшнего дня. Кузьма поставил себе правилом писать в своем дневнике каждый день, и только самые исключительные обстоятельства заставляли его нарушать это решение.

«Какое необразование окружает меня, – писал Кузьма. – Даже моя сестра Даша, которой я пытаюсь передать здравые понятия, так еще далека от того, чтобы понимать меня. И как приятно, вырвавшись из этой душной среды, встретить существо, в котором чувствуешь родственные струны. Вчера я наскоро записал о своем знакомстве с Фаиной Васи-

льевой Кукулиной. Запишу сегодня подробнее об этом знаменательном в моей тусклой жизни событии...»

Несмотря на полутьму, перо быстро скользило по бумаге. Кузьма привык писать при скудном освещении, и оно не мешало ему поверять страницам «Журнала» самые заветные думы. В доме было тихо. Мысли Кузьмы были опять с милой девушкой, которую в первый раз он увидел накануне и которая, конечно, не догадывалась, какие пламенные строки писались об ней в затишье одного из замоскворецких домов.



Осенняя луна серебрила легкую изморозь. Переулок был пустынен. Стены церкви высились сурово и строго, но оттого только волшебнее становился маленький палисадник, с деревьями, уже оголенными наступавшей зимой. Окна церкви были в причудливых переплетах, и казалось, что внутри, в темноте есть кто-то, зорко подсматривающий за тем, что делается наружи... Так, по крайней мере, чудилось Даше.

Она только что прибежала к Аркадию, запыхавшись и раскрасневшись от бега.

– Аркадий, милочка, прости, что я запоздала чуточку. Тетеньки с дяденькой дома нету, да я Аннушки боялась: она ехидная, все тетеньке передаст. А тут, как на грех, все в комнатах вертится; банки-де с огурцами надобно пересмотреть; грех такой: скисли они у нас.

Аркадий в своей легкой крылатке жестоко промерз, ожидая Дашу, но, увидев ее, почти забыл про холод. У Даши было миловидное, круглое, чисто русское лицо. При лунном свете она казалась совсем хорошенькой. Весело

рассмеявшись на наивные оправдания девушки, Аркадий переспросил:

– Неужели? Так-таки и скисли?

Не дожидаясь ответа, он быстро схватил Дашу и поцеловал прямо в губы. Девушка из его рук вырвалась.

– Разве же можно! – проговорила она, смущенная больше неожиданностью, чем самым поцелуем. – Я же просила вас этого не делать.

– Почему же нельзя? Или ты меня разлюбила?

– Сами знаете, что я вас очень люблю. А только нехорошо пользоваться моей слабостью.

Аркадий увел девушку в глубину церковного двора. Там было темно, и с улицы их нельзя было увидеть, если бы даже кто-нибудь и прошел в это время мимо. Оба сели на скамью, и Аркадий, полуобняв девушку, любовался, как художник, ее милым личиком.

– Я тебя тоже очень люблю, – сказал он, применяясь к ее речи, – и потому целоваться мы можем, сколько хотим. Никакого греха в этом не будет. И ты сама, вместо того чтобы притворяться испуганной, возьми и поцелуй

меня, потому что тебе этого так же хочется, как и мне.

Аркадий опять целовал Дашу, а она, хотя и делала вид, что упорно сопротивляется, думала при этом с замирающим сердцем: «Совсем как в романе!»

Когда Аркадий нашел, что достаточно и сказано, и сделано маленьких глупостей, обязательных на свидании с девушкой, он заговорил серьезнее:

– Правда, Даша, что тебя замуж выдают?

– Ох, истинная правда. Уже сваху засылали.

– Вот как! За кого же тебя прочат?

Опустив голову, Даша объяснила все.

– Не всякий тоже меня и возьмет, – рассудительно добавила она. – Тетенька говаривала, что дяденька приданого за мной тысяч двадцать даст, так по нынешним временам на такие деньги не смотрят. Известно, конечно, я им не родная дочь. Только вот Алпатов тоже племянницу выдавал, так полтораста тысяч чистыми за ней выложил и лавку красного товара дал. Это каждому лестно...

Аркадию Даша нравилась: нравилась ее

наивность, ее молодость, ее здоровая красота. После признаний Даши мелькнула и мысль, что недурно было бы воспользоваться этими двадцатью тысячами рублей: деньги не великие, но и с ними кое-что начать можно. Но тотчас над всем возобладала привычка проповедать, поучать. Взяв Дашу за руку, Аркадий заговорил с жаром негодования, но стараясь выбирать слова, девушке понятные:

– И не стыдно тебе, Даша, говорить о замужестве как о какой-то торговле? Разве ты не понимаешь, что брак – это свободный выбор души. Над твоей личностью хотят совершить насилие, распоряжаются твоей будущей судьбой, не спрашивая тебя. Позволить, чтобы тебя отдали или продали какому-то старику, – значит подвергнуть себя высшему унижению, какому может подвергнуться женщина! Ты обязана громко заявить свой протест против такого позора! Ты должна возвысить свой голос против произвола, который готовятся совершить над тобой!

Аркадий говорил так несколько минут, но с первых же фраз Даша перестала понимать смысл его речи. Она догадывалась только, что

Аркадий ее стыдит, и нашла нужным тихо заплакать. Когда Аркадий, наконец, остановился, она произнесла, всхлипывая:

– Милочка, Аркаша! Я, главное, потому страдаю, что без тебя мне жизнь постыла будет. Так я тебя люблю, что и сказать невозможно. Как только я тебя в первый раз увидела, так и почувствовала, что моя судьба решена. Я без тебя жить не могу.

Подлинное чувство мешалось в этих словах с отголосками лубочных романов, составлявших любимое чтение Даши. Для Аркадия ее наивное признание послужило прежде всего поводом для новой проповеди. Заговорив, он уже не мог остановиться, и, встав со скамьи, он продолжал свои поучения, говоря с пафосом, даже делая жесты, как актер на сцене (Аркадий был постоянным участником любительских спектаклей, причем всегда играл роли первых любовников, людей высокоблагородных и глубоконесчастливых).

– Если ты меня любишь, вообще любишь кого-нибудь, – восклицал он, – ты не имеешь права, нравственного права, выходить за другого! Это значило бы обманывать мужа еще

до брака! С другой стороны, уступив требованиям самодура-дяди, ты принесла бы в жертву низким предрассудкам самое святое, что есть в тебе: свое первое, чистое чувство! Я не могу допустить, чтобы на моих глазах совершилось такое преступление. Я протягиваю тебе руку, чтобы вывести тебя из того мрака, в котором ты погибаешь. Я знаю, что в моей жизни есть что-то роковое. Я сам и все, кто ко мне приближаются, обречены на страдания. Но пусть лучше ты будешь страдать, чем медленно гибнуть в той тине пошлости, куда тебя толкают. Смело порви с своим прошлым, скажи твердо, что ты не подчинишься постыдному торгу, и выходи на новую дорогу жизни!

Даше от слов Аркадия стало так жалко самое себя, что она заплакала еще горше, уже вполне искренними слезами. Но из всех призывов Аркадия она поняла только, что он приказывает ей уйти из дома дяди, и спросила жалобно:

– Куда же я пойду? Мне и деваться некуда!

– Куда? – трагически переспросил Аркадий. – Ко мне. Твой брат не откажет тебе в

поддержке. Я тоже сделаю все, что в силах, чтобы ты могла жить самостоятельно. Женщина может работать так же, как мужчина. Достаточно она служила прихотям мужчины: пора ей стать с ним рядом, как равноправному члену общества. Приходи к нам, и мы примем тебя как товарища, как друга, как нового сотрудника в общем деле.

Даша прекратила свои всхлипывания и вдруг спросила:

– А вы и взаправду меня любите?

– Если я произнес это слово «люблю», значит, это – правда. Запомни, Даша, что лгать – это унижать самого себя. Мы не должны лгать из чувства собственного достоинства.

С инстинктивным кокетством женщины Даша привлекла к себе Аркадия, усадила его рядом с собой и заговорила быстро-быстро, словно птица защебетала:

– Аркаша, милочка! Ежели ты меня взаправду любишь, так я к тебе приду. Только мы сейчас обвенчаемся, где-нибудь в деревне, в лесу. Я в одном романе читала: так делают. И я тебя буду любить! У тебя такие глаза хорошие, и усы твои мне ужас как нравятся! А по-

том – к дяденьке, и прямо в ноги. Ведь не зверь же он лютый! Посердится да и переложит гнев на милость. Скажем: «Влас Терентьич! Повинную голову топор не сечет. Дашенька в омут головой была готова, – а это правда суцая, – на вашей душе был бы грех. Лучше благословите нас, потому что любовь соединила нас по гроб жизни!» Ну, я не умею, а ты разговорчивый. Право слово – благословит!

Аркадий уже чувствовал, что зашел слишком далеко в своих призывах. Сразу утихнув, он слушал болтовню Даши не без смущения. «Однако, чем черт не шутит, – успокаивал он себя, – может статься, девчонка права. Все-таки родная племянница. Титу Титычу своих же близких стыдно станет. Двадцать тысяч – куш не жирный, но надобно все это обмозговать как следует».

– Хорошо, Даша, – сказал он вслух, – мы об этом поговорим после. Пока объяви только своему дяденьке, что насильно замуж не пойдешь. А теперь садись поближе.

Аркадию было жалко, что они столько времени потратили на разговоры. Можно было



недолгие минуты свидания провести веселее. Привлекши к себе девушку, он снова начал целовать ее в губы, в щеки, в глаза, обнимая все более и более вольно. Даша не на шутку смутилась от такой ласки, отбивалась решительно, твердила с укоризной:

– И вовсе вы меня не любите. Вы меня погубить хотите. Для вас это игрушки одни.

«А ведь красивая девочка! – повторял сам себе Аркадий. – Действительно, обидно будет, если достанется она пьяному купцу, который запрет ее на кухне. И к развитию она способна: у нее природный ум, она не боится предубеждений. И вдобавок ко всему обещано за ней двадцать тысяч рублей!»

В эту минуту Аркадий почти искренно любил Дашу.

Но долго медлить на свидании Даше было опасно: дома легко могли заметить ее отсутствие. Она настойчиво стала прощаться.

– Голубчик мой, Аркаша, никак больше невозможно. Не ровен час, тетенька вернутся. Что мне тогда будет, и представить – дрожь берет. Нет, уж пусти меня, а я все по-твоему сделаю: упрусь, не пойду, скажу, за старика,

что вы там хотите! Потому что люблю я тебя, Аркаша, страсть как, прямо – обожаю.

Аркадий поморщился на последние слова Даши. Все более и более казалось ему, что он наговорил много лишнего. Но отступить было не в его привычках. Да и близость Даши, развеселившейся, бойкой, красивой, волновала его.

– Да, да, упрись, Даша, – сказал он, – а там посмотрим, что предпринять.

Аркадий проводил Дашу до угла. Они поцеловались в последний раз, причем Даша обеими руками обняла Аркадия за шею. Потом она быстро побежала по направлению к дому, вниз по переулку.

Оставшись один, Аркадий постоял несколько мгновений в театральной позе, покачал головой, как если бы он был в глубоком раздумье, наконец, тоже пошел, постепенно ускоряя шаг, ежась от вечернего холода. Он был недоволен собой.

«Размяк я, как мальчишка, – рассуждал он. – Навязал себе на шею девку, не скоро разделаешься. Правда, субъект преинтересный. То наивна, как младенец, то так обнимет, что

опытной кокотке впору. Да и статьями вышла: плечи круглые, груди колыхаются, глазенки блестят... Конечно, пока я ничем с ней не связан; скажу: извините, вы не так меня поняли. Но досадно будет с Кузьмой рассориться: парень полезный, и сейчас случается у него нужное перехватить, а если он оперится, так это просто золотое дно будет!. Ну, да не робей, Аркадий, хуже запутывался, и то выплывал с успехом. Голова-то на плечах. Не будь только не в меру романтиком!» («Романтик» для Аркадия был одним из самых бранных слов.)

Аркадий мог вволю предаваться своим размышлениям, обсуждать все возможности, какие открывались для него после признаний Даши, и вспоминать сходные случаи из своей прошлой жизни, богатой любовными приключениями, так как путь ему предстоял не близкий. Перейдя через Яузский мост, Аркадий пошел вверх по бульварам, скудно освещенным керосиновыми лампами, пробираясь к центру города. На Кузнецком мосту, в подвальчике, был ресторан «Венеция», где в биллиардной собирались приятели Аркадия:

он любил ораторствовать перед ними, а кста-ти надеялся, что кто-нибудь из них угостит его. Ощупав в кармане кошелек, Аркадий проверил его содержимое и лишний раз убедился в его скудости. «Семь гривен всего! Подлец Кузьма так и не дал ничего! Ну, авось Ельчевский угостит: даром, что ли, я прошлый раз битый час излагал ему принципы рациональной эстетики! Небось он теперь во всех салонах изумляет дам своим умом и познаниями!»

Несмотря на то что Аркадий давно уже шаггал торопливо, ему было холодно. Плохонький обед из кухмистерской, съеденный несколько часов назад, голода не насытил. Воспоминания о полуобещаниях, данных Даше, упорно возвращались на ум. Настроение духа Аркадия решительно портилось. Наконец, открылись более освещенные центральные улицы и приветливо замигал газ у входа в «Венецию».

«Вот пристань, к которой я стремлюсь теперь! – почти вслух произнес Аркадий с трагическим выражением лица (он охотно играл роли и наедине). – Вот куда привела жизнь»

меня, мечтавшего о триумфах и овациях! Не по розам лежит путь человека, который смеет мыслить самостоятельно!»

## VI

По обыкновению при свете лампадки Кузьма писал свой «Журнал или дневник». На этот раз он подробно описывал свою попытку научиться танцам. Так как он писал французскими буквами, то мог не бояться, что его записки попадут в руки отца.

«Выпросил-таки у папеньки, – писал Кузьма, – 15 рублей, чтобы учиться танцевать. Спервоначально нипочем не хотел давать, все твердил: „Нам оно не к лицу“. Спасибо, маменька подсобила. Теперь, говорит, везде танцуют, вот у Семипятого, на что первейший купец, в дому танцы бывают. Дал. „Отвяжись“, – говорит.

Я пошел искать учителя. В „Ведомостях“ было объявление: „Учитель бальных танцев Вишневский. Средне-Кисловский переулок, дом Архипова“. Искал, искал, насилу нашел дом. „Где, спрашиваю, танцевальный учитель здесь живет?“ – „А это, говорит, нужно идти

прямо, потом заворотить на другой двор, и прямо упретесь в крыльцо“. Насилу разыскал крыльцо, взобрался по лестнице, чуть не упал: темно и склизко. Попал в кухню, дальше прошел в залу; там один ученик уже учится, скрипач играет, а учитель показывает. Меня спрашивают: „Что вам угодно?“ – „Мне, говорю, надобно танцам выучиться“. – „Это можно, говорит, какие же вы хотите танцы?“ – „А сколько вы берете, чтобы выучить вальсу?“ – „Пять рублей. У меня все равно: французская кадрили, лансье, полька, мазурка тромбле, галоп, одинаково пять рублей за каждый“. – „Мне, говорю, к четвергу нужно“. – „Можно и к четвергу. Сегодня вторник, так в два дня очень можно выучиться. Можно и в три часа, ежели хорошенько показать“. – „А меньше пяти рублей нельзя никак?“ – „Да вы разочтите: скрипачу нужно три рубля дать, себе за труды и на расходы всего два рубля“...»

С такою же обстоятельностью описывал Кузьма и весь свой разговор с танцевальным учителем и свой первый урок. Ему все казалось, что учитель смеется над неловкостью его движений, и описание урока несколько

раз прерывалось восклицаниями: «Да где же мне было хорошие манеры приобрести!» или «Какая уж у меня грация, коли целый день над конторкой сидишь!» За описанием урока неожиданно последовали стихи, под которыми была поставлена подпись: «Сочинял Козим Руссаков, 12 октября 1862 года».

*Ты предо мною показалась,  
Как будто чудная мечта,  
И сердцу в этот миг казалось,  
Что засияла красота.  
Ты не была подобна многим,  
Тем детям ложной суеты,  
Но ты смотрела взором строгим,  
Как гений смотрит с высоты.*

Во втором стихе Кузьма сначала написал «райская мечта», а в последнем – «ангел смотрит», но потом тщательно зачеркнул эти выражения и заменил другими: «рай» и «ангел» – глупые предрассудки.

Тихонько отворилась дверь, и вошла Даша.

– Не помешаю, Кузя?

– Ничего. Поговорить хочешь?

– Надо-ть, Кузя.

Однако заговорить сразу о своем деле Даша не решилась и, помолчав, спросила:

– А вот тетя Маргарита намедни рассказывала, будто какой-то колдун показывал государю мертвых. Как ты думаешь, правда это?

– Все это враки, Даша, никаких колдунов не бывает.

– Она говорила, будто государю хотелось посмотреть своих предков, и велел вызвать отца своего Николая Павловича. Колдун вызвал, и тот будто дотронулся до щеки государя. Потом пожелал видеть Екатерину, и та угрозила ему пальцем. Еще после Петра Первого. Колдун говорит, что хоть и можно, но очень трудно. И такой он показался страшный, что государь упал в обморок.

– Напрасно ты слушаешь, Даша, всякие глупости.

Опять наступило молчание. Кузьма был недоволен, что Даша помешала ему писать. У нее же все не хватало духу начать речь о том, за чем собственно она и пришла.

– Я теперь, Кузя, – сказала Даша, – читаю роман, Зотова сочинение: «Цын-Киу-Тонг,



или Три добрые дела духа тьмы», – очень интересно.

– Тоже небось Маргарита принесла? Все ты вздор читаешь. Я же давал тебе дельные книжки!

– Да что ты, Кузя: то – «глупость», то – «вздор». Уж будто все тебя дурее. Скучные они, твои дельные книжки-то.

– Скучные потому, что в тебе нет потребности развивать себя.

Замолчали в третий раз. Кузьма уже готов был сказать Даше, чтобы она не мешала ему заниматься делом, как вдруг она заговорила:

– Я, Кузя, хочу из дому уйти.

– Как уйти из дому? Куда же ты уйдешь?

Потупясь, Даша стала сбивчиво объяснять свое решение.

В ее словах были отголоски проповеди Аркадия, которую она поняла как-то по-своему, собственные измышления в духе прочитанных ею романов и искреннее чувство тоски и страха за свое будущее. Несколько раз во время речи Даша принималась всхлипывать, так как, по уверению тетеньки, «глаза у нее были на мокром месте». Кузьма слушал сумрачно.

– Как я подумаю, братик, – говорила Даша, – что быть мне за этим самым Гужским, так у меня душа перевертывается. Ведь он меня бить будет. Опять же у него дети. Почему я такая несчастная? Аркадий так меня стыдил, пересказать нельзя. Он мне говорит: «Приходи ко мне, и мы начнем новую жизнь. Я, говорит, без тебя был несчастен и очень тебя люблю». Правда, Кузя, так и сказал. У меня даже дух захватило. Оно, конечно, боязно: как же супротив дяденьки и без благословения? Да Аркадий пообещал в деревне повенчаться. Теперича я и думаю, как лучше. Все равно один конец, так лучше попытаться. А? Скажи, Кузя?

– Прежде всего, – рассудительно сказал Кузьма, – постарайся говорить правильно. Что это за «теперича», «супротив», «боязно»; надо говорить: «теперь», «против», «страшно». За твои слова мне перед другими бывает стыдно.

– Эх, Кузя! До слов ли мне, когда впору руки на себя наложить. Тетенька говорила, что на той неделе быть смотринам. Неволят меня за старика, а ежели я Аркадия пламенно люблю?

Вопрос был серьезный. Кузьма встал и начал ходить по комнате. Разговор шел вполголоса, чтобы не разбудить родителей, и так же, полусшепотом, Кузьма стал спрашивать Дашу:

– Аркадий сказал, что любит тебя? Звал уйти к нему?

– Вот тебе крест, братик!

– Подумай, Даша, какая ты ему пара? Он – образованный, личность выдающаяся, у него высшие стремления. Можешь ли ты сознательно разделять его взгляды, быть сотрудницей в его работах, поддерживать его? Не окажешься ли ты для него лишним бременем? Может быть, он из благородства хочет помочь тебе. Хорошо ли пользоваться таким великодушным порывом души?

Когда при Даше говорили «страшные» слова, она всегда начинала в ответ плакать. Так и теперь она отозвалась сквозь слезы:

– Ведь я его люблю, Кузя! Ужасно буду любить! Усы у него – просто прелесть!

Кузьма втайне был очень польщен тем, что Аркадий, перед которым он все же благоговел, избрал Дашу. Привыкнув к ней с детства, Кузьма ценил в ней душу искреннюю,

легко увлекающуюся, не лишенную своеобразной поэзии. Но вместе с тем Кузьма считая своим долгом оберечь своего друга от неосторожного порыва, внушенного, может быть, излишним благородством.

Долго Кузьма полушепотом уговаривал Дашу не спешить с исполнением своего решения.

– Ежели тебе так невыносимо идти замуж за Гужского, почему ты не сказала этого папеньке прямо?

– Сробела я, Кузя, очень. И то: дяденька – мой благодетель: всем я им обязана. Да и сам знаешь: как ему перечить? Скажет: уходи на все четыре стороны.

– Полно, Даша, папенька вовсе не такой самодур. Он покричит, но поймет твои чувства. А ежели и прогнал бы, так ведь все равно – ты собираешься уйти. Можно уйти и не к Аркадию. Живут другие девушки своим трудом. И я тебе помогу, чем возможно...

– Не дело ты говоришь! – с сердцем возразила Даша. – Другие – те, может, ученые: уроки дают. А я толком и шить не умею. А тебе из чего мне помогать? Зачастую сам рубля не до-

просишься. Или мне Аркадию довериться, или в Москву-реку головой. Так-то, Кузя!

Долгое совещание закончилось тем, что Кузьма обещался сам переговорить с Аркадием. Надо было, однако, с переговорами спешить, так как сваха тоже настаивала на скором ответе. «Честным пирком, да за свадебку», – говорила она, намекая, что Гужский твердо порешил жениться: будете дело оттягивать, так он и другую невесту найдет.

Даша ушла от Кузьмы несколько успокоенной. После ее ухода Кузьма долго еще шагал по комнате. Он мечтал о том, что Даша станет женой Аркадия. В их доме будут собираться умные люди, студенты, актеры, может быть, писатели. Будут говорить об умных вещах, о литературе, о театре, о политике. Кузьма будет там свой человек. Он к этому обществу привыкнет, перестанет смущаться... В конце концов ведь у него есть дельные мысли: нашлось бы, что сказать другим. Среди гостей будет иногда и Фаина...

В мечтах Кузьма начал сочинять длинную речь, которую ему, может быть, придется произнести на одном из таких вечеров. Поло-

жим, заговорят об Островском. Кузьма много над ним думал, читал Добролюбова... Кузьма тщательно подбирал слова своей будущей речи, становился в подходящие позы («позиции», указанные танцевальным учителем), пытался угадать возможные возражения и свои находчивые ответы на них, – все так, словно эту речь ему предстояло произнести завтра...

Поймав самого себя на таком странном занятии, Кузьма тут же мысленно обозвал себя дураком, опять сел за свой «Журнал» и, в наказание себе, написал новые стихи:

Я пожелал известным быть, Писать и прозой и стихами, Умно пред всеми говорить И барышень дивить речами: Что вот-де человек какой, Умно и говорит и пишет, А нравом скромный и простой, Не денег, а лишь славы ищет. Но мне ль ученых изумлять, Есть без меня поэтов много: Мне бечевою лишь торговать Да подводить в счетах итоги!

Под этими стихами Кузьма подписал: «Сочинено экспромтом, Козим Руссаков, того же дня и года».

## VII

Кузьма боялся прийти к Фаине Васильевне слишком рано, так как слышал, что в «хорошем обществе» собираются поздно. Другие гости этого правила не соблюдали, и Кузьма, позвонив у дверей часов в 9, был одним из последних. Маленькая квартирка, где жила Фаина со своей теткой, занимавшейся шитьем на магазины, была переполнена. В единственной большой комнате, где все и расположились, было душно, накурено, шумно. Гости – по большей части студенты и молодые девушки, жившие самостоятельно (одни учились акушерству, другие служили в магазинах и т. д.), – разбились на группы, пили чай стакан за стаканом и спорили ожесточенно.

– Спасибо, что пришли, – бросила Кузьме Фаина мимоходом, – здесь есть и ваши приятели. С остальными знакомьтесь сами. У нас просто.

Фаина тотчас поспешила куда-то. Кузьма остался один в незнакомом обществе. Глазами он нашел Аркадия, но тот что-то кому-то оживленно доказывал. Неловко добравшись

до свободного стула, Кузьма сел в уголку, стал прислушиваться к разговору и постарался принять непринужденный вид, что ему удалось плохо. Ему казалось, что на него не обращают внимания намеренно, и в душе он мучился своим смешным положением: неуклюжего, никому не нужного гостя в дурно сшитом сюртуке, тогда как другие были в простых, домашних костюмах. «Господи боже мой! – думал Кузьма, – зачем я надел сюртук! Ведь Фаина говорила мне, что у них – просто».

Около Кузьмы студенты спорили о проекте нового университетского устава. Юноша в очках неуверенно защищал проект, но большинство горячо его оспаривало. Особенно негодовал студент с гривой нестриженных волос, которого приятели называли Мишкой; он поносил «ретроградность» правительства и предсказывал, что студенты возьмут в свои руки дело своего образования.

– Довольно нас водили на помочах! – восклицал он. – Молодежь сама укажет профессорам, что они должны читать ей. К черту римское право и всякую схоластику! Мы хотим науки жизненной! А для этого универси-



тет должен быть в руках студентов: они его истинные хозяева!

Кузьме эти рассуждения были совершенно чужды, но он всячески пытался показать, что слушает их внимательно, тоскливо чувствуя свое одиночество.

С полчаса Кузьма просидел, не произнеся ни слова. Наконец Фаина, заметив, что гости ее наговорились вдоволь, предложила просить Аркадия что-нибудь спеть. Ее просьбу поддержали. Аркадий сначала «поломался», ссылаясь на то, что он не в голосе, но довольно охотно взял в руки принесенную гитару.

– Извольте, господа. Я вам спою романс, который написал вчера, так, экспромтом, на слова Лермонтова. Романс, может быть, не подойдет к общему оживлению, но веселие – не моя сфера. Я слишком знаю жизнь, чтобы находить веселые звуки. В некотором роде, это будет та мумия, которую древние египтяне выносили на своих пирах со словами: *memento mori!*

«Господи боже мой! – подумал Кузьма, – как у него все умно выходит! Умеет же человек вовремя и египтян помянуть. Мне бы это-

го в жизнь не придумать!» (Несмотря на весь свой атеизм, Кузьма не мог отрешиться от привычки к божбе – и вслух и в мыслях.)

Аркадий взял несколько сумрачных аккордов и запел не лишенным приятности баритоном:

*Выхожу один я на дорогу,  
Сквозь туман кремнистый путь  
блестит...*

Мелодия, подобранная Аркадием, довольно хорошо подходила к словам стихотворения, но певец в своем пении как-то особенно подчеркивал отдельные выражения, словно стремился показать, что все, сказанное по-этом, относит к самому себе.

– Что же мне так больно и так трудно... Уже не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть...

Лицу своему Аркадий придавал выражение трагическое и, взяв последний аккорд, опустил голову, словно подавленный неизмеримой тяжестью скорби. Иные из слушателей зааплодировали.

– Это вы сами сочинили? – наивно спроси-

ла молоденькая девушка со стриженными волосами.

– Вы спрашиваете о музыке? – поправил ее Аркадий. – Да, я когда-то предавался этому искусству (Кузьма тотчас отметил мысленно красивое слово: «предавался»), но условия моей жизни таковы, что пришлось от него отказаться... Лишь иногда просыпается прежнее влечение... И вот вчера, когда мне было особенно грустно, когда по разным причинам вспомнились все разбитые надежды, сама собой пропелась мне эта мелодия. Я не записал ее... Позабуду ее я, позабудется она и всеми... И пусть... Так, может быть, и надо...

Аркадий медленно подошел к столу, за которым тетка Фаины разливала чай, и попросил налить себе стакан.

Студент Мишка с растрепанными волосами не выдержал и заявил громко:

– Ну, если пришлось отказаться от музыки, горе еще не велико: забава приятная, но совершенно бесполезная.

Заспорили о искусстве.

– Вы что же, совсем отрицаете и музыку и поэзию? – бойко спросила та же барышня со

стриженными волосами.

Студент посмотрел на нее снисходительно и отвечал нехотя, как бы стыдясь говорить столь общеизвестные истины:

– Не я их отрицаю, а наш век. Первоначально человеку естественно было тешить себя песнями, плясками и раскрашиванием тела. С развитием просвещения человечество отказалось от всего этого, как от детских погремушек. Ребенку свойственно заниматься игрушками, но у взрослого человека есть более серьезные интересы. Забавам он предпочитает дело.

На защиту искусства выступила Фаина:

– Нет, Михаил Петрович, такими словами вы нас не запугаете. Дело делом, а мы хотим и радости в жизни. Мы здесь вовсе не фанатики. Почему в свободное время не почитать стихи и не послушать музыку, если это доставляет нам удовольствие? Вреда от этого никому нет, а радости много.

«Боже! Как она умно говорит!» – почти воскликнул Кузьма и решил вставить свое слово.

– Кроме того, – произнес он громко, – есть

стихи с глубоким содержанием. То есть, я хочу сказать, что стихи бывают разные... Вот, например, Некрасов...

Студент с растрепанными волосами повернулся к Кузьме, оглядел его пренебрежительно и, все так же нехотя, как бы обронил несколько уничтожающих фраз в ответ:

– Ну, если кто-нибудь не умеет писать иначе, пусть выражает свои идеи в стихах. Разумеется, если это – идеи прогрессивные. Только надо полагать, что скоро все научатся писать языком разумным, не подбирая разных там рифм, из-за которых смысл частенько страдает. Хорош тоже и ваш Некрасов. Вот у него какая-то там «нарядная» едет «соблазнительно лежа» в коляске, точно коляска – кровать. А все от того, что рифма к слову «ложа» понадобилась.

Случилось так, что все примолкли, слушая «Мишку», и теперь ждали ответа от Кузьмы. Но Кузьма смутился от общего внимания и не находил слов. Он даже весь покраснел от волнения. Фаина пришла к нему на помощь и сказала примирительно:

– Все-таки, господа, Кузьма Власьевич:

прав. Может быть, у Некрасова есть неудачные рифмы, но он делает большое и полезное дело. Он нас знакомит с бытом народа. А оттого, что он пишет стихами, его прочтут даже те, которые иначе о народе ничего не узнали бы.

Спор о Некрасове продолжался. Но Кузьма уже не слушал его. Вся его душа была исполнена благодарности к Фаине. «Милая! – думал он, – как ловко она меня выпутала. А я-то тоже! Полез спорить! Сидел бы уж в своем углу, ежели двух слов связать не могу! Подлинно, как говорится: с суконным рылом да в калашный ряд!»

Чтобы прекратить споры, Фаина предложила спеть еще. На этот раз студент-волжанин пропел «Вниз по матушке по Волге», – песню, которая почему-то считалась «прогрессивной», и все подтягивали ему хором. Другой студент пробренчал что-то на гитаре. «Мишка» молча улыбался саркастически. Он был из числа случайных посетителей общества, уже успевшего сложиться за короткое пребывание Фаины в Москве.

Принесли пиво, и общее оживление еще

увеличилось.

## VIII

Наконец дошло дело и до танцев. Танцевали также под гитару, так как иного музыкального инструмента в доме не было. Играли на гитаре по очереди, и все играли плохо, но это не мешало молодежи веселиться.

Фаина сама пригласила Кузьму на кадрили.

– Вы танцуете, Кузьма Власьевич? – спросила она.

– Как же-с, Фаина Васильевна. Нынче все танцевать обязаны, то есть ежели кто хочет бывать в обществе. Почему же вы меня таким необразованным считаете?

– Полноте, я ничего такого не думала. Многие очень образованные люди не танцуют. Итак, мы будем с вами танцевать кадрили. Я уже просила Аркадия Семеновича быть нашим визави.

В кармане у Кузьмы были припасены для танцев перчатки, но не белые, а цветные. Уже после покупки их он узнал, что для танцев нужны белые перчатки, и это его мучило. Од-

нако он с радостью увидел, что молодежь танцует без всяких перчаток, и благоразумно не показал своих вовек. Мучило Кузьму еще опасение, что он перепутает все фигуры танцев, и он наскоро перебирал в уме наставления танцевального учителя. Но и эти опасения были излишни. Танцы шли «по-домашнему», и танцевальный учитель пришел бы в истинный ужас, видя, что никакие позиции здесь не соблюдаются.

За кадрилию было весело: смеялись, обменивались шутками. Даже Аркадий отказался от своего мрачного вида и, меняясь дамами с Кузьмой, острил по этому поводу, намекая на его чувство к Фаине. Развеселился и Кузьма, поняв, что к нему вовек не относятся с намеренным пренебрежением.

В перерыве между двумя фигурами Фаина сказала Кузьме:

– Мне надо поговорить с вами, Кузьма Вла-сьевич. Сядем после кадрили в сторонке.

Когда закончился традиционный grand rond[296] и распорядитель танцев объявил польку, Фаина усадила своего кавалера за круглый столик и повела деловой разговор.



– Позвольте, Кузьма Власьевич, сказать вам откровенно, что вы с первого знакомства показались мне человеком очень симпатичным. Все, что вы говорили, было так дельно, что я сразу почувствовала к вам доверие. Если и вы мне доверяете, мне хочется посоветоваться с вами об одном деле.

Доверие от нее! от Фаины! Мог ли Кузьма мечтать о большем. И смущение и восторг разом заполнили его душу. Доверие ведь может быть началом любви, а тогда... Но Кузьма не успел закончить своей мысли. Заметив, что Фаина сделала маленькую паузу и ждет его ответа, он пробормотал:

– Помилуйте, Фаина Васильевна! Да я за большую честь почту-с. Мне, так сказать, лестно-с...

И вдруг добавил:

– Я ведь никогда не встречал таких, как вы. Вы не подумайте что-нибудь, только я... Каждое ваше слово для меня... Знаете-с, с той поры, как я вас увидал, вся моя жизнь переменялась...

Он опять смешался, а Фаина весело рассмеялась:

– Вы, кажется, мне комплименты говорите или в любви хотите объясниться! Пожалуй, слишком быстро!

Дядюшка, Пров Терентьевич, сравнил бы Кузьму в эту минуту с вареным раком – так он покраснел, но Фаина смеялась добродушно. Она не была красива. У нее было простое лицо, немного малороссийского типа; на вид было ей никак не меньше двадцати лет, так что особенно юной она не казалась; волосы ее были зачесаны гладко, что также ее старило. Но смеялась она совсем по-детски, открывая белые, блестящие, здоровые зубы. Перестав хохотать, она продолжала:

– Вы не сердитесь, милый Кузьма Власьевич. Я уж такая хохотушка. А вы так трагически заговорили... Ну, да оставим это. Я лучше вам скажу о том деле, о котором хотела с вами посоветоваться.

Дело, как оказалось, состояло в том, что Фаина, вместе с несколькими друзьями и подругами, собиралась взять в свои руки типографию. У Фаины есть подруга – Надя Красикова, а у Красиковой – дядя, владеющий небольшой типографией. Дела типографии шли так пло-

хо, что владелец хотел ее закрыть. Тогда Наде Красиковой и Фаине пришла в голову мысль самим поведсти эту типографию. Будет организовано общество на паях. Члены общества будут в то же время и работниками. Делать будут все сами: набирать и печатать книги, принимать заказы и развозить отпечатанные экземпляры, даже чистить машины и подметать полы. Все члены при этом будут между собою равны, черную работу исполнять попеременно, а барыши делить поровну.

– Подумайте, – говорила Фаина, – какое это прекрасное начинание! Наша типография будет образцом тех коопераций, основанных на рациональных принципах, к которым в будущем должны будут перейти все промышленные предприятия. В нем будет устранена всякая возможность эксплуатации чужого труда. В то же время этим мы откроем новую эру женского труда, так как в нашей типографии женщина будет работать наравне с мужчиной. Узнав вас, я сейчас же догадалась, что вы нашим делом заинтересуетесь, и решила привлечь вас к участию в нем.

Фаина говорила не без энтузиазма, хотя,

вероятно, повторяла чужие слова, может быть, Аркадия. Кузьма смотрел на нее с восхищением. Кто-то в это время пытался играть на гитаре польку. По маленькой зале вертелись пары, натыкаясь на стулья. Табачный дым, словно дождевая туча, колыхался под потолком, оклеенным белой бумагой. Но молодая девушка, говорившая такие умные слова, как «кооперация», «рациональный», «эксплоатация», была для Кузьмы явлением совершенно новым, невиданным. Мечта – работать вместе с ней, встречаться с ней ежедневно за общим делом, показалась ему мечтой о каком-то райском житии, о каких-то блаженных островах. Однако, когда Фаина замолчала, Кузьма ответил осторожно:

– Чем же я могу быть вам полезным, Фаина Васильевна? Я в типографском деле ни бельмеса не смыслю. Опять же у меня времени нет: слышали верно, я в лавке, при папеньке. Мне отлучаться никак невозможно. Поверьте, Фаина Васильевна, я не только что всей душой желал бы, но, так сказать, за счастье почел бы одно с вами дело делать. Но ведь если я от папеньки, скажем, уйду, мне, можно

так выразиться, придется ни при чем остаться.

Как только заговорили о вопросах практических и житейских, Кузьма почувствовал себя более в своей области. Он отвечал Фаине довольно связно и складно, хотя и пересыпал свою речь разными вводными словечками, чтобы придать ей больше почтительности. Фаине, однако, ответ Кузьмы, видимо, не понравился. Она досадливо закачала головой и прервала Кузьму:

– Мы понимаем, что вы не можете участвовать личной работой. Но вы примете участие в деле как член общества. Для организации его нужны деньги, хотя бы небольшие. Вы возьмете пай, будете иметь все права члена общества, но работать мы не будем вас принуждать.

– Как же так? – возразил Кузьма. – Вы, кажется, сказали, что все члены общества должны одинаково работать?

– Ну, нет правила без исключения! – опять засмеялась Фаина.

Потом она быстро добавила:

– Я к вам потому обратилась, что мне хо-

чется привлечь вас к нашему предприятию. Я заметила, что вы тяготитесь той средой, в которой принуждены вращаться.

У нас вы получили бы возможность приложить свои силы к разумному делу. Я к вам чувствую искреннюю симпатию. Мне будет очень приятно, если вы также окажетесь в нашем обществе.

– А почему будут продаваться паи? – спросил Кузьма.

– Ах, ну каждый внесет, сколько может. Мы начнем дело скромно. Вы дадите, например, пятьсот рублей, – для начала. А там посмотрим, может быть, этого и достаточно.

«Пятьсот рублей! – подумал Кузьма. – Я вот на танцы у папеньки насилу 15 целковых выпросил!»

Кузьма, однако, не сказал этого вслух. Неужели сразу разбить мечту о близости с этой «чудной» девушкой? Да и надо подумать об ее предложении. В конце концов, имеет же он право на какие-нибудь деньги! Ведь с малолетства день за днем он работает в лавке. Что-нибудь он да выработал! Что, ежели прямо попросить у папеньки: «Дозвольте мне на

одно хорошее дело взять пятьсот рублей»... Не на баловство это пойдет.

Фаина еще поговорила с Кузьмой, расспрашивала о его домашней жизни, просила познакомиться с сестрой, о которой слышала от Аркадия, приглашала бывать у себя запросто. Несколько раз Фаина повторила, что он, Кузьма, сразу ей понравился, что она почувствовала в нем что-то себе родственное. Она даже спросила:

– Наверное вы стихи пишете?

– Пишу, – признался Кузьма, снова покраснев.

– Видите, я догадалась! Вы не смотрите на них (она сделала жест в сторону «Мишки»), что они там говорят против поэзии. Это уж не ново, вчерашние слова повторяют. А я очень люблю стихи. Вы мне принесите свои почитать.

Тетка позвала Фаину, слишком долго засидевшуюся около одного гостя. Кузьма снова остался в одиночестве. Но теперь он уже не без гордости посматривал на других, после того как Фаина удостоила его такого длинного разговора. Ему казалось, что это все заметили

и переменили к нему отношение. К тому же вскоре подошел к Кузьме молоденький студент, Фишер, выпивший несколько больше пива, чем следовало, и заговорил о необходимости превратить Россию в федеративную республику, по образцу Северо-Американских Соединенных Штатов. Кузьма, не решаясь спорить, поддакивал студенту, и тот был этим вполне доволен, восклицая по временам:

– Верно, товарищ! Посему – выпьем! *Vivat et respublica!*[297]

Под конец вечера возгорелся было спор между «Мишкой» и Аркадием. Точнее сказать, «Мишка» настойчиво требовал, чтобы Аркадий спорил с ним, но тот всячески от спора уклонялся.

– Нет, черт вас дери, – требовал студент, – вы мне ответьте прямо: признаете вы коммунальное устройство жизни или нет? Требую прямого ответа: да или нет!

– Все равно, господа, – отвечал Аркадий, стараясь обращаться не к наступавшему на него оппоненту, а ко всему обществу, – какой бы общественный строй вы ни ввели, страдать люди будут по-прежнему. Ни фурьеризм,



ни социализм не могут сделать счастливыми тех, у кого нет счастья в душе. Сумма горестей во всем человечестве всегда останется одна и та же.

– Слыхали мы эти мефистофелевские слова, – громовым голосом возражал «Мишка». – Это вы от «отцов», от людей 40-х годов! Да еще с прибавкой их же иллюзий о какой-то «душе»! Нет, наука нам доказывает, что правильное распределение человеческих усилий ведет именно к сокращению суммы страданий! Кроме, разумеется, страданий измышленных, в «душе» помещающихся, на манер Гамлета или Рудина. Да-с!

– *Vivat et respublica!* – подхватил Фишер.

Многие из присутствующих были в столь возбужденном состоянии, что явно уже пора было расходиться. Аркадий взял на себя труд выпроводить гостей. Вообще он держал себя в доме как свой человек. Стали прощаться, но еще в передней продолжали спорить о самых высоких предметах. Рослый Приходько, один из «вечных студентов», перешедший, кажется, уже на четвертый факультет, энергично тряс руку Фаины, утешая ее на прощание:

– Правильно сделали, что в Москву перебрались. Сами поучитесь, и мы у вас друг друга повидаем. А что вы там стишки любите и танцуете, так это мы вам можем разрешить. Конечно, если только немного.

Гурьбой вышли на улицу. Оказалось, что Кузьме по пути с этим самым Приходько. Пошли вместе, причем студент тотчас принялся критиковать все общество, собравшееся у Фаины.

– Сама она – девочка ничего, – сказал он, – сухопара немного, но видно, что есть в бабе огонь! Ух!

Кузьму, как говорится, передернуло от такого отзыва, и он ничего не ответил.

– Другая, – продолжал Приходько, – тихоня эта, Елена Демидовна, что за весь вечер слова не вымолвила, тоже по губам пришлась бы. Да только она уже занята, есть свой сударик. Мишка наш сегодня сплошал: выдохаться стал. Стучит по одному месту, как дятел. Фишерка налился. «Республика» кричит, а в университете – первый шпион и наушник: все инспектору доносит. Бить скоро этого Фишерку будут: уже порешено. Приятель ваш,

Аркадий, малый с головой, да много в нем сидит этого самого идеализма: старой закваски человек. В общем, от него, как от козла, ни шерсти, ни молока...

Кузьма был рад, когда на перекрестке он мог попрощаться со своим попутчиком.

– Захаживайте! – сказал ему, прощаясь, Приходько. «Как бы не так! – подумал со злобой Кузьма. – Довольно с меня тетки Маргаритки, чтобы судачить!»

## IX

Сватовство Даши шло быстро; решено было устроить смотрины, и Влас Терентьевич выдал 20 рублей на новое платье.

– Смотри, Дашка, – объявил он, – чтобы у меня все было чин-чином, как должно. Степан Флорыч, того, человек обстоятельный, с ним шуток не шути. Разные там девичьи увертки, что, мол, не молод, брось. Мы тоже смотрели, когда выбирали. Дело у него свое, хорошее дело. Будешь за ним, как у Христа за пазухой.

Даша слушала, побледнев. Слова, подсказанные Аркадием, как бы душили ее, как бы

подступали к горлу, как иногда слезы. Ей казалось, что она сейчас упадет на колени и заявит: «Воля ваша, дяденька, а только я за него не пойду!» – и скажет «все». Но привычный страх перед дяденькой восторжествовал. Она почти сама не знала, как проговорила в ответ:

– Вам, дяденька, виднее, нешто я супротив вас могу? Я завсегда вам, как благодетелю моему, благодарна. Коли прикажете, так я пойду.

– Ну, то-то, – сказал Влас Терентьевич, вполне удовлетворенный. – И денег за тобой дам, словно бы за дочерью, и приданое справим, честь честью, по рядной передам. Тетка тебе уже скажет: две шубы будут, одна, того, на лисьем меху. А ежели начнешь дурить, то вот тебе бог, а вот порог. Слышала?

– Слушаю-с, дяденька.

– Целуй у дяденьки руку-то, дура! – вставила тетка Орина Ниловна, присутствовавшая при объяснении.

Даша поцеловала руку у своего благодетеля и вышла вон. Через минуту Даша была у Кузьмы. Разговаривать надо было шепотом,

хотя Даша по обыкновению рыдала.

– Кузя, родной мой, согласилась я! Дяденька эдак глядит, испужалась я страсть. Как вы прикажете, говорю, так и будет.

– Зачем же ты соглашалась? – с негодованием спросил Кузьма. – Теперь пеняй на себя. Следовало прямо сказать, что насильно замуж не пойдешь. Как же тебе не стыдно быть до такой степени в рабстве, что ты собственного мнения высказать не смеешь!

– Эх, Кузя! Сам-то ты больно востер! Тоже, как с папенькой говорить приходится, небось хвост поджимаешь. А меня стыдишь.

– Что же теперь ты будешь делать?

– Почему я знаю. Побегу и утоплюсь.

– Это, положим, глупости.

– И вовсе не глупости. Увидишь, не то скажешь.

Брат с сестрой шептались долго, а в это время Влас Терентьевич, забавляясь со своей «старухой» игрой в дурачки, в старые-престарые, все замасленные карты, также обсуждал будущую судьбу своей племянницы.

– А что, Орина, – говорил он, – я думаю, того, жених для Дашки подходящий, а?

Орина Ниловна, которая за двадцать пять лет замужества привыкла ни в чем не перечить мужу, и тут сочла нужным поддакнуть ему:

– Мужик правильный, что говорить. – Но потом добавила робко: – Вот летами он, может статься, не вовсе вышел. Девка она молодая, а Флорыч – вдов, детки у него. Тяжко это будет, чужих-то нянчить. Поглядишь это, да жалость берет.

– Ну, ты, старуха, этот миндаль оставь, – строго заявил Влас. – Постарее, оно, крепче будет, не ветрогон какой. И то рассуди: все ж не родная она нам. Много за нею дать нам не расчет. Капитал в одни руки идтить должен: потому, иначе делу ущерб. А без денег ноне не всякий возьмет.

Орина помолчала, подбирая «пяток», а за ним «тройку» с козырным тузом, так что старик остался в дураках.

Но, когда он вновь тасовал колоду, не утерпела и попробовала замолвить еще словечко за Дашу:

– Тоже книжки она приобыкла читать. Она меднясь зашла это я к ей, она, значит, при

лампадке так и зачитывает... А Флорыч-то, слышь, в дому книжек-то чтобы духу не было. Тяжко это ей, Дашке-то, будет.

Влас положил колоду на стол, посмотрел пристально на жену, сплюнул и покачал головой.

– Ну, Орина, была ты дура, дурой и осталась. Ты вот онамеднясь видела, что Дашка книжки читает. А куда девка по вечерам бегаёт, ты того не видишь? Я вот говорить не хотел. А уж коли на то пошло, так скажу: пора девку выдавать, баловаться начала! От этих самых книжек. Протянем дольше, худо будет!

– Батюшка, Влас Терентьич! – так и взмолилась Орина. – Да что это ты говоришь? Да как же так, по вечерам бегаёт? Да откуда ж это ты? Да ее, подлую, опосля того розгой...

– Знай помалкивай, старуха, – сумрачно ответил Влас, берясь опять за карты. – Откуда знаю, не твоего ума дело. Ну, оно, тебе ходить.

Игра продолжалась. Проигравшего били пачкой карт по носу, почему и самая игра называлась «в носки». Выиграв, Влас исправно пользовался своим правом и щелкал жену по носу. Проиграв, без возражений подставлял

свой нос, и тогда Орина щелкала мужа, впрочем, с опаской, больше для вида. И такая забава происходила почти каждый день, год за годом, в течение четверти века, пока хозяин, зевнув, не объявлял:

– Ну, оно, умаялся я. Пора, того, и соснуть. Крестись, старуха.

Игра «в носки» была едва ли не единственным развлечением стариков. Случалось, конечно, бывать на семейных торжествах, на именинах, крестинах, свадьбах, похоронах, но только у самых близких родственников, в общем не чаще, как раза три в год. Вина, не в пример другим обитателям «города», Влас почти не пил, так разве за компанию с отцом благочинным рюмку русской мадеры. Покойный батюшка, Терентий Кузьмич, пивал много, даже запоем страдал и чертей на бороде ловил; так это подействовало на Власа, что он дал себе зарок не пить и свято соблюдал его всю жизнь. В театрах старики, разумеется, не бывали. Орина так никогда и не видала, что это за штука такая «киатер», да и не пошла бы, если бы даже ей предложили, «черта тешить». Влас соблазнился-таки однажды и по-



любопытствовал посмотреть тот самый Большой театр, который при Николае Павловиче горел, но состоялось это посещение театра случайно: знакомый печник задаром провел, можно было из-под люстры посмотреть, как голоногие девки на сцене пляшут. После того зрелища Влас отплеывался с неделю. И когда Кузьма просил денег на театр, Влас каждый раз говорил ему:

– Что ж, оно, побалуйся. Токмо, того, не понимаю я, чего тут. Видал я этот самый киатер: зазор один.

Впрочем, к развлечениям относилось еще посещение церкви. Под большие праздники и на праздники Влас неизменно отправлялся ко всеобщей и к обедне, в приходскую церковь Косьмы и Дамиана, выстаивал всю службу на почетном месте, истово крестился, иногда вздыхал и выговаривал вслух: «Господи, помилуй мя, грешного» (иных молитв он не знал). При этом Влас искренно любовался позолотой храма, блестящими облачениями духовенства, миганием зажженных свеч. «На благолепие, того, приятно и поглядеть!» – говорил он. Конечно, Власу доставляло удоволь-

ствие и почтение, с каким к нему относились члены причта и многие прихожане, но больше всего привлекало его в церковь именно ее пышное убранство. Влас уже несколько раз жертвовал, и сравнительно крупные суммы, на украшение храма, но собирался пожертвовать и еще, «чтобы все, значит, как в самом первом соборе было: ризы, хоругви, паникадила и прочее, позолочено и блестело». Вот чтобы поторопить Власа сего пожертвовани-ем, и говорили об том, чтобы избрать его церковным старостою.

Однако истинным развлечением Власа оставалась игра «в носки»... На столе докипает пузатый, ярко вычищенный самовар; горит свечка в оловянном подсвечнике; вся обстановка кругом – знакомая, привычная: диван и кресла «под красное дерево», купленные по случаю у знакомого старьевщика, круглый хромающий стол, этажерка с китайским болванчиком, доставшимся еще от отца, с праздничной посудой, хрустальной сахарницей, объемистыми чашками с разводами и надписями «для дорогого именинника» или «выпей по другой»; тут же и вся библиотека:

старинное Евангелие, которого никто не читает, листовки – жития святых, описание Макарьевской ярмарки, издание 1811 года. По крашеному полу проложены чистые половики. Пахнет лампадным маслом и воском, которым что-то чистят, немного камфорой и соленьями, стоявшими в соседней комнате (где спит Даша). В спальней, где громадная деревянная двухспальная постель хозяев, в углу, – знаменитый «сундук», предмет насмешек и зависти многих: Влас действительно не доверял банкам и хранил свои сбережения дома, в процентных бумагах, от которых отрезал купоны, заперев дверь комнаты на ключ и даже завесив ее одеялом. Весь этот уют, все это благополучие созданы им самим, Власом Терентьевичем Русаковым: еще отец его, покойный Терентий Кузьмич, довольствовался маленькой каморкой при лавке, где ютился с женой и детьми. А Влас подумывает об том, чтобы и домик, где он живет, купить в свою собственность: последний раз с владельцем в четырехстах разошлись. Разве же не наслаждение в такой обстановке, после трудового дня, длящегося с семи утра по семь вечера, играть «в

носки» со своей «старухой», с которой в мире и правде живет Влас вот уже вторую четверть века, правда, не совсем без греха (немало поплакала Орина при одной молоденькой кухарке, которую Влас потом выдал замуж за сапожника), но соседям на заглядение.

Влас уже произнес свое обычное:

– Ну, того, пора и соснуть.

Аннушка стащила с хозяина тяжелые сапоги и подала ему на ночь квасу; Орина Ниловна долго молилась перед божницей, усердно бормоча слова, которые считала за молитвы, но в которых не было никакого смысла, потом, видя, что сам уже спит, пошла «проведать Дашку». В проходной комнате было темно, но с улицы в незавешенное окно проникало достаточно света: постель Даши, устроенная на сдвинутых сундуках, была пуста. Орина Ниловна кинулась туда и сюда: Даши не было во всем доме. Подняли на ноги Аннушку: та тоже ничего не знала. Орина разбудила сына. Кузьма угрюмо выслушал сообщение матери и так же угрюмо заявил:

– Вы ее хотели выдать замуж насильно: вот она и ушла из дому.

– Сбежала Дашка-то? – всплеснула руками Орина Ниловна.

– Ну да, видно, сбежала.

Сначала Орина не находила слов, но потом запричитала:

– Господи! Господи! Стыд-то какой! Что ж теперича суседи скажут! Ночью девка из дома сбежала! Да сам-то, убьет он меня: дура, скажет, старая, не доглядела! Да мне бы сейчас сквозь землю провалиться.

– Поздно плакаться, маменька, – сказал Кузьма, – раньше бы смотрели. Неужто вам невдомек было, что ей что за старика идти, что в гроб лечь – одно. Сами до того ее довели: обрадовались, что больно она кротка, слово против вымолвить не смеет.

– Уж ты-то помолчал бы! – крикнула на сына Орина Ниловна. – Яйца курицу не учат. Как, оно, теперича с Власом Терентьичем быть?

После домашнего совета, участие в котором принимала и Аннушка (кстати сказать, поговаривали соседи, что и ее не обошел Влас своей благосклонностью), было решено до поры до времени ничего не говорить отцу о по-

беге Даши. Кузьма обещал с раннего утра отправиться на ее поиски. Аннушка поклялась богом истинным, что о случившемся в доме болтать не станет. Разошлись за полночь с видом таинственным, словно заговорщики.

## Х

Не было еще 7 часов утра, когда Кузьма звонил у подъезда того дома на Кисловке, где Аркадий Семенович Липецкий, он же Кургузый, снимал две «шикарных» комнаты у рижской немки Розы Карловны, которая хвалилась тем, что берет жильцов только «очень порядочных». Хозяйка отперла сама – должно быть, прислуга была на рынке, – и, завидя Кузьму, хотела тотчас захлопнуть дверь снова, крикнув: «Нету дома!» Но Кузьма с силой рванул дверь и вошел-таки в прихожую.

Роза Карловна была женщина невысокая, жирная; пальцы ее всегда были унизаны перстнями с громадными камнями. Про нее говорили, что раньше она промышляла делом более прибыльным, чем сдача комнат внаем: принимала у себя молодых, да и не молодых, людей, желающих познакомиться с

«добрыми девочками». От этой профессии она сохранила привычку к действиям энергичным и решительным.

– Да когда же я вам говорю, что господина Липецкого нету дома! – почти что закричала она, стараясь вновь вытеснить за дверь Кузьму, которого хорошо знала как частого гостя Аркадия.

– Полноте, Роза Карловна! – гневно возразил Кузьма. – Как нету дома? Куда же ему было уйти такую рань?

– Ну, может быть, они дома, так спят и будить себя не приказали. Я – женщина честная: если мне что-нибудь жилец приказал, я должна исполнить!

Кузьма провел бессонную ночь. Он решил во что бы то ни стало объяснить с Аркадием. Противодействие Розы его раздражало. Он, не слушая ее, пошел в приемную, снимая на ходу пальто.

– Мне надо видеть Аркадия Семеновича, – кратко бросил он.

– Да что же это такое? – кричала Роза, загроживая ему путь. – Да разве так порядочные люди делают? Господина Липецкого нельзя

видеть.

Но Кузьма был уже в приемной, резким движением отстранив в дверях Розу. Вдруг он повернулся к ней и спросил прямо:

– К Аркадию вчера пришла барышня? Она еще здесь?

– Ничего такого я не знаю, – все кричала в ответ Роза, впрочем, не особенно повышая голос. – Это даже очень стыдно с вашей стороны такие вопросы задавать. Я дворника позову, если вы не уйдете.

Волна какой-то тупой ярости хлынула в душу Кузьмы; он сам не знал, что способен на такие порывы; опять шагнув к попятившейся перед ним Розе, он произнес раздельно:

– Пойдите сейчас разбудите Аркадия! Я все равно добром не уйду. Я у вас тут скандал подыму, все проснутся.

В это время из соседней комнаты послышался голос Аркадия:

– Это ты, Кузьма?

– Аркадий, мне необходимо с тобой переговорить.

– Хорошо, я сейчас выйду.

– Весьма неблагородно так поступать, и я



этого от вас, Кузьма Власьич, никак не ожидала, – прошипела, уходя, Роза.

Кузьма остался один и стал шагать по маленькой комнате, именовавшейся приемной. Она была убрана с немецкой аккуратностью и с претензиями на роскошь. На столах, покрытых скатертями с прошивками, стояли в синих вазах букеты из сухой травы; под каждой вазой, так же как под графином, были постланы вязанные салфеточки; такие же салфеточки были приколоты к спинке дивана. На стенах висели дагеротипы, фотографии и дешевые литографии, изображающие виды Шварцвальда. На окнах с кисейными занавесками были расставлены горшки с лилиями. Вся эта аккуратность была совершенно иного рода, чем уют в доме Русаковых. В квартире этой немки, не брезговавшей «прибыльным ремеслом», чувствовалось какое-то смутное, преломленное сквозь тысячную призму, стремление к красоте, нечто вполне чуждое обстановке русского жилья, в котором искали прежде всего – тепла, потом – покояности и лишь на третьем и не всегда – чистоты.

Мысли Кузьмы были спутаны. Он не сумел

бы ответить самому себе, зачем он пришел к Аркадию. Конечно, он пошел искать Дашу, как и обещал матери, но с какой целью? По дороге на Кисловку он несколько раз задавал себе вопрос, по какому праву он вмешивается в личное, интимное дело сестры. Ведь все эти рассуждения о правах отца, брата, мужа – старые предрассудки. Женщина должна быть свободна и свободно располагать своей судьбой. Даша захотела жить с Аркадием: с какой стати он, Кузьма, будет ей препятствовать? И что он возразит, если Аркадий, выйдя, скажет ему: «Мы тебя не звали, зачем же ты пришел?»

Раскрылась дверь, и Аркадий появился. Он был в домашней куртке с цветной тесьмой и кисточками на груди, не то – в архалуке, не то – в подобии гусарского мундира. Аркадий был небрит, лицо его казалось старообразнее, чем обыкновенно, и, что всего более изумило Кузьму, было на этом лице выражение беспокойства, смущения или досады. Очевидно было, что Аркадий расстроен, а может быть, и трусит.

– Здравствуй, брат! – обратился Аркадий к

Кузьме и сделал шаг по направлению к нему.

Но совершенно инстинктивно, повинувшись внезапно возникшему чувству, Кузьма руки Аркадию не подал, круто повернул в сторону и сел в кресло. Минуту перед тем он не мог бы предвидеть, что так поступит. Но вдруг ему показалось нестерпимо – жать руку этого человека, и, не подымая на него глаз, он произнес отрывисто:

– Нам надо с тобой объясниться.

Аркадий остановился на полушаге, нервно, немного делано сжал губы, но тоже сел – поближе к двери, чтобы обеспечить себе отступление, – и сказал, стараясь быть развязным:

– Объясниться? Что ж, давай объясняться. Авось что-нибудь и выясним.

Аркадий действительно чувствовал себя беспокойным.

Решительного поступка Даши он все же не ожидал и, правду говоря, думал теперь лишь об одном: как из этого «скверного приключения» выпутаться? Не без боязни посматривал Аркадий на крепкие кулаки Кузьмы и сожалел: «Сегодня с ним шутки плохи. Дедовская

кровь заиграла. В сущности ведь он – человек дикий. Без разговоров может по физиономии дать...»

Несколько мгновений длилось молчание; наконец Кузьма, преодолев свое волнение, спросил глухо:

– Отвечай, Аркадий: Даша здесь?

Аркадий пожал плечами.

– Странно было бы скрывать. Где же ей быть еще?

– Так что же ты намерен делать далее?

Внешнее спокойствие Кузьмы ободрило Аркадия. Он заговорил чуть-чуть насмешливо:

– Так что, ты явился ко мне на правах оскорбленного брата, защищать честь сестры? Эх, брат! А где же все твои хорошие слова о том, что женщина – свободна, что в любви нет обязательств! Старая закваска сказалась: если ты – девушка, так изволь жить по нашему уму-разуму, а не по своему! Так?

Аркадий приводил те самые доводы, которые раньше приходили в голову и Кузьме. Но насмешливый тон Аркадия раздражал Кузьму. Ему казалось, что для шуток сейчас вовсе

не время.

– Я только спрашиваю, Аркадий, что ты дальше намерен делать?

– То есть когда дальше? – переспросил Аркадий, выигрывая время, чтобы приготовить ответ.

– Ты действительно на ней жениться хочешь?

– Ах, вот что! Для тебя уже стало важно, обведут нас попы вокруг аналоя или не обведут!

Кузьма ударил кулаком по столу. Новый порыв гнева как-то всколыхнул его всего. Рассказывали, что его дед, Терентий Кузьмич, в таком припадке ярости схватил однажды двух дюжих мужиков за шиворот, потряс их, как котят, и вышвырнул из лавки. Такую же ярость внезапно ощутил в себе Кузьма: ему захотелось что-то «расшибить», «разнести», «сокрушить», как пьяному купцу в трактире.

– Аркадий! Я с тобой не спорить пришел! Мне Даша дорога! Любишь ты ее или только так поиграть взял, да и бросить?

Аркадий опять «струхнул не на шутку» (как потом признавался себе) и поспешил Кузьму успокоить:

– Перестань шуметь, что ты! Как тебе не совестно говорить такие слова? За кого ты меня принимаешь? Я Дарью Ильинишну настолько уважаю, что никогда не позволю себе относиться к ней легкомысленно. Конечно, она, по девической своей экзальтированности, сделала из моих предложений такой вывод, которого в них не заключалось. Я, ввиду того, что ее насильственно принуждали вступить в брак, предлагал ей свою поддержку на новом поприще жизни. Она же, по-видимому, поняла это в том смысле, что я предлагаю ей разделить свою жизнь с ее. Конечно, я...

Кузьма не стал слушать дальше.

– Стало быть, ты жениться на ней не хочешь?

Он встал и, побледнев, подошел к Аркадию. У Кузьмы вовсе не было намерения ударить Аркадия или даже угрожать ему, но тот именно так истолковал это движение. Тоже вскочив с кресла, он заговорил быстро:

– Я этого вовсе не говорю... Дарья Ильинишна мне глубоко симпатична... Я нисколько не отказываюсь... Я только пытался установить принципиально...

«Разговорчивый» Аркадий вдруг утерял все свое красноречие. Такой явный испуг был во всем его облике, что Кузьма смотрел на него почти с изумлением. «Мокрая курица», – сказал бы дяденька Пров Терентьевич об Аркадии в эту минуту. Сознывая свое превосходство над ним, Кузьма спросил с прежней твердостью:

– Женишься ты на ней или нет? По крайности, будешь с нею жить, как муж и жена, честно?

Аркадий залепетал:

– Милый Кузьма, я ни от чего не отказываюсь. Действительно, обстоятельства так сложились... Мне следовало вчера же убедить Дарью Ильинишну вернуться домой... Если я этого своевременно не сделал, тогда, разумеется... Но, видишь ли, Дарья Ильинишна привыкла к жизни с достатком. У меня же, как ты знаешь, ничего нет. Жалованье я получаю грошовое. Дарья Ильинишна мне говорила, что Влас Терентьевич дает за ней приданое небольшое... Как ты думаешь, можно мне на него рассчитывать?

Кузьма начал что-то понимать, и весь гнев

сменился в его душе презрением. Отвратительным показался ему этот проповедник свободной и бескорыстной любви, заговоривший о приданом. Овладев собой, Кузьма опять сел; инстинктивно ему захотелось унижить того, перед кем он недавно преклонялся. Кузьма стал деловито расспрашивать Аркадия, на какую именно сумму он рассчитывает.

Аркадий сразу «воспрянул духом» и охотно начал объяснять. Даша говорила ему о 20 000 рублей. Это, конечно, очень немного. Состояние Власа Терентьевича считают до миллиона. Он мог бы дать тысяч 40. Тогда он, Аркадий, основал бы одно дело, о котором давно мечтает... О, высокополезное дело, важное в общественном отношении. И Кузьме нашлось бы что там делать. Впрочем, в крайнем случае, можно удовольствоваться и 20 000. Необходимо только, чтобы эти деньги были выданы наличными и немедленно. У Власа Терентьевича есть купеческая привычка задерживать платежи... Что касается Дарьи Ильинишны, то она, разумеется, будет полной хозяйкой и ни в чем не будет терпеть недостатка.



Он, Аркадий, ручается в этом честным словом...

Говоря так, Аркадий верил, что нашел верный тон для объяснения с Кузьмой. «С купцом надо и говорить по-купечески», – быстро сообразил, он. Но Кузьма слушал откровенные заявления Аркадия с чувством настоящего омерзения. Кузьме казалось, что за те полчаса, что он пробыл в этой комнате, он сразу возмужал, из наивного мальчика превратился в зрелого человека, знающего жизнь. Словно какое-то откровение сошло на него. И вся школа плутней и обманов, которую с детства проходил он в лавке отца, не научила его тому презрению к людям, как этот торг Аркадия.

Вдруг опять встав, Кузьма объявил:

– Будь покоен, Аркадий! Тебе-то папенька копейки не даст. Коли ты на это рассчитывал, так распростиись с радужными мечтами. Шиш тебе папенька покажет, вот что!

Кузьмам нарочно говорил грубо и, пока Аркадий смотрел на него в полном недоумении, добавил:

– А теперь кликни Дашу. Мы сейчас домой

уедем.

– Я тебя не понимаю, Кузьма, – возразил Аркадий. – Ты только что говорил другое. Притом я не могу позволить тебе увезти Дарью Ильинишну. Она отдалась под мое покровительство. Как же я позволю увезти ее туда, где ее может ждать...

– Что бы ее там ни ждало, – перебил Кузьма, – все ей лучше будет, нежели с таким...

Кузьма запнулся, но тотчас закончил: «...прохвостом, как ты!»

Аркадий побледнел от оскорбления и невольно оглянулся кругом, словно желая убедиться, что в комнате более никого нет. Оправившись, он начал было с достоинством говорить о том, что неблагородно со стороны Кузьмы пользоваться выгодами своего положения, но тот опять перебил его:

– Кликни мне Дашу, а не то я сам пойду ее искать.

Аркадий поколебался минуту, но потом сказал себе: «В конце концов, всего лучше со всем этим дурацким делом развязаться! Черт их всех побери! Пусть увозит! В сущности, какое мне дело, что будет дальше!»

Он повернулся было, чтобы идти за Дашей, но остановился, несколько приблизился к Кузьме и сказал, понизив голос:

– Между прочим, заверяю тебя, что между нами ничего такого не было. Parole d'honneur[298]. Я уступил Дарье Ильинишне свою спальню, а сам провел ночь на диване. Ты веришь?

Кузьма не удостоил его ответа, и Аркадий вышел.

Несколько минут Кузьма опять ходил взад и вперед по чистенькой приемной, убранной с немецкой аккуратностью, с лилиями на окошках за кисейными занавесками, с вышитыми подставочками под графином и синими вазами с сухой травой на столах. Наконец вошла Даша, заплаканная, пряча лицо. Кузьма сказал ей коротко:

– Даша, едем домой.

Даша заплакала пуще, но не возражала. Она была уже в шубке. Кузьма быстро накинул свое пальто. С Аркадием он не простился. Они вышли, и Кузьма взял извозчика.

Даша спросила только:

– Дяденька знают?

– Нет, папенька ничего не знает, – ответил Кузьма, – а уж с маменькой толковать придется: держись!

Больше они не обменялись ни словом во всю дорогу.

## XI

На другой день в лавке, в тот час, когда Влас Терентьевич по обыкновению «баловался чайком», Кузьма получил письмо. Его принес мальчишка из банка, получивший строгий наказ – отдать письмо только самому Кузьме, «в собственные руки». Писал Аркадий:

«Любезный Кузьма! Обдумав наш с тобой вчерашний разговор, я пришел к выводу, что мне следует высказаться решительно, дабы не подавать повода более ни к каким недоразумениям. Я душевно уважаю Дарию Ильинишну, желаю ей всяческого благополучия и всегда готов содействовать ей, как в деле ее духовного развития, так и на всех поприщах жизни, на какие она пожелает вступить. Эту мою готовность я неоднократно и выражал в моих беседах с многоуважаемой Дарией

Ильинишной, при наших с ней случайных встречах. Весьма сожалею, если некоторые мои выражения были истолкованы не в том смысле, какой я им придавал сам, и почитаю долгом честного человека заявить, что со своими услугами я отнюдь не намерен навязываться. Если мое содействие может быть полезно для многоуважаемой Дарии Ильинишной, она может располагать мною вполне по своему усмотрению. В противном случае я готов, дабы предотвратить всякую возможность дальнейших недоразумений, немедленно устранившись с дороги Дарии Ильинишной и даю свое честное слово, что ни в какой мере не явлюсь для нее помехой при браке, в который она намеревается вступить, как я о том известился. Ты достаточно знаешь, что на мое слово можно положиться твердо, а посему, любезный друг Кузьма, я рассчитываю, что ты поймешь всю чистоту моих намерений и оценишь всю прямоту моих слов, а засим остаюсь готовый к услугам – Аркадий Липецкий».

Прочтя это письмо, Кузьма не то подумал, не то процедил сквозь зубы:

– Ну нет, содействие твое, голубчик, ей полезно не будет!

Кузьма спрятал письмо в карман и в угрюмой задумчивости продолжал осматривать все, что его окружало.

Он был в лавке один. Отец – у Михалыча. Молодцы полдничали в полутемном проходе, ведшем из лавки в хозяйскую, присев на пустые ящики: пили чай или, быть может, тайком «сорокоушку». Кипы товара, как обычно, высились у задней стены, словно Кавказские горы. В окно был виден грязный двор и непомерно большая вывеска: «Водогрейня». Флор Никитыч опять стоял у противоположного окна и барабанил пальцами по стеклу. Ничего не переменилось кругом; мир, знакомый Кузьме с детства, продолжал свое медленное и тусклое существование. Лишь сам Кузьма сознавал себя иным, чем два дня назад.

О Аркадии Кузьме не хотелось и думать. Горечь разочарования в человеке, которым он так долго восхищался, мучила нестерпимо. «Себялюбец, пустослов, франт, ловелас, трус», – записал об нем Кузьма в своем «Журнале» и потом приписал еще: «и подлец!» Но

тем более хотелось думать о Даше и о самом себе. При некоторых воспоминаниях Кузьма зажмуривал глаза, словно от телесной боли.

Орина Ниловна, несмотря на свои годы и постоянную приниженность, обошлась с Дашей, при ее водворении домой, сурово: она «отхлестала» Дашу по щекам. И Кузьма не вступился за сестру, стерпел: надо было удовлетворить маменьку, чтобы она осталась соучастницей заговора и ничего не рассказала отцу. Даша тоже стерпела побои и даже плакала не больше обычного. Она вообще была как бы не совсем живой, обмершей. Что у нее произошло с Аркадием в ту ночь, она так и не рассказала брату. Когда он участливо начал расспрашивать, Даша ответила настойчиво: «Не поминай, братик, его: я об этом человеке больше ничего слышать не хочу!» Видно, вовремя пришел Кузьма за сестрой!

«Бедная ты! Глупая ты! – думал Кузьма. – Развесила уши на рассказы этого щеголя! Поверила, что и взаправду ты ему нужна! Никому мы не нужны, какое кому до нас дело! Пусть пропадаем, тонем, вязнем в нашем болоте: туда нам и дорога. А ежели якшаются с

нами, то либо затем, чтоб займы попросить, либо потому, что лицом девушка приглянулась. Все у них то же, что и у нас: только у нас – начистоту, торгуются прямо за каждую полушку, а те видимость делают, слова разные говорят, о высоких материях рассуждают. Дурак я был, что в правду всего этого верил. Нет, Кузьма! Покорилась Дашка, покорись и ты! Тяни ляжку, угодничай папеньке, обдувай покупателей, нет тебе никуда исходу. Жди, покуда сам хозяином станешь, да к той поре, пожалуй, и у самого за душой ничего, кроме алтына, не останется!»

Кузьме вспомнились его собственные сатирические стихи:

*Мне бечевою лишь торговать  
Да подводит в счетах итоги!*

– На построение погорелого храма, во имя Илии пророка! – тоненьким голоском пропищала монашка, приоткрывая дверь.

– Бог подаст! – недовольно отозвался Кузьма, которого оторвали от его дум. Но монашка уже втиснулась в лавку и обшаривала ее глазами, ища, чем бы поживиться.



– Нам вот бечевочку надобно б, не соблаговолите ли, благодетель, по усердию к делу божиему? – пицала монашка, быстро перебирая мотки бечевы, что лежали в картонах.

Неохотно Кузьма пошел отпускать бечеву: отказывать в таких просьбах было не принято. Едва захлопнул он дверь за монашкой, опять задребезжал самодельный колокольчик, и ввалился в лавку малый из соседней мелочной:

– Шесть вязки, да поскорее. Да только, чтобы не гнилой, как позапрошлый раз. Почтение Кузьме Власичу.

Кузьма кликнул молодца отпустить вязки. Но потом появился приказчик от Борзовых получить по счетику; потом – представитель торгового дома «Петров и сын», что в Рыбинске, узнать, отправлен ли заказанный товар; затем – еще кто-то. Завертелось колесо повседневной работы, при которой каждому посетителю лавки надо было угодить, с одним пошутить, с другим поскорбеть о застое в делах, у третьего осведомиться, как поживает супруга. Влас Терентьевич наказывал строго, чтобы покупателей «обхаживали» и «ублажа-

ли». «Не то дорого, – говорил он, – что ты мальцу, скажем, продашь на полтину, а то, что, ежели ты его улестишь, он, глядь-ан, и по втору завернет да на сотнягу прикажет». И Кузьма, по привычке, приобретенной сызмалолетства, «обхаживал» и «ублажал» приходивших, выхвалял товар и соболезнавал жалобам на «плохие дела». «Тяни, Кузьма, лямку!» – повторял он себе. Вскорости вернулся и отец, довольный какой-то удачей, расспросил об том, что без него было, заглянул в книги, похвалил сына:

– Валяй, Кузьма! Мы эту зиму, того, може, оборот-то тысяч на четыреста сделаем. Вот как! Пусть знают Русаковых! Помру я, будешь ты купец первейший в городе. Тебе, оно, будет почет ото всех, кланяться будут. «Кто идет?» – Кузьма Власич Русаков. – «А», – скажут. Токмо одно: баловства свои оставь, книжки там разные. Не к лицу это нам...

«Завел волынку», – уныло подумал Кузьма, слушая наскучившие поучения. Но тут же мысленно сравнил отца с Аркадием и сказал себе: «А все ж папенька хоть и купец, хоть и учит меня обставлять покупателей, а куда

благороднее этого крикуна. У папеньки цель – нажать, он этого и не скрывает. А тот тоже на Дашино приданое облизывался, а делал вид, что Прудона проповедует».

А Даша в это время подрубляла полотенца, которые давали ей в приданое, и тоже тупо слушала проповедь, которую говорила ей сидевшая рядом Орина Ниловна. После побега Дашу держали как бы под домашним арестом, и тетенька не отпускала ее от себя ни на шаг. Усадив Дашу работать, она сама поместилась тут же со спицами, которыми вязала варежки, и монотонным голосом поучала племянницу:

– Ничего, девка, стерпится – слюбится. Мне тож не легко было за самого-от идти. Почитай, неделю ревмя ревела: знала, что крут. Да и в жисти мало я разве вынесла? Ох, девка, всего бывало! По молодости-то сам на баб падок был. Что я в те поры терпела, один господь ведает. Ну, и бивал тоже, случалось, как погорячее был. Сама знаешь, из бедных меня взял, противу отца, покойного Терентия Кузьмича, пошел (царство ему небесное), ну, и вымещал, значит, на мне, что не принесла ему

ничего. А теперь, глянь-ка, душа в душу живем. Дом – полная чаша. Все у нас степенно. Сам-от не пьет, в церкву божию ходит, нам от других почет. Поживи, и тебе то ж будет. Оно, старенек Степан Флорыч-то, робята у него, да не тужи: брюзглый он, хлибкий – вдовой останешься, тут тебе вся твоя воля.

Доброжелательная воркотня лилась, как струйка воды из источника, ровно, безостановочно: Орина Ниловна говорила, не делая ударений на словах, словно бы все имели значение равное или были безразличны. Даша проворно двигала иглой, наклонив заплаканное лицо к самому полотну. Пахло лампадным маслом, воском, камфорой и соленьями. Мебель «под красное дерево», в стиле «Николая I», лоснилась. По крашеному полу были простелены чистые половики. Кругом был уют установившейся жизни, однообразной, тусклой, predetermined обычаями дедов, – жизни, выставляющей на вид всем огромные образницы, перед которыми денно и нощно теплятся неугасимые лампы, и кроющей в своих недрах, в задних комнатах, и привычный домашний разврат «самого со

стряпухой», и столь же привычные сцены битья жены, и беспредельное одиночество женщин, для которых муж – только властный «хозяин», требующий, чтобы его «ублажали». И казалось, что прочно заложены устои этой жизни, что никакие внешние бури, никакие века не свалят их и не откроют внутрь доступа для свежего воздуха.

## XII

**В** «Журнале» Кузьмы много дней последние строками оставалось его суждение о Аркадии и ничего не появлялось после красноречивого слова, выведенного французскими буквами: «i podletz!» Кузьма нарушил свое правило – писать в дневнике ежедневно – и долгое время не брался за него. Наконец, уже поздним ноябрем, в «Журнале» оказались записанными еще две страницы, которые должны были служить заключением всей тетрадке. Кузьма так и озаглавил их «Epilog». Вот что стояло в этом «Эпилоге»: «Не хочу я, чтобы сей мой дневник кончался ругательством, и потому пишу эпилог, или заключение. А больше писать в этой тетради не буду, потому

что она мне омерзела. Противно мне взять ее в руки, так как много в ней написано лжи, вольной и невольной. Ложь и глупость все, что я здесь писал про Аркадия, и правда только последнее слово: подлец и есть. Он так перетрусил, что тотчас и из Москвы уехал: перевелся служить в Харьков. Только напрасно пугался: ни к чему его принуждать мы не собирались. Да и не пошла бы сама Даша за него, потому что поняла всю низость его. Даже за Степаном Флоровичем Гужским будет ей лучше. Вчера был стовор и благословение. Папенька их образом благословил и пообещал, что даст не двадцать тысяч, а тридцать, только чтобы они были положены на имя Даши, для ее и ее детей. Так что папенька даже очень благородно поступил, и Даша, хоть и плакала, с судьбой своей помирилась. И Степан Флорович тоже пообещал ей, что не будет препятствовать ей книги читать, а детей, если пойдут, они отдадут учиться в гимназию. Может быть, и суждено будет им жить лучше, нежели нам. А еще ложь и глупость, что я писал о Фаине. Ей только и нужны были от меня деньги, как это скоро все и обнаружилось. Я к

ним зашел, так как она меня приглашала, и она опять завела речь, что вот, дескать, надо, чтоб я в ихнее общество вошел и взял пай в пятьсот рублей или два пая в одну тысячу рублей. Когда же я Фаине сказал, что эдаких денег у меня не бывает, и весьма серьезно это ей подтвердил, она вдруг разговаривать со мной перестала и объявила, что ей-де, нужда куда-то поехать. А я, дурак, после другой раз наведалься. Дверь отпирала Елена Демидовна, на меня эдак косо посмотрела, буркнула: „Фаины дома нету“, – и опять дверь захлопнула, прямо под носом. Я побрел, несолоно хлебавши, восвояси, три дня думал, после письмо написал. Только никакого ответа не удостоился получить. А еще после Лаврентий мне рассказал, что он это доподлинно узнал, что из Полтавы уехала Фаина потому, что чересчур оскандалилась поведением, и что у нас, в Москве, она уже завела себе одного, именно офицера, – и все это Лаврентий выведал верно и мне все имена назвал. А я себе зарок дал: в чужое общество не ходить; сижу, как сыч, один и буду сидеть. Прав был папенька, говоря: „Не к лицу нам это“. Выскакиваем мы, ду-

маем не только уму-разуму набраться, но на людей, так сказать, высших интересов посмотреть и, по необтесанности своей, все у них за чистую монету принимаем. Они-то промеж себя знают, что их слова – так, мякина одна, а мы, пока не привыкнем, не можем этого в толк взять. Вот я и напоролся; и Даша напоролась. Так лучше нам в своем кругу держаться: тут, по крайности, все нам понятно, и никто нас не проведет за нос. И беспокойства меньше, и для сердца куда легче. А все ж таки (и это будет мое последнее слово в сем „Журнале“) не должно отчаиваться, ежели один оказался – подлец, другая – потаскушка. Свет не клином сошелся на двух людях. Мое горе-злосчастье в том, что дороги у меня к настоящей интеллигенции нет. Должны где-то быть и такие люди, которые не только слова говорят, но проводят в жизнь высшие принципы. Ежели в нашу эпоху Россия пробуждается, то есть же и эти ее пробудители, борники добра и правды. Где вы, работники нивы народной, сеятели знания и культуры, я не знаю! Не подняться мне до вашей высоты из моей топкой трясины, но я верю, что вы



где-то стоите, призывая к честному делу. И уже есть круги общества, в которые не задаром упали ваши семена и которые истинно чтут ваши заветы, только мне не найти туда входа. Но ежели не мне, так детям нашим удастся идти по проторенным вами тропам, и за это навсегда вам будет от всего русского народа великая благодарность и слава. Не потерял я веры в лучших людей и буду этой верой крепиться в том аде крошечном, в котором сам обречен погибать!» Кузьме очень хотелось закончить свои патетические восклицания стихами, но, подумав, он отказался от этого замысла. «И поэтом быть – не мое дело! – сказал он себе, но сейчас же добавил: – Вот другое дело дети Дашины, ежели они гимназию пройдут. Как знать, может быть, и окажется среди них – такой поэт, что вся Россия восхитится. Жаль только, что фамилия у него будет такая неподходящая: Гужский. Надо будет посоветовать Даше, чтоб хоть имя выбрала покрасивее, например: Игорь, Валентин или Валерий!»

# Примечания

# 1

«В конце 1504 г., февраля 5-ое». В начале XVI века год еще считался с Пасхи.

[^^^]

«Двойной и тройной докторат» – *utriumque iuris et medicinae* (Обоих прав – гражданского и канонического (церковного) – и медицины (лат.)).

Сочинение по медицине Иоанникия, сирийского врача, несторианца, пользовалось в латинском переводе в Средние века большим почетом, наравне с сочинениями Гиппократов.

[^^^]

# 3

«О видах магии» (лат.).

[^^^]

«О государстве» (лат.).

[^^^]

# 5

«Демономания колдунов» (фр.).

[^^^]

«Молот ведъм» (лат.).

[^^^]



Другу читателю (лат.).

[^^^]

«Наставление в учении» (*лат.*). «Doctrinale», сочинение, в гекзаметрах, по латинской грамматике Александра Вилльдье (XI—XII вв.); «Сорулата» – сочинение по логике Петра Испанского, впоследствии папы Иоанна XXI (XIII в.); это – школьные учебники, не раз упоминаемые в «Письмах темных людей».

[^^^]

«Сборник» (лат.).

[^^^]

«Vallis humanitatis» – сочинение Германа фон Буша (1468—1534), в котором он защищает гуманистическое мировоззрение (изд. 1518 г.). Эразм Роттердамский (1467—1536) в 30-х годах XVI в. уже пережил свою славу. Речь Пико делла Мирандола (1463—1494) «De hominis dignitate» пользовалась великим уважением в среде первых немецких гуманистов.

Бернгарт Вальтер, ученик Региомонтана, открывший атмосферическое преломление света (XV—XVI вв.), был известен лишь в кругах специалистов. Напротив, слава Теофраста Парацельса, врача, алхимика, философа, фантаста (1493—1541), была очень громкой, и его знала вся Европа. Сочинение Коперника «О круговращениях небесных тел» в печати появилось лишь в 1543 г., но его идеи в ученом мире были известны раньше.

[^^^]

Выражение «время императора Фридриха» (1415—1493) было в ту эпоху как бы поговоркой (В Авторском экземпляре (в Авторском экземпляре романа издания 1910 г. рукой Брюсова были сделаны правки, которые учла комментатор 4 тома Собрания сочинений (1974) Е. В. Чудецкая. – С. И. далее вычеркнуто: Торопливость жизни в начале XVI в. казалась современникам «столь же удивительной, как нам промышленная энергия нашего времени» (выражение К. Лампрехта).).

[^^^]

Герман фон Нейенар – один из немногих гуманистов, живших в ту эпоху в Кельне (1491—1530).

[^^^]

«Грамматика Цинтена» – сочинение Иоанна Цинтена, ученого схоластика, под заглавием «Composita verbum».

Сочинения, перечисляемые автором, были новинками только для того захолустья, где он жил. Первое издание «Похвалы Глупости» Эразма появилось в 1509 г.; затем в 30 лет вышло около 40 ее изданий. Первое издание «Разговоров» (Colloquia) Эразма вышло в 1519 г. Автор «Торжества Венеры» Генрих Бибель умер в 1581 г. Первая часть «Писем темных людей» появилась впервые в 1515 г., вторая – в 1517 г.

[^^^]

Нападение на Трир Зикингена относится к сентябрю 1522 года.

[^^^]



Флоризель Никейский, сын Амадиса Галльского, – герой одного из «рыцарских» романов.

[^^^]

«*Rustica gens optima flens pessima gaudens*», т. е. крестьяне лучше всего, когда плачут, хуже всего, когда радуются, – выражение в книге Феликса Геммерлина «*De nobilitate*» (1457 г.). Крестьянин был постоянным предметом насмешек для немецких писателей XV—XVI вв. Говорили: «Крестьянин отличается от быка только тем, что рогов у него нет».

[^^^]

«Непобедимым еретиком» называл Лютера Агриппа Неттесгеймский (Epistolae, VII, 13).

[^^^]

Автор называет Георга фон Фрундсберга (1473—1528) «победителем французов», вероятно, как участника битвы при Павии.

[^^^]

Марсилио Фичино – итальянский гуманист  
(1433—1499).

[^^^]

Дюрер в это время уже заканчивал свою жизнь (1471—1528), Рафаэль умер несколько лет назад (1483—1520), С. дель Пиомбо (1485—1547) и Микель-Анджело (1476—1564) были в расцвете своей славы, Б. Челлини (1500—1571) пользовался уже большой известностью.

[^^^]

Кортец (1485—1547), после своих завоеваний в Мексике, приезжал в Европу весной 1528 г., был принят королем (т. е. Карлом V, который был одновременно и императором германским) в Толедо и получил титул маркиза Долины Оахаки.

[^^^]

Название Америки было предложено (в космографии Мартина Вальтцемюллера) еще в 1507 г., но утвердилось за «Новой Испанией», «Новым Светом» или «Западной Индией» лишь значительно позднее (*В Авторском экземпляре далее вычеркнуто*: Автор «Повести», употребляя иногда слово Америка, предпочитает выражение «Новая Испания», которое означало собственно только Мексику.).

[^^^]



Королевской Аудиенсией называлось высшее правительственное учреждение Мексики.

[^^^]

Крупные верхненемецкие купцы уже с самого начала XVI в. стали основывать колонии в Америке. Вельзеры, как и Эллингеры, держали, в начале XVI в., в аренде медные рудники на Сан-Доминго; у Фугтеров были фактории на Юкатане; Кромбергеры владели серебряными рудниками в Сультепеке; Тецели – медными рудниками на Кубе (К. Лампрехт. История немецкого народа. М., 1896).

[^^^]

Чикора (Chicora) – прежнее название Каролины. Тумбес (Tumbes) – город в Перу (J. Egli. *Nomina geographica*. Leipzig., 1893).

[^^^]

Эскудо – экю, испанская монета; здесь, конечно, имеются в виду *серебряные* эскудо. Иоахимсталеры – серебряные двойные гульдены, которые с 1517 г. стали чеканить графы Шлик в Иоахимстале. Пистолы – испанские золотые монеты, содержавшие 2 золотых эскудо. Монетная система в Германии XVI в. была крайне сложной и неопределенной.

[^^^]

Анагуак – местность в Мексике.

[^^^]

Коли понравилась тебе девка, // Так молчи,  
раз нет ни гроша (*нем.*).

[^^^]

Раймонд Люллий (1235—1315) устроил особый прибор, вращающимися кругами которого можно было, как он думал, механически выработать истины. То были зачатки алгебраической логики. «Реалисты» – последователи «реализма», одного из направлений средневековой философии, противоположного номинализму. «Miracula» и «Natura», чудеса и естественный ход вещей, – схоластические термины.

[^^^]

«Имел я рыцарское право». В XVI в. рыцарство находилось в упадке, и рыцарями часто называли себя все военные люди, не имея на то формального права.

[^^^]



«Никогда до того дня не видел я таких содроганий и не подозревал, что человеческое тело может изгибаться так невероятно». Эти истерические конвульсии, изученные ныне школою Шарко, были наблюдаемы и старинными врачами и описаны у И. Вира в его книге «Des illusions et impostures des diables» (L. I., chap. XII; о Вире см. прим. к гл. VI).

[^^^]

«Освободи меня, Господи, от вечной погибели» (лат.).

[^^^]

Св. Амалия Лотарингская, жена пфальцграфа Витгера, жила в VII в. Ягненок – эмблема св. Агнессы.

[^^^]

«Благочестивейший», piissimus, – титул французских королей (В Авторском экземпляре далее вычеркнуто: Во Франции долго было распространено поверие, что прикосновение короля исцеляет все недуги.).

[^^^]

Герцог австрийский Фердинанд – впоследствии император Фердинанд I (1503—1564).

[^^^]

Рассказ Ренаты о явлении ей в детстве ангела Мадиеля принадлежит к числу типических рассказов такого рода. Ср., напр., рассказ Мадлены де Ла-Круа, сожженной в 1546 г. (который приведен в книге: Jules Baissac. Les Grands Jours de la Sorcellerie. P. 1890).

[^^^]

Лактанций Фирмиан – латинский писатель  
(около 250—330).

[^^^]

«Перекидывались – он в волка, она в волчицу» – явление, известное в ту эпоху под названием ликантропии. Во Франции ликантропов называют *loup garou* (волк-колдун (*фр.*)). Деланкр посвятил ликантропии целую часть своего капитального труда (*Pierre Delancre. Tableau de l'inconstance des mauvais anges et demons. Paris., 1612*).

[^^^]



Кресценция Дидрихская – героиня народных сказаний и немецкой поэмы XIII в., жена императора Дидриха (Теодориха).

[^^^]

«Merenda» или «underimbiz» назывался в XVI в. ранний обед. В богатых немецких домах XVI в. ели четыре раза в день: рано утром (завтрак, frohstock, jentamen), позже (второй завтрак, frohmahl, prandium), среди дня (предобедие, underimbis, merenda), по окончании всех дел (обед, nachtmahl, saena). В более скромных домах ели дважды на дню, утром и вечером. В «Корабле дураков» Гейлера фон Кайзерсберга (1445—1519) приводятся стихи:

Ест кто однажды на дню, тот бог; человек тот, кто дважды; Трижды ест зверь; ест четырежды демон; и пять – его мать.

Употребление вилок в начале XVI в. в Германии только входило в обычай.

[^^^]

Ротвельш (от Rot – бродяга и Welsch – иностранец) – одно из немецких названий воровского языка.

[^^^]

«Гадание и на костях, и на воске, и на картах» etc. – И. Вир (Livre II, chap. XII—XIII), кроме некромантии, перечисляет 25 видов гадания; Дель Рио в своей книге (*Disquisitiones magicae*) насчитывает еще гораздо больше.

[^^^]

«Чудесный автомат Альберта Великого». Альберт Великий построил, после тридцатилетней работы, из разных металлов удивительный «андроид», который мог двигаться, совершать разные действия и во всем походил на живого человека. Андроид был разбит Фомою Аквинским, учеником Альберта, который заподозрил в машине присутствие дьявольской силы.

[^^^]

Джангалеаццо Висконти – миланский герцог  
(1347—1402).

[^^^]

«Мейссенский говор» считался одним из наиболее чистых диалектов немецкого языка. Общелитературный немецкий язык был создан Лютером, хотя уже на многих изданиях XV в. находим помету: nach rechter gemeinen deutsch(на правильном общенемецком языке (нем.)).

[^^^]

Берг – некогда самостоятельное герцогство, теперь часть прусской Прирейнской провинции. Дюссельдорф стал столицей этого герцогства в 1511 г. Бахарах – город на Рейне, славившийся вином.

[^^^]



«У льва» (нем).

[^^^]

общий стол (*фр.*).

[^^^]

Картина Сандро Филиппеци, т. е. Боттичелли, о которой говорит автор «Повести», известна теперь под названием «Отверженная» и находится в Риме, в собрании Паллавичини.

[^^^]

Вставать в шесть, обедать в десять, ужинать в шесть, ложиться спать в десять, значит, прожить десять раз десять (*фр.*).

[^^^]

Иоанн Бейкельсзон, или Боккольд, известный под именем Иоанна Лейденского, стал во главе анабаптистов Мюнстера в апреле 1534 г.; в июне 1535 г. город был взят войсками епископа, и Иоанн Лейденский казнен 23 января 1536 г.

[^^^]

Св. Мартин и Св. Гереон – кельнские церкви; Сенаторский дом – ратуша; Собор Трех царей или Трех магов – Кельнский собор, работы по постройке которого были прерваны в конце XV в., чтобы возобновиться лишь в 1824 г. В XVI—XVIII вв. Кельнский собор представлял собою два отдельных здания, покрытых временной крышей и замкнутых, друг против друга, временными стенами.

[^^^]

«Словно в первый круг ада Алигиери». Автор «Повести» намекает на известные стихи (Inf. III, 25—27):

*Diverse lingue, orribile favelle,  
Parole di dolore, accenti d'ira,  
Voci alte e fioche...* (Смесь всех наречий, говор многогласный // Слова, в которых боль и гнев, и страх, // Плесканье рук, и вопль, и хрип неясный... (Пер. Лозинского.) В Авторском экземпляре это примечание вычеркнуто.)

[^^^]

Городские рейтары – конная полиция.

[^^^]



Альб – мелкая монета.

[^^^]

Св. Куниберт, Св. Северин, Св. Апостолы и т. п. – различные кельнские церкви, Гюрценх – здание, построенное кельнцами в середине XV в., для приема высоких гостей. Капитолийская Мария – древняя церковь, освященная папою Львом IX в 1049 г. Паперть Св. Георга была закончена в 1536 г. «Святое воинство Гереона» – 318 мучеников, которые, по преданию, были с их вождем Гереоном замучены при преследованиях Диоклетиана; мощи их покоятся в церкви Св. Гереона. «Одиннадцать тысяч непорочных дев» – 11 000 девственниц, замученных, по преданию, со Св. Урсулою в VII в. близ Кельна – гуннами; мощи дев покоятся в церкви Св. Урсулы. «Громадное око Миноритов» – большое окно в портале церкви бр. миноритов.

[^^^]

Кнек-бурса, Лаврентьевская у XVI домов – общежития для студентов Кельнского университета.

[^^^]

Мастер Герард – архитектор XIII в., заведовавший тогда постройкой Кельнского собора. Генрих фон Вирнербург – архиепископ Кельнский, освятивший в 1322 г. отстроенные к тому времени части собора. Ни собор Св. Петра в Риме, ни Миланский собор не были закончены, когда происходило действие «Повести» в начале XVI в.

[^^^]

Уверенность, что существуют «духи», которые дают о себе знать стуками и с которыми, при помощи этих стуков, можно вступить в разговор и в общение, – не составляет исключительного достоинства современных спиритов. Известны чисто «спиритические» явления, относящиеся к XVI, XVII и XVIII векам, причем оказывается, что задолго до знаменитого 1848 г. уже были установлены знаки для сношения со стучащими духами (см. статьи В. Я. Брюсова «Спиритизм до Рочестерских стуков» в «Ребусе», 1902 г.).

[^^^]

знать грешно (*лат.*).

[^^^]

Гарчильясо де Вега – испанский поэт  
(1503—1536).

[^^^]

ВЫВОД (*лат.*).

[^^^]



так как (*лат.*).

[^^^]

ни король, ни тура (*исп.*); здесь: никто.

[^^^]

Сохранилось немало рецептов той мази, которой намазывали себя ведьмы и ведуны перед полетом на шабаш. Вот один из таких рецептов, сообщаемый Иеронимом Карданом (1501—1576): сваренный жир младенца, сок опихи (*opium*), волкозуб (*aconitum*), жбаник (*potentilla reptans*), паслен (*solarium*), сажа (Hieronymus Cardanus. *De Subtilitate*. Lib. XVIII).

[^^^]

Объяснение слов «Emen – hetan» дает Деланкр (P. Delancre, Tableau de l'inconstance des mauvais anges et demons. Paris, 1612).

[^^^]

удивительный художник (лат.). – Artifex mirabilis – обычное выражение о Дьяволе. Лютер также говорит: «Diabolus potens et *mirabilis* spiritus est» (Дьявол – дух могущественный и удивительный (лат.)) (Gen, с 40).

[^^^]

«Какая сила» etc. Схоластики затруднялись признавать реальность полета ведьм и ведунов на шабаш. Альберт Великий и Фома Аквинский клонились к тому, чтобы считать эти полеты «фантастическими», «phantastici». Напротив, Гюго де-Сен-Шер и многие другие настаивали на их реальности. (Свод мнений по этому вопросу см. в книге Н. Сперанского: Ведьмы и ведовство.) Ведьмы чаще всего переносились на шабаш верхом на козле, но пользовались для этого также метлами, граблями, палками.

[^^^]

Мастер Леонард, иначе называемый Великий Негр, по учению демонологов (Дель-Рио, Деланкра, Бодэна и др.) – демон первого чина, заведующий черной магией, постоянный председатель шабашов (Dictionnaire Infernal, par M. Collin de Plancy. 2<sup>e</sup> ed. P. 1825, Leonard).

[^^^]

«Кто-то другой, стоявший близ трона, низкого роста и безобразный». – Иоганн Мюллин (у французов – maître Jean Mullin), лейтенант мастера Леонарда.

[^^^]



Сарацинка, т. е. арабка (от *арабск.* sarqin – восточные, т. е. арабы).

[^^^]

танец со шпагами (*исп.*).

[^^^]

«Помилуй нас!», «Молись за нас!» (*лат.*).

[^^^]

Беанами в старонемецких университетах называли новичков.

[^^^]

прислуживающих (*лат. minister*).

[^^^]

Инкуб – демон, вступавший в телесное общение с женщиной; суккуб – демон, вступавший в такое общение с мужчиной. Демонологи учили, что искусственное тело демонов не могло заключать в себе естественного мужского семени. Поэтому демон, явившись в одном месте суккубом, сберегал полученное семя, чтобы использовать его в другом месте, когда явится инкубом.

[^^^]

Кодр Урцей – писатель XV в., получивший известность своими свободными взглядами на религию и нравственность.

[^^^]

Описание шабаша дают: Del-Rio, Delancre, Bodin, Maiol, Leloyer, Danaeus, Boguet, Monstrelet, Torquemada, «Flagellum hereticorum», «Malleus maleficarum» и многие другие источники. Частью там же, частью в судебных протоколах инквизиционных и иных судов сохранились подлинные показания обвиняемых в полете на шабаш (Из новых сочинений, трактующих о шабаше, см.: J. Michelet. La Sorcière. 1861; Roskoff. Geschichte des Teufels. 1869; Heppе-Soldan. Geschichte der Hexenprocesse. 1880; Bourneville et E. Teinturier. Le Sabbat des Sorciers. 1882; J. Baissac. Les Grands Jours de la Sorcellerie, 1890; F. Helbing. Die Tortur. 1907, и мн. др.).

[^^^]



искусством гадания (от *лат.* *divinatio* – гадание).

[^^^]

Здесь: книга малого формата (*лат.* opuscula).

[^^^]

М. Дель-Рио (1551—1608) различает четыре рода магии: *naturalis*, *artificialis*, *praestigiatrix*, *daemoniaca*. Агриппа — только три: *mathematica*, *naturalis*, *veneficia*, ставя отдельно гойетейю, или некромантию. Отличали еще белую магию, которая опиралась на силы ангелов, а не демонов. Церемониальная магия называлась иначе оперативной.

[^^^]

О Иоганне Райме то же самое говорил Агриппа в своем известном обличительном письме к кельнским властям, 11 января 1533 г. Упоминаемые далее сочинения известны нам в следующих изданиях: Ulricus Molitor. De lamiis et phitonicis mulieribus. Tractatus ad illustrissimum principem dem Sigismundum archiducem austriae. Anno Dni 1489 (s. l), Martinus, concionator Tubing. Opusculum de sagis maleficiis. C. preafat. in. Bebelij. In aedibus Th. Anselmi imp. S. Stir. 1597; Jac. Hochstraten, ord. Praed. Ad. Philippum archiep. Coloniae tractatus magistralis, declarens quam gravier peccent quaerentes auxillium a maleficis. Colonia. Mart de Werdena. 1510.

[^^^]

Ульрих Целль почитается старейшим Кельнским типографом; его издания, большую часть помеченные «apud Lyskirchen», известны с 1466 г. и ценились долгое время как образцовые. Иоганн Сотер – типограф, работавший в Кельне в начале XVI в. Общеизвестны имена создателя «альдин» – Альдо Мануция, работавшего в Венеции (с 1495 г.), и Генриха Стефана, или Этьена (1460—1520), члена известной семьи типографов, работавших в Париже.

[^^^]

труд... «Тайна святой Гертруды к приобретению тленных сокровищ и благ» (нем.). – «Das Geheimniss der heiligen Gertrudis zur Erlangung zeitlicher Schätze und Güter». Издано в Кельне в 1506 г. Рукописи: «Buch Mosis und dreifacher Hallenzwang», «Machtige Beschwarung der hallischen Geister» и «Hauptzwand der Geister zu menschlichen Diensten», теперь напечатаны, на основании монастырских рукописей конца XV и начала XVI в. в издании: Bibliotheca Magica, Koln, 1810.

[^^^]

«Книга Моисея и тройное адское принуждение», «Могучие заклинания адских духов», «Главное принуждение духов к служению людям» (нем.).

[^^^]

«О колдуньях и насылающих бедствия женщинах»... труд «О чародейских предсказаниях»... «Молот ведьм» (*лат.*). – Что касается трактата *Malleus maleficarum in tres partes divisus, in quibus concurentia ad maleficia (etc.) continetur* Шпренгера и Инститора, то после своего первого появления (Кельн, 1487) он постоянно переиздавался и в короткое время приобрел такой авторитет, что его называли *liber santissimus* (священнейшая книга (*лат.*)), и папа Иоанн XXIII рекомендовал его как руководство епископам.

[^^^]



«Как тяжело грешат ищущие спасения в чародействе» (*лат.*).

[^^^]

«Естественная философия»... «Элементарная магия» (*лат.*).

[^^^]

«Генрих Корнелий Агриппа из Неттесгейма,  
об оккультной философии. Три книги» *(лат.)*.

[^^^]

«Тут, наконец, попали в мои руки» etc. Называемые далее писатели действительно считались в XVI в. авторитетами по магии. Сходный перечень находим у Ж. Вира (1. II. ch. IV). Творения Альберта Великого (1195—1280) были изданы, более или менее полностью, лишь в 1651 г.; но отдельные его сочинения были широко распространены в конце Средних веков. Из магических сочинений Арнольда де Вильнев (ум. 1314) особенно ценились: «De phisicis ligaturis» и «De sigillis duodecim signorum»; Роджера Бэкона «De mirabilis potestate artis et naturae». Ансельм Пармезанский (ум. 1440) известен как алхимик, но Вир (Liber apologeticus) относит его к числу магов. Пикартикс (XIII в.) и особенно аббат Иоанн Тритгемий (1462—1516) — авторитеты по магии, как и Петр Апонский (или Абанский, 1250—1316), сочинения которого часто приписывались Агриппе. Первое печатное издание сочинения Агриппы (см. ниже, гл. VI) «De Occulta Philosophia» помечено: июль 1533 г.

[^^^]

«Уксус мудрецов», «голова ворона» etc. – алхимические термины.

[^^^]

«Sententiae», «Processus», «Copulata»,  
«Reparationes» – схоластические учебники.

[^^^]

«Познать природу демонов» etc. У Анания Таберната, в его книге «De natura Daemonum» (1458), находим сходные слова: «Daemonum naturam eorumque vim nosse rem summe arduam ac difficilem semper extitisse» (Всегда признавалось, что познать мощь демонов вещь очень сложная и трудная (лат.).).

[^^^]



Предание говорит, что св. Киприан и св. Анастасий были в юности могущественными чародеями. В конце Средних веков пользовались большой славой магические формулы, приписываемые св. Киприану (*Cypriani citatio angellorum*, *Dimisso Cypriani*, etc). (*Bibliotheca Magica*, Keln, 1810).

[^^^]

учитель с товарищем (лат.).

[^^^]

«По заслугам твоих ангелов, Господи, облачаюсь в одеяние спасения, дабы то, что желаю, мог я привести в исполнение» (лат.). (Пер. В. Брюсова.)

[^^^]

освященная книга (лат.).

[^^^]

«Окропи меня, Господи» (лат.).

[^^^]

«Мы, созданные по образу божию, одаренные его властью и созданные по его воле, могущественнейшим и сильнейшим именем бога, Эль, весьма дивным, вас заклинаем...» (лат.).  
(Пер. В. Брюсова.)

[^^^]

«Се – пятиугольник Соломона, который я поставил пред вами...» (лат.). (Пер. В. Брюсова.)

[^^^]

Услышь, Анаэль. Я, Рупрехт, недостойный служитель бога, заклинаю, требую и зову тебя не по своей мощи, но силою, доблестью и могуществом Бога Отца, искуплением и спасением Бога Сына, и силою и разрешением Бога Духа Святого. Этим понуждаю тебя, где бы ты ни был, в море или в бездне, на воде или в огне, в воздухе или на суше, чтобы ты, демон Анаэль, тотчас предстал предо мною в пристойной человеческой форме. Итак, явись поспешно по доблести сих имен: Айа Сарайа, Айа Сарайа, Айа Сарайа, не промедли явиться по силе вечных имен Элои, Архима, Рабур, поторопись явиться по силе личности поклявшегося заклинателя, со всем спокойствием и терпением, без какого-либо шума, без вреда для моего и других людей тела, без лжи, обмана, хитрости. Заклинаю и принуждаю тебя, демон сильный, во имя Он, Хей, Хейа, Иа, Иа, Адонай и во имя Садаи, сотворившего четвероногих, пресмыкающихся и человека в шестой день, и во имя ангелов, служащих в третьем воинстве пред ликом Дагиеля, великого



ангела, и во имя звезды, которая есть Венера,  
и по печати ее, которая есть свята, – тебе, Ана-  
эль, поставленного над шестым днем, дабы  
ты для меня старался... (лат.). (Пер. В. Брюсо-  
ва.)

[^^^]

Что медлишь? спеши! повинуйся повелителю  
твоему во имя господа Батат, стремясь на Аб-  
рак, являясь. Быстро, быстро, быстро! Явись,  
явись! (лат.). (Пер. В. Брюсова.)

[^^^]

«Удались поспешно, прочь, немедленно исчезни!» (лат.). (Пер. В. Брюсова.)

[^^^]

«Через него самого и с ним самим и во имя его» (*лат.*).

[^^^]

Наиболее полная биография Агриппы Неттесгеймского из числа известных нам: Aug. Prost. *Corneille Agrippa, sa vie et ses oeuvres*. Paris, 1882 (2 vol.). По-русски об Агриппе см. брошюру: «Агриппа Неттесгеймский», критико-биографический очерк Жозефа Орсье, перевод под ред. и с примечаниями Валерия Брюсова. К-во «Мусагет». М., 1913.

В Бонне Агриппа жил, после своего пребывания в Нидерландах, с ноября 1532 до начала 1535 года, поступив на службу к архиепископу Кельнскому Герману фон Виду (арх. с 1515 по 1547 г., ум. в 1552 г.).

[^^^]

непосвященной черни (*лат.*).

[^^^]

добрый знак, доброе предзнаменование (*лат.*  
).

[^^^]

«Ученейшему высокопочтенному мужу Генриху Корнелию Агриппе, ближайшему другу, Годфрид Геторпий» (*лат.*). – Готфрид Геторпий был издателем многих сочинений Агриппы и его корреспондентом.

[^^^]



«Всякие небылицы» составляли главное содержание старых биографий Агриппы. Основую их были сочинения: А. Thevet. «Les vrais portraits et vies des hommes illustres» (1584); P. Jovius. «Elogia virorum litteris illustrium» (1577); М. Del-Rio. «Disquisitiones magicae» (1599) и др.

[^^^]

Понтимуссы – латинское название города  
Pont-a-Mousson (J. Egli, *Nomina geographica*,  
Leipz. 1893).

[^^^]

день пагубный (*лат.*).

[^^^]

В переписке Агриппы упоминаются его «ученики»: Аврелий, Августин, Эммануэль; Иоганн Вейер (Жан Вир) вступил в число учеников Агриппы в 1533 г. Как известно, в XVI в. «ученики», группировавшиеся вокруг выдающихся художников, философов, ученых, занимали в их доме место среднее между членом семьи и слугою.

[^^^]

Гостиница «Жирных Петухов» в Бонне несколько раз упоминается в письмах «Темных людей». «Explicuit contractae seria frontis». Hor. Serm., lib. II, ecl. II, 125.

[^^^]

Шарлахерберг – поныне знаменитое вино из окрестностей Бингена.

[^^^]

О «забавных» обрядах, долго державшихся в Германии, в праздник Св. Катарины (25 ноября) и в ночь на День Св. Андрея (29—30 ноября), см., напр.: A. Schultz. Das Hausliche Leben Europeischen Kulturvalker. Munchen. 1903.

[^^^]

«Спутники» (или «телохранители») вместо «панталоны». – «Trabanter wie jene Jungfrau, die nicht gerne das Bruch nent, sagt» («Спутники», как молодая девица говорит, которая никогда не скажет «панталоны» (нем.)) – выражение XVI века.

[^^^]



В предисловии к своему сочинению «О сокровенной философии» Агриппа говорит, что, написав свою книгу в юности, он сообщил ее аббату Тритгейму, после чего она стала ходить по рукам, в Италии, Франции и Германии, причем даже собирались ее напечатать; это будто бы его и побудило самому напечатать свой юношеский труд, сделав в нем только несколько незначительных поправок.

[^^^]

магическую книгу (от *фр.* grimoire).

[^^^]

Приключение с Гансом Вейером (Жаном Виром), укравшим книгу гримуаров, рассказано им самим (Prost., II, 398). В духе легенды оно пересказано М. Дель-Рио (Disquisitionum magicarum, lib. II, sectio I, q. 19) и вошло во все старинные биографии Агриппы.

[^^^]

В Клингенберге на Майне, // В Вюрцбурге на камне, // В Бахарахе на Рейне // Созревают лучшие вина! (нем.). – О винах, распространенных в XVI в., см. современную книжку: Vinc. Obsopocus. Vonn der Kunst zu trinken. Uebers. V. Georg Wicram. Freb. i. Br. 1537. (Новое издание: Keln, 1891.)

[^^^]

«Закрыли женский монастырь, и все монахини перешли в публичные дома». Подобный случай имел место в Нюрнберге в 1526 г.

[^^^]

«Кводлибетарий». Раз в году в средневековых университетах весь артистический факультет, магистры, бакалавры и схоляры, с ректором и деканами во главе, собирались на главную словесную битву – *disputatio de quodlibet* (диспут на любую заданную тему (лат.)). Руководитель этого диспута назывался – *quodlibetarius*.

[^^^]

женщина (*лат.*).

[^^^]

Ганс Вейер, или Жан Вир (немецкая его фамилия была *Weyer*, в латинской форме *Wierus*, во французской передаче *Wier*), род. в 1515 г., ум. в 1588-м. Те же соображения, которые автор «Повести» передает от его имени, были позднее им изложены в его сочинении: «*De prestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis*» (Базель, 1563). Основная мысль этого сочинения в том, что так называемые «ведьмы» суть больные женщины, которых надо лечить, а их судьи – палачи. Появление трактата Вира произвело сильное впечатление; за 14 лет трактат вышел в пяти изданиях и вызвал множество возражений, на которые Вир отвечал «Апологетической книгой» («*Liber apologeticus*»). Особенно резко нападали на Вира инквизиторы М. Дель-Рио и Варфаломей Спина и знаменитый Ж. Бодэн (1530—1596), посвятивший в своем сочинении «*Demonomanie des sorciers*» особый отдел «Опровержению мнений Жана Вира». Между прочим, в этой книге Бодэн доказывал несомненную связь Вира с дьяволом тем фактом,



что в юности Вир водил на *веревке* собаку Агриппы, которая была не кто иной, как дьявол. Еще в XVI в. появился французский перевод основного сочинения Ж. Вира: Jean Wier. *Histoires, disputes et discours des illusions et impostures des diables*. Paris. 1579. Переиздание; Paris, 1885.

[^^^]

дружище (лат.).

[^^^]

Агриппа был женат трижды и имел семь человек детей. Биографы знают имена только трех сыновей: Гэмона (род. 1522), Генриха (род. 1524) и Иоанна (род. 1525). Из остальных некоторые умерли в раннем детстве. Сам Агриппа в письме, относящемся к 1528 г. (Ep. V, 43), насчитывает в своей семье десять человек: отца, мать, четырех детей, служанку, двух слуг и мальчика. Имена служанок и слуг упоминаются в переписке Агриппы так же, как и имена собак (Ep. V, 76, 84 etc.). В собрании сочинений Агриппы приведено пять латинских стихотворных эпитафий Filiolus'у.

[^^^]

Сыночка (*лат.*).

[^^^]

До нас дошло 451 письмо из переписки Агриппы. Среди корреспондентов Агриппы действительно были величайшие ученые того времени (Эразм), коронованные особы (император Карл V, принцесса Маргарита Австрийская, королева Мария Венгерская), высшие духовные лица (Лев X, кардинал Кампеджи) и т. д.

[^^^]

«Facetiae», веселые новеллы, Дж. Поджо Браччолини (1380—1459).

[^^^]

Идиллии Якопо Саннацаро (1458—1530) «Arcadia», написанные по-итальянски, пользовались всю первую половину XVI века громкой славой.

[^^^]

Дамианом издано в 1512 г. руководство к шахматной игре.

[^^^]



«Агриппа несколько туг на ухо». Мы знаем это, между прочим, из «Пантагрюэля» Рабле, где Агриппа выведен в комическом виде, под прозрачным псевдонимом: Her Trippe (Господин Триппа (нем.)).

[^^^]

«ученейший учитель» (лат.).

[^^^]

«Милостивый государь» (*фр.* Monseigneur); в Средние века во Франции титул герцогов, пэров и т. п.

[^^^]

«Epistola apologetica ad clarissimum urbis Agrippinae Romanorum Coloniae senatum» – было напечатано в начале 1535, в Бонне (Между звездочками (\*) дан текст, вычеркнутый в Авторском экземпляре.) \*. В своих жалобах Агриппа вспоминает подлинные обстоятельства своей жизни. Он именовал себя доктором медицины, хотя не получал такой степени ни в одном из университетов, и, довольствуясь привилегией, полученной в 1523 г. от города Фрибурга, занимался медицинской практикой до 1530 г., пока ученая корпорация Антверпена не вынудила его от этого отказаться \*. На службу к императору, как историограф, Агриппа вступил в 1530 г.\*, имея в виду, по собственному признанию, посвящать своей должности только свободные минуты; это не мешало ему в письмах горько жаловаться на то, что жалованье ему платят неисправно \*. В тюрьму за долги Агриппа был брошен в Брюсселе в 1531 г.

Взгляды Агриппы на магию резко отличают его от других магов XVI в., делают его предшественником учения современных «окультистов», которые и ценят высоко его сочинения. Однако надо помнить, что сам Агриппа дает своим последователям знаменитый совет: *Sile, ceta, occulta, tege, tace, mussa* (Молчи, таи, прячь, прикрывай, не говори, помалкивай (*лат.*)).

[^^^]

«Я не неаполитанец». У Дж. Понтана (1426—1503) читаем в его «Historia Neapolitana»: «Nec est quod Neapoli quam hominis vita minoris vendatur» («Неаполитанской истории»: «Человеческая жизнь нигде не продается так дешево, как в Неаполе» (*лат.*)).

[^^^]

«Вечная молодость». Алхимики верили, что «философский камень», обращающий все металлы в золото, дает, в то же время, в известном растворе, эликсир жизни. Предание прибавляло, что число лиц, знающих тайну этого эликсира, не может превышать одиннадцати. Когда новый алхимик, в свой черед, открывал тайну эликсира, один из одиннадцати должен был умереть.

[^^^]

Пифагор почитается в числе «великих божественных посланников»; Плотин в числе «великих посвященных». Хирам, по преданию, обладал властью над стихийными духами, которые и помогали воздвижению Соломонова храма.

[^^^]



«Звери Востока и Запада» – Магомет и папа.

[^^^]

«Эмблема сына господня, озаренная светом» – знак *розы и креста*, позднее ставший эмблемой ордена розенкрейцеров (XVIII в.).

[^^^]

«Семь ступеней из свинца, латуни, меди, железа, бронзы, серебра и золота» – мистическая лестница алхимиков, принятая позднее и франкмасонами.

[^^^]

«Пэмандр» – первая из «герметических» книг, диалог о мудрости и могуществе творца, разысканный в XV в. и тогда же переведенный на латинский язык Марсилием Фичино.

[^^^]

Гермес Трисмегист (Гермес трижды великий (лат.)) – предполагаемый автор сочинений, известных под названием «герметических книг», в том числе «Изумрудной скрижали» (отрывок). «Пентаграмма» – пятиконечная звезда, «один из наиболее полных пентаклей, какие только можно себе представить». «Тернер», или «тернарий», – сочетание элементов по три, которое символически знаменует: Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого; крайнее, среднее, нижнее; невинность, мученичество, исповедничество; движимое, неподвижное, общее. «Кватернер», или «кватернарий», – соединение элементов по четыре, «квинарий» – по пяти и т. д. Учение о мистическом значении чисел, основанное Пифагором на халдейском предании, было развито магами XVI в. Позднее (XVIII в.) учение о мистике чисел развил К. фон-Эккартсгаузен. Сходные идеи развиты современными оккультистами, преимущественно французскими (Eliphas Levi, St. de Guaita, Fabre d'Olivet, M. de Figaniures, St. – Ives d'Alveydre и др.).

[^^^]

«Рыцари Храма» – тамплиеры, орден, основанный в 1118 г., магистр и важнейшие члены которого, после громкого процесса, были осуждены и сожжены на костре (в 1310 г.).

[^^^]

«Две двери». Verg. Aen. VI. 894 sqq.

[^^^]



Scientia est assimilatio scientis ad rem scitam,  
scientia est sigillatio scibilis in intellectu  
scientis(Наука есть уподобление познающего  
познаваемому, наука есть запечатление по-  
знаваемого в разумении познающего (*лат.*  
).) – схоластические аксиомы.

[^^^]

«Первый народ земли». Согласно оккультным учениям, первобытные люди обладали способностью воспринимать не явления, но сущность вещей. Поэтому мы тем ближе к истинному пониманию мира, чем ближе к древнейшему преданию. (Мистическая история человечества рассказана Фабром д'Оливье в его сочинении: «Histoire philosophique du genre humain», 1 ed, P. 1822.)

[^^^]

В XV и начале XVI в. дуэли достигли громадного распространения во Франции. Здесь им покровительствовали короли, лично дававшие дворянам разрешение выйти на поединок, en champ clos(Загороженное место для поединка (фр.)). Так продолжалось до 1547 г., когда Генрих II, после того как на дуэли был убит его фаворит, воспретил поединки.

[^^^]

«Прекраснейшее, что принадлежит нам, есть честь». Выражение Рейхлина в частном письме, от 6 августа 1514 г.; в XVI в. письма выдающихся людей широко распространялись в списках.

[^^^]

«Сами венценосцы». Намек на вызов на поединок, посланный Франциску I – Карлом V (1582 г.).

[^^^]

Жак Понц и Петер Торрес составили трактат о фехтовании (1474 г.).

[^^^]

семья (*лат. familia*).

[^^^]

Старинный университет делился на четыре факультета: богословский, юридический, медицинский и артистический. Артистический составлял преддверие к высшим, и на нем изучались семь свободных искусств, делившихся на *trivium* (грамматика, диалектика, риторика) и *quadrivium* (геометрия, арифметика, астрономия, музыка). Существовали три академические степени: бакалавра, лиценциата и магистра (или доктора). Степень бакалавра давала права преподавать (*licentia docendi*), но с некоторыми ограничениями. Начало самостоятельного преподавания называлось инцепцией. Достижение высших степеней было связано с большими расходами (промоции) на подарки профессорам, на угощение товарищей и т. под.

[^^^]



«Старый спор поэтов с софистами» – распря между «поэтами», как называли себя гуманисты, и «софистами», как называли они сторонников средневековой философии, разгоревшаяся в 10-х и 20-х годах XVI в. в университетах Эрфуртском, Лейпцигском, Виттенбергском и др.

[^^^]

В Средние века студентам воспрещалось ношение оружия. С XVI в. этот обычай, равно как и ношение студентами особого полумонашеского платья, был оставлен, и студенческие дуэли в Германии начали входить в обычай. «Докторами-по булле», *doctores bullati*, назывались лица, получившие ученую степень не путем законным, в университете, но по милости, дарованной императором, папою или князем.

[^^^]

Пивные в Германии получили распространение с начала XVI в.

[^^^]

Конец XV и начало XVI в. были в Германии эпохой полного обнищания крестьянства и постепенного прикрепления их к земле. Политические памфлеты, появившиеся перед крестьянским восстанием 1525 г., как и различные «петиции» и «программы» того времени, переполнены примерами жестоких притеснений, которым дворяне подвергали крестьян.

[^^^]

Линденталь – ныне предместье Кельна, с лесом, называемым «городским» (Stadtwald).

[^^^]

«Ганса Гольбейна», вероятно, младшего  
(1497—1543).

[^^^]

Искусство фехтования было уже достаточно развито в Европе XVI в. Первый фехтовальный союз, св. Марка, был основан в Германии в 1487 г., во Франкфурте-на-Майне.

[^^^]

Сепроапа – приморский город в Мексике, под которым Кортес одержал одну из своих побед в 1520 г.

[^^^]



Черный плащ и круглая шляпа были обычной одеждой немецких медиков XVI в. Медицина Средних веков заключала о пользе тех или других лекарств не столько на основании опыта, сколько на основании умозрений. Только с 30-х годов XVI в. фармакология вступила на истинно научный путь после работ Буонафедде, Нордуса, де Орта и др.

[^^^]

«Как райские птицы воздухом». В Европе об этих птицах ходили самые невероятные рассказы, принимавшиеся на веру естествоиспытателями, в том числе и тот, будто райские птицы никогда не садятся и питаются воздухом.

[^^^]

В старину рождественские праздники в Германии были связаны с целым рядом обрядов и обычаев, напр., 28 дек. юноши стегали девушек лозами, а те откупались пирожками и т. под. Обычай устраивать в ночь под Рождество в церкви вертепы и изображать поклонение волхвов не вывелся до сих пор. Лучшая коллекция таких вертепов, художественно выполненных, имеется в Мюнхене (A. Schultz. Das Hausliche Leben. Munchen) (1903).

Средние века и эпоха Возрождения были очень богаты странствующими забавниками всякого рода: фокусниками, акробатами, показывателями диковинок и т. д., которых по-латыни называли *joculatores*, по-французски – *jongleurs*, по-немецки – *Spielleute*. До нас дошло немало зазывательных объявлений (афиш и листов) от таких предпринимателей, с изображением разных редкостных животных (Th. Hampe. Die fahrende Leute. Leipz. 1902).

Человек Божий (*лат.*). – Что на лице человека написано *Ното Деї*, – мысль Бертольда Регенбургского (XIII в.). Что Иерусалим – центр земли, обычное мнение средневековых картографов. Что на земле столько видов растений, сколько на небе звезд, и что изумруд разбивается, если при нем совершается любовный грех, – мнение Конрада Мегенбергского (XVI в.) (Г. Эйкен. История и система средневекового мирозерцания. Спб., 1907).

[^^^]

вступления (*лат.* exordium).

[^^^]

«Образуя своими сочетаниями мистические буквы D, I, L». Сходное видение есть у Данте (Paradiso, XVIII, 76—78). Указанные буквы образуют начало фразы: Diligite justitiam quid indicatis terram (Возлюбите справедливость вы, судьи земные (*лат.*)).

[^^^]

Бригиттианский орден допускал в одном монастыре мужчин и женщин.

[^^^]

Гуманист Яков Вимфелинг (Wimpheling, 1450—1528) – защищал идею свободы совести. Пфеферкорн (XVI в.) и Яков Гогстратен (1454—1527), на которых направлено особенно много ударов в «Письмах темных людей», издали немало чисто богословских сочинений.

[^^^]



Книга «О подражании Христу» приписывается обычно Фоме Кемпийскому. Один из «Enchiridion», первоначально изданный в 1525 г. в Страсбурге, был перепечатан в новое время facsimile (точное воспроизведение (*лат.*)). (Erfurt, 1848); книга Ланцкраны известна в следующем издании: Siephan Lanzkranna, propst zu St. Dorotheen in Wien. Das Buch ist genannt die Hymmelstrass, Augsburg, 1501. Трактат Леандра, архиепископа Севильского, написан в VI в., печатных изданий этого трактата, относящихся к началу XVI в., нам неизвестно. Бернард Клервосский канонизирован в 1174 г.; Норберт Магдебургский – в XII в.; Франциск Ассизский (1182—1226) еще при жизни почитался за святого; его первые жития появились тотчас по его смерти. Елизавета Венгерская, ландграфиня Тюрингенская, канонизирована в 1235 г.; Екатерина Сиенская – в 1461 г.

«Маленькое руководство, которое полезно иметь при себе, к нынешнему Христову празднику» (нем.).

[^^^]

«Путь на небо» (нем.).

[^^^]

«Путеводитель ума» (лат.). – Иоганн Бонавен-тура, «серафический доктор» (1221—1274), канонизирован в 1482 г. и папою Сикстом V причислен к пяти величайшим учителям церкви. Его «Itinerarium mentis in Deum» существует во многих изданиях. «Summe theologiae in tres partes distributa» – главное сочинение Фомы Аквинского, «универсального доктора» (1226—1274), канонизированного в 1323 г., осталось не оконченным автором. Католическая церковь, после некоторого колебания, признала трактат Фомы «таким творением, которому радуется сам Христос».

[^^^]

«Сумма теологии» (лат.).

[^^^]

Цифры ударов бичом и др., по преданию, были сообщены в видении Иисусом Христом святой Елизавете, святой Бригитте и святой Мельхуде. Эти цифры перечислены в старинной книжке, переизданной в начале XIX в.: *La Clef du paradis et le chemin du ciel*. P. 1816.

[^^^]

Бертольд Регенсбургский в середине XIII в. ходил по всей Германии, собирая вокруг себя своими проповедями тысячи слушателей; его считали пророком и чудотворцем. Некоторые из его проповедей были в свое время изданы.

[^^^]

Загорелись огни, и союза свидетель горный  
эфир // и нимфы на высях стонали утесов.  
*Verg.* (Вергилий), *Aen.* («Энеида»), IV, 167—8 (*лат.*). (*Пер. и прим. В. Брюсова.*). – *Fulsere ignes*  
*etc. Verg. Aen. IV, 167—8.*

[^^^]



«Фильтром» называется привораживающее зелье, то есть питье, внушающее любовь.

[^^^]

На обычаи Валентинова дня, распространенные у всех германских народов, намекает Офелия в одной из своих песен. Молодой человек обязуется служить весь год той девушке, которая первая взглянет на него в этот день и поцелует его.

[^^^]

«Откровения св. Бригитты под ред. кардинала Туррекрематского» (лат.). – Sanctae Brigittae revelationes ex recensione cardinalis de Turrecremata. Lubeck, 1492. Переиздания: Антверпен, 1611; Кельн, 1628. Книга имела значительный успех, была переведена на французский язык, и Торквемада представил похвальный отзыв о ней Констанскому собору.

[^^^]

«Смилуйся, Христос, над рабами твоими...» (*лат.*).

[^^^]

«Марпезийская скала». Verg. Aen. VI, 470—1.

[^^^]

Книга Baldassare Castiglione (1478—1526) «Il Cortegiano», – в диалогах рисует тип идеального придворного.

[^^^]

Как известно, Фауст – лицо историческое. Целый ряд писателей XVI в. упоминает о Фаусте: аббат Триттемий, Конрад Муциан Руф, Иоаганн Гаст, Иоганн Вир (Вейер), Лютер, Меланхтон и др., но, по-видимому, они говорят о двух лицах, Фаусте старшем и младшем. Иоганн Фауст родился близ Вюртенберга, в конце XV в., учился в Кракове, потом путешествовал, выдавал себя за чудотворца, читал лекции и умер в начале 40-х годов XVI в. Первое жизнеописание Фауста было издано в 1587 г. неким Иоганном Шписсом: «Historia von D. Johann Fausten». Gedruckt zu Frankfurt am Mayn, durch Johann Spies. MDLXXXVII. Эта старейшая книга о Фаусте перепечатана, вместе с другими историческими материалами, касающимися Фауста, в издании: Doctor Johann Faust. Von J. Scheible. Stuttgart. 1846. Наиболее обстоятельный обзор всего, что мы знаем о Фаусте, принадлежит К. Кизеветтеру: Carl Kiesewetter. Faust in der Geschichte und Tradition. Leipzig, 1893; Histoire de la legende de Faust par Ernest Faligan. Paris, 1888.

[^^^]



Деревянный журавль на крыше неоконченного Кельнского собора высился в течение нескольких столетий. В таком виде собор изображен на целом ряде гравюр XVI—XVIII вв.

[^^^]

Тела евангельских трех волхвов были перенесены в Константинополь императрицей Еленой; позднее переданы в Милан, а после разрушения Милана, в 1164 г., благодаря содействию Фридриха Барбароссы, – в Кельн. Шписс рассказывает о посещении Фаустом Кельнского собора и мощей трех волхвов и предание, называя трех евангельских волхвов по именам (Мельхиор, Балтазар, Каспар), говорит, что они были крещены в Парфии апостолом Фомою.

[^^^]

Солиман II Великолепный – султан с 1520 по 1566 г.

[^^^]

Княгиня Елена – т. е. княгиня Елена Васильевна, вдова Василия III, правившая с 1533 по 1538 г.

[^^^]

«О тайной философии» (лат.).

[^^^]

Вино! Вино! // С Рейна! *(нем.)*.

[^^^]

шута, скомороха (от *нем.* Gauck'ler).

[^^^]

Проделку Фауста с виноградом рассказывает Шписс.

[^^^]



обо всем познаваемом (*лат.*). – Выражение: De omni re scibili – девиз Пико делла Мирандола. Продолжение этого изречения et quibusdam aliis (и еще кой о чем ином (*лат.*)) возникло позже и, может быть, принадлежит Вольтеру.

[^^^]

Юдициарной астрологией называли в XVI в. то, что мы теперь называем просто астрологией, так как просто астрологией называлась вообще наука о звездах, т. е. наша астрономия.

[^^^]

Лоллардами назывались члены религиозных общин, возникших в XIV в. и распространившихся в Англии, Нидерландах и Германии. Во время Реформации лолларды были ее энергичными сторонниками. В «Письмах темных людей» выражение «лоллард» употребляется иногда в смысле вообще еретика.

[^^^]

События, о которых поминает здесь автор «Повести», относятся к концу 1533 и к 1534 г., когда к Шмалькальденскому союзу примкнули многие новые члены (города Аугсбург, Франкфурт, Ганновер и др.), когда продолжалось сопротивление мюнетерских анабаптистов войскам архиепископа, когда Генрих VIII побудит парламент издать «Устав о королевской власти», когда в Швеции вводил Реформацию Густав Ваза, а в Дании, по смерти короля Фридриха I (1533), шла борьба между католиками и протестантами, кончившаяся торжеством последних (В Авторском экземпляре это примечание вычеркнуто.).

[^^^]

«Два ключа» (нем.).

[^^^]

Карстганс – кличка, данная мужику вообще. Один из диалогов Гуттена озаглавлен «Neu Karsthans» (Новый Ганс-мотыга (нем.)) (1522).

[^^^]

Проделку Фауста с проглоченным трактирным слугою рассказывает Шписс.

[^^^]

Церковь Мюнстерейфеля относится к XII в.;  
крипт ее еще древнее.

[^^^]



Рихард фон Грейфенклау был архиепископом Трирским с 1511 по 1531 г.

[^^^]

«По-флорентийски». В XV—XVI в. флорентийцы почитались отъявленными содомитами, на что намекает одно из «Писем темных людей».

[^^^]

Тициан род. в 1477 г., ум. в 1576-м.

[^^^]

«Пищали и мушкетеры» стали входить в употребление в 20-х годах XVI в.

[^^^]

«Банкиры спорят влиянием с королями». Фуггеры в 1530 г. получили звание имперских графов и полную территориальную власть по отношению к личностям и имуществам, а в 1534 г. и право чеканить свою монету.

[^^^]

XVI в. был эпохой крайнего падения и общего разорения рыцарства. Гуттен, защитник рыцарства, признавал, что в Германии четыре класса разбойников: рыцари, купцы, юристы и попы. О внутреннем устройстве рыцарских замков в Германии см.: М. Heyne. Das deutsche Wohnungen. Leipz., 1899.

[^^^]

«Науки процветают, умы пробуждаются. Как радостно жить в такое время!» – известные слова Ульриха фон Гуттена в его Послании к Пиркгеймеру.

[^^^]

Художник Матвей Грюневальд р. в 1470 г., ум. после 1529 г. Фишеры (Vischer) – семейство немецких скульпторов, живших в Нюрнберге в конце XV и первой половине XVI в. Особенно знаменит был Питер Фишер (1455—1529).

[^^^]



«Кавалеры в шляпах». В XVI в. мужчины оставались в шляпах в комнатах, даже за столом( *В Авторском экземпляре это примечание вычеркнуто.*).

[^^^]

«Скуп, как герой Макция Плавта» – скряга из комедии «Aulularia».

[^^^]

О кольце, делающем невидимым, писали все выдающиеся оккультисты, в том числе Порфирий, Ямвлик, Петр Апонский, Агриппа. Кольцо Гигеса, царя Лидийского, описано в книжке: *Le veritable Dragon rouge*, впервые изданной в 1521 г. и перепечатанной в конце XIX в.

[^^^]

Предание говорит, что с тех пор, как Иисус Христос совершил въезд в Иерусалим на ослице, все ослы имеют на спине знак креста. В Вероне долгое время показывали останки этой ослицы. Что касается ослицы, на которой ехал пророк Валаам, то, по талмудическому преданию, то было особенное животное, созданное господом богом в самом конце шестого дня творения; на этой же самой ослице Авраам вез дрова для костра Исаака, и на ней же жена и сын Моисея направлялись в пустыню (Dictionnaire Internal, par Collin de Plancy it ne).

[^^^]

Интимная ночная посуда только начинала входить в употребление в XVI в. Мы видим ее на некоторых гравюрах А. Дюрера и др.

[^^^]

Сохранился счет расходов, сделанных городом Ульмом по случаю приезда императора Сигизмунда, причем видное место занимает сумма, употребленная на угощение императора и его свиты в публичном доме. Подобным же образом чествовал Сигизмунда город Берн в 1414 г.

[^^^]

«Письма темных людей», «Похвала Глупости», «Овод» (лат.). – «Epistolae», «Laus Stultitiae» см. выше примеч. к предисловию автора. «Oestrum» – знаменитая сатира Германа Буша (1468—1534). Армиллы – собрание кругов, изображающих важнейшие дуги небесной сферы. Армиллами пользовались античные астрономы и новые вплоть до Тихо де Браге. Торкветы – старинные астрономические приборы. О Копернике см. примеч. к предисловию автора.

[^^^]

Ульрих Цазий (1461—1535), швейцарский юрист, сторонник гуманизма, бывший в дружеских отношениях с Эразмом.

[^^^]



пошлый остряк (*исп.*). (*Пер. В. Брюсова.*)

[^^^]

Испанец Торральба, doctor graduado(врач, имеющий ученую степень (*лат.*)), пользовался в Испании, и во всей Европе, в первой четверти XVI в. громкой славой, как знаток магии и мощный чародей. В 1531 г. он был по обвинению в занятиях магией приговорен к вечному заключению, но позднее он был освобожден. Имя Торральбы упоминается в Дон-Кихоте (ч. II, гл. XLI).

[^^^]

Говоря о «тнях Орка», граф фон Веллен употребляет обычные выражения гуманистов, которые в своем увлечении гуманизмом Иисуса Христа именовали сыном Юпитера.

[^^^]

Вызывание Александра Македонского и Елены Троянской (давшее повод для бессмертных сцен трагедии Гете) были совершены Фаустом, по рассказу Шписса, для императора Карла V.

[^^^]

Католический швабский союз, основанный в 1488 г., дошел до такого падения к 1534 г., что на сейме в Аугсбурге решено было его уничтожить. – Герцог Ульрих вторгся в Виттемберг (откуда ранее был изгнан) в апреле 1534 г. В том же месяце состоялся и сейм в Вормсе по поводу Мюнстерских дел.

[^^^]

Петр Мартир Ангиериус, или Ангиера (P. Martire Anghiera, род. в 1477-м, ум. в 1525 г.), на основании сведений, сообщенных ему Колумбом, Кортесем и др., написал по-латыни «De Orbe novo Decades», сочинение, изданное в Испании, по смерти автора (Alcala, 1530).

[^^^]

«Математический трактат о северном (звездном) небе» (лат.).

[^^^]

«Созвездия не лгут, но астрологи хорошо лгут о созвездиях» (*лат.*). – «Astra non mentiuntur» etc. Слова Бенвенуто де Имола, одного из ранних комментаторов Данте.

[^^^]



Клянусь Геркулесом! (*лат.*).

[^^^]

В диалоге «De nobilitate» Поджо Браччолино отстаивает мысль, что человеческое достоинство не зависит от происхождения. Та же идея повторяется и у других гуманистов (Салутати, Полициано, Платины). Эней Сильвий Пикколомини, впоследствии папа Пий II (ум. в 1464 г.), написал сочинение «О воспитании князей».

[^^^]

Увы мне! (*лат.*).

[^^^]

Альбрехт Бранденбургский (1480—1545), архиепископ Магдебургский (с 1513 г.) и Майнцский (с 1514 г.), был приверженцем гуманизма, но врагом Реформации. Им, между прочим, был послан тот Тецель, торговля которого индульгенциями повела к «95 тезисам» Лютера.

[^^^]

Инфула то же, что митра, головное одеяние католических епископов.

[^^^]

«Бессмертная сатира Себастиана Бранта»  
(1457—1521) – «Корабль дураков»  
(«Narrenschiff»).

[^^^]

Начало инквизиции, в позднейшем, специальном смысле этого слова, относится к концу XII и началу XIII в. Первоначально инквизиторов для розыска еретиков назначал местный епископ; потом инквизиторские обязанности были вверены доминиканцам, зависевшим непосредственно от папы.

[^^^]

Фома де Торквемада р. в 1420 г., ум. в 1498 г.

[^^^]



Папская булла *Summis desiderantes affectibus*, направленная прямо против ведьм и ведунов, издана папою Иннокентием VIII в 1484 г.

[^^^]

«Он ни скоттист, ни альбертист, ни фомист, ни оккамист», т. е. не последователь ни Дунса Скотта, ни Альберта Великого, ни Фомы Аквинского, ни Вильгельма Оккама – светил средневековой философии.

[^^^]

Томас Мурнер (1475—1537) сначала был сторонником Реформации, потом резко нападал на нее. Им написана книга: «Von dem grossen lutherischen Narren, wie ihn Doctor Murner beschworen hat» (1522).

[^^^]

«Благодарение тебе, всемогущий боже» (лат.  
).

[^^^]

Святая Елизавета – Елизавета Тюрингенская (1207—1231). Святая Клара Шиффи (1193—1253) – основательница ордена клариссинок.

[^^^]

Об архиепископе Кельнском см. примечание к гл. VI. Союз Трира с протестантским Гессеном был заключен в 1532 г.

[^^^]

«Се – ты почиваешь на законе» и т. д. – К Римл. II, 17.

[^^^]

Взгляд Гемиста Плетона (ум. в1451) на демонов был изложен им в обширном философском сочинении, весьма распространенном в XV и начале XVI в., но до нас дошедшем лишь в отрывках. Рассказ Поджо о Тритоне входит в его «Facetiae».

[^^^]



«Заметь, что ни Цицерон, ни Гораций...» Замечание нелепое, ибо при Цицероне и Горации не было христианских монастырей. Но и Петрарка писал: «Я нигде не встречал, чтобы Сципион или Цезарь занимались турнирами».

[^^^]

искусством беседы (*итал.*).

[^^^]

Как известно, в XVI и XVII вв. в целом ряде монастырей открывались эпидемии одержания. Наиболее знамениты из этих случаев: процесс урсулинок в Эксе (дело Гоффриди, 1609—1611 гг.) и процесс урсулинок в Лудене (дело Урбана Грандье, 1632—1634 гг.), но всех их можно насчитать несколько сотен. (J. Michelet. *La Sorciere*; J. Baissac. *Les Grands Jours de la Sorcellerie*. P. 1890; P. Regnard. *Les maladies epidemiques de l'esprit*. P. 1880; etc.). Специалисты различали тот случай, когда дьявол одержал свою жертву изнутри, то были одержимые, *possessi*, *possedes*, *besessene*, или когда он лишь овладевал ею извне, — *obsessi*, *obsedes*, *geplagte*. Некоторые указывали еще на третий случай, когда жертва была под влиянием чар — *maleficti*, *ensorceilles*, *behexte*.

[^^^]

«Обсерватинки». В 1517 г. папа Лев X образовал из тех групп клариссинок, которые держались особо строгих правил, особый отдел ордена «обсерватинок».

[^^^]

«Не идет кровь» и т. д. – признаки анестезии.  
«Не тонут в воде» – на этом было основано древнейшее испытание ведьм, практиковавшееся в раннем Средневековье (Hexenbad, iudicium aquae).

[^^^]

«Изводили ли скот, делали ли женщин бесплодными» и т. д. Бодэн насчитывает 15 преступлений, в которых повинны ведьмы.

[^^^]

Сбитые черною словно бурей в кучу голубки. – *Verg.* (Вергилий) *Aen.* («Энеида»), II, 516. (*Пер. и прим. В. Брюсова.*)

[^^^]

«Всемогущий, вечный боже» (*лат.*).

[^^^]



# 250

«Тебя призываем, тебе поклоняемся» (*лат.*).

[^^^]

«Благословит тебя всемогущий Бог Отец и Сын и Святой Дух» (лат.).

[^^^]

О стуках см. примечание к гл. III. В современных свидетельствах об эпидемиях одержания в монастырях XVI и XVII вв. мы также не раз встречаем рассказы о «спиритических» стуках. (См. напр., *La merveilleuse histoire de l'esprit qui s'est apparu au monastire des religieuses de St. – Pierre-de-Lyon, par Adrien de Montalambert. Paris, 1528; Aubin, Histoire des diables de Loudun. Amsterdam, 1693).*

[^^^]

Се раба Господня! молись за нас! (лат.). (Пер.  
В. Брюсова.)

[^^^]

Отыди! (*лат.*).

[^^^]

Господом Христом, тем, кто грядет судить живых и мертвых, заклинаю: повинуйся! Духи злые, осужденные, проклятые, изгнанные, извергнутые, вам повелеваю и приказываю, во имя и по достоинству бога всемогущего и праведного! Во мгновение ока изыдите все, сотворившие несправое! (лат.) (Пер. В. Брюсова.)

[^^^]

«Новое Имперское Уложение» – то есть Уложение, изданное Карлом V в 1533 г., известное под названием Carolina.

[^^^]

Иоганн фон Шварценберг (1463—1528) — юрист, реформатор немецкого законодательства, составивший «Бамбергское уложение» и позднее проект общеимперского уложения, легший в основание «Каролины».

[^^^]



«*Crimen exceptum*». По общему правилу немецкого судопроизводства, преступления делились на *обыкновенные* и *исключительные* (*crimina ordinaria et excepta*), как оскорбление величества, измена, ересь и др. Для «исключительных» преступлений суд имел особые полномочия и не был связан обыкновенными формами судопроизводства. «*In his ordo*» etc., т. е. «В таких случаях правило — не соблюдать правил» (С. Muller. *Hexenaberglaube und Hexenprozesse in Deutschland*. Leipz. 1893; Я. Канторович. *Средневековые процессы о ведьмах*. Спб., 1893; и др.).

[^^^]

В таких случаях правило – не соблюдать правил (*лат.*).

[^^^]

В булле «Summis desiderantes» (1484) читаем: «Чтобы не получалось, что области, города, диоцезы, епархии и другие местности верхней Германии лишены учреждения инквизиции, мы постановляем, в силу нашей апостольской власти, что названным инквизиторам дозволено в сих местностях исполнять оные обязанности инквизиции и озаботиться преследованием, заключением в тюрьму и наказанием лиц за вышеназванные проступки и преступления».

[^^^]

«Crimen fori mixtum», то есть преступление смешанного характера. Первоначально процессы по делам вдовства велись исключительно духовными судами; позднее на них распространил свое действие суд светский. Князь-архиепископ соединял в себе власть духовную и светскую, и спор шел между властью местною (которую он представлял) и общецерковною (представителем которой являлся инквизитор).

[^^^]

«Следствие должно начаться общим вызовом, который прибивается к дверям приходской церкви или ратуши» («Malleus maleficarum», pars. III, q. 1).

[^^^]

Павел III – папа с 1534 по 1549 г.

[^^^]

«Не нуждаемся мы в доносе, ни в *inscriptio*». «Молот ведьм» признает три способа, чтобы начать дело по ведовству: обвинение, донос и инквизицию; первый встречался редко, так как обвинитель должен был нести соответственное наказание, если бы обвинение не было доказано. По каноническому праву, обвинение основывалось на *inscriptio*, т. е. на письменном обвинении, причем процесс не должен был выходить за пределы обвинительных пунктов.

[^^^]

Агриппа Неттесгеймский в 1519 г. спас своим вмешательством одну женщину из деревни Войппи, обвиненную инквизиционным судом в ведовстве (см.: А. Prost. С. Agrippa, I. 319).

[^^^]



Существовали в XVI и XVII вв. и другие «На-  
ставления к допросу ведьм», предлагавшие  
по несколько сот весьма подробных вопро-  
сов(В Авторском экземпляре это примечание  
вычеркнуто.)

[^^^]

«Ex nobis egressi sunt». Johan. II. 19.

[^^^]

Обряд «устрашения» (territio, territion, Schreckenerregen) составлял необходимую часть судопроизводства того времени.

[^^^]

Жом (Daumenstock), шнур, испанский сапог (Beinschraube), дыба, а также вытягивание на лестнице и кобыла (Воск) были в Германии XVI в. наиболее употребительными формами пытки. Рядом с ними употреблялись еще: вбивание гвоздей под ногти, ожерелье с остриями, стул ведьм, пытка огнем, смолой и водой (см. Fr. Helbing. Die Tortur. G. Lichterfelde, 1907).

[^^^]

По правилам судопроизводства пытка не должна была продолжаться дольше 50 минут, и возобновлять ее было дозволено лишь в том случае, если в деле открывались новые улики. Но так как ведовство было преступление исключительное (*crimen exceptum, crimen atrocissimum*), то найден был обход этого правила, а именно возобновление пытки называли ее «продолжением» (Далее цитата по-латыни из «Молота ведъм», ч. III, вопрос 19.). Известны случаи, когда пытали свыше двадцати раз (В Авторском экземпляре это примечание вычеркнуто.).

[^^^]

к продолжению пытки, не к повторению (*лат.*).

[^^^]

Ведьмы получали особый знак, *sigillum diabolicum*, при заключении пакта с дьяволом, большею частью на шабаше. Знак этот мог быть на любом месте тела, но особенно часто бывал на спине, у самого конца спинного хребта. Знак часто имел форму зайца, или жабьей лапы, или черной кошки.

[^^^]

«Молот ведьм» советовал, еще до начала допроса, все волосы на теле ведьмы сбривать и подпаливать огнем, чтобы она не скрывала в них какой-либо чары.

[^^^]



далее (*лат.*).

[^^^]

При дружественном молчании луны. – *Verg.*  
(Вергилий). *Aen.* («Энеида»), II, 255. (*Пер. и*  
*прим. В. Брюсова.*)

[^^^]

Не будем медлИТЬ! (лат.)

[^^^]

«О дружбе» (лат.).

[^^^]

О кончине Агриппы до нас дошли известия противоречивые. Согласно с разысканиями Ги Аллара (Guy Allart, р. 1645, ум. 1716), она совершилась в Гренобле, в доме Франсуа де Вашона, президента парламента в Гренобле. Кончине предшествовали те горестные события (заключение Агриппы в тюрьму в Лионе и т. п.). Согласно же исследованиям некоего Шорье, жившего в то же время, как Аллар, Агриппа скончался в Гренобле, но в другом доме, на улице де-Клерк, который в ту эпоху принадлежал члену парламента, Феррану, и в котором, в 1457 г., умер известный юрист Ги Пап. Другие источники сообщают, что Агриппа умер в Гренобле, в больнице на улице Перьер. Некоторые, наконец (А. Thevet и др.), передают, что Агриппа умер в Лионе, в жалкой лачуге (А. Prost. С. Agrippa, II, 404—6). Рассказ о том, как Агриппа проклял перед смертью свою собаку, которая после того немедленно утопилась, передан в книге: P. Jovii Novocomensis, «Elogia virorum litteris illustrium» (1577).

[^^^]

Река Святого Духа (Rio del Espiritu Santo) – старинное название Миссисипи. Как известно, в 30-х годах XVI в. долина Миссисипи была областью совершенно неисследованной; ходили баснословные рассказы о таящихся там богатствах. В 1539 г. Фернанд де Сото предпринял в те страны обширную экспедицию, но почти все ее участники погибли в девственных лесах и непроходимых болотах. Может быть, такая же участь, несколько раньше, постигла и ту экспедицию, к которой присоединился автор нашей «Повести».

[^^^]

Угловыми скобками обозначены места, вычеркнутые в отдельном издании 1908 г.

[^^^]



Одним из благороднейших эпизодов в жизни Агриппы является, между прочим, его защита одной бедной женщины из деревни Войпи, обвиняемой в 1519 году в колдовстве. Агриппа взял на себя вести ее процесс, выиграл его и в полном смысле слова спас несчастную из рук инквизитора, может быть, от костра.

[^^^]

Вальтер Скотт воспользовался этой легендой в своей балладе «The lay of the Last Minstrel».

[^^^]

Все эти истории передает Del Rio «Disquisitionum magicarum libri sex» lib. II, sec. I, quaestio XXIX (Цитируем по изд. 1640 г., Venetiis; первое изд. книги появилось в 1599 г.).

[^^^]

Поводом к этой легенде послужил случай с Жаном Виром.

[^^^]

Это сообщает Thévet в книге «Les Vrais Portraits»; он же повторяет многие рассказы Дель-Рио.

[^^^]

Aug. Prost. «Corneille Agrippa», II, 404—6.

[^^^]

Приведено у Colin de Plancy. «Dictionnaire Infernal», I, 41—46.

[^^^]

В 1934 г. в Москве, в издательстве «Academia», вышла книжка избранных стихов Брюсова. В приложении даны «Материалы к биографии», составленные его вдовой, которая подтверждает, что в основу «Огненного Ангела» был положен действительный «эпизод». (Прим. автора.)

[^^^]



Приличия (*фр.*).

[^^^]

Простите, мой друг... но судите сами: разве мне удобно принимать посетителей в первый месяц вдовства после полуночи. Вы ставите меня в ложное положение (*фр.*).

[^^^]

Мне нужно вам сообщить очень важные вещи. Умоляю вас уделить мне несколько минут для разговора. М. (фр.)

[^^^]

Я взял тебя обедком  
С тарелки Цезаря, и ты была  
К тому еще надкушена Помпеем.  
*(Пер. с англ. Б. Пастернака)*

[^^^]

Комбинаций (фр.).

[^^^]

Вы с ума сошли, сударь, я вас не знаю (*фр.*).

[^^^]

«сверхчеловеком» (нем.).

[^^^]

Большой круг (*фр.*) – фигура в общем танце.

[^^^]



Да здравствует республика! (лат., искаж.)

[^^^]

Честное слово (*фр.*)

[^^^]